ISSN 0130 – 6545

10. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДУШАН ЕВТОВИЧ (Югославия) «Зимняя свадьба».

Цветные иллюстрации номера — работы художников-примитивистов

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10 октябрь 1985

Содержание

ПРЕДРАГ ГОЛУБОВИЧ — Короткая летняя ночь *(Новелла. Перевод с сербскохорватского и вступление М. Черненко)* 3

ДРИСС ШРАЙБИ — Расследование на месте *(Роман. Перевод с французского Валерия Орлова)* 28

ЭНН ТАЙЛЕР — Обед в ресторане «Тоска по дому» *(Роман. Окончание. Перевод с английского Ф. Лурье. Послесловие Виктора Розова)* 71

Литературное наследие

Человек в китайской классической поэзии *(Перевод с китайского, вступление и комментарий Л. Эйдлина)* 171

Критика

А. ШИШКИН — Плодотворная традиция и бесплодные спекуляции *(О некоторых явлениях в английской сатирической прозе 80-х годов)* 184

Л. ДЕЛЮСИН — Добро и зло в очерках Лю Биньяня 191

Отклики, встречи, впечатления

Полезный разговор в Братиславе

ВЛАДИМИР ОЛЕРИНИ — Вклад в сокровищницу культуры других народов *(Вступление К. Чугунова)* 198

Публицистика

СТАДС ТЕРКЕЛ — «Хорошая война». Устная история второй мировой войны *(Фрагменты книги. Окончание. Перевод с английского С. Литвиновой, И. Востоковой, И. Гуровой)* 202

Антирубрика

Рассказы индийских писателей

ХАРИШАНКАР ПАРСАИ, КАМАЛЕШВАР, БХИШАМ САХНИ *(Перевод с хинди Н. Солнцевой, Б. И. Шуршалина, В. А. Чернышева)* 228

Говорят советские издатели

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ — «Радуга»: литературная карта мира 236

Среди книг

Издано в СССР

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ — Японские «целинники» и «промышленный клуб» *(Такэси Кайко.* С высоты Токийской башни) ✦ Б. АНАШЕНКОВ — Тоска по цельности *(Томмазо Ди Чаула.* Голубая спецовка) 238

Издано за рубежом

Ю. ГУСЕВ — Мештерхази — о времени и о себе *(Лайош Мештерхази.* Воспоминания) ✦ Ю. КАГРАМАНОВ — Совращение с отточием *(Джан Пьеро Бона.* Прогулка с дьяволом) ✦ Е. ЗЛОБИНА — Смысл слова «свобода» *(Франсуа Масперо.* Улыбка Котенка) 242

Советская литература за рубежом 190, 197, 235

Зарубежная литература в СССР 248

Из месяца в месяц 249

На 1-й странице обложки — АНРИ РУССО (Франция). Автопортрет.

На 4-й странице — ГЛОРИЯ ГЕВАРА (Никарагуа). Живопись, скульптура и ремесло острова Солентинамо.

© «Иностранная литература», 1985

ПРЕДРАГ ГОЛУБОВИЧ

Короткая летняя ночь

НОВЕЛЛА

Перевод с сербскохорватского и вступление М. ЧЕРНЕНКО

Если попытаться определить в одной фразе тему творчества Предрага Голубовича, то ничего точнее, чем рассказ о достойной смерти, найти, пожалуй, не удастся.

Это относится к его короткометражным фильмам (в меньшей степени — к картинам полнометражным), к лаконичным до аскетизма двадцати — тридцатиминутным трагедиям, почти лишенным текста, герои которых, борцы против фашизма, перед лицом грозящей им смерти находят в себе силы и мужество, чтобы пережить миг прощания с жизнью на самой высокой ноте человеческого достоинства, непокорности, высокой строптивости духа, победы над теми, кто, кажется, волен распорядиться их последним часом.

Это относится к его радиодрамам, где та же самая тема, те же ситуации, те же герои раскрываются в столь же лаконичном до аскетизма диалоге, в напряженных внутренних монологах, в прямом споре с судьбой, со своими слабостями, своими сомнениями.

Это относится, наконец, к его прозе, к «Короткой летней ночи», в которой гармонически и естественно слились воедино и жесткая изобразительность Голубовича-кинематографиста и жесткое драматургическое письмо Голубовича-писателя.

Здесь, как и в других его произведениях, соблюдены все классические единства: времени, действия, места — всего одна ночь, одна тюремная камера, напряженное ожидание заключенными утра, которое может стать последним. Однако в этом сконцентрированном сюжете содержится такой заряд трагической эпики, что «Короткая летняя ночь» выходит за границы жанра новеллы. Ибо история непокорившихся людей, остающихся людьми несмотря ни на что, несмотря ни на что верящих в будущую — и свою тоже — победу над фашизмом, над небытием, над собственным отчаянием, рассказанная на немногих страницах «Короткой летней ночи», могла стать сюжетом разветвленного романного повествования о первых месяцах народно-освободительной борьбы в Югославии, о судьбах простых рабочих, крестьян, студентов, взявших в свои руки винтовки и ушедших в горы, чтобы вступить в неравный бой с оккупантами, чтобы победить — живыми или мертвыми, все равно.

ПРЕДРАГ ГОЛУБОВИЧ (род. в 1935 г.)

Югославский кинорежиссер, сценарист, кинокритик. На советских экранах шли поставленные им фильмы «Отважные», «Сезон мира в Париже», а также фильмы, снятые по его сценариям: «Проверено — мин нет», «По следу тигра».

Новелла «Короткая летняя ночь», первое прозаическое произведение П. Голубовича, была опубликована в Белграде в 1984 году и удостоена премии «Драгойло Дудич» Союза обществ борцов Народно-освободительной войны Социалистической Республики Сербии (Предраг Голубовић. «Кратка летња ноћ». Иваньица «Графичар». Чачак, Издавачка делатност, 1984).

Давно смолкли выстрелы и стихли последние их отзвуки. Сейчас казалось уже, что все это случилось невесть когда и где-то далеко отсюда. В эту ночь не было даже того слабого отсвета тюремных фонарей, который пробивался сквозь решетку на окне под самым потолком.

В камере тьма была не такой густой, она словно бы таяла на потных человеческих телах, словно бы разбивалась о доски скрипучих нар. Глаз, привыкший к темноте за время неторопливых сумерек, различает на полу и на нарах беспорядочно расположившихся людей. Горчин прижался к стене, подложив под голову руку, Неджо и Драгош растянулись на нарах, но головы их то и дело свешиваются с неудобных досок, расшатанных узниками, метавшимися по ночам в напрасных поисках отдыха. У окна, обняв колени, скорчился Обрад.

Молчание.

Изредка кто-то шевелится, скрипят рассохшиеся доски. Лиц не видно. Лишь глубокие вздохи свидетельствуют о том, что арестанты не спят.

Обрад чиркает спичкой, подносит ее к окурку. Крутит его между пальцами, словно пытаясь придать ему какую-то иную форму. Потом глубоко затягивается, скорей всего для того, чтобы сильнее раздуть огонек, осветить непроглядную тьму. Все молчат.

Обрад нагибается к Неджо, тихо спрашивает:

— Неджо, спишь?

— Нет.

— Хочешь затянуться?

— Не могу. Противно.

Снова молчание.

— О чем ты думаешь? — Обрад гасит цигарку и крохотный окурок прячет в карман.

— Ни о чем. Пытаюсь считать, чтобы уснуть.

— Сколько еще до рассвета?

— Не знаю. Спроси у Драгоша.

Драгош поворачивается, ждет, пока перестанут скрипеть доски, и только тогда отзывается:

— Часы у меня стоят. Вероятно, не завел вечером.

Неджо обращается к Драгошу:

— Не спишь?

— Не могу, когда так жарко. У нас такие ночи бывают летом, в засуху. Солнце за день все спалит, а ночью ни у кого нет сил и слова проронить...

— А я люблю жаркие ночи! — улыбается Обрад. — Ляжешь где-нибудь на траве, смотришь в небо... Мне кажется, если захотеть, в августе можно сосчитать все звезды... В августе и река пересыхает, не слышно даже, как бьет о скалы и ворочает валуны...

Тишина уже не такая глухая, как прежде. Сейчас она полна какого-то напряжения, беспокойства.

— А мне в августе тревожно! Впереди начало занятий, отъезд в университет... Я в августе всегда в каком-то смятении: одно думаю, другое делаю... — говорит Неджо.

— Не знаешь ты, что такое лето в разгаре... — без укора, скорее отвечая какой-то своей печальной улыбке, а не Неджо — он его почти и не видит, — роняет Обрад.

Но Неджо кажется, что эти слова обращены к нему, и он не остается в долгу:

— Ох уж эти ваши разговоры... Я не признаю отдыха без суеты. Когда учился, лучше всего чувствовал себя на Князь Михайловой улице. Мне нравится толчея на тротуарах, когда пешеходы то и дело налетают на тебя...

— А я никогда не был в Белграде! — говорит Обрад. — Я думал, что когда-нибудь и эта мечта исполнится... — Он замолкает на мгнове-

ние, потом продолжает уже громче: — Раньше я верил, что все мои мечты исполнятся...

— А что там интересного, в Белграде? Там, как и везде, только дома и люди...— Неджо по-прежнему вглядывается в темноту, пытаясь разглядеть собеседника.

— Это я слышал! Только хотел сам увидеть! Я всегда мечтал куда-нибудь уехать...

— Да, да! Все мы мечтали о путешествиях в нечто Недостижимое! — ворчит Неджо.

— Это не то, о чем ты думаешь... Я сам осуществлял свои мечты. Захочу чего-нибудь, и глядишь, добьюсь этого... Захотел стать каменщиком — и дом рос, этаж за этажом, у меня под руками. А мне всегда казалось, что я куда-то уезжаю... Но я никогда не видел моря, только слышал, как говорят: «Голубое, соленое, и конца ему нет!»

— Врали тебе — конец у всего есть! — отрезает Неджо.

— Все равно...— примирительно соглашается Обрад.— А ты никогда ни о чем таком не мечтал?

— О каком?

— О таком. Обычном. О каком-нибудь пустяке.

— Нет! У меня всегда были большие, глупые, нереальные мечты...— Неджо с насмешкой растягивает слова.

— Какие? — спокойно спрашивает Обрад, словно и не замечая издевки.

Теперь и Неджо смягчается, машет рукой.

— Пустые! Ну кто это помнит?

— А я вот помню каждую мелочь! — оживляется Обрад.— Вспоминаю все, что делал в тот день, когда уходил в отряд. Помню и в чем одет был, и что думал!

— Ты думал: война через неделю закончится! — В голосе Неджо опять звучит издевка.

— Нет, я думал о том, как вернусь когда-нибудь домой и как все обрадуются, когда меня увидят. И еще я подумал, что собаки станут, наверное, лаять, когда я отодвину задвижку на воротах. А задвижка заржавевшая заскрипит, а потом звякнет по гнилому дереву...— Обрад замолкает.

Драгош встает. Чувствуется, что он хочет нарушить наступившую тишину. Подходит к окну. Смотрит в чернеющее небо.

— Ничего не слышно! И охрана больше не ходит, видно устала. Сон их сморил!

— Тогда, значит, скоро рассвет! — говорит Неджо.

— Вряд ли. Самая глухая пора ночи. Наверное, только полночь прошла...— Драгош возвращается на нары.

Обрад хватается сильными руками за решетку, подтягивается, смотрит.

— Ни зги не видно! Мрак один. Но, похоже, скоро рассветет. Эти летние ночи коротки... Не успеешь глаз сомкнуть, а уже светает... Сколько раз меня заря обманывала...

Драгош подвигается к Неджо.

— Однажды ночью, перед войной, на Звездаре, ты мне рассказывал о какой-то книге, помнишь? Пока не рассвело. Тихо было, как сейчас, только и было слышно, как кровь гудит в жилах.

— Глупостей я не помню, Драгош. И о них не сожалею, я тебе уже говорил...

— А я сожалею о том, что мог бы сделать, а не сделал. Что не прочитал каких-то книг, а надо было прочитать...— Драгош помедлил.— Я тогда верил... думал: еще есть время... Вам не холодно?

Похоже, что Драгош, устыдившись этой мгновенной слабости, пытается отогнать сентиментальные воспоминания, которые делают его голос все более тихим.

— Нет, а тебе? — спокойно спрашивает Обрад.

Драгош потирает плечи.

— Мне — нет. Но вы вроде бы нахохлились.

— Просто отдыхаем...

— Очень важно, чтобы мы отдохнули до рассвета! — В голосе Неджо снова появляется горечь. Он меняет положение.— В самом деле, чтобы отдохнуть, лучше вытянуть руки и ноги...

— Вот и вытянул бы! Места тут хватит!

— Да ладно, потом! Сейчас мне это не по душе: как только вытянусь, так подумаю, что умер...

Обрад снова встает, поднимает глаза к решетке.

— Который может быть час?

— Не знаю. Может, два, может, три...— Драгош смотрит на часы, но они по-прежнему стоят.

Неджо замечает это.

— Когда придут, будет ровно восемь! Тогда и заведешь!

Он поднимается, делает несколько шагов, словно успокаивая себя. Останавливается.

— Если бы у нас были какие-нибудь шахматы или что другое... А то сидим, смотрим друг на друга и пререкаемся.

— Не спится. Потому и сидим так...— Драгош настроен миролюбиво.

Неджо не сдается.

— Часы у тебя стоят, но мне кажется, что время бежит быстро. И столько глупых мыслей за такое короткое время приходит в голову... Крутятся и никак из головы не выходят...

— А меня, видишь ли, только одна мысль мучит,— тихо говорит Обрад.— Я ее гоню, стараюсь о другом думать, а она словно совершит круг над моей головой и снова меня в лоб уколет. И каждый раз все сильнее, все глубже укалывает... Никак не отстанет...

— Это о том, что скоро война кончится? — усмехается Неджо, впервые без раздражения.

— Нет! О том, что сначала нас в этой камере было десять. Где сейчас эти люди? Недавно, когда темно было, мне казалось, что все нары заняты, что в камере полно людей... Видишь, ночи конец, а их больше нет. Что это значит? — Обрад говорит спокойно, уставившись в стену.

— Это значит, Обрад, что сегодня уже четвертый день, как из этой ямы выводят по двое...— отвечает Неджо.

— Завтра, вероятно, новых доставят...— высказывает предположение Обрад. Взгляд его блуждает по засаленной, грязной стене, испещренной неразборчивыми именами и датами.

— Думаешь, нас сегодня всех вызовут? — спрашивает Неджо.

— Тихо! Горчин спит! — прерывает разговор Драгош.

— Жалко проспать эту ночь. Может быть, и его вызовут? — говорит Обрад.

— Все равно! Пусть спит...

— Я думаю, что вызовут только двоих. Как обычно...— Обрад только сейчас отвечает на вопрос Неджо.

— Я бы не хотел остаться последним...— Неджо подходит к Обраду, становится рядом с ним, тоже смотрит на стену.

Обрад поворачивается, взгляды их встречаются.

— Завтра никто не узнает, что мы существовали...

— Я бы не поверил, что здесь до нас были люди, если бы они не оставили эти надписи на стенах и вшей в подстилках... Когда нас сюда привели мне показалось, что пахнет ладаном... Эти надписи кто-то замажет известкой, вши подохнут с нами под землей, а материю, как говорится, все равно не уничтожить.— Неджо проводит пальцем по стене, словно хочет на ощупь разобрать нацарапанные знаки. Но тут же отдергивает руку, вытирает ее от пыли и штукатурки, которые остались на кончиках пальцев.

Обрад, задумавшись, не замечает этого.

— И сколько же людей ждали под этим окном рассвета!

А затем неожиданно:

— И неужели никто из них не бежал?

— Говорят, что из этой тюрьмы никто никогда не бежал.— Драгош произносит это равнодушно, словно и это их не касается, будто речь идет о чем-то незначительном.

Обрад исследует стену, прикладывает к ней ухо, вслушивается, простукивает, прикидывает толщину.

— Наверняка врут!

— Неужели уже светает? — Неджо обращается к Обраду, который влез на нары и подтягивается, чтобы снова бросить взгляд в окно на волю, на единственный клочок неба, растянутый за решеткой, словно какая-то траурная занавесь. Обрад напрасно старается разглядеть землю или горизонт — все темно, все черно, никакого ощущения пространства.

— Ничего не видно!

Неджо зябко поводит плечами.

— А меня знобит, словно от окна уже тянет утренней прохладой!

— Это, наверное, от стены. Так к ней прислонился, а она мокрая...— говорит Обрад.

— Пройдись, согреешься! — предлагает Драгош.

Неджо соглашается. Ходит из конца в конец камеры размеренным шагом. Потом останавливается.

— К черту! Шесть шагов туда, шесть обратно!

— Но тебе по крайней мере теплее? — спрашивает Драгош.

— Да, немного...— Неджо делает еще несколько шагов и опять останавливается.— Странно, что шире шаг, что короче — все равно от стены до стены шесть шагов. Ни пять, ни семь! Глупо, а?

— Очень глупо. Шесть шагов, и ты у стены, шесть обратно, и стена перед тобой! Мог бы придумать что-нибудь получше! — говорит Обрад.

— Я мог бы, как ты, залезть на нары и смотреть в окно. Или висеть на решетке, как обезьяна!

— Может, это и лучше...— Обрад не обижается.

— А почему ты все время смотришь в окно? Ведь там все равно ничего не увидишь! Меня это раздражает!

Обрад смотрит на Неджо, спокойно спускается с нар.

— Не по мне камера — узка слишком. Что для меня шесть шагов туда, шесть обратно!

— Смотришь в окно, покуриваешь и ждешь рассвета! Это ты так борешься?

— Я борюсь сам с собой!— Обрад не повышает голоса.

— Говорят, немцы уже под Москвой! — неожиданно упавшим голосом произносит Неджо и затихает.

Молчание. Какой-то странный свет начинает наполнять камеру. От него человеческие лица и тела теряют выразительность, он как бы размазывает, лишает рельефности лица, руки, измятые рубахи. Драгошу все они кажутся бескровными, словно вымоченные во многих водах и отбеленные долгим солнцем, без восхода и заката.

— У моего дома была глубокая яма, в которую бросали слепых котят. День, а может и два, из глубины доносилось их слабеющее мяуканье, а потом все стихало. Я бы никогда больше не бросил котенка в яму...

Драгош надеется, что кто-нибудь откликнется на эти слова, но все молчат. Неджо все больше нервничает. Ерзает, никак не может поудобнее устроиться на полу и наконец обращается к Обраду:

— Есть покурить?

— Искурил. Все искурил.

— Да ладно. Мне вдруг захотелось разок затянуться...

Драгошу кажется, что Неджо успокоился, ему хочется воспользоваться этим, чтобы продолжить разговор. Он очень боится, как бы снова не наступило напряженное молчание, ибо тогда опять придется рассказывать всякие небылицы. А Драгош прекрасно понимает, что неосторожная фраза может быть неправильно понята и, конечно же, может привести к ссоре.

— Неджо, помнишь ту маленькую крутую улицу на Сеняке? Мы ходили по ней весной на Топчидер готовиться к экзаменам. Ты помнишь — на ней еще росли высокие яблони?..

— Не помню! — сухо отвечает Неджо.

— На углу была маленькая пекарня. Сколько раз мы там покупали пирожки и лепешки... Как это ты не помнишь?

— Не могу вспомнить!

— Мощеная, извилистая...— Драгош старается помочь Неджо воскресить в памяти улочку, но безуспешно. Он продолжает уже для себя одного:

— Всю ночь пытаюсь вспомнить, как она называлась... Крутится в голове, все названия улиц перебрал, а все не то...

— А зачем тебе? — спрашивает Обрад.

— Хочется вспомнить. Такая была красивая улица. В самом деле, как она называлась?

— Не мучайся! Больше это тебе не понадобится! — говорит Неджо.

— А может, и понадобится!— Драгош впервые за эту ночь возражает ему.

Похоже, что ему самому это неприятно, и он начинает тормошить Горчина.

— Горчин, Горчин!

— Оставь его!— говорит Драгош.— Пусть спит!

— Пора! Сейчас рассветет!

Горчин просыпается. Сонно оглядывается по сторонам, трет глаза. Просыпается окончательно.

— Выспался? — улыбается Драгош.

— Никто не приходил? — спрашивает Горчин, оглядывая камеру и пересчитывая людей вокруг себя.

— Нет еще. Рано! — говорит Обрад.

— Не бойся, мы бы тебя разбудили... Ты голоден?

— Пить хочется!

— А я голоден,— говорит Неджо, и ему смешно, что он признается в этом.— Вот как... Это, пожалуй, единственное доказательство того, что я жив... Все эти дни я вспоминаю школьные завтраки. Я приносил бутерброды, а съедал только сыр или ветчину, хлеб же крошил голубям.

— А я больше всего любил соскабливать со дна котелка подгоревшую картошку. Надо мной всегда смеялись: «Не скобли, а то сваты сбегут!»

Широкое лицо Обрада раскраснелось от воспоминаний. Он пытается вспомнить, когда это он в последний раз выскабливал дно котелка, но ему никак не удается, все время мешают возникающие картины деревенской свадьбы или какого-то другого праздника. Обраду никак не удается выстроить их в хронологической последовательности, один за другим. То ему кажется, что свадьба была в середине осени, а слава[1]— позже, когда начинается период дождей и слав, то что это происходило и вовсе не в один год; и он уже не в состоянии понять, что было сначала, а что потом. Затем воспоминания переносят его на ту улочку, названия которой не может вспомнить Драгош. Он удивляется этому и сам рад бы дать этой улице какое-либо название, ибо его беспокоит, что в памяти его вдруг обнаружилось нечто не име-

[1] День семейного (родового) святого. *(Прим. перев.)*

ющее названия, безымянное. От воспоминаний его отвлекает голос Драгоша, который обращается к Неджо:

— Неджо!

— Что?

— Как ты думаешь, чем кончится эта война?

Вопрос мгновенно вытесняет из головы Обрада все остальные мысли, сейчас он в ожидании ответа. Он всегда любил слушать, как разговаривают Драгош и Неджо, думая: «Боже, как хорошо слушать, когда умные разговаривают!» Поэтому он и старался почаще быть рядом с ними. Но сейчас Неджо молчит — то ли медлит, то ли обдумывает ответ. И наконец, после долгой паузы, произносит:

— Кто знает, увидим ли мы ее конец!

Обрад ждал иного ответа, он немного сердится, но вида не подает. Поэтому он говорит только:

— Хорошо бы и нам дождаться! Признайся, что и ты так думаешь...

— Хочешь, чтобы я тебя подбадривал? Ладно. Мне не хотелось бы сгнить здесь, а потом чтобы меня оттянули за ноги в общую могилу. Не гожусь я для такой компании. У меня слишком длинные руки и ноги, они наверняка кому-нибудь помешают. Но я лежу здесь и никак не придумаю, как протащить свою жизнь сквозь эту решетку... И боюсь, что слишком много об этом думаю...

Горчин слушает этот разговор, испытывая беспокойство. То, что он хотел бы услышать, так и не было сказано. И он вмешивается:

— Так что ты думаешь — долго еще продлится эта война?

— До конца жизни! — говорит Неджо.

— Врешь! — кричит Обрад, глядя ему в глаза.

— Ну хорошо, когда-нибудь закончится, но что толку, если нас не будет! — уступает Неджо.

— Надо остаться в живых. Все-таки хочется увидеть ту улицу, названия которой Драгош так и не помнит! — Обрад отстаивает свою мысль до конца.

— Отсюда еще никто не убегал! — замечает Неджо.

— Черт, ты мысли мои читаешь! — усмехается Обрад.

— Эта камера как чистилище. Только идут из нее прямо в ад,— продолжает его поддразнивать Неджо.

— И ты думаешь, что нельзя бежать?

— Убежден! — говорит Неджо.

— А ты как, Драгош? — Обрад хочет узнать и мнение Драгоша.

— Не знаю, Обрад...

— Очень ты сдержан, будто замышляешь что... Может, напасть на охрану, когда откроется дверь? — предлагает Обрад.

— Не выйдет! — с сомнением отвечает Драгош. Но Обрад не отказывается от мысли, которая пришла ему в голову.

— Я слышал, что заключенных из этой тюрьмы меняли на пленных немецких офицеров. Одного нашего на одного ихнего...

— Это редко бывает...

Обрад замолкает, ему кажется, что здесь у него нет союзников, что никто не поддерживает его идею. И он настаивает:

— Ты хочешь сказать, что у нас нет выхода? Что нас расстреляют?

— Не говори об этом при Горчине! — пытается прервать его Драгош.

— А почему? Ты жалеешь его, не хочешь пугать! Все равно через какой-нибудь час он будет смотреть в наведенные дула. Лучше пусть знает заранее!

Обрад ждет ответа. Он похож на ребенка, который впервые произнес нечто неприличное, и боится, что его за это накажут. Но никто не отвечает. Когда ему кажется, что продолжения разговора уже не будет, отзывается Неджо. Тихо, словно про себя:

— Найду ли я силы, чтобы взглянуть в эти наведенные на нас дула? Скажи, Драгош, ты это должен знать!

— Я не знаю... Просто не думаю об этом...

— Да, ты пытаешься вспомнить название какой-то грязной улочки, где мы жрали пироги и весной оглядывались на девчонок. А я уверен, что у нее какое-нибудь глупое название.

— И все-таки я хотел бы его вспомнить!

Обраду кажется, что сейчас самое время обратиться за помощью к Драгошу.

— Драгош, чего тебе сейчас больше всего хочется?

— Не умереть! — отвечает Драгош.

— Да, этого и мне хочется. Только я придумываю, ищу выход, а ты об этом — ни слова! — оживляется Обрад, словно ухватился за конец веревочки, который давно собирался потянуть.

— Я бы хотел заснуть. Но не могу и потому молчу. Вот и все...— отвечает Драгош.

— Нет...— не верит Обрад.— Ты что-то замышляешь. Или хочешь нам что-то сказать...

— Нечего мне вам сказать. Ничего толкового...— пытается защититься Драгош.

— Ты знаешь, мы всегда тебе верили! — говорит Обрад подчеркнуто серьезно, словно предупреждая о чем-то.

— И я вам...

— Сейчас уж, пожалуй, нет причины скрывать что-то друг от друга,— продолжает Обрад тоном, который не оставляет места для недомолвок, для лжи, для притворства.

Неджо поднимается, ходит по камере. Кажется, что он сейчас просто ляжет на другие нары, но этого не происходит — он возвращается обратно.

— Я бы не хотел, чтобы это походило на предсмертную исповедь...— говорит Драгош.

— А почему? — спрашивает Обрад.— Все это время мы ждем, что ты скажешь нам что-то. Я чувствую, что и Неджо этого ждет...

Неджо подтверждает кивком головы:

— Да, Драгош...

— Но я не знаю, что вам сказать...

Обрад думает о том, что они с Драгошем знакомы чуть ли не с самого рождения. Достаточно долго, чтобы верить друг другу. Он понимает, что было бы глупо напоминать ему об этом. Ему кажется, что об этом лучше промолчать. Он говорит не о себе:

— Ты столько лет знаешь Неджо...

Неджо улыбается. Он вспоминает демонстрации в университете. Все поднимали сжатые кулаки и кричали. И только Драгош, сжимая кулак, молчал. Поначалу это беспокоило Неджо. Потом он понял: парень знает, чего хочет. Это привлекло его к Драгошу. В это он всегда верил. Нет, Неджо поправил себя, в это верили все. И не только в университете, но и в отряде. Воспоминание об учебе и университете показалось Неджо вдруг необыкновенно манящим, привлекательным, медленно уводящим в сновидение, ограждающим от всего реального. И вероятно, он удалялся бы все дальше и дальше, к дорогим встречам и свиданиям, если бы к действительности его не вернул голос Обрада:

— Сколько одних чертовых гор мы истоптали!

Неджо пугается, как бы кто-нибудь не догадался о его видениях, и он торопится отогнать их от себя. А потому произносит:

— И не в первый раз нам вместе ждать рассвета!

Обрад знает, что Драгош никогда не бросает слов на ветер. Он и сейчас не ждет от него пространных речей, в которых ни на грош смысла. И тем не менее его поражает короткий ответ Драгоша:

— Сейчас мне нечего сказать!

Эта отрывистая фраза похожа на точку в конце всего разговора — после нее в самом деле наступает долгое молчание. Неджо, словно понимая, что продолжать разговор невозможно, понуро замечает:

— Вот, уже светает. Я думаю, что у нас еще есть немного времени...

«Почему Драгош молчит все это время?» — думает Обрад.

Он хочет произнести эти слова вслух, но не решается, боясь, что натолкнется на какой-нибудь резкий отпор. А молчание это длится с той ночи, когда Драгош неожиданно появился в отряде и позвал Неджо и Обрада с собой в разведку. В лагере царило смятение. Было много раненых. Где-то совсем близко шел бой, готовились к новым схваткам. К вечеру, когда начали прибывать носилки с ранеными, сначала изредка, потом все чаще и больше, а затем и целым потоком, Обрад увидел на носилках младшего брата. Он обрадовался ему — они давно не встречались, но тут же разволновался, торопливо пытаясь определить под окровавленной накидкой, куда именно брат ранен, целы ли руки и ноги. Но брат успокоил его, сказав, что осколки только хлестнули его по икрам и что через пять-шесть дней он снова будет на ногах. Именно тогда появился Драгош и позвал Обрада. И, встретившись с открытым взглядом брата, Обрад сразу же согласился. Неджо их поджидал в стороне. Спустя какое-то время они уже шли по горам.

Они остановились на вершине, с которой, змеясь, спускалась дорога до самого города. Ночью он едва обозначался вдали какими-то отдаленными отсветами.

— Зачем мы столько часов разглядывали пустую дорогу? — спрашивает Неджо.

— С вершины дорога отлично просматривается, и мы могли бы увидеть любого человека за целый километр, а колонну можно разглядеть и на бóльшем расстоянии,— отвечает Драгош.

И Неджо и Обрад понимали это, но это не было ответом на вопрос. В сущности, молчание Драгоша и началось тогда. Несколько раз Неджо и Обрад уговаривали его вернуться, но он неизменно обрывал их, говоря: «Еще не время! Остаемся!»

Потом Обрад и Неджо привыкли к этим словам, все реже говорили о возвращении, уверенные, что Драгош сам решит, когда трогаться. Вот уже и развиднелось — Неджо и Обрад курили, болтали,— а Драгош все молчал. И тогда далеко на дороге они заметили немецкую колонну, которая двигалась из города. Колонна была длинная, конца не видно, похожая на змею, выползающую из старой шкуры, или толстый канат, постепенно отматывающийся от большой катушки.

— Когда появилась колонна, надо было уходить! — говорит Неджо.

Обрад вспомнил, что они как загипнотизированные смотрели на то, как разматывается колонна, напрасно ожидая увидеть ее конец: но конца не было.

— Это был полк! — уверенно говорит Драгош.

— Разве поэтому надо было ждать?

— Это был полк, предназначенный для специальных заданий,— повторяет Драгош.

Обрад вскипает:

— Черт возьми! У нас был еще час времени, чтобы спрятаться! А мы ждали, пока они не подойдут совсем близко.

Перед глазами у него снова отчетливо появляется черная лента на пыльной дороге у подножия горы. Мало-помалу она превращалась в строй, в котором сначала можно было разглядеть фигуры, затем лица, а потом и знаки различия.

— Но мы этого не испугались, правда? — Кажется, что Драгош доволен.

— Нет, ибо мы думали, что можем уйти! — Обрад пристально смотрит на Драгоша.

— Мы не знали, что произойдет! — примирительно говорит Неджо.

Обрад нервно ходит по камере.

— Я не трус, вы знаете это! Но я не считаю, что во мне найдется достаточно храбрости, чтобы просто стоять, зная, что выхода нет!

— Мы были на опасном, открытом месте! — говорит Неджо.

— А было и время, и возможность уйти: за нами были и горы и лес!

— Но мы лежали и ждали приказа. А ты молчал. Даже не нужно было приказывать — мы тебе верили, ты был наш товарищ.— Голос Неджо спокоен, в нем ни упрека, ни жалобы.— Мы думали, что всему есть причина.

— Может, и была! — говорит Драгош.

— Не люблю загадок! Я хочу знать: была или нет?— Неджо начинает нервничать.

Драгош им тогда ничего не сказал. Обрад и Неджо молчали. Так они позволили колонне приблизиться. Могли и дать пройти мимо: немцы бы их не заметили. «Точно бы не заметили!» — подумал Обрад. Их головной дозор не очень-то смотрел по сторонам, он шел к определенной цели. Может быть, в те мгновения Обрад и Неджо еще верили, что колонна пропылит рядом с ними, а тогда они помчатся в отряд, чтобы поднять тревогу, предупредить о возможном нападении.

Но Драгош вдруг начал стрелять и бросать гранаты. Как раз тогда, когда хвост колонны уже скрывался за последним поворотом в облаке пыли и уже готов был исчезнуть за скалами. Драгош начал стрелять. Обрад и Неджо растерялись. Все произошло в мгновение ока. Они тоже стали бросать гранаты и стрелять в солдат, которые бегом возвращались обратно.

«Все остальное промелькнуло как во сне!» — пытается вспомнить Обрад. В сущности, он помнил все, но ни одно из мгновений ему не удавалось остановить, чтобы всмотреться, выяснить, почему все произошло именно так, а не иначе.

Снова перед его глазами встала, кто знает, в который раз, картина: немцы в панике бегут. На дорогу падают убитые.

— Во всяком случае, они не ожидали нашего нападения! — с таким же довольным видом заявляет Драгош.

— Мы их застигли врасплох, но они все-таки быстро развернулись в цепь,— замечает Обрад.

— Не так уж и быстро! Им потребовалось время, чтобы рассредоточиться. Вся колонна была остановлена! Смята и рассеяна! — улыбаясь, вспоминает Драгош.

Неджо смотрит на него, и в это мгновение ему кажется, что нельзя, непозволительно укорять Драгоша.

— Но почему ты стрелял? Это что, нервы? Я по себе знаю, часто по ночам, на посту, мне безумно хотелось стрелять по черным деревьям в темноте...

Драгош хмурится, испытующе всматривается в Неджо. Его задело это предположение о нервном срыве, о минуте слабости.

— Я сделал это сознательно! — говорит он, подчеркивая каждое слово.

— Но мы все еще могли скрыться! — настаивает Обрад.

— Тогда уже было поздно!— отвечает Драгош.

— А может, и нет! — Обрад не сдается.— Неджо и я, мы уже поднялись, чтобы отойти, а ты все лежал на камнях и без передышки палил по дороге!

В самом деле, Драгош все стрелял да стрелял. Неджо и Обрад напрасно звали его, снова и снова возвращались к нему, тянули за рукав, поднимались и вновь падали на землю рядом с ним, принимали огонь

на себя и брали на мушку солдат, пытающихся приблизиться под прикрытием камней и кустарника.

Поначалу немцы не понимали, откуда ведется огонь, но потом, когда обнаружили засаду, начали обходить Драгоша, Неджо и Обрада широким полукругом.

Обраду казалось, что еще и тогда можно было бы найти выход из этого вялого и нерешительного окружения. Немцы наступали медленно, боясь попасться в ловушку.

Только тогда Обрад, Неджо и Драгош начали отступать.

— Когда ты крикнул: «К ручью!», я, не думая, помчался за тобой. Думать я начал потом, когда мы глубоко залезли в этот овраг и когда выстрелы раздались совсем близко. Тогда мне стало ясно, что мы выбрали самый безнадежный путь. Мы угодили в мышеловку! — восклицает Обрад, теряя самообладание.

— Я это хорошо помню! — подтверждает Неджо.— Сквозь заросли мы добежали до оврага. Над ним из-за каждого камня в нас было направлено дуло. Нас остановил голос немецкого офицера.

— Вот тогда уже некуда было ни стрелять, ни бежать...— заключает Обрад.

— Может, было бы лучше, если бы они нас там изрешетили своими пулеметами! — говорит Неджо.

— Что-то мне помешало броситься в сторону...— Обрад раскидывает руки, словно и впрямь просит прощения за эту минуту малодушия.

Но Драгош воспринимает это иначе:

— Не было выхода! Я знал это!

— Какой-то страх сковал мои ноги и руки. Через мгновение они появились, и я был схвачен. Все произошло молниеносно. Даже сознания не потерял...— говорит Неджо.

— Ошибаешься. Это длилось долго...— Драгош впервые решает сказать все до конца.

— Ну и пусть! Разве из-за получаса глупой перестрелки надо погибать?

Обраду никто не отвечает, а Неджо продолжает свою мысль, словно споря с самим собой, словно обвиняя себя:

— Из всего, что произошло, я запомнил немногое. Помню, как за мгновение до того, как нам начали вязать руки, Драгош поглядел на часы и улыбнулся. Этот бессознательный жест выглядел глупо и бессмысленно, как и наше сопротивление.

— Я хочу вам сказать: я никого не обвиняю! Когда я пошел в отряд, я знал, что отвечаю и за чужие ошибки. Так всегда бывает. Ну и пусть!

Похоже, что Обрад пытается успокоить Драгоша, который шагает от стены к стене, ударяясь на ходу о нары. Обрад не любит смотреть на людей нервничающих и испуганных, не знающих, что с собой делать. Он думает: «Надо кончать эти разговоры. Только обманываем себя этим или травим друг друга и обижаемся, а тут можно и такое ляпнуть, чего и думать не думаешь».

Но Драгош выпрямляется, поворачивается к ним и произносит с вызовом:

— Не было выбора! Этот овраг был единственным выходом!

— Вот мы и пошли по нему, прямо на расстрел! — не выдерживает Неджо.

— Я никогда не боялся смерти! — говорит Обрад.— Но мне больно, что я так глупо умру. Я стою здесь, униженный, беспомощный... А я шел воевать, чтобы изменить мир! И такой обман!

Солнце, отражаясь от побеленных стен, уже играло на потолке.

— Рассвело! — произносит Неджо. И думает, что это, вероятно, в последний раз.

Об этом же подумал и Обрад. И еще он подумал, что им осталось самое большое час, два, а может, и того меньше.

— Придут, вызовут двоих! Кого? Тебя? Меня? — Неджо сурово переводит взгляд с одного на другого. Взгляд останавливается на Обраде.

— Единственное, что я могу сделать,— откликнуться, когда назовут мое имя,— отвечает Обрад.

Драгош останавливается, он стоит между Неджо и Обрадом, замечает, что им это неприятно. И тогда решается:

— Умрем, словно мы в отряде! Я знаю, вам будет тяжело это понять, но все, что с нами произошло, было предусмотрено...

— Что предусмотрено? — вспыхивает Обрад.—Войти в ущелье, из которого нет выхода? Самим отправиться на расстрел?

Драгош утвердительно кивает головой. Неджо и Обрад обмениваются взглядами.

— Зачем? — спрашивает Неджо.

— Зачем? Я тоже хочу знать,— присоединяется Обрад.

Горчин поднимается с нар, на которых все это время сидел сгорбившись. Направляется к двери, останавливается.

— Слышите?

Все вздрагивают. Прислушиваются. Обрад подбегает к двери.

В коридоре слышны шаги. Они приближаются. Стихают перед дверью. Звенят ключи.

Заключенные молчат. Горчин шаг за шагом отступает от двери, пока не приближается к Драгошу. Тот обнимает его за плечи.

Пока замок щелкает и скрипит, Обрад поворачивается к остальным, произносит тихо, но гневно:

— Жаль, что я не умею петь!

Дверь открывается. На мгновение ее проем пуст — просто черная дыра, в которой угадываются стены коридора, кажущиеся совсем близкими. В эту дыру грубо вталкивают человека. Он с трудом удерживается на ногах, смешно размахивая руками и извиваясь всем телом, чтобы сохранить равновесие, и только тогда выпрямляется. На секунду обитатели камеры отводят от него взгляды,— дверь с грохотом захлопывается, и внимание опять возвращается к вновь прибывшему.

За запертой дверью еще слышны шаги, они удаляются, стихают в глубине коридора. Когда они совсем стихают, человек поворачивается, недоверчиво рассматривает людей вокруг себя. Похоже, ему кажется, будто они в худшем положении, чем он сам, ибо спустя какое-то время он свободно делает несколько шагов по камере, с одинаковым вниманием разглядывая и людей, и само помещение. Потом останавливается и говорит грубо и сухо:

— Я Отелло...

Ему никто не отвечает.

— А вы политические, что ли?

Драгош, Неджо и Обрад переглядываются.

— Были...— отвечает Обрад.

Отелло направляется к пустым нарам, пальцем указывает на них:

— Это чье место?

— Ничье...— Горчин стоит к нему ближе других.

— Отлично! Будет мое! И никто не смеет садиться на него! Я не люблю коммунистов. Политические все испортили... Внесли беспорядок в тюрьму... Раньше каждый знал, как жизнь течет...

Отелло располагается на нарах, положив руки под голову. С удовольствием потягивается. Видно, что он ерзает нарочно, что ему нравится слушать, как скрипят доски. Ему это доставляет наслаждение.

— Эх, нравится мне, что я живой! — произносит он с некоторым вызовом.

Неджо усмехается:

— Давно в тюрьме?

Отелло не удивляет вопрос. Он раздумывает, что сказать, поглядывает на Горчина, прикидывает:

— Пожалуй, с тех пор, как этот вот родился... Двенадцать лет.

Сердито спрашивает у Горчина:

— Почему не говоришь, как тебя зовут?

— Горчин...— отвечает мальчик.

— Хорошее имя! Крестный не ошибся!

Обрад разглядывает Отелло. Пожалуй, с этим человеком можно поговорить.

— Ты за что в тюрьме?

Отелло смеривает Обрада оценивающим взглядом. Обрад выдерживает этот взгляд, и Отелло, откинувшись к стене, глядя на потолок, отвечает равнодушно:

— Жену убил!

Заключенные переглядываются.

— За что?

Отелло приподнимается на локтях.

— Это ты меня допрашиваешь или так просто?...

— Так просто. Чтобы время скоротать...

Молчание. Кажется, что разговор прервался. Вдруг Отелло продолжает:

— Она мне с хозяином изменяла!

Тяжесть этих слов Драгош пытается смягчить каким-то естественным вопросом:

— А что ты делал?

— Когда что делал? — Отелло не понимает вопроса.

— Раньше...— Драгош произносит это неопределенно, чувствуется, что ему хочется завести разговор о какой-то другой жизни, что за тюремными стенами и решетками.

— Ты думаешь, до того, как убил?

— Ну да, до тюрьмы...— Драгош словно ощущает облегчение от того, что они наконец добрались до какого-то другого времени.

— Кто же это запомнит, чем я занимался двенадцать лет назад... Всем понемногу. Но больше всего я страдал и пил. Страдал из-за жены, пил из-за себя...

— А что стало с хозяином? — вмешивается Неджо.

— Я и его хотел убить, но он сбежал через окно. Потом ему было легко: он спрятался за своими деньгами и адвокатами, они меня и заперли сюда... И еще кричали, что я должен их благодарить, что я мог бы и головы лишиться... Вот так я заработал только двадцать лет... Двенадцать уже прошло...

— И все двенадцать лет ты в этой тюрьме? — с недоверием и удивлением спрашивает Обрад.

— Ух, до чего же ты... А ты бы мог двенадцать лет торчать на одном месте? — и чуть примирительнее:— Поначалу меня возили из тюрьмы в тюрьму, пока я не привык... Вернее, пока им не надоело. А в этой я уже шесть лет...

Обрад наклоняется к Отелло.

— И никогда не пытался бежать?

Голос Обрада становится тише, доверительнее.

— Нет!

— Неужели ты никогда не думал о побеге? — не отступает Обрад.

Отелло задумывается, колеблется — стоит ли отвечать, ему кажется, что это могут воспринять как его слабость, и все-таки он не выдерживает:

— Вначале иногда хотелось... Чтобы себя показать... Чтобы за женщинами немного побегать... А потом прошло...

Молчание. Каждый погружен в свои мысли. Драгош чувствует,

что это разделяет их, что это все больше увеличивает пропасть между ними. Чтобы помешать этому, он спрашивает:

— Кто тебе дал такое имя, Отелло?

Отелло улыбается. Приятное воспоминание отражается в этой его улыбке.

— Один политический, как и вы. Неплохой был человек, только подслеповатый, без очков даже ложки не видел!

— А раньше как тебя звали? — спрашивает Обрад.

— Ниша — мое было имя,— сделавшись серьезным, не сразу отвечает Отелло.

— Я слышал, когда война началась, все тюрьмы открыли!— Неджо продолжает разговор, чтобы снова не наступила гнетущая тишина.

— Да, было такое...— неохотно отвечает Отелло.

— И эту? — не отстает Неджо.

— И эту!— после некоторого колебания подтверждает Отелло.

— Надолго? — Неджо напряженно ждет ответа, словно от него зависит нечто очень важное.

— Семь дней все двери были открыты, все камеры... Все разбежались. Сначала, говорят, политические, чтобы поднять бунт!..— Отелло, решив, что сказал все, чего ждали от него, поворачивается к стене.

— А ты? — не отстает Обрад.

— Что я? — Отелло бросает на окружающих взгляд через плечо.— Меня звали, но я не захотел...

— И не ушел?— недоверчиво спрашивает Обрад.

— А куда? — отмахивается Отелло.

— Почему ты не ушел, Отелло? — укоризненно говорит Драгош.

Интонация этого вопроса такова, что отвертеться от ответа Отелло не удается, как бы ему ни хотелось. Он чувствует это. Садится на нарах, несколько мгновений внимательно смотрит на Драгоша, а потом произносит, привалившись к стене:

— А мне и здесь хорошо! И мне все равно, идет война или нет ее... И кончится война, а я все равно останусь в тюрьме...— Он умолкает на миг, словно задумавшись.— А может, и лучше было бы, чтобы она побыстрее закончилась,— и здесь свободнее будет...

— Будет свободнее. С каждым днем нас все меньше...— говорит Неджо.

— Это ты так думаешь! Вас с каждым днем все больше! — Отелло возвышает голос до крика.

Молчание. Теперь Отелло кажется, что он напрасно прервал разговор, и он произносит:

— А правда, что про вас говорят, будто вы устраиваете революции, так как у вас душа не лежит к честному труду?

— Тебе морочили голову, Отелло! — говорит Драгош.

— Не знаю... И тебе не верю, и тем, кто мне об этом рассказывал... А вы, что вам ни скажи, всегда клянетесь вашим Лениным... А этот малец,— Отелло показывает на Горчина,— он тоже политический?

— Да! — подтвердил Неджо.

— Кто бы мог подумать! Вот, о вас никогда ничего неизвестно. Вообще-то в тюрьме легко можно узнать — карманник ли, картежник ли, вор или убийца...

— А как ты их узнаешь? — спрашивает Драгош.

— По рылу! — смеется Отелло.

— Как это — по рылу?

— Очень просто. Вот, погляди на мое — по нему видать, что другие о него кулаки разбивали...— Говоря это, Отелло не отрывает глаз от Горчина. Видно, что ни по лицу, ни по поведению он не может определить его вину. Поэтому спрашивает:

— За что тебя засадили, малый?

— Кто-то из нашего класса во время перемены запер в уборной учителя немецкого...

Отелло громко смеется:

— Хорошая шутка. И что дальше?

— Пришли солдаты, окружили школу и весь класс погрузили в машины...— отвечает Горчин.

Отелло перестает смеяться.

— За что? Из-за уборной?

— Учитель был немец! — объясняет Горчин.

— Ну и что? — Отелло начинает злиться.— А дальше?

— Потом нас развезли по тюрьмам. Некоторых, что постарше, отправили в концлагерь. Двое умерли еще в первые дни...

Отелло, совсем расстроившись, кричит:

— А какого черта вы заперли этого дурацкого учителя?

— В тот день полкласса не сделало домашнее задание...

Огорченный Отелло замолчал. Обрад долго не решается спросить его:

— А почему тебя перевели к нам?

— Вам что, тесно? — Плохое настроение не оставляет Отелло.

— Нет, Отелло! — миролюбиво отвечает Обрад,— только ты нам число нарушаешь...

— Какое число?

— Каждое утро отсюда уводят по двое на расстрел. Мы уже примирились с мыслью, что с утра надо быть готовым! А теперь ты у нас пятый — число нарушаешь...— Обрад остановился прямо перед Отелло, заглянул ему в глаза.

Отелло приподнялся, взгляд его заметался от одного к другому, словно надеясь встретить чью-то улыбку, которая объяснит, что все это шутка, какая-то тюремная игра, сквозь которую новичок обязан пройти, чтобы остаться в дураках и тем самым сразу же занять в камере последнее место. Но улыбки не было, и взгляд Отелло вернулся к Обраду.

— Говоришь, вас расстреляют?

— Двоих прямо сейчас! — Неджо начинает шнуровать башмаки, словно собираясь на длительную прогулку.

— И этого малыша? — Отелло еще не может поверить.

— И малыша...— отзывается Драгош.

— Каждый день по двое. Сегодня и ты можешь быть одним из них...— Обраду кажется, что и этот разговор закончен совсем не так, как ему хотелось бы, слишком мрачно.

Но Отелло вскакивает, отодвигается от остальных, словно не хочет ни случайным прикосновением, ни даже присутствием своим иметь ничего общего с этими людьми, которых так неожиданно, можно сказать, внезапно встретил и которые ему на первый взгляд показались даже приятными.

— Не выйдет! Меня сюда перевели в наказание. И как рассветет, я знаю, меня вернут в старую камеру.

— Эта камера в тюрьме — последняя. Из нее только на расстрел и выходят! — грубо говорит Обрад. Теперь и он жалеет, что этот человек появился среди них, нарушил установившееся равновесие и сразу расстроил некий порядок, который удерживался до его появления.

— Ты меня не испугаешь! Со мной это не пройдет! Двенадцать лет меня наказывают, переводят из одиночки в одиночку за любую мелочь. Сломить меня хотят! — Отелло не сдается, но выглядит при этом неуверенно и испуганно.

Драгош, желая его успокоить, спрашивает:

— Почему тебя перевели к нам?

Но Отелло не замечает миролюбия в его голосе.

— Не для того же, чтобы я с вами разговаривал о политике. Мне

этого не надо. За эти двенадцать лет я много чему научился. Я теперь сам по себе, мне никто не нужен, я все сам могу! И меня не интересует, кто что делает... Какой-то дурак-офицер велел перевести меня к вам за то, что я отказался подслушивать, что в камерах говорят... Потому я и здесь! Я вам мешаю, что ли?

— Не мешаешь ты нам... Жаль только...— Драгош снова пытается успокоить Отелло.

— Ничего вам меня не жаль! О себе заботьтесь! Мне вас не жалко! Какое мне дело, почему вы здесь!

— Мы бы тебе и ответить не могли! — вмешивается Неджо.

— А кота за хвост потянуть могли бы? — зло оскаливается Отелло.

— Могли бы! Если бы ухватили, могли бы. А сейчас вот не знаем почему...— Смирившись с судьбой, Обрад разводит руками.

Драгош смотрит на него, поднимается со своих нар, останавливается у окна, глядит на светлое небо. После долгого молчания он наконец решается:

— Я думал, вы забыли о нашем разговоре...

— Разве его забудешь? — удивляется Обрад.

Неджо подходит к Драгошу.

— У моего отца нет никого, кроме меня. Всю жизнь он маялся, чтобы сделать из меня человека. В ту ночь, когда я сказал ему, что ухожу в отряд, он не спал. Встал, сел рядом со мной. На прощание сказал: «В Священном писании говорится: великие не всегда умны, и старики не всегда знают, что есть истина!.. Вот и я стар, а ты умнее меня. Иди, если думаешь, что это твой путь, только не раскаивайся и не возвращайся». Эти слова я и сейчас слышу. Поэтому я и хочу знать, тем ли путем мы шли, Драгош?

Драгош молчит. Отелло успокоился. Сейчас он думает, что самое время вступить в разговор, чтобы эти люди не подумали, что он уж совсем их сторонится.

— Правда никому в тюрьме не помогает! — произносит он, но никто не обращает на него внимания.

Между тем Обрад подходит к Драгошу.

— А я хочу знать, о чем думать в ту минуту, когда в нас будут стрелять. Я боюсь жалкой смерти...

— И я немного боюсь! — признается Драгош.— Я потому и не завел этой ночью часы. Чтобы не знать, насколько смерть близка. Но я не стыжусь...

— Я знал, что тут что-то не так, что это опять какой-то твой фокус...— с горечью усмехается Неджо.— Но времени ты своими часами не остановил...

— Всю ночь не могу глаз сомкнуть. Боюсь, что время пройдет быстрее! — говорит Обрад.

— Смыкай не смыкай, а время проходит... Тяжелее всего сначала — когда в первый раз сомкнешь веки...— Отелло пытается шутить.

— Мой отец никогда не узнает, как я умер. А ведь верил, что знаю, куда иду! — задумчиво произносит Неджо.

— Часто говорят: борьба только начинается! А для нас ее конец пришел быстро! — говорит Обрад Драгошу.

— Эгоисты мы, если боролись только за то, чтобы остаться живыми до победы! — отвечает ему Драгош.

— Господи боже мой, сколько вы болтаете!— Отелло больше не может слушать.— А когда тюрьмы открыли, политические первыми бросились к дверям...

— Как жаль, что я не погиб в бою... Тысячу раз мог бы это сделать. Только встать во весь рост и подставить грудь пулям! — Обрада не перестает терзать мысль о бессмысленной смерти.

К нему присоединяется Неджо. Правда, говорит не так серьезно, но с заметной горечью:

— Мы тогда мечтали, как однажды закончим войну и целый месяц будем пить, горланить песни, какие только есть на свете!

— А сейчас я даже пошевелиться не смогу, чтобы бороться до последнего. Завяжут нам глаза, свяжут руки и будут в нас стрелять...— Обрад прислоняется к стене, словно в ожидании этих выстрелов.

— А может, нас еще живыми бросят в могилу, чтобы мы умирали в смраде и гнили! — добавляет Неджо.

— И это есть та великая революция? — выкрикивает Обрад, словно желая, чтобы его услышали все, а больше всего Драгош, чтобы Драгош повернулся к нему и размотал, наконец, тот клубок молчания, который тянется вот уже сколько дней.

Этот могучий голос наполняет камеру, он задевает и Отелло, и тот поднимается с нар, словно в ожидании чего-то, а когда ничего не происходит, произносит:

— Ей-богу, с вами никогда нет покоя! Всегда одни громкие слова: произносите речи, препираетесь... И странно — никогда не видел, чтобы политические подрались друг с другом...

— Ну хорошо...— Драгош поворачивается к Обраду.— Ты искал слова, которые бы все объяснили... Но я не могу их вспомнить, точно так же, как название той улочки!

Обрад совсем теряется:

— К чертям, ты опять за свои сказки. Надоело, Драгош!

— Вот видишь, за такие слова у настоящих каторжников давно бы трещали кости! — снова пытается вмешаться Отелло.

— Нам суждено умереть вместе! Ладно! — говорит Неджо.— Но знай, Драгош, кроме этого суда есть еще один — а перед Обрадом и мною ты еще не отчитался...

Драгош смотрит на них, понимая, что пришло время сказать всю правду. И хотя он долго колеблется, все же решается:

— Ладно! Нас послали на смерть!

— Нигде так не врут, и по-крупному, как в тюрьме! — снова замечает Отелло, но никто не обращает на него внимания.

— И это все, что ты можешь нам сказать? — ледяным тоном спрашивает Обрад.

Тот в подтверждение кивает головой:

— Нас принесли в жертву!

— Зачем?

— Три сотни человеческих жизней стоят много больше, чем три...— тихо говорит Драгош.

— Не философствуй, Драгош! — прерывает его Неджо.

— Вот это и есть та правда, которой вы добиваетесь. Нас, как приманку, подвесили над дорогой! — Драгош разводит руками, словно ему нечего больше сказать.

Неджо вздрагивает:

— Значит, мы ждали, пока нас немцы обнаружат?

— Так точно! — подтверждает Драгош.— И я сам помог им, когда начал стрелять...

— Но ты все еще не сказал зачем,— настаивает Обрад.

— Все тебе разжевывать надо! — посмеивается Отелло.— Коли он тебе все расскажет, станешь больно умный, а это не годится...

Отелло вдруг пожалел, что сказал это. Он видит — они не слышат его, не обращают на него внимания. Смотрят друг на друга, и он для них больше не существует.

— Вы не забыли, что творилось в ту ночь у нас в лагере?..— Драгош пытается напомнить, но Обрад и Неджо и сами отлично помнят последние дни и ночи в лагере, которые врезались им в память и так и стоят перед глазами.

— Это было из-за раненых,— говорит Обрад.

— Да, раненых было много. И тяжелых тоже...— соглашается Драгош.

— Мой брат был среди них! — Обрад тем самым подтверждает истинность того, о чем говорит.

И это надо было сделать, ибо только сейчас Драгош чувствует, что может продолжить:

— Положение было тяжелое. Мы оказались между двумя дорогами. Достаточно было окружить гору, и мы в ловушке. Немцы, судя по всему, знали об этом, и в городе специальные подразделения уже готовились на рассвете двинуться к нашему госпиталю.

— Это тот полк, на который мы напали? — спрашивает Неджо.

— Да,— подтверждает Драгош.— Наши разведчики это обнаружили, и ночью один из них пробрался из города и сообщил отряду о движении немецких войск... Было принято решение о срочной эвакуации, но этого было недостаточно. Товарищи подсчитали, что госпиталь окажется в безопасном месте не ранее семи часов утра. А до этого еще было целых восемь часов...

— Мы пошли в дозор около полуночи,— говорит Обрад.

— Сразу после одиннадцати... Впереди было еще семь с половиной решающих часов...

— Почему ты не сказал об этом тогда? — спрашивает Неджо.

— Была все-таки надежда на благополучный исход...— отвечает Драгош.

— Ты думал, что немцы не появятся раньше семи утра? — спрашивает Неджо.

— Именно так! — подтверждает Драгош.— Но это была слабая надежда... И все-таки я надеялся и молчал. Вы всю ночь курили и разговаривали, а я молчал, исподтишка поглядывал на часы и считал минуты... Наверное, я боялся...

Разговор теперь более спокойный, и Отелло кажется, что он снова может принять в нем участие:

— Не верю я в это. Глупости все... Вы всегда норовите головой об стену!

Ему никто не отвечает. Обрад раздумывает, затем уточняет:

— Но ведь немцы появились, когда уже рассвело...

Драгош подтверждает:

— Мы увидели колонну примерно в полшестого. Я считал про себя и предчувствовал беду. Они добрались до нас менее чем за час, напали мы на них около половины седьмого, если хочешь, в шесть часов двадцать четыре минуты... Тогда я еще считал...— усмехается Драгош.— Как видите, я не нынешней ночью начал считать минуты...

— Значит, их надо было задержать еще на полчаса? — спрашивает Неджо.

— Удалось ли? — Обрад не ждет ответа.

— Как не удалось? Удалось! Разве вы не видите, где находитесь...— острит Отелло.

К его большому удивлению, на этот раз все трое смеются его остроте. Это смущает его, и он замолкает.

— Я тогда еще не был уверен, успеем ли,— говорит Драгош.— Поэтому надо было увеличить расстояние между немецкой колонной и нашими. Я подумал в это мгновение: так звери спасают своих детенышей — это самый естественный закон защиты. И мы увели погоню в противоположную сторону... К нашему несчастью, из этого оврага не было выхода. Но что поделаешь: мы в него уже вошли... Что было дальше, вы знаете!

— Значит, ты не случайно посмотрел на часы, когда нас схватили? Сколько было времени? — нетерпеливо спрашивает Обрад.

Драгош усмехается:

— Восьмой час... Семь часов тринадцать минут... Извини, что я так говорю, я знаю, тебя всегда раздражало, когда я точно указывал минуты, а не так, к примеру, четверть или половина восьмого...

Отелло, чувствуя, что разговор стал уже совсем сердечным, дружеским, пытается непринужденно включиться в него: он смеется.

— Здорово вы их! И из-за этого вас расстреляют, да?

Ему снова не отвечают. Молчание.

Из коридора слышатся приближающиеся шаги. Стучат подковки. Шаги все ближе. Теперь слышны и голоса, звяканье ключей у двери.

Драгош заводит часы. Поднимает голову.

— Значит, восемь...

Со скрипом открывается дверь. В проеме офицер тюремной стражи. Он обводит взглядом заключенных, пересчитывает их пальцем, о чем-то раздумывает.

— Пять...— Он опять что-то прикидывает в уме, потом говорит:— Двое из вас пусть приготовятся. Через десять минут они пойдут с колонной заключенных, которые будут обменены на немецких офицеров...

Он направляется к выходу, еще раз поворачивается к неподвижным обитателям камеры, цедит сквозь зубы:

— Счастливчики...— и уже намеревается выйти. Но вопрос Обрада останавливает его в дверях:

— Кто двое?

Офицер иронически усмехается:

— Сами определите... Партизаны прислали список, но большинство из тех, кого они требуют, уже расстреляны... Впрочем, кто вообще знает ваши имена... Итак, через десять минут двое! Половина им, половина нам. Разве это не по справедливости?

Он громко хохочет и, уходя, хлопает дверью.

Тишина в камере. Все молчат. Посматривают друг на друга испытующе. Никто не решается заговорить первым, понимая, что это слово может иметь особый вес.

Первым отзывается Отелло. Говорит грубо и резко:

— Давайте, пусть двое собираются!

Никто не отвечает, никто не трогается.

— Ну, чего ждете? — удивляется Отелло.— Трудно решиться? Ладно, хорошо, я человек нейтральный...

Отелло ломает спички, прячет руки за спину.

Драгош, видя это, говорит:

— Меня не считай, я не играю!

— Ты что, не веришь? — обижается Отелло.— Знай, я никогда не жульничаю...

Никто не отвечает ему, продолжая молчать, не двигаясь.

Отелло ждет, нелепо держа перед собой вытянутый кулак, в котором он сжимает головки спичек.

— Быстрей думайте, парни! Время идет! Вам двери открыли, а вы бежать не хотите... Меня ругали, а сейчас сами не решаетесь...

Он обращается к Драгошу:

— Ты их лучше знаешь. Я слышал, ты им был начальник! Назначь двоих!

Драгош молчит. Отелло наступает на него:

— Давай укажи пальцем двоих!

Драгош смотрит на Отелло, потом спокойно произносит:

— Нет у меня на это права, Отелло...— затем поворачивается к Неджо и Обраду:— Я тогда не сказал вам, что мы идем на гибель! Если бы сказал, может, кто и смог бы спастись. Сейчас говорю вам: отсюда выходят на смерть. Это должно было уже произойти в любой день на рассвете. Нам продлили жизнь, только ненадолго. Поэтому не мешкайте... Это я вам должен был сказать...

Неджо прерывает его:

— Ничего ты не должен, Драгош! Я остаюсь, пусть идут Горчин и Обрад.

— Э, нет, я не иду!— вскакивает Обрад.— Я себе иначе представлял, как выйду на свободу. Я думал, что сам ее завоюю, что уйду из-под расстрела, прямо из-под ружей... И я смог бы, клянусь вам, но я не хочу, чтобы меня обменивали...

— Кто-то должен идти! — говорит Драгош.

— Прямая дорога привела меня сюда. Возвращаться было бы не по-мужски! — усмехается Неджо.

— В первый раз тебе говорю, Драгош, ты мной не командуй! — Обрад подходит к Драгошу.— Здесь ты больше не комиссар, ты такой же смертник, как и я. Впрочем, я вообще единственный, у кого была причина умирать за госпиталь...

— У всех были причины! — прерывает его Неджо.— И это хорошо. Я раньше боялся, потому что не знал, в чем причина... Видите, я на войне часто боялся. Пусть мы недолго воевали, но я натерпелся страху...— Он снова усмехается.— А сейчас мне это кажется смешным. Говорят, человек боится только неизвестности...

— Ну ладно, об одной вещи я вам еще не сказал! — Драгош смотрит им прямо в глаза.— Как задержать вражескую колонну — это был мой план. В отряде считали, что мы просто идем в разведку, а я выдумал все остальное, то, чего от нас никто в отряде не требовал...

Обрад добродушно похлопывает Драгоша по плечу:

— Опять ты пытаешься нас обмануть, Драгош... Брось свои сказки! Лучше поройся в карманах, может, где завалялась крошка табаку — очень хочется курить...

— Ответьте: имел ли я право распоряжаться вашей жизнью? Разве не для того мы пошли воевать, чтобы каждый стал хозяином своей судьбы? Кто дал мне право приносить в жертву две чужие жизни?

— Три, Драгош! — поправляет Неджо.— Ты и свою считай... А вообще, кто из нас не имел на это права? Мне это ясно. И я не понимаю, что ты еще пытаешься мне объяснить?

— Я злоупотребил вашим доверием!

Обрад задумывается.

— Может, в этих списках, что из отряда пришли, именно тебя и ищут? Ты ведь комиссар, я думаю, ты есть в списке!

— Я такой же смертник, как и ты! — отвечает Драгош.— Вы спрашивали меня, почему я молчал? Я не сказал вам правду. А сейчас отвечу: вовсе не потому, что я верил в эту ничтожную возможность спасения. Впрочем, об этом и вы могли догадываться. Я боялся и ничего не говорил, потому что сомневался в вас. Я не верил, что вы найдете в себе силы выдержать. Я думал, можете поддаться панике... Я очень боялся! И если бы ночь была длиннее, я, наверное, не выдержал бы, сбежал бы... Никогда до той ночи я не думал, что буду сидеть и ждать смерти... Чем быстрее кончалась ночь, тем больше я в вас сомневался... Вы разговаривали, курили, а я думал: «Хорошо, что я им ничего не сказал. Они струсили бы, бросили бы меня, сбежали, если бы узнали, что нас ожидает». В ту ночь я ощущал прямо-таки болезненное недоверие ко всем вам... И только лежа здесь, я понял, как обманывал вашу веру в меня. Вот это я и должен был вам сказать, вот в чем уже две ночи собираюсь признаться... Но я боялся, что вы будете меня презирать, что не простите меня. Потому-то я и оставил это на последнее утро, когда мы останемся один на один с собственными мыслями перед смертью... Перед смертью, которая нас уравняет! Вы и сами чувствовали, что я хочу вам что-то сказать. Поэтому сейчас не ждите моего решения... По отношению к вам я нарушил законы революции, в которые все мы верили...

— Есть одна вещь, которая выше любого закона, даже революционной дисциплины,— говорит Неджо.— Это закон человечности...

Разве мы боролись не за то, чтобы его осуществить? Я не забыл вечера на Звездаре, Драгош! Мы тогда говорили о человечности... Правда, тогда мы не принимали в расчет ни страх, ни колебания, ни сомнения — на войне, видишь ли, все выглядит чуточку иначе... Нет, я не хочу никуда идти отсюда!

— И я, Драгош,— говорит Обрад.— Почему не пойти Горчину с Отелло?

— Ты меня не трогай! Мне там делать нечего! — Отелло удивлен этим предложением.

Но Обрад не отступает:

— Здесь тебя еще сегодня расстрелять могут...

— Я тут ни при чем!— отрезает Отелло.— Я рыбешка мелкая, для меня и тюрьма хороша. А для вас случай двоим в живых остаться...

Обрад поворачивается к Драгошу и Неджо. Чувствуется, что он с трудом сдерживает себя:

— Не смейте мне портить этот день! И вообще, мы большего заслуживаем, чем эта торговля жизнью!

Драгош смотрит на Горчина:

— Ты готов, Горчин?

— Но я не хочу без вас! — Мальчик вот-вот расплачется.

— Так нельзя, малыш! — говорит Драгош.— Ты должен идти один. Ты уже большой, ты сможешь!

— Но я не хочу!

В коридоре слышны шаги. Они приближаются. Отелло поднимается, решительно направляется к Горчину:

— Быстрее, малыш! Беги отсюда! Ты хочешь, чтобы я тебя пинком из камеры выставил?

Неджо хочет обнять мальчика, но Отелло останавливает его.

— Не смей его целовать! Не надо, говорю!

Дверь открывается.

— Беги, малыш! Марш отсюда!— кричит Отелло.

Горчин идет. Останавливается у выхода. Глаза его полны слез. Он хочет сказать что-то, но не может, начинает плакать.

Отелло улыбается ему. Тихо по-дружески говорит:

— В следующий раз не забудь приготовить домашнее задание!

Горчин поворачивается и стремительно уходит.

В дверном проеме появляется давешний офицер.

— А второй?

— Мы остаемся! — спокойно отвечает Обрад.

Офицер с удивлением смотрит на них. Он привык к неожиданному поведению политических заключенных и быстро соглашается с таким ответом. Говорит только:

— Завтра вы все будете расстреляны...

— А я? — Отелло вскакивает со своих нар.

— И ты...— Офицер повышает голос, он рад, что хоть кто-то из этих людей сорвался.

Громко хлопает дверь. Слышно, как поворачивается ключ в замке.

Отелло еще не понимает, что происходит. Он направляется к двери, но выхода больше нет. Он поворачивается к заключенным.

— Он и меня считал?

— Да, Отелло. Я тебе говорил: отсюда выходят только на расстрел. Малышу повезло! — Обрад посмеивается.— Одного нашего за одного ихнего... А вы мне не верили...

— Они не имеют права! Меня осудили: двадцать лет строгого режима! Двенадцать я уже отсидел! — Отелло в ужасе.

Все молчат, никто не отвечает ему. Отелло напрасно ждет сочувствия, которое, может быть, сумеет подтвердить его правоту.

— Я не хочу умирать! Я не виноват! Вы в них стреляли, и они вам мстят! Это в порядке. Но я не виноват! — Он зовет на помощь, он мечется по камере, перепрыгивает через нары, не зная, что делать с собой, как найти выход из этой неожиданной и безнадежной ситуации.

— А Горчин? Он в чем виноват? А его тоже хотели расстрелять! — говорит Неджо.

— Э, нет! Это другое! — не соглашается Отелло.— Кто-то из них запер учителя в уборной... Малыш сам в этом признался! Какое мне дело, что там, за стенами, война? Какое мне дело до этого сумасшедшего мира, который только и стремится убивать. Но здесь я хочу, чтобы уважали мою независимость. Я осужден. Мне еще восемь лет выдержать, и мы квиты! Тогда я всем покажу кукиш! Всего еще восемь лет...

Отелло замолкает. Вся его сила вышла в этом неожиданном приступе ярости и беспомощности.

Все молчат. Так проходит время. Наконец раздается голос Драгоша, спокойный, как в начале ночи:

— До завтра мы будем жить, Отелло. А это значит еще почти целый день. Долгий летний день...

— Ну вот, я перестал считать. Всю ночь считал, пересчитывал минуты, а теперь перестал! — Неджо смеется, он спокоен, лицо расслабилось, уже не такое напряженное. Движения рук приобрели неожиданную плавность и мягкость.

— За день многое может произойти,— говорит Обрад,— и многое можно вспомнить...

Он долго смотрит в окно, на небо, ясное, солнечное.

— Ты завел часы в восемь, Драгош?

— Завел. Теперь нам остается только ждать!

— Сегодня будет хороший день! — говорит Обрад.

— Я бы хотел, чтобы прошел небольшой дождь,— мечтательно произносит Драгош.— Давно не было. Очень сухое это лето...

— Вероятно, будет суровая зима,— заключает Обрад.

Неджо смеется. Этот разговор успокаивает его, и он говорит:

— Драгош, я вспомнил ту улочку, о которой ты говорил. И как она называется — Козья... Я уже давно вспомнил, но не хотел тебе говорить.

— Козья! Точно! — радуется Драгош.— Как я мог забыть такое простое название?

— Как вы думаете, может у нас получиться, если мы набросимся у двери на стражников? — неожиданно спрашивает Обрад.

— Вряд ли, Обрад...— говорит Неджо.

Но Обрад не отступает:

— Я наблюдал за этим офицером, когда он входил. Я мог бы выхватить у него револьвер. Я уверен в этом... Но все равно надо попробовать придумать что-нибудь получше...

Отелло тоже успокоился, поднял голову. Обрад видит это.

— Как ты, Отелло?

Отелло грустно улыбается:

— Сидел когда-то со мной один, так он всегда отвечал: средне...

— Как это — средне? — спрашивает Обрад.

— Так. Сегодня хуже, чем вчера, а лучше, чем завтра...

— Он шутил, Отелло...— говорит Обрад.

— Нет! — Отелло качает головой.— Прошлой зимой он умер от воспаления легких. А был сильным, раньше боксером был... Плеханов его звали.

— Плеханов? — удивляется Неджо.

— Ну да!— подтверждает Отелло.— У него еще спереди было три серебряных зуба.

Молчание.

— Отелло, нет ли у тебя табаку? — спрашивает Неджо.

— Я не курю. В тюрьме надо перво-наперво от этого отказаться...

— Раньше на тех нарах лежал один, так у него всегда был табак... Его расстреляли несколько дней назад,— объясняет Неджо.

— Как вы думаете, где сейчас малыш? — после некоторой паузы спрашивает Драгош.

Никто не отвечает ему.

— Так ты говоришь, что семь часов уже прошло, когда нас схватили? — Обрад возвращается к прежнему разговору.

— Да. Было семь часов тридцать минут... Я тебя не раздражаю, Неджо? — смеется Драгош.

Неджо отмахивается, тоже смеется.

Обрад ходит от одной стены до другой, делая все бóльшие шаги. Неджо провожает его взглядом:

— Шесть туда, шесть обратно...

— У меня — пять! — говорит Обрад.

— Конечно, если ты так скачешь! — возмущается Неджо.

— Все равно. А мне так легче...— защищается Обрад.

— Почему ты так хотел вспомнить название этой улочки? — допытывается Неджо у Драгоша.

Драгош, улыбаясь, признается:

— Просто так. Мне кажется, что нигде, кроме этой улицы, я не чувствовал, как прекрасна жизнь...

— А я уже забыл, как выглядит улица,— с горечью произносит Отелло.— Когда пытаюсь вспомнить, то вижу только длинные тюремные коридоры, которые скоблю уже двенадцать лет... А теперь и этому конец... И правда, что нет худа без добра...

Он замолкает, потом обращается к Неджо:

— Ты это серьезно говорил, чтобы мне идти?

— Серьезно, Отелло,— отвечает Неджо.

— Почему? Я ведь никому не мешаю...

— Я хотел, чтобы ты ушел,— говорит Неджо.— Достаточно ты уже насиделся. Я здесь всего несколько дней, и то мне уже осточертело. А эта война, она ведь должна когда-нибудь кончиться. Видишь, Отелло, я пошел на эту войну, чтобы кто-то жил лучше. И я не уверен, что из-за этого кому-нибудь уже стало лучше. Ты был моим шансом — кому-то я мог облегчить жизнь...— смеется он.

— Но мне нечего делать на свободе,— неуверенно защищается Отелло.

— Мир полон красивых улиц, глядишь, может быть, какая-нибудь тебе и понравилась бы...— теперь смеется и Драгош.

— Неужели вы верите, что я могу жить среди людей? — Отелло с беспокойством ждет ответа.

Но вместо каких-либо мудрых слов, которые могли бы быть похожи на приговор, Обрад просто смеется.

— У тебя есть голова, руки, ноги. Ты не отличаешься от других людей...

— А вот ты отличаешься! — вдруг говорит Отелло.— Вы первые, которые считают, что и для меня возможно спасение.

Отелло вытягивает руки, рассматривает их, говорит почти про себя:

— Двенадцать лет мне говорят, что эти руки ни на что не способны! В камере у меня была консервная банка с землей. От скуки я посадил какое-то семя. Взошли зеленые стебельки, но так и не зацвели. Стражники смеялись: «Ты думаешь, что в твоих руках может вырасти цветок?» Потому-то я и не ушел, когда открылись все двери. Семь ночей я боролся с собой и не мог заснуть... Вы думаете, легко было смотреть на открытую дверь?

Все молчат. Обрад, углубившийся в свои мысли, тихо говорит:

— Спасение есть! Всегда есть спасение! Нужно только найти подходящий ключ!

Ему никто не отвечает, никто словно не слышит его. Отелло продолжает:

— Но я никогда не думал о смерти. Даже сейчас, когда вы говорили о расстреле, не верил в нее. Поэтому и не пошел. А потом, когда поверил, испугался... Но сейчас я все меньше боюсь...

— И я, Отелло,— говорит Неджо.— Я боялся всю ночь, к счастью, сейчас ночи короткие...

— Прекрасные и короткие... Это летние ночи. Как ты думаешь, Неджо, сколько в человеческой жизни летних ночей? В среднем? — спрашивает Драгош.

Неджо прикидывает:

— Не знаю, может, тысяча!

— Тысяча? Неплохо...

Неджо размышляет еще немного, быстро поправляется:

— Нет-нет! Много больше: пять-шесть тысяч!

— В самом деле? — удивляется Драгош.— А мне показалось, что и тысяча — это много...

— Я думаю,— замечает Обрад,— что и шести тысяч мало! И столько можно прожить, но надо, я уверен, найти подходящий ключ!

— Опять что-то выдумываешь? — спрашивает Неджо.

Обрад двигает пальцами, словно что-то медленно отвинчивает.

— Ищу ключик... Ведь все-таки отсюда выходят...

— Ты мог уйти с малышом! — говорит Неджо.

— Э, нет...— не соглашается Обрад.— Я другой ключ ищу...

Он заглядывает в окно, протискивает руку сквозь решетку, пока не чувствует, как кисть свободно парит вне камеры, потом выдергивает ее и нюхает.

Все молча следят за этой игрой. Только Отелло хочет о чем-то сказать и как-то стыдливо начинает:

— Я уже шесть лет в этой тюрьме...

Ему никто не отвечает.

— За шесть лет можно узнать каждый угол! — чуть громче продолжает Отелло.

— Да, шесть лет — это много!—отрешенно подтверждает Неджо.

Отелло проявляет настойчивость:

— Я знаю каждый коридор этой тюрьмы, каждую стену, каждую дверь!

Обрад вдруг поднимает голову, внимательно смотрит на Отелло. Заметив это, Отелло продолжает:

— Я лучше знаю эту тюрьму, чем ее охрана!

— Может, ты и есть тот ключик, который я ищу, Отелло? — задумывается Обрад.

Отелло кивает:

— Да. Я знаю самый верный способ убежать отсюда... Когда вы говорили о коротких летних ночах, я думал о долгих зимних вечерах, которые я провел здесь... Целых двенадцать лет заключенные рядом со мной выдумывали тысячи планов побега. Одни делали это, чтобы скоротать время, другие на самом деле хотели бежать, но я слушал всех. Там было много разных глупостей, но кое-что откладывалось в моей голове. И так, мало-помалу, почти без моего участия, во мне созрел наиболее вероятный план...

Драгош встал, Неджо — следом. Обрад во все глаза смотрит на обоих, словно сила, которая до сих пор не находила выхода, обрела наконец цель.

Отелло чувствует, что его слова очень важны для этих людей. Он чувствует, что с ними и он становится другим человеком, чем был совсем недавно, когда его, словно куль, бросили в эту камеру. Обрадованный этим, он торопится:

— Тысячу раз я проверил его в мыслях, каждую мелочь...

— Значит, мы сможем бежать? — Обрад готов немедленно приняться за дело.

— Нет, сразу не убежишь! — Отелло уже не так уверен.— Но мы можем попробовать. А вдруг сумеем? В тюрьме удобный случай, точно птица, всегда наготове, только руку протяни, но и всегда может улететь. Одной рукой ее не коснуться, а восемь рук — это уже лес, где она может и запутаться. Только надо быть очень удачлизым!

Неджо выпрямляется:

— Когда?

— Как стемнеет...— отвечает Отелло.

— Удастся ли? — Обрада мучит неизвестность.

— Все равно попробуем! — говорит Драгош. И Обрад слышит в его словах ту твердость, которой всегда верил, которая влекла его к Драгошу все эти годы.

— Может, и удастся, если очень-очень повезет! — говорит Отелло, в первый раз за много лет думая об удаче. Он убежден, что она где-то близко, что она и раньше была здесь, только он, слепец, ее не видел.

Он смотрит на Неджо, Драгоша и Обрада и уже представляет себе, как они выберутся из тюрьмы, как перед ними откроется мир, в котором они смогут по своему желанию найти приют, спрятаться от жаркого летнего солнца и дождаться вечера, чтобы со слабым дыханием ветра двинуться в горы.

◆

ЧЕРНЕНКО МИРОН МАРКОВИЧ (род. в 1931 г.)

Советский кинокритик. Кандидат искусствоведения. Автор книг и статей о кинематографе отечественном, социалистических стран и Франции. В его переводе с польского печатались сценарий известного советскому зрителю фильма «Ставка больше, чем жизнь» А. Збыха и ряд книг.

ДРИСС ШРАЙБИ

Расследование на месте

РОМАН

Перевод с французского ВАЛЕРИЯ ОРЛОВА

Достаточно одному человеческому существу в нужный миг оказаться у нас на пути. чтобы судьба наша круто переменилась.

Д. Ш.

1

Начальник полиции прибыл в деревню июльским полднем. Небо меж плоскогорьями и отрогами Атласа нестерпимо белело, пылая мириадами солнц. Начальник приехал в небольшой машине без каких-либо характерных примет вроде проблескового маячка на крыше. Он прибыл сюда с секретной миссией и желал сохранить инкогнито. Над ним высилась целая пирамида начальников, в большинстве своем не известных ему даже по фамилии. Но приказы оставались приказами. Спускаемые вниз по иерархической лестнице, они достигали его в виде безличных пометок, небрежно начертанных красным карандашом и сопровождаемых неразборчивой подписью.

Начальник остановил машину на каменистой площади посреди деревни, выключил зажигание, пальцем отлепил от шеи взмокший воротник и двинул локтем своего спутника, инспектора Али, голова которого безмятежно покоилась на передней панели.

— Проснись, — гаркнул он.

Инспектор встрепенулся, зевнул и явил начальнику свои словно запорошенные пылью глаза.

— Я не спал, начальник, — отозвался он, спросонья еле ворочая языком.— Клянусь аллахом и пророком! Я размышлял.

— Тебе бы следовало поостеречься, — категорическим тоном заявил начальник. — Лично я не размышляю. Я исполняю приказы.

© Editions du Seuil, 1981.

ДРИСС ШРАЙБИ — DRISS CHRAÏBI (род. в 1926 г.)

Марокканский писатель. Пишет на французском языке. Автор многих романов. Международная ассоциация франкоязычных писателей наградила Дрисса Шрайби Литературной премией Средиземноморской Африки. В «Иностранной литературе» напечатана его повесть «Осел» (1973, № 3). Роман «Расследование на месте», который вышел в Париже в 1981 году (Une enquête au pays. Paris. Editions du Seuil, 1981), публикуется в журнальном варианте.

Статью С. Прожогиной о творчестве Шрайби см. в ближайшем номере «ИЛ».

Инспектор промолчал.

— Следуй моим советам, не отклоняйся от них ни на шаг. Не думай, а *исполняй*,— продолжал начальник.— Только так ты сможешь обрести когда-нибудь свое место под солнцем: путем исполнения. Поверь мне, я желаю тебе добра. Не умей я исполнять, я не стал бы твоим начальником. Это ясно как день.

Инспектор, разинув рот, мотал головой под градом мудрых фраз.

— А скажи-ка мне, о чем ты тут размышлял? Могу я это узнать?

Инспектор сглотнул слюну и расплылся в широченной улыбке.

— Можешь, начальник. Это очень просто. Я как раз думал, что будь я правительством — это только так говорится, конечно...

— Конечно, — подтвердил начальник.

— ...Будь я министром или хотя бы одной из столичных шишек, я бы все это изменил. И как можно быстрей.

— Что бы ты изменил? — спросил начальник. — Что «все это»?

— Да дорогу же!

— Ах, вот как, — протянул начальник.

Он вытащил из кармана карандаш и растрепанную записную книжку в коричневом переплете, толстую, перехваченную широкой резинкой. Открывать ее он не стал — пока! Большим и указательным пальцами он рассеянно оттягивал и отпускал резинку, и та хлопала по переплету.

— Так-так, — повторил он. — Что ты хотел сказать? Какую дорогу?

— Да ничего, начальник. Совсем ничего. Просто в дороге я уснул. И мне приснился сон — знаешь, один из этих кошмаров. Это все из-за супа, понятное дело.

— Какого еще супа? — подозрительно спросил начальник.

— Сегодня утром жена не захотела вставать и готовить мне завтрак... пирожки с медом, чай с мятой, все эти тихие радости жизни. Еще только светало, и она, конечно же, дрыхла. Вот мне и пришлось разогреть себе вчерашний суп из турецкого гороха, понимаешь?

— Нет, — сказал начальник.

— Он у меня в желудке колом встал. Поездка оказалась тяжелой, всю дорогу трясло. И к тому же дьявольски жарко.

— Гм-м... — произнес начальник. — Гм-м!

Он сунул карандаш в карман и принялся обмахиваться записной книжкой — рассеянно, словно в раздумье. Лицо его все больше багровело.

— Надоела мне эта женщина, — взорвался он в конце концов. — Разводись. Гони ее в шею! Бездельница, которая только и знает, что прохлаждаться в постели, недостойна тебя, государственного служащего.

— А наши дети?

— Естественно, останутся с тобой. Она не имеет на них никаких прав. Ты их отец. Закон на твоей стороне, я тебя поддержу, ведь я твой начальник.

— Ты так считаешь? А сам-то ты женат, начальник?

— Двух жен я прогнал, они и оглянуться не успели. А третью похоронил через два года после женитьбы. Нынешние женщины уже не те, что были раньше. Цивилизация им только во вред. Теперь им подавай стиральную машину — нет, ты можешь себе это представить?

Еще долго в том же духе продолжал он свой монолог, особенно возмущаясь падением нравов, обрушиваясь на кино, противозачаточные пилюли и политику, громя нефтяных королей и русских. Он обрисовывал международную обстановку в простых, но весьма энергичных выражениях. Спустив часть паров, которые грозили его разорвать, он остановился, перевел дух и заявил:

— Долго ты еще будешь спорить? Хватит, пора приниматься за дело. Ладно. Блокнотик этот я убираю и докладывать о тебе своим на-

чальникам не буду. А ведь была минута, когда мне показалось, что ты из этих *инфектуалов*. Но теперь я все понимаю — о, как я тебя понимаю! Ты жертва матриархата.

— Да, начальник.

Инспектор выслушал своего руководителя благоговейно, как в мечети, ловя каждое его слово, не упуская ни единого жеста. Увидев, что записная книжка исчезает в кармане начальника, он заговорил:

— Очень, очень тебя благодарю, начальник. Клянусь аллахом и пророком!

— Не будем больше об этом, — прервал его начальник, внезапно пришедший в превосходное расположение духа. На его багровых щеках появились детские ямочки.

— То, о чем я тебе только что рассказывал, — это сама логика, — продолжал инспектор. — Моя жена, которая в шесть утра еще валяется в постели, этот старый суп, который колом стоит у меня в желудке, дорога, что вся в рытвинах и камнях. Все нанизывается одно к одному, как сушеные фиги на веревку, это так же верно, как два плюс три будет пять.

— Вот как?

— Да, начальник, уж это так. Если мои подсчеты верны, из города мы выехали по шикарной автостраде. Очень скоро она превратилась в обычное двухрядное шоссе, которое потом стало однорядным — поди узнай почему. И по мере того как мы оставляли все дальше за собой правительство и забирались все выше в гору, шоссе уступало место проселку, вьючной тропе с выбоинами, буграми и ямами, усеянной булыжниками и кустами вот с такими колючками. (Он показал большой палец, потом отмерил всю кисть, чтобы дать более наглядное представление.) Но мы-то с тобой не мулы, особенно ты, начальник! Улавливаешь нить?

— Улавливаю, — ответил начальник.

— Убери этот старый блокнот, — поспешно проговорил инспектор, — оставь его там, где он лежал.

— Продолжай.

— Вот я и сказал себе: будь я правительством, я не мешкая навел бы во всем этом порядок. Я собрал бы всех этих безработных, всех этих юнцов, что шляются с дисками и гитарами, всех этих ин... ин...

— *Инфектуалов!* То есть тех, кто работает головой!

— Вот-вот, начальник: всех этих повредившихся головой, чтобы заставить их собрать камни и выдрать чертополох на этом проселке и превратить его в прекрасную асфальтированную автостраду для блага нации и для того, чтобы доставить тебя сюда, в эту горную деревушку, без тряски и с комфортом, это так же верно, как два плюс четыре будет шесть. А заодно — ликвидация безработицы. Чем не гениальная идея, начальник?

И он умолк. Начальник долгое время хранил молчание, перебирая в уме все только что услышанное. Потом сказал:

— Но ведь ты не правительство, так?

— Так, начальник. Увы!

— Сейчас же забери от меня это слово! — взревел начальник.

— Какое, начальник?

— Самое последнее, что ты сказал.

— Забираю, — поспешил согласиться инспектор.

— Вот и хорошо, — продолжал начальник. — Скажи-ка мне, ты никого не знаешь в правительстве, чтобы выложить ему свою гениальную идею?

— Никого, начальник. Кроме тебя.

— Тогда послушай своего прямого начальника, то бишь меня, который сейчас находится перед тобой в плоти и крови. Прекрати мо-

лоть языком и слушай меня хорошенько: ведь у тебя, кажется, есть какие-то дипломы, если я верно припоминаю твое личное дело?

— А то как же, начальник. Справка об образовании. Я получил ее в тринадцать лет, причем без всякого труда.

— Что ж, неплохой диплом! У меня-то, естественно, аттестат. А больше у тебя ничего не имеется?

— Ну как же нет! — осклабясь, вскричал инспектор. — Я был правым крайним. Забил четырнадцать голов в сезон. Не поступи я в полицию, я играл бы в матче Марокко — Югославия, который назначен на следующее воскресенье. Футбол и диплом об образовании позволили мне быстро взлететь по служебной лестнице. А ведь некоторые мои коллеги хоть и постарше меня, а все еще меряют шагами тротуары, в любую жару при сапогах и фуражке, и вся-то их власть — пнуть ногой лоток уличного торговца без патента! Эх, клянусь аллахом и пророком, мне повезло! Я попал в привилегированные, это так же верно, как два плюс шесть будет... точно, будет восемь!

— В таком случае завяжи на двойной узел свой болтливый язык и держись за свое место среди привилегированных, крокодилья твоя башка! Не занимайся всякими дорогами и тропами. Оставь это инженерам Управления мостов и дорог и осужденным на принудительные работы. Не суйся в политику, продолжай спокойно служить в полиции. Который час?

Инспектор сверился со своими электронными часами и объявил:

— Сегодня пятница 11 июля 1980 года, и сейчас ровно полдень, 13 минут и 26 секунд.

— У меня такие же, — сказал начальник, сунув руку с часами инспектору под нос. — Только мои более усовершенствованные, они звонят. Ладно, не будем терять времени. Скажи-ка мне: это ты от кого-нибудь из задержанных получил такой роскошный подарок?

— О нет, — горячо запротестовал инспектор, — ни в коем разе. Я купил их на свое жалованье. Я знаю, что инфляция скачет резвее дикой лошади и дирхем продолжает свое свободное падение. Но я горбом заработал себе эти часы, которые никогда не надо заводить.

Начальник принялся трясти руками, словно призывая инспектора замолчать. Суставы в запястьях щелкнули с сухим треском.

— Ну вот, маленько и размялся,— с удовлетворенным смешком заметил начальник. — Мне нужно поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы благополучно завершить эту официальную миссию, которую мне доверили в высоких сферах. А я вот уже добрых три четверти часа пытаюсь наставить тебя на путь истинный. Но ты не слушаешь.

— Да я слушаю, начальник!

— Нет, не слушаешь! Ты только и знаешь, что городить чушь о дорогах и тропах. Открой же наконец уши и наведи порядок на той барахолке, которую ты носишь на плечах. Там хватает гама и хлама, хотя бы по милости твоей работящей женушки. Зачем допускать на этот базар еще и политику с бульдозерами? Сумел заработать на эти электронные часы, что у тебя на руке? Так это же хорошо, инспектор Али! Это даже очень здорово. Завтра, через год, через два ты сможешь купить себе шикарную виллу, как у начальников, со слугами и всем прочим.

Инспектор поднял палец, порываясь, видимо, то ли задать вопрос, то ли заверить, что это и его самое горячее желание, но начальник не дал ему и рта раскрыть.

— Помолчи! Послушай лучше одну историю, и пусть она послужит тебе уроком! Я расскажу тебе о моем отце. Он был, как и я, полицейским. Он охранял законы французов, резиденцию комиссара и иногда даже его частное жилище — наверно, чтобы не допустить туда москитов. У него даже пушки не было, всего-навсего маленькая дубинка. Одним словом, он служил строю французов.

— Тогда как ты, начальник, носишь пушку и служишь нашему собственному строю.

— Вот именно, — воскликнул начальник. — Наконец-то до тебя дошло! Пришла национальная независимость, и новое поколение, к которому принадлежу и я, утвердило свое человеческое достоинство. Мой отец был всего лишь охранником, рядовым шпиком без права принимать решения и нести ответственность. А у меня, его сына, в руках власть!.. Пускай частичка власти, но мне этого хватает.

Под воздействием излияний начальника инспектор не замедлил воскресить в памяти картинки собственного детства. На глаза его навернулись слезы.

— А у моего отца, — подхватил он, — была печь. Ты ведь знаешь такие общественные печи, куда хозяйки со всего квартала на дощечках приносили выпекать свои круглые хлебы.

— Хорошее было времечко! — сказал начальник, испустив вздох.

— Да, хорошее времечко, как ты говоришь, начальник. Отец не был владельцем этой печи, он был всего-навсего ее... м-м... служителем — да, так будет верней всего. Он и платы-то почти никакой не получал. За выпечку шести хлебов ему платили бронзовый су с дыркой. Глинобитная лачуга, совершенно пустая, без единой циновки — одна только печь в углу да постоянная жара. Зимой мерзнуть не приходилось. Когда отец открывал печь, можно было увидеть, куда ставишь ногу. В остальное время днем и ночью были потемки. Я как сейчас вижу лестницу в глубине лачуги — крутую, с далеко отстоящими одна от другой ступеньками. А наверху — чердачная комнатенка с двумя тюфяками. Там мы и жили. Нас, детей, было семеро плюс мать и отец, который внизу сажал в печь хлебы.

— Так что же вы в то время ели?

— Хлеб ели! Надо тебе сказать, начальник, хлебов тогда было много разных, смотря по тому, богач ты или бедняк. Были хлебы пшеничные, такие же белые и пузатые, как буржуа, которые их уписывали; были хлебы из ячменя или желудевого крахмала, такие же серые, сухие и тощие, как горемыки, которые ими кормились; ну и были вроде как промежуточные — хлебы среднего сословия.

— То было время французов! — сухо заметил начальник.

— Правда твоя, начальник. То было их время. Но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из них приходил к моему отцу. Они покупали себе хлеб во французских булочных.

— То был их колониализм, — отчеканил начальник. — То была их система угнетения, ты это знаешь не хуже меня.

— Да, ты прав, начальник. Так вот, отец всегда исхитрялся устроить так, чтобы один-два из тех толстощеких хлебов пригорали. За это богатеи, понятное дело, крыли его почем зря, а он ссылался на недостаток закваски, на излишек закваски, на черта, на дьявола, зато все это доставалось нам. И мы уписывали эти горелые хлебы за обе щеки. Их да еще те объедки, что притаскивала по вечерам мать. Она была служанкой в одном большом доме.

Начальник зевнул, похлопал по рту ладонью и сказал:

— Обрати внимание, что в наше время уже не увидишь хлебов, что замешивали бы сами хозяйки, тем более горелых. Теперь весь хлеб только фабричного производства, его продают в супермаркетах в обертке из целлофана! Бывает даже, что хлеб завозят из самой Германии! Это тебе не абы что.

— Да, начальник.

— Обрати внимание на эволюцию, которую проделала наша страна за два, от силы три поколения: у твоего отца не было ничего, а ты, его, сын, уверенно получаешь каждый месяц гарантируемый правительством чек.

— О, я вовсе не жалуюсь, начальник. Нисколечки.

— На тебе прекрасно сшитый костюм, и ты можешь позволить се-

бе приобрести часы, как у пилота авиалайнера. Ты ни в чем не нуждаешься, ты уже фигура. У тебя власть и полномочия, данные правительством. Что и говорить, времена изменились!

— Да, начальник. Мой отец расстался с жизнью, спускаясь однажды по той дряхлой лестнице. Он сломал себе шею.

— Времена изменились для *тебя!*

— Да, начальник.

— Тогда прекрати спорить. Мы уже давно прибыли на место, а ты никак не перестанешь вспоминать прошлое. К чему это все?

— Ни к чему, начальник.

— Поэтому заткнись и опусти стекло: здесь, черт возьми, просто дышать нечем.

Не успел инспектор сделать и два оборота ручки, как начальник завопил благим матом:

— Ну и пекло!

— Уж такой снаружи воздух, начальник. На дворе июль, и припекает, похоже, вовсю. Такая же жара была, помнится мне, в печи моего отца.

— Закрой это стекло сейчас же! Немедленно!

Инспектор поднял стекло и уставился на начальника. Он дал своему языку время отлежаться во рту подобно комку жевательного табака, прежде чем вновь зашевелить им, чтобы задать вопрос:

— Что будем делать?

Начальник промолчал. Он внимательно разглядывал свои ногти, словно ожидая найти там ответ. За лобовым стеклом, усеянным останками уже успевших высохнуть и затвердеть насекомых, простиралось первозданное царство, воплощение вечности: земля и солнце. Ни единой тени. Инспектор смущенно отвел взгляд от набрякших вен на шее начальника и робко заговорил:

— Если мне не изменяет память, у этих горцев не бывает ванных, они совсем не цивилизованы. У них нет даже воды. До самого горизонта не видно ни одного источника. Может быть, колодец? В таком случае он должен быть очень-очень глубоким. В это время суток он наверняка сухой, как булыжники на дороге. Сколько я ни высматривал по сторонам, я ничего не обнаружил. Две-три глинобитные лачуги, кустарники и там, высоко в *джебеле* [1], аргании, юбы [2] и несколько кедров. И это все, начальник, можешь мне поверить. По-моему, эта деревня брошена. Так что, возвращаемся? Бензина у нас пока хватает, давай же воспользуемся этим!

Начальник, словно ужаленный, крутанулся к инспектору и, наливаясь кровью, проревел:

— Будь проклята религия твоего племени!

— Я не еврей,— запротестовал инспектор, утирая забрызганное слюной начальника лицо. — Я араб, как и ты, начальник! Клянусь аллахом и пророком!

— Пролетарий вшивый! Чугунная твоя башка! И кто только подсунул мне такого инспектора! Неспособного предусмотреть... Все приходится делать самому... На что ты вообще годен? Тебе следовало разузнать все перед отъездом! Ведь существует же метеослужба! Лучше бы тебе податься в парикмахеры или в официанты, осел безмозглый!

— Все правильно, — согласился инспектор. — Один я виноват кругом. Валяй, начальник, облегчай душу. Для того я здесь и нахожусь.

— Сейчас я тебе врежу!— пригрозил начальник, потрясая кулаком.

---

[1] Джебель — гора *(арабск.) (Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Аргания — небольшое дерево семейства сапотовых, произрастающее исключительно на юге Марокко, в предгорьях Атласа. Юба — крупное плодовое дерево семейства кувшинковых.

— Врежь лучше солнцу! Ты наверняка сможешь его потушить.

— Смотри выгоню.

— Прямо сейчас, начальник? Мне можно вылезать?

— Сиди!— рявкнул начальник во всю силу легких.

Минуты три-четыре спустя, решив, что его руководитель маленько поостыл, инспектор, делая вид, будто ничего не произошло, непринужденным тоном продолжил:

— Ты всегда сможешь сказать, что вел расследование добросовестно во всех направлениях и ничего не обнаружил. Я буду твердить то же самое, хоть под присягой, я готов прямо сейчас все подписать. Эта деревня даже на карте не значится. Иначе говоря, ее просто не существует. Лучшее, что мы можем придумать, — это повернуть колеса на запад и без забот провести четыре-пять дней нашего расследования в одном из отелей на побережье, с коктейлями, бассейном, ванной комнатой, душем вволю, обильной и вкусной пищей. Командировочные нам выдали, так что с деньгами проблемы нет.

— Ты это серьезно? — осведомился начальник.

Голос его был хриплым, неподвижный взгляд буравил инспектора.

— Да нет же, ни в коем разе. Я просто шутил, чтобы провести время, что в этом плохого?

— Тогда шути во внеслужебное время — и *молча!*

— Согласен, начальник. Если я и позволил себе высказать все это вслух, то лишь для того, чтобы тебя развеселить: в этой консервной банке адская жарища и к твоим услугам нет даже самого плохонького вентилятора.

— Помолчи, ты мешаешь мне размышлять.

— Одну минутку, начальник... Я вдруг подумал вот о чем: наша миссия секретная, ведь так?

— Да, а почему ты спрашиваешь?

— Я так и думал! Мы должны проскочить незамеченными, *инкогнито.* Но в таком случае объясни: почему я в штатском, а ты в форме, в начальническом мундире? Ведь любая деревенщина распознает тебя издали.

Начальник бросил взгляд на свой обшитый галуном рукав, повертел обутой в сапог ногой, разглядывая ее. Потом расхохотался:

— Да эти крестьяне небось в жизни форму не видели. К тому же я в любом случае считаю себя обязанным всегда носить ее как символ моей власти. Я даже приготовился в случае затруднений вести допрос на французском языке. Ну да, я выдам себя за француза!

— Это с твоей-то смуглой физиономией, начальник?

— Что ты хочешь этим сказать? Ты что, не знаешь, что бывают загорелые французы?

— Почему же, начальник, бывают... конечно, бывают. Но меня беспокоит вот что — не знаю, может, это из-за остатков турецкого гороха, который никак не хочет перевариваться: интересно, понимают ли здешние горцы по-французски?

— Там видно будет, — сказал начальник. — Из-за тебя я теряю время. Ты все болтаешь, болтаешь, но не способен разродиться хоть какой-нибудь завалящей идеей. Решения здесь принимаю я, и вот они: на этой дверце есть ручка, так опусти ее вниз, и дверца откроется. Ты выходишь, открываешь багажник и достаешь оттуда наши саквояжи и мое ружье. Уловил?

— Уловил, начальник.

— И еще одолжи мне свои солнечные очки. Я верну их тебе по окончании нашей миссии.

— Охотно, начальник.

2

Человек неподвижно стоял на солнцепеке, скрестив на длинном посохе кисти рук, на которых покоился его подбородок. Возраст его,

равно как и его мысли, определить было невозможно. Перед ним, на расстоянии плевка, столь же недвижимо стоял огненно-рыжий осел с пустыми глазами и обвислым хвостом, напоминающим размочаленную пеньковую веревку; по соседству с ослом пара скелетоподобных баранов пыталась щипать твердые, как проволока, высохшие травинки. Кроме этого воспоминания о траве, вокруг не было ничего — только затвердевшая земля цвета обожженной глины да стена из необтесанного камня, огораживающая пятачок, на котором человек и его животины, казалось, и сами окаменели еще с незапамятных времен. Ни шороха ящерки, ни шелеста крыл насекомого. Вниз по тропе, протоптанной бесчисленными поколениями крестьян, — деревня с уснувшими хижинами и крохотной площадью, окаймленной булыжником. А над нею, словно мираж,— гранитная гора, увенчанная кедрами и юбами, жаждущими воды и жизни. За пределами ограды на расстоянии голоса — терновые кусты, покрытые пылью и прахом времен. От горизонта до горизонта — нисходящий с седьмого неба жар страшного суда.

Человек с посохом услышал, как тишину разорвал ревущий металлический глас; немного погодя до него донесся троекратный стук железа о железо. Теперь он улавливал позади себя шуршание ног — они царапали бок скалы, поднимались по тропинке, вторгались в его покой. Он ничего не предпринял, даже не обернулся. Ни один мускул не дрогнул на его лице, продубленном десятилетиями солнца, иссеченном ветрами пронесшихся зим. Двое людей медленно обошли его, как если бы он был пугалом или призраком, и голос сказал:

— Мы охотники. Ох, и жарко же здесь! На тебя что, не действует это треклятое солнце?

Крестьянин не дал себе труда ответить. Зачем? У него два глаза, и он на них не жалуется: у одного из этих людей за спиной ружье, значит, они охотники или вроде того. Солнце стоит где-то в небе, это очевидно. Что до него самого — нет, ему не жарко и не холодно, он в мире с самим собой, душа его далека от всякого нетерпения, и к чему тогда слова?

— Дичь здесь водится? — спросил начальник.

— Куропатки, — уточнил вопрос инспектор.

Человек беззвучно пошевелил губами, будто переводил услышанное на одному ему понятный язык, оглядел лица незваных пришельцев, их руки и ноги и только после этого бесцветным голосом отозвался:

— Куропатки?

— Да-да, куропатки,— подтвердил начальник.— Так есть они или нет?

— Где? — после некоторого размышления спросил крестьянин.

Он переминался с ноги на ногу. Ороговевшие подошвы его ног толщиной не уступали велосипедным шинам.

— Здесь, — сказал начальник.

— Есть, — произнес крестьянин.

— Где?

— Там.

— Ты не покажешь мне? — спросил начальник. На его виске пульсировала жила, толстая, как телефонный шнур.

— Ты хочешь, чтобы я показал тебе, сын?

— Да.

Внезапно крестьянин швырнул посох в сторону терновых кустов, и оттуда почти одновременно с броском грузно вылетели куропатки — пять или шесть птиц, которые на бреющем полете удалились по направлению к горе и как-то сразу исчезли за стволами юб. Потом медленно осела пыль и так же медленно воцарилась нарушенная было тишина.

— Хитро, — проговорил начальник, яростно дергая затвор ружья.

— Да, — подтвердил крестьянин. — Они хитрые, эти птахи. Тотчас же чуют опасность.

Без всякого перехода он дал своему непарнокопытному отрывистый гортанный приказ:

— Хррра!

Рыжий осел повел ушами и пустился в путь. Неспешной рысцой он направился к тому месту в стене, где был проем, преодолел его, исчез в кустарнике, затем так же степенно вернулся, держа в зубах хозяйский посох. Крестьянин взял его, порылся под длинной, цвета земли рубахой и протянул животному кусок сахару.

— Это осел или собака? — с выпученными от изумления глазами спросил инспектор.

Старик не ответил. Он поставил посох перед собой, скрестил на нем кисти рук и уткнулся в них подбородком. Это выглядело так, будто ничего не произошло, будто слова были лишены всякого смысла.

— Ты его выдрессировал?

— Он очень любит сахар. Как все старики.

И все. Время, казалось, расплавилось в лучах солнца. У обоих приехавших из города по лицу струился пот — то ли усталость, то ли бунт тела против судьбы. Тот, что был в форме, дышал ртом. Он спросил:

— Как называется эта деревня?

Слова выпадали из его рта подобно сухим булыжникам.

— Деревней, — ответил крестьянин еще более тусклым голосом.

— Да, но как ее называют?

— Деревней.

— Какое у нее название?

— Ну, тогда я не знаю.

— У нее ведь есть какое-то название? — вступил в разговор инспектор.

— Да, деревня. Так мы всегда ее называли.

— Кто это «мы»? — завопил начальник.

— Люди деревни.

— Не нервничай, начальник, — снова вмешался инспектор. — Предоставь это мне. И оставь в покое ружье... Скажи, дедушка, где живет представитель центральной власти?

— Не понимаю, — после продолжительного раздумья ответил крестьянин.

— В любом населенном пункте королевства есть представитель го-су-дар-ства, — по слогам отчеканил инспектор, как если бы он обращался к слабоумному.

Житель гор слегка приподнял подбородок и рукой отогнал от себя шум слов. Эти люди цивилизации забрались к нему в горы и вынуждают его интересоваться ими и их миром, размышлять, понимать, отвечать. Он выждал ровно столько, сколько было нужно, чтобы до поры упрятать свой покой внутрь себя, словно в укрытие, потом ответил:

— Я не знаю никого с таким именем.

— С каким еще именем? — прорычал начальник.

— *Гасу Дарства.*

И поскольку теперь он знал, что им требуется много слов, чтобы воспринять очевидное, он добавил:

— Я здесь родился, и я уже не так молод. Я не знаю никого в округе, ни женщины, ни мужчины, кто носил бы это имя: *Гасу Дарства.*

Он простер руку поочередно к четырем странам света, обведя в пустоте очертания деревни, указав на землю и небо, обители живущих и мертвых.

— Никого, — заключил он.

— Но ведь какой-то начальник имеется? Каид, например?

— Нет. Все бедняки, все одинаковы.

— Сколько в этой деревне жителей?

— Трудно сказать... Погодите-ка... Тридцать два, а может, тридцать четыре... Одни рождаются, другие умирают... Тридцать четыре или тридцать три... я имею в виду людей. Я не считаю ни осла, ни обоих баранов, которые здесь. Мулица — та, верно, где-то в *джебеле*.

— А семей много?

— Нет, семья одна. Аит Яфельманы.

— Но должен же кто-нибудь здесь распоряжаться!

— Мы все Аит Яфельманы.

— А тебя как зовут?

— Аит Яфельман. Как и остальных. Разницы нет.

— Но имя-то у тебя есть?

— А, ты хочешь сказать — то, каким меня нарекла матушка, когда я родился?.. Давно это было... очень давно!

— Так какое же оно?

— Рахо. Я дед.

— Значит, ты начальник?

— Охо, нет! Я пасу баранов. Остались только эти два. Раньше, каких-то пятнадцать — двадцать лет назад, их было целое стадо.

— Вот как?

— Да. Такова жизнь. И такова смерть.

— А чужие? Чужие в деревне есть?

— Охо, нет! Мы все братья, все друг дружку знаем. Мы одна семья, Аит Яфельманы.

— Я хочу сказать, кроме Аит Яфельманов?

Рахо поскреб в затылке, посмотрел на равнину, потом на гору.

— Люди, которые не как мы? — спросил он.

— Да-да, — сказал начальник, — чужие!

— Есть, — заключил старый крестьянин. — Люди, которые приходят, проходят и уходят. Такова их судьба. Одни спускаются с *джебеля*, другие подымаются с равнины, вот как ты и твой товарищ. Разве можно остановить ветер, когда он дует? И потом, деревня открыта, границ у нас нет.

— И никто из чужих не останавливается здесь? Хотя бы на день?

— Почему же, бывает. Но те двое гостят у нас по нескольку дней. Обычно они приходят ранней весной.

— Вот как? — воскликнул начальник. (И инспектор отозвался эхом: «Вот как?»)

— Да, — подтвердил Рахо. — Люди, хорошо одетые, вот как вы, верно, из города. Они приходят вдвоем, как ты и твой товарищ. Они никогда не бывают одними и теми же, но все они похожи друг на друга. Они являются с пустыми руками, обшаривают дома и пещеры *джебеля*. Уходят они, гоня перед собой наших животных. В последний раз они забрали козу, и теперь у нас больше нет молока. Остались только вот этот осел, эти два барана и мулица, как я вам уже говорил. Каждый раз они объясняют, что это в уплату налогов.

Начальник взглянул на инспектора, и тот ответил ему взглядом.

— Я ничего такого не видел в досье. А ты?

— И я ничего, начальник. Ни слова.

— Парням из финансового управления следовало бы немедленно предоставить нам свое досье, тотчас же, не мешкая.

— Да, начальник. Я бы сказал, они осведомлены получше нашего.

— Это дало бы солидную базу для нашей миссии. А вместо этого я вынужден барахтаться в поту и небытии!

— Да, начальник.

Крестьянин тем временем робко покашливал. Наконец он заговорил:

— Вы не могли бы сделать кое-что для нас... может, вы их знаете, этих налоговых людей? Нам больше нечего им отдавать.

— Это чужие, — с горечью в голосе сказал ему начальник. — Мы из разных ведомств.

— Но вы их, может, знаете? У одного из них такие же черные очки, как у тебя... Скажите им, чтобы они больше не приходили.

— Хорошо,— примирительным тоном сказал начальник. — Я поговорю об этом с высоким начальством, можешь на меня положиться. Это им так не пройдет! Мы еще поглядим, кто командует в этой стране. Казна или Закон!.. Утаивать относящиеся к расследованию факты!.. Чинить препятствия отправлению правосудия! Нет, каково, а? Я займусь этим сейчас же, тотчас же, немедленно!

— Прямо сейчас? — обрадовался инспектор.— Значит, мы возвращаемся?

— Нет! — прокричал начальник. — После! Сначала одно, потом другое.

Рахо слышал и улавливал общий смысл слов. Охватившее его было беспокойство начало понемногу рассеиваться — понапрасну он, видно, тревожился. И правильно он сделал, что вступил в разговор. Решительно, день сегодня выдастся удачный. Простерев руку над фуражкой начальника, он благословил его.

— Во имя всемилостивейшего господа, да снизойдет покой его в твою душу.

— Хорошо,— ответил начальник полиции,— хорошо. Гм-м!.. Мне нужно отдохнуть, дед, я валюсь с ног. Скажи-ка мне, где твой дом? Где ты живешь?

— Не дальше как здесь.

— Где именно?

Рахо окинул его быстрым взглядом, оторвал от земли ногу и поставил ее на прежнее место. Его вновь начала охватывать тревога, смутная и неотвязная, какую он ощущал всякий раз при приближении опасности.

— Прямо тут,— сказал крестьянин. — А иногда там, у стены.

— Ты спишь здесь в любую погоду?

— Да.

— Даже зимой, когда идет дождь?

— Дождь так дождь. Небесная влага полезна для зверей и людей.

— И тебе ничего не делается?

— Охо! А капюшон у меня на что? Покрываю им голову. Иногда меня зовут в дом, но там я чувствую себя как в темнице.

— А остальные? Они где живут? Где они?

— Кто?

— Другие люди племени.

— У нас семья, а не племя.

Внезапно начальник полиции без всякой видимой причины пришел в неописуемую ярость. С искаженным в злобной гримасе лицом он набросился на крестьянина, держа ружье обеими руками за ствол и потрясая им, как дубиной. Голос его прерывался от гнева, то взмывая к высотам его осмеянной этим деревенщиной власти, то падая до низин его природных инстинктов. Вместе с ним, подобно кузнечным мехам, вздымалась и опадала цивилизация, и писаный конституционный закон вновь облекался в свою изначальную устную форму:

— Высохшее старое дерьмо!.. Ты... ты сейчас... Я... я сейчас заставлю тебя проглотить остатки твоих зубов... Собачий твой отец и все твое племя!

Инспектор тотчас же вклинился между ними, вырвал из рук начальника ружье, принялся тянуть его за рукав и, пытаясь его утихомирить, на все лады повторял:

— Начальник!.. Начальник!.. Начальник!..

Он заговорил с начальником по-французски, не без оснований полагая, что этот язык подействует на того отрезвляюще, подобно ледяному душу, и возвратит его к цивилизации и разуму:

— *Начальнк! Паслушка миня! Сасем ты ачумел, начальнк!*

Спомни пра сваю афициальную мисию!.. Успокось, начальнк!.. Да успокось же!..

Обитатель гор стоял неподвижно, как скала. Из самых глубин его естества к голове волнами приливало непонимание. Он улавливал крики и слова, злобу и ярость, равно как и отчаяние, но ему никак не удавалось постичь смысл всего этого. Возможно ли, чтобы у сына Адама и Евы было столько языков во рту и столько демонов в душе?

Начальник пыхтел и отдувался, широко раскрыв рот. Ярость его мало-помалу шла на убыль. На языке Вольтера он пробурчал:

— *Чего ты там лопочешь? Или ты считаешь, что говоришь по-французски?*

— *Я говорю: остынь, шеф! Вслушайся в голос ума! Эта деревенщина — она из средневековья, не нырять же тебе в ихнюю темноту!.. Да это просто дикарь, говорю тебе, у него в башке опилки заместо мозгов!*

— *Дикарь, говоришь?* — вскричал начальник.— *А ты видел, как он надо мной изгалялся? Сучье его племя! Почему ты не дал мне его укокошить? А? Отвечай!*

— *Лады,*— ответил на это инспектор.— *Пускай ты его отстрелишь. Ружье делает «бах», и все кодло разбегается на стороны. Это же кочевники, поди-ка их споймай! А с ими и твоя фициальная миссия — фьють!*

— *Может быть, ты и прав. Хоть ты и коверкаешь слова, но ты, похоже, прав.*

— *Я прав, шеф. Пусти меня действовать, и ты поглядишь!.. Я поговорю с этим средневековым обормотом со средневековой диплуматией. Только ты не совайся, шеф!*

Инспектор повернулся к крестьянину и сказал ему:

— Дедушка... Господин Аит Яфельман... Рахо, ты, конечно, понял, что случилось с моим несчастным товарищем?

— Нет, — отозвался Рахо, по-прежнему совершенно недвижимый.

— Он устал, у него от забот голова кругом идет. А тут еще демон жары вселился в него, понимаешь?

— Аха!

— От зноя Сахары и Судана у него закипела кровь. Еще немного — и он воротился бы в средневековье. Но я охладил его кое-какими заклятиями...

— *Эй! Послушай-ка, ты!* — вскричал начальник по-французски.

— *Примолчи, шеф! Пусти меня действувать, будь я неладен! Ты портишь мне всю мою диплуматийскую работу.*

— Мне кажется, он еще не совсем опамятовался, — медленно проговорил Рахо.

— Еще немного, — сказал инспектор, — и все будет в порядке. — Он сцепил руки и проникновенным голосом добавил: — Дедушка, мы божии гости.

Выронив посох, горец с мгновенно просветлевшим взглядом шагнул к инспектору.

На его лице засияла открытая, радушная улыбка. Он обнял инспектора, поцеловал его в левое плечо и сказал:

— Добро пожаловать в деревню, сын! И товарищу твоему добро пожаловать! Гостеприимство священно.

На шее у него болталась бечевка, к которой, как оказалось, был подвешен бычий рог. Рахо взял его в руки, поднес ко рту и извлек из него две неожиданно высокие ноты, сопровождаемые отзвуком, который они породили в бескрайнем пространстве между землей и небом.

— Теперь все Аит Яфельманы предупреждены. Они ждут вас наверху. Осел вас отведет, он знает дорогу. Вы можете оба сесть на него верхом.

— Ноша будет слишком тяжела для такого тщедушного животного.

— Ха! — сказал горец.— Он делает, что может, и не делает того, чего не может. Погоди судить, пока не увидел его в деле. — И он окликнул осла.

Вздрогнув всем туловищем, от хребта до ноздрей, ослик, одно ухо которого было прижато к голове, а другое торчало колом, приблизился к начальнику, словно задолго до этого от бесчисленных поколений своих животных предков знал, что тот взгромоздится на него у холки, а другой усядется позади, на круп.

— Он может,— заключил Рахо.— Иначе он не сдвинулся бы с места.

Он помог гостям усесться, пристроил на спину ослу между ними саквояжи и скомандовал:

— Хррра!

Осел выпрямил ухо, которое занимало до этого горизонтальное положение, и походкой философа пустился в дорогу. Когда пролом в стене, а за ним и заросли терновника остались позади, начальник полиции заметил:

— Браво, инспектор! Здорово выкрутился! Вот мы и на месте. Я отмечу тебя в рапорте с лучшей стороны.

Инспектор не ответил. Он думал о своем отце, умершем много лет назад — умершем и похороненном вместе со всей своей эпохой. Когда в дверь его темной лачуги стучался еще горший, чем он сам, бедняк — бродяга, нищий, странник — и говорил: «Я божий гость», улыбка, которая вмиг расцветала на лице хранителя печи, излучала такую же искреннюю радость, какую инспектор увидел на морщинистом лице старого горца. Тропа, взбирающаяся на *джебель,* спускалась, казалось ему, в прошлое. Воздух был сух. Сухи были и сердца.

Двадцать минут (или лет?) спустя Рахо вновь открыл глаза. Перед этим он снял с себя *джеллабу,* расстелил ее и, сомкнув веки, прочитал полуденную молитву. То была его религия, дань, которую он пять раз в день платил исламу,— точно так же, как он и весь его клан платили ежегодную дань государству в виде баранов или коз... а задолго до этого государства было другое, которое посылало в деревню гражданского инспектора и жандарма в неурожайный сезон. Гора высилась по-прежнему, одни деревья засохли, другие выросли им на смену. Жизнь продолжалась. В вековой памяти Рахо, питаемой многими-многими поколениями, хранилось воспоминание о другой земле, о зеленеющей равнине с холмами, сплошь усаженными плодовыми деревьями, где жил клан. Там была *трава!* Земля была щедра, плоды — бесчисленны и разнообразны. А теперь? На какое древнее воспоминание похож теперь апельсин?.. А потом, подобно полчищам саранчи или иной божьей напасти, нашествия во имя господа, цивилизации или людей изгоняли клан или, вернее, то, что от него оставалось, к иным горизонтам, далеко от равнины, потом далеко от плоскогорий, и все время выше, выше, от века к веку и от прогресса к прогрессу. Часть его предков приняла религию захватчика, просто чтобы обрести покой и продолжать жить, пусть даже на все более бесплодной горной земле. Другие рассеялись, превратившись в кочевников. А еще позже члены клана Аит Яфельманов пересекли моря, чтобы принять участие в двух мировых войнах, и, быть может, обрели в них покой...

«Вместе с другими стариками деревни,— сказал себе Рахо,— я скоро умру. Мы свое отжили. А наши потомки? Куда подниматься им? Выше в *джебеле* нет больше ничего... Только граница... Не спускаться же им в соседнюю страну? А может быть, кто знает, другие крестьяне, из страны алжирцев, тоже взбираются вверх в поисках средств к жизни?.. Но выше *джебеля* нет ничего, кроме неба...»

Он уперся руками в землю, прижав к ней ладони и широко растопырив пальцы. Задолго до цивилизации и даже ислама, раньше всех событий истории у его предков был культ земли. Испокон веков, от поколения к поколению и от бегства к бегству под натиском завоевателей всевозможных рас он передавался изустно и теперь достиг его, Рахо. Рахо исполнил свой долг, он искренне воздал хвалу безличному богу пращуров. И теперь ладонями и ягодицами он припадал к земле, впитывая в себя ее изначальную чудодейственную силу.

Перед ним в лучах солнца поблескивало ружье, которое забыл здесь пришелец, и патроны, которые извлек из ружья горец. Теперь члены клана предупреждены, они знают, что им делать. Особенно старая Хаджа. Правильно он поступил, протрубив в бычий рог дважды: первая нота призывала к гостеприимству, которое надлежит оказывать любому сыну Адама и Евы, даже врагу, а вторая — к бдительности...

3

Сидя у входа в пещеру, Хаджа увесистыми шлепками расплющивала в ладонях комок теста, щедро благоухавшего прогорклым маслом, и, прищурив один глаз, наблюдала, как осел освобождается от поклажи — пары бранчливых горожан. Безмятежное это созерцание продолжалось все то время, какое нужно, чтобы уложить лепешку на раскаленный камень и, переворачивая, поджарить. После чего Хаджа открыла почти начисто лишенный зубов рот и провозгласила:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать вам обоим, сыновья равнины и тамошних краев!

Но еще раньше этих слов раздался ее смех, ясный и звонкий, будто на тамбуринах и свирелях заиграли где-то крохотные музыканты. Смех переливался в каждом ее слове, отчего слова посверкивали в знойном мареве и рассыпались радостным фейерверком искр. Умолкнув, она через плечо подала лепешку назад, и чья-то вынырнувшая из потемок рука схватила ее, а другая протянула Хадже еще ком теста, и та принялась мять и плющить его в свое удовольствие, в то время как из недр пещеры доносилось тонкоголосое:

— Спасибо, Хаджа. Ох, и спасибо тебе! Да продлит господь твою жизнь!

Вздрогнув всем туловищем, от крупа до ноздрей, осел задрал к небу свою стариковскую морду и трубно заревел.

— И тебе достанется,— успокоила его Хаджа. — Погоди маленько, впусти в душу терпение. Каждому свой черед.

Согнув ноги в коленях, начальник массировал себе поясницу, страдальчески покряхтывая. Его багровое лицо было покрыто смесью пота, пыли, искажено яростью; седалище его было нещадно побито, измочалено за время нелепого, издевательского восхождения по каменистой тропе на шишковатом хребте этого распроклятого марокканского ишака, этого прохвоста, что скалит теперь, явно глумясь над ним, начальником, свои желтые зубищи!.. А его мундир! Его прекрасный начальнический мундир фирменной американской саржи, прибывший прямиком из Стейтсов вместе со всем полицейским снаряжением, и оружием, и руководством по применению: грязный, мятый, пропитан кислым потом, изодран колючками и шипами — в общем, только выбросить осталось! Что ж, тут все просто: срочно, без промедления, сей же момент засадить всех в кутузку, расстрелять всех, даже птиц в небе,— никаких исключений, никаких, господь свидетель! Внезапно он воспылал бешеной злобой к своему придурковатому подчиненному — стоит как пень под солнцем, разинув рот, руки повисли, пялится на Хаджу, которая приветственно размахивает лепешкой и со смехом долдонит свое «*Добро пожаловать!*», в то время как из других отверстий в чреве горы высовываются блаженно ухмы-

ляющиеся рожи пещерных жителей — две, десять, пятнадцать, тридцать, от мала до велика,— и десять, пятнадцать, тридцать глоток хором надсаживаются, словно распевая гимн:

— *Добро пожаловать!*

— *Это идиоты, или придурки, или ненормальные, или кто?*— взревел начальник по-французски.— *Ну ты, отвечай немедля, иначе я изрублю тебя на кусочки как поганого христианина, ты понял меня?*

— *Оно боится тебя, шеф,*— дернувшись как ужаленный, ответствовал инспектор.— *Ты на них страх гонишь, шеф. Потому они и смеются.*

Начальник пошел на инспектора, ощерясь и сжав кулаки.

— *Ну-ка, ты! Ты что это, тоже удумал надо мной смеяться, а?*

Инспектор сделал шаг назад, потом еще один и зачастил:

— *О нет, шеф! Мне б такое и в голову не вошло. Я объясняю, только и всего. Попадаются из задержанных такие, что перед допросом как заладят смеяться. После-то им не до смеху. Но впрежде рыгочут как жеребцы — чтоб подлизнуться. Это психология страха, усекаешь?* — Он сглотнул слюну и повторил: — *Усекаешь, шеф?*

— *А-а, ну раз так, тогда мне понятно,*— чуть ли не с улыбкой проговорил начальник.— *Тут есть своя логика.*

— *Да, шеф, ты прав. А теперь пора соблюдить бычьи, шеф.*

— *Бы... что?*

— *Бычьи! Привычки. Надо скоро-скоро отвечать в стиле этого изборища дикарей.*

— *А, ты имеешь в виду обычаи? Обычаи и нравы?*

— *Ну да, шеф, это все одно. Привычки, бычьи и нравы. Раз надо, так надо, даже по телевизору. За мной, шеф, делай, как я.*

Медленным шагом, словно участвуя в некой невидимой процессии, он направился к Хадже, на ходу подтягивая брюки, расправляя на себе пиджак, одергивая рукава и по мере приближения к старой женщине все старательней придавая своему лицу горестное выражение, какое бывает у потерявшегося ребенка. Он сел подле нее, поджав ноги, взял ее руки в свои и принялся поочередно лобызать их, уважительно приговаривая:

— Поклон тебе, мать! Благослови меня, матушка, да пребудут в мире души родителей и предков твоих там, где они покоятся, именем аллаха и пророка его!

Извлекая из недр памяти давно позабытые родовые слова, он чувствовал, как в душу его властно вторгается детство. Свою мать он при дневном свете никогда не видел. Когда она возвращалась после того, как день-деньской крутилась в услужении у господ, был уже вечер,— впрочем, в их лачуге всегда царил мрак. Один только раз удалось ему увидеть ее в лучах яркого весеннего солнца, умиротворенно покоящуюся на деревянных носилках,— перед тем, как могильщик опустил ее в сырую землю. Это было давно, задолго до футбола и полиции. Ему было лет десять или одиннадцать. А может, и девять.

И вот теперь здесь, в горах, снова тот же запах прогоркшего за год-два масла, запах пресных лепешек, похрустывающих и подрумянивающихся на раскаленном камне, а главное — запах гвоздики, исходящий от этой крестьянки, от ее волос, от ее латаной-перелатаной одежки цвета индиго. Она была той же породы, что и его мать,— неискушенная и незатейливая, защищенная от мира шакалов одной лишь своей неопытностью, отсутствием мысли. Ведь его мать никогда не думала. Со слезами на глазах он проговорил:

— Я сирота, пасынок жизни. Я чужой даже самому себе. Благослови меня, матушка, именем господа! Осени меня знамением.

Хаджа пальцем начертала на его лбу стародавний знак: рыбку внутри пятиконечной звезды. Потом, возложив ладони на голову инспектора, она произнесла:

— Мир, мир, мир тебе! Мир гор и равнины, пустыни и дерев, рек и моря. Как нарек тебя всевышний?

— Али. Али меня зовут. Заблудший я.

От прикосновения рук Хаджи на него нахлынули печальные воспоминания. Он почувствовал, как к горлу подкатывают рыдания, и дал им волю.

— Успокойся, сын мой,— молвила Хаджа.— Ты из города? Оттуда, с самого низу?

— Да, Хаджа,— ответил он, горько плача.— Я... я из самого низу, с самого что ни на есть дна!

— *Эй, ты!*— взревел начальник полиции на языке двадцатого века.— *Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку?*

— Твоего друга мучит жажда? — спросила Хаджа.— Поэтому он и прочищает себе горло?

— Да, Хаджа. Это так: его мучит жажда. Ему жарко, он устал, он зол на солнце. Он не привык.

— *Я тебе покажу!*— вновь загремел начальственный рык.— *Крокодилья твоя башка! Я сейчас же напишу на тебя рапорт: оскорбление начальника, находящегося при исполнении служебных обязанностей, да еще... да еще в присутствии посторонних лиц! Более того, подозреваемых!*

— Ох! — жалостливо воскликнула Хаджа.— Да он уже хрипит, бедняга! Видать, у него в глотке все пересохло.

— Начисто пересохло,— подтвердил инспектор, утирая слезы.— Ты тысячу раз права, матушка.

А начальник предавался неистовству — независимо от своей воли, исступленно, повинуясь некой высшей анархической силе, презрев и отбросив достижения цивилизации, запреты, табу, профессиональный долг; он сотрясался и топотал ножищами так, что под его сапогами содрогалась земля. Во все стороны летели камни, на высоту человеческого роста медленно вздымалась густая пыль, и в то время как из пещер выбирались обитатели гор с округлившимися глазами и с настороженными, как у кролика по росе, ушами и обступали беснующегося пришельца, тот выбрасывал руки в судорожных выпадах и горланил на одному ему известных здесь языках: на французском, на английском, на сленге американских картежников, на диалекте немецких пивных, на волоф[1], из которых он в совершенстве усвоил брань. Поступая так, он вел себя точь-в-точь как человек «третьего мира», который помимо отбросов культуры или ее подобия получил от Запада обломки его ценностей с оружием в придачу.

— Да в него еще и демоны вселились,— заметила Хаджа.— Бедный он, бедный.

— Это пляска дождя,— объявил чей-то старческий голос.— Вот что он делает. Вытаскивайте сосуды, дети, живо, живо! Не спускайте глаз с неба!

— Как мне представляется, дедушка, здесь не выпадало ни единой капли воды уже очень давно,— сказал долговязый юноша в очках. (Его звали Ученым, а еще Словарем. Весь густо поросший волосами, он беспрестанно почесывался.) — Со времен французов, если мне не изменяет память.

— Дай ему попить, матушка,— попросил инспектор, заметив, что физиономия начальника приобрела цвет сырой печени.— Если, конечно, в вашей деревне найдется хоть немного воды.

— Воды! — обернувшись, крикнула Хаджа.— Подай-ка мне калебас[2]!

Из глубин пещеры донесся пронзительный голос, временами перекрывающий гомон отдельных личностей и многоязыкую брань,— сло-

[1] Язык народа волоф, проживающего в Западной Африке, главным образом в Сенегале и Гамбии.

[2] Сосуд из бутылочной тыквы.

ва следовали каждое в отдельности, чередуясь с промежутками раздумчивого молчания:

— Сию минуту, Хаджа. Но я должен тебе что-то сказать. Что-то очень важное.

— Давай-ка сюда калебас,— ответила голосу Хаджа,— и сомкни свой рот так же плотно, как закрыты с некоторых пор твои глаза.

— Будь по-твоему, Хаджа, вот тебе калебас. Но я должен сказать тебе одну вещь, которая не терпит промедления. Это вопрос жизни и смерти.

Резко повернувшись, Хаджа метнула в пещеру лепешку, воскликнув при этом:

— Лови, жуй и молчи!..

— Ох, спасибо, Хаджа... да благословит...

— Солнце еще высоко в небе, ночь не спустилась. Время у нас есть. Ты, верно, сын Вельзевула, а вовсе не один из моих внуков, как я до сих пор считала.

— Да не услышит тебя господь! — торопливо запротестовал пронзительный голос.— Я и знать не хочу про это исчадие ада! Я твой внук, ты ведь знаешь. Басфао — вот как меня зовут.

— Так вот, Басфао, хватит досаждать мне своими глупыми речами. Я выслушаю тебя немного погодя, то есть прежде чем зайдет солнце. До этого еще целая вечность. Но, сдается мне, то, что ты собираешься мне сказать, будет просто-напросто ослиным ревом. Как обычно.

— О нет, Хаджа,— отозвался голос, который постепенно обретал прежнее спокойствие и размеренность.— Выслушай меня. У нас нечего есть. Кроме лепешек и горстки бобов. Очень-очень мало бобов. Поэтому Басфао и спрашивает тебя: что мы подадим нашим гостям?

— Молчи! — нетерпеливо прикрикнула Хаджа.— Прикуси свой непокорный язык.

— Будь по-твоему, Хаджа, сейчас прикушу. Но эти люди попросили божьего приюта, и теперь позор падет на наши головы. Котелок почти пуст.

— Да прикуси же побольней свой упрямый язык, чтобы он убрался назад в рот и спрятался в самый низ живота! Без тебя знаю, что в котелке пусто. Зачем же повторять это вслух?

— Бабушка Хаджа, а может, этот человек и вправду сейчас помрет? Позора бы вдвое поубавилось, аха!

— Молчи. Нет, он возвращается к жизни, хвала всевышнему. Он только что испил воды, и теперь его товарищ похлопывает его по спине и приговаривает что-то на языке демонов — наверняка чтобы изгнать их из его тела.

— Выходит, он опять живехонек и готов набивать брюхо? Ох и ославимся же мы!

— Да закройся же наконец! Ты мешаешь мне видеть, что происходит, твои ослиные речи застят мне белый свет.

— Будь по-твоему, Хаджа. Я умолкаю.

Какое-то время в горах был слышен один только двадцатый век. Ничего другого. А потом Хаджа спросила, обернувшись к пещере:

— Мы можем пожертвовать одним из двух оставшихся у нас баранов?

— Этих заморышей? — со всей доступной ему живостью отозвался слепой.— Рахо уверяет, что у них вместо окороков деревяшки. Но, Хаджа, что же мы тогда будем есть зимой? Об этом ты подумала? Это будет означать жизнь для наших гостей и смерть для Аит Яфельманов.

— Отстань.

Неожиданно Хаджа рассмеялась, тамбурины и свирели ее смеха разнесли свою песнь по четырем странам света. Сложив ладони рупором, она позвала:

— Бургин! Эй, Бургин! Где ты теперь? Бурги-ин!

— Здесь, Хаджа,— донесся откуда-то со стороны густой бас.— Здесь я.

— Колода еще при тебе?

— При мне, Хаджа. А то как же! Для горского покера.

— Тогда запрягай мулицу и приходи ко мне. Получишь наказ.

— Слушаюсь, Хаджа,— явно повеселев, ответствовал Бургин.— Одна нога здесь, другая там.

— Я понял,— встрял в разговор человек из пещеры.— Ну и светлая же у тебя голова, Хаджа! Ты нисколечки не постарела.

— Тогда помолчи, бога ради. А не то я прикажу тебе разинуть рот пошире и выкрашу тебе язык в черный цвет. Дегтем. Поэтому лучше замолчи и приготовь гостям ложе где попрохладней, чтобы они смогли раздеться и отдохнуть. В их одеждах полным-полно пыли, маеты и старости, я их почищу и вывешу на солнышке, покамест они поспят. Людей с равнины, снизу, надо холить.

— Я понял,— хохотнув, повторил слепой.

— Тогда выходи! Проветрись! Проветри свои мозги. А не то покроешься там плесенью.

— Будь по твоему, Хаджа. Выхожу сей же момент. Наконец-то я сподоблюсь побывать на празднике.

Ослепляющее неистовство солнца сменилось сумеречным покоем пещеры, выдолбленной в плоти горы многими поколениями восставших против Человеческой Истории. От сочившихся влагой стен исходила прохлада, пол был устлан ветхими, почти начисто облысевшими шкурами. Затиснутый в жесткую, колючую *джеллабу*, начальник полиции, приподнявшись на локте, долго созерцал инспектора, который спал сидя, с открытым ртом. Начальник преисполнился горечью и разочарованием: увы, над животными инстинктами он не властен.

Надувая мышцы шеи, он взревел громоподобным голосом:

— Проснись!

— А? — встрепенулся инспектор.

— Проснись. Ты от самой столицы не перестаешь храпеть. Я все делаю в этом балагане сам. От тебя никакого проку. Ты бесполезная вещь. Вот ты кто.

— Я не спал, начальник. Клянусь аллахом и пророком.

— Ты снова размышлял, так?

— О нет, начальник. Вот этого — никогда больше. Ведь это ты начальник, и посему размышлять полагается тебе, а уж никак не мне. Не мне,— повторил он, мотая головой.

Пытаясь подавить сладкий зевок, длинный и тягучий, как удав, он добавил:

— Я отдыхал.

Отзевавшись, он широко, от уха до уха, улыбнулся и привел математически строгое и убедительное объяснение:

— Я не спал, я отдыхал. А это, как известно, совершенно разные вещи.

Глаза его были лишены выражения, лицо дышало невинностью.

Начальник потряс пухлым и оттого еще более грозным пальцем:

— Сейчас мы посмотрим, кто я: законченный болван или начальник, которому все обязаны оказывать почет и уважение. Слушай хорошенько.

По разумению инспектора, верна была как раз первая из этих двух гипотез, однако он не показал виду. Он отогнал от себя эту революционную мысль, точь-в-точь как пилигримы во время паломничества в Мекку гонят от себя сатану. Вот почему он нахлобучил на голову капюшон и лишь потом весь обратился в слух.

— Достань свой блокнот и тщательно записывай, что я тебе буду говорить,— сказал начальник.

Он терпеливо подождал, чтобы инспектор приготовился впитывать мудрость, потом принялся диктовать:

— Пиши: сегодня, 11 июля 1980 года, начальник сказал (открой кавычки): «Настоящая мысль подобна семени; она брошена в плодородную почву мозга (тире) — а плодородные мозги встречаются, разумеется, редко. Чтобы семя проросло, нужна культура, интеллектуальные удобрения, которые даны не всем, увы!..»

— «Увы» тоже записывать?

— Если желаешь, записывай все, это важно для твоего будущего. Так, значит, я говорил: «...нужны интеллектуальные удобрения, известная гибкость ума, повседневное внимание и орошение моралью, подобно тому как растения следует орошать водою». Ты поспеваешь за ходом моих рассуждений? Не слишком ли это сложно для тебя?

— Я поспеваю, начальник. Слушать тебя одно удовольствие. Так, значит, по весне мысль прорастает из твоего мозга и дает цветок, или кактус, или даже, может быть, дерево? Так?

— Закрой блокнот и засунь куда-нибудь ручку,— с неизбывной печалью произнес начальник.

— Да, начальник, сию секунду. В этом полумраке писать практически невозможно.

— Особенно в потемках твоего разума.

— Все так, начальник. И что же я должен делать? Что я должен исполнять? Надо все же подумать и об этой официальной миссии. Время мчится, словно подкованный скакун.

Начальник поудобнее расположился на своем ложе.

— Я буду размышлять, зрело размышлять под видом небольшой сиесты. Умственная работа будет незаметно для тебя совершаться в моей голове. Не нарушай моих раздумий.

— Мне бы это и в голову не пришло, уж поверь мне,— ответил инспектор.— Значит, мне можно еще немного вздремнуть?

— Если хочешь, но только не храпи. Это может спутать мои мысли. И будь готов действовать по первому зову. Меня не буди, разве что если официальная телеграмма призовет меня к высокому начальству.

— Понял, начальник,— ответил инспектор, еле ворочая тяжелеющим языком.

Минуту спустя, словно по мановению волшебной палочки, в пещере осталось лишь двое храпящих полицейских, чьи рты были разинуты, а цивилизация оцепенела в забытьи. Официальная миссия могла и обождать.

Сидя на пороге пещеры, словно старая медведица, Хаджа вздохнула и вполголоса проговорила:

— Они наконец уснули, эти сыны равнины. Разговоры их одолели.

— Так отправляться мне за покупками? — спросил Бургин.

— Еще бы! — воскликнула Хаджа.— И говори потише. С этими рожденными внизу никогда не знаешь наперед. Малейший шум — и они уже на ногах, будто воины. Так что говори шепотом!

— Приказывай! — тихо проговорил Бургин.

Стоя босиком на земле и подставляя палящему солнцу наголо обритый череп, Бургин в крестьянской одежке, перепоясанный веревкой, жонглировал колодой карт: меж его руками они то рассыпались гармошкой, то закручивались спиралью, то струились фонтаном, на излете словно прилипая к тыльной стороне его ладони.

— Так что же мне брать, Хаджа?

— Мяса,— тотчас откликнулась та, ни секунды не раздумывая.— Мяса на всех нас и наших гостей. И кускуса для пиршества. Мы уже так давно зубами с голодухи щелкаем. Но скажи, Бургин, ты уверен, что у тебя это получится?

— Не беспокойся, Хаджа, это мое дело. Карты меня знают.

— Да пребудет с тобой благословение господне! Прихвати еще немного масла, с фунт. Да, с добрый фунт, ладно?

— Будем считать, два кило,— подытожил Бургин.— Ты их получишь. Два кило самого желтого масла.

— Это же мое любимое! Да продлит господь твою жизнь, сын мой. И меду, маленький горшочек, это такая радость для старой лакомки вроде меня. И сытно, и кровь бежит быстрее.

— Хорошо,— отозвался Бургин, подбрасывая колоду и ловя ее где-то за спиной.— Я запоминаю: баранья туша со всеми четырьмя ногами, пакет кускуса, два-три кило масла и кувшин густого меду. А овощи? Овощи нужны?

— О да! Я и забыла про овощи, а это главное. Кабачков, нута, ямайского перцу и несколько стручков жгучего, всего понемногу. Возьми еще пряностей, чтобы кушанья были острей и язык суетился во рту еще долго после еды. Чесноку, луку. Нет, ты и в самом деле можешь раздобыть все это?

— И без труда. Не беспокойся.

— Вот и хорошо. Когда я отправлюсь в Мекку — наверно, уже перед самой своей смертью,— одну молитву я вознесу специально за тебя. Добавь еще изюму.

— Пакет изюму,— отозвался Бургин, и карты, словно по волшебству, исчезли в складках его одежды.— А хлеба? Ты забыла про хлеб. А молока не хочешь? Командуй, Хаджа, не стесняйся. Сегодня у нас изобилие.

— Да сохранит тебя господь и направит каждый твой шаг, мой мальчик! Скажи, а нельзя ли... м-м...

— Давай-давай, говори. Ты получишь все, что пожелаешь. Единственное, что мне требуется для начала, это небольшой капиталец. Не робей, Хаджа, скажи, чего тебе хочется. Это будет мой тебе подарок.

— Ну... шоколада. Одну плиточку. Ее мне хватит на всю оставшуюся жизнь.

— Десять плиток, а лучше двадцать. Шоколад весит немного.

— И ты сможешь привезти всю эту провизию на крупе мулицы?

— Мулица мне без надобности, Хаджа. Есть машина этих двоих. Она как раз мается без дела на площади, ха-ха!

— Говори потише и перестань скалить зубы. А как ты приведешь ее в действие? Ведь это не осел, ты не можешь стукнуть ее палкой и скомандовать: «Хррра! Юуу!» Эта штука из железа, тут надобен ключ.

— Не нужен мне ключ, Хаджа. Вот этим кусочком проволоки я и самолет бы поднял к седьмому небу.

— Но ведь она зарычит своим железным голосом и разбудит своих хозяев.

— Ничего такого она не сделает. Гора вверху, а долина внизу. Поэтому машина спустится вниз без шума и без мотора, самокатом. Ты скажешь: а как назад? Конечно, тропа лезет вверх что твой плющ, но я все предусмотрел: мулица будет наготове с веревкой. Она сильная.

— Ну, тогда хорошо. Благословляю тебя. А с кем ты будешь играть в карты? Кого рассчитываешь обыграть?

— Выиграю-то я наверняка, на этот счет не беспокойся. Карты скользят у меня в руках словно мыло. Ты помнишь Саида, Хаджа, парня, у которого был дом в деревне? Он стал начальником почты где-то внизу, на плоскогорье. Лет пять-шесть назад это был крестьянин, такой же, как мы. Теперь он разбогател и ни с кем не хочет знаться. Но он страсть как любит покер. Ах, матушка, как я его обдеру! Как липку.

— Не смейся. Нехорошее дело задумал.

— Разве? Скажи лучше, сколько тебе удалось выудить из бумажника того типа?

— А кто его знает, Бургин. Читать-то я не умею. Но вот эта бумажка, уж больно она мне приглянулась. Похожа на картинку из сказок о царе Соломоне. Постарайся принести ее назад целехонькой— ее или ее двойняшку.

— Давай ее сюда. Скоро у нее появятся детишки — поздоровей да пожирней.

— В таком случае да пребудет с тобой господь. Только верни мне эту бумажку — или такую же, чтобы я положила ее назад. Тогда никто ничего не узнает. И потом, мы люди честные. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-нибудь называл меня воровкой,— это неправда.

— Да кто тебе такое скажет, Хаджа? Ты просто взяла ее в долг и вернешь сегодня же вечером, да еще с процентами: с таким обедом, какого у нас не бывало много лет. Подумай об этом, Хаджа. Подумай о меде и шоколаде.

Он направился в сторону солнца, и карты радугой раскинулись в его руках.

Сидя на плоском камне посреди загона в окружении пары изнуренных жаждой баранов и застывшего в неподвижности осла, Рахо созерцал заходящее солнце. Все на свете пошло от него, и все на свете в нем заключено. По его, солнца, воле растут растения, и по его же воле они иссыхают и умирают. Жизнь надо принимать такой, какая она есть. Земля нага, безводна, бесплодна на памяти уже многих поколений, и солнце властвует на ней безраздельно. Зачем бороться, затевать что-то, строить укрытие — чтобы защититься. От чего? Жара — это сила, бедность — дар. Сколько в этом мире всякого ненужного хлама, который люди извлекли из недр земли и преобразовали в цивилизацию, ценой света покупая потемки. Разве ислам, дошедший и до него, Рахо, не родился в глуби веков, где-то там, в высохшей пустыне, где нет ничего, кроме песка и солнца? Подобно исламу и своей судьбе, люди нагими выходят из материнской утробы и нагими же возвращаются в чрево матери-кормилицы земли.

Лучи уплывающего за горизонт светила окрашивали в цвет меди лицо старика, затем его руки, ноги, все его тело, по мере того как он раздевался и отбрасывал от себя то, что в течение дня скрывало его от других и от себя самого. Опустившись на корточки, он выбросил руки вперед, потом поднес их к себе, словно держа на весу сноп золотистых зрелых колосьев, и принялся умываться, зачерпывая полными пригоршнями лучи пламенеющего солнца.

Чем обернулся в конечном счете этот только что завершившийся в мире день? Для других людей, живущих в других горах, ближних и дальних, на равнинах, на земле или воде, он был тем, чем он мог быть. О том Рахо не ведал, не имел ни малейшего представления. То была не чья-нибудь, а их судьба. И Рахо тоже получил этот день, очередной дар солнца.

Для деревни, для всего клана, добрую половину которого составляли его, Рахо, потомки, этот день жизни был ознаменован вторжением двух предоставленных самим себе чужаков, таких же несчастных и агрессивных, какими были все завоеватели разных рас и религий, обрушивавшиеся на страну на всем протяжении Истории. И что же? Разве удалось им, сколько бы их там ни было, погасить солнце? Лоб горца вдруг разгладился, все покрывавшие его морщины медленно перекочевали ко рту, и Рахо засмеялся — беззвучно, как волк,— при одном лишь воспоминании о легендарной личности — капитане Филагаре.

4

— О да,— сказала Хаджа,— капитан Филагар был крестьянин, как мы, да-да!

И она рассмеялась. Подхваченный членами ее многочисленной семьи, смех прокатился вдоль пещер до самой вершины горы.

Ликуя при виде дымящихся яств, сидя на корточках — все, кроме начальника полиции, который самочинно устроился на старом ящике, явно чтобы возглавить пиршество, и Хаджи, которая по давнишней привычке вытянула ноги перед собой,— Аит Яфельманы щедро погружали в кушанье пальцы, исполненным волнения и благодарности голосом возносили хвалу вседержителю. Было тут пять или шесть больших блюд, расставленных от главного семейного грота вдоль пещер по направлению к вершине горы, где маяками высились кедры и ююбы,— блюд, с великим терпением выдолбленных из неподатливой древесины арганий. Вокруг каждого расположилось от пяти до семи сотрапезников. Там и сям горели воткнутые в землю смоляные факелы— ни дать ни взять рождественские елки. Впрочем, те из пирующих, кто все же оказался в тени, нимало этим не смущались: дорогу к собственному рту им подсказывал инстинкт. И потом, то была одна пища, объединившая членов одной семьи. Что на свету, что в тени, никакого социального или политического различия между ними не было.

Доносившиеся отовсюду голоса сливались в неумолчный гул, в котором чаще всего слышалось:

— Спасибо, Хаджа, за сказочное пиршество! Ох и спасибо тебе!

— Хаджа,— говорил Бургин, запустив глубоко в блюдо растопыренную пятерню.— Ведь это я вырвал из книжки сказок про царя Соломона картинку и расстелил ее здесь, у наших ног. Да и мулица потрудилась на славу — втащила в гору ту железяку. А ведь кормится она, право слово, одним небом да ветром!

— И на нас снизошло благословение господне?— вопросил голос женщины откуда-то сверху.— Хорошая штука жизнь. Еще вчера у нас было хоть шаром покати.

— It was a long time [1],— молвил долговязый юноша в очках, тот самый, что прозывался Ученым, иначе — Словарем. Произношение у него было самое что ни на есть оксфордское, и слова выпадали из его рта нехотя, подобно мелким кусочкам пищи.

— *Он шпарит по-английски, шеф,*— с плотно набитым ртом ухитрился выговорить инспектор. С героическим усилием сглотнув прожеванное, он добавил: — *Берем на заметку?*

— *Пожалуй,*— согласился начальник.— *Сильно смахивает на инфектуала.*

— Припасем это на завтра и на зиму, Хаджа, или же будем вести себя так, словно господь вознамерился и впредь осыпать нас своими дарами?

— Жуй,— умоляла одна из мамаш свое прожорливое чадо.— Подавишься ведь. Пережевывай как следует. Не спеши так, будто этот баран сейчас оживет и удерет в горы.

— Я твержу с самого своего рождения: уж если за дело берется Хаджа — пальчики оближешь, ну прямо как в раю, про который в Коране написано.

— Да продлит господь твою жизнь, Хаджа. Ты наша кормилица.

— Хаджа, а Хаджа,— вещал Басфао.— Я должен сказать тебе что-то очень, очень важное.

Сидя посреди всех этих голосов, Хаджа слушала их все, словно обладала по меньшей мере дюжиной пар ушей, запоминала каждое слово, даже из тех, что были не ее племени и, следовательно, ничего не означали. Потом начала отвечать — сначала Басфао, потом человеку, который тревожился о голодном завтра, потом Ученому:

— Ешь и успокойся! В этот час нет ничего важнее, чем прийти в согласие со своим желудком!

---

[1] Давно это было *(англ.)*.

— А ты там наверстывай упущенное время, если желаешь, да только не лопни от обжорства. Призови в свою душу терпение!

— А у тебя, крестьянин в очках, язык того и гляди повернет назад в глотку, если будешь так издеваться над речью божьей!

— Но что я такого сказал?— начал оправдываться Ученый.— Я сказал только, что давно уже...

— Но ты искорежил слова! — отрезала Хаджа.

— Это по-английски. Это с тех пор, когда я был швейцаром в столичном отеле, будь проклята моя собачья жизнь! Надо же было мне понимать, что говорили те миллиардеры, швыряя мне чаевые!

Но Хаджа уже не слушала его. Дело было ясное: люди равнины и прочие исковеркали ему речь — точно так же, как они испортили ему зрение. Пара стеклянных кружочков, чтобы узнавать своих! Часы на запястье, чтобы определять то, что очевидно любому крестьянину: положение солнца на небе! Ну ладно, ладно, не так уж давно он вернулся в родные края. У гор терпенья не меньше, чем у камня...

Покопавшись на дне блюда, Хаджа извлекла оттуда самый лакомый кусочек — бараньи яички — и протянула их гостям, по одному на каждой ладони.

— Держите, сынки! Угощайтесь! Вы здесь у себя дома! Лучшие куски — вам двоим.

Инспектор Али взял яичко без малейшего колебания.

— О аллах!— воскликнул он, просветлев лицом.— Это же мое самое любимое кушанье. Не зря провидение привело меня сюда.

Наблюдая за тем, как его подчиненный насыщается подобно руководимому первобытными инстинктами дикарю, начальник полиции не смог удержаться и не распространить свою мысль на весь «третий мир». Шаха прогнали из Ирана от мракобесия и еще потому, что развитие—путь, по которому он направлял свою страну,—пошло не впрок этим дикарям персам! Кто в этом усомнится? Об этом широко вещает государственное телевидение, правительственная пресса. Не может же государство ошибаться в своих суждениях! Хмуро уставясь на эту дряблую, сочащуюся липкой влагой штуковину, которую он брезгливо, словно утопленную крысу, держал большим и указательным пальцами, начальник споро перебирал в уме всевозможные приятные стороны жизни, и жизнь предстала перед ним зрелостью, ответственностью, прогрессом. К примеру, чем он, начальник, питался раньше, в темные времена? Похлебкой да кускусом. А теперь, а? Теперь, когда он стал просвещенным руководителем, достойным этого звания, в его распоряжении изысканная, цивилизованная пища: эскалопы в панировке, консервы, прибывшие из высокоразвитых индустриальных стран, белый, без малейшего изъяна хлеб. В ресторанах европейского города, где он частенько обедал в компании других начальников, он ощущал себя в самом что ни на есть двадцать первом веке по сравнению со своими согражданами: на столе скатерть, приборы по всей форме, официант с эполетами как у маршала, запотевший стакан с виски и с фирменным поясом сигара, с помощью которой он, подобно Черчиллю, окутывал себя клубами дыма. Уважение, социальное благосостояние, национальный суверенитет. Все объяснялось просто: клиентура ресторана была его ранга, ранга избранных, элиты: респектабельные туристы, которые расплачивались по счету без всяких наличных, одной лишь кредитной карточкой. И он тоже небрежно протягивал одну из таких карточек, на которых красовалось: «Американ экспресс, Интербанк...»

— Мерси, месье,— вежливо благодарил официант на языках самых твердых валют.

— Thank you, Sir! Danke schön!..

— Я могу его съесть,— сказал инспектор.— Давай сюда, если ты уже насытился.

— Нет, нет,— поспешила вмешаться Хаджа.— Ты уже получил свою долю, не будь таким лакомкой и эгоистом!

Подавляя бунт желудка, за которым тотчас же последовал бунт его профессиональной совести, начальник полиции принялся мусолить во рту эту омерзительную штуковину. При этом он думал о своей официальной миссии. Ее нужно довести до завершения, а для этого приходится скрывать свои истинные чувства, внутренний мир своей личности. Ведь он и без того насилует себя, когда, облаченный в грязную *джеллабу*, словно один из этих недоумков, восседает на ящике с обрывком старой мешковины вместо полотенца на коленях. Превыше всего долг. Государство.

— Так вот,— продолжала Хаджа,— как если бы все эти предварительные переговоры служили лишь вступлением к ее речи,— капитан Филагар был крестьянин вроде нас. Он был всего-навсего горец. И к тому же старый, как мне думается. До того самого дня с ним никогда ничего не случалось.

— До какого дня, Хаджа? — вопросили несколько голосов.— Расскажи!

Растопырив пальцы, она отогнала эти неуместные возгласы, как отгоняют надоедливую ночную мошкару.

— Нет, нет! — пылко запротестовала она. Вам я рассказывала эту историю многие сотни раз. Не забивайте уши нашим гостям, вы мешаете им слушать.

— До какого дня?— спросил инспектор, раскатывая в ладонях изрядный ком кускуса.

— Какой такой капитан? — добавил начальник полиции. Он доживывал срамную часть барана, и по лицу его пробегали волны гадливости.

— Вот и я про то,— насмешливо сказала Хаджа.— Раньше он не был никаким капитаном, это был крестьянин точь-в-точь как мы. У него не было никакой истории ни позади, ни впереди. Ни прошлого, ни будущего. Он был покоен и счастлив. Хочешь жгучего перца?

— Что? — едва не поперхнулся начальник от неожиданного вопроса.

— Он подстегивает желудок,— ответила Хаджа. (Она глядела ему прямо в глаза.) — Он прожигает внутри, расчищает и освобождает место для новой порции еды.

— Нет, нет. Спасибо.

— А я хочу,— вставил инспектор.

— Нет, нет,— возразила она.— Тебе ни к чему, сынок. Ты и так на аппетит не жалуешься. И вот однажды он спустился с гор в соседнюю страну с парой связанных за ноги курей на плече и с корзинкой яиц в руке.

— В какую страну? — спросил начальник.

— Туда, по ту сторону гор.

— В Алжир?

— Ага, в страну алжирцев. Их и впрямь так называют, но это неправильно. Они такие же берберы, как и мы, они наши братья.

— Вот как? — произнес начальник.— Ну-ну.

— Стоял пригожий весенний денек, он направлялся на базар в маленький городок в стране алжирцев. О, совсем недалеко, в полудне ходьбы. В те времена еще были яйца и даже куры. Поэтому старик ходил продавать их тем, у кого этого не было, а взамен приносил то, чего не хватало его родичам: муки или там чая. Так помогали друг дружке алжирцы и здешние берберы.

— Вот как? — повторил начальник.

— Да. В тот день он не знал, что́ его ждет. Он пустился в путь утром, на заре, и должен был вернуться вечером, день на все про все. Как тебя звать, сынок?

— Меня? — отозвался начальник.— О, я живу в городе.

— Этот старый крестьянин не знал, что гнев господень пал на страну алжирцев. Там шла война. Как нарек тебя всевышний, сынок?

— А? О, я житель города. Я тружусь там на благо страны, на благо всех нас. А знаешь, кускус удался на славу.

— Дорогу он знал наизусть,— продолжала Хаджа, улыбаясь. (Она разглядывала начальника. Внимание ее в особенности привлекало удивительно хитрое выражение его глаз: этим, похоже, и объяснялись корчи и вывихи его языка.) Много лет ходил он одной и той же тропой, примерно раз в неделю.— Там ему был знаком каждый камень, каждая ямка. Ты знаешь, как ходят наши люди? Глаза у них смотрят одновременно и на небо, и на землю, и налево, и направо, и даже назад, за спину. Так есть у тебя имя, которое мать дала тебе при рождении?

— А? — встрепенулся начальник, сбитый с толку.— Имя, которое мать... Мухаммед.

— А я и не знал! — вскричал инспектор.— Вот это новость.

— Тогда ты человек мира,— заключила Хаджа,— человек слова и чести. Я очень рада, этот день благословен для нас всех. Так вот — история капитана Филагара. А она длинная, очень длинная. Видишь факелы, что пылают вокруг? (Она не сводила глаз с начальника.) Они догорят, а история Филагара еще будет продолжаться до глубокой ночи...

Крестьянин вышагивал спокойно, не спеша. Он только что продал кур и яйца. В кармане его *джеллабы* позвякивали монеты, целая пригоршня. Был он бос, но в тюрбане — он надевал его всякий раз, когда отправлялся в соседнюю страну, на вокзал, где он мог усесться на тротуаре под ногами у прохожих.

На полпути между вокзалом и горной тропой, на нешироком гудронном шоссе, по которому крестьянин шагал, разглядывая плывущие по небу облака, позади него с визгом шин и металлическим скрежетом затормозил джип. Из него выскочили двое солдат в накидках цвета осенней листвы, с оружием на ремне.

— Эй ты!

Идущий остановился, но оборачиваться не стал. Ждал, что будет дальше.

— Документы!

День клонился к вечеру, на востоке громоздились тяжелые серые тучи, но там, в стороне родных гор, горизонт был чист. Значит, опасности никакой. Он не очень понимал, что нужно от него этим людям войны, но все должно было уладиться. Утром он спустился с *джебеля*, продал свой товар, а теперь возвращается к себе — только и всего. Солдаты непременно отпустят его с миром. Вот почему, спокойно повернувшись, он безбоязненно встретил их взгляды и протянул к ним руки в подтверждение своей доброй воли.

— Откуда идешь? — спросил коренастый солдат, который, похоже, командовал над другим, потому что имел более свирепый вид.

— А? — отозвался крестьянин, раскрыв рот.

— Ты что, глухой? Откуда ползешь, спрашиваю?

— А? — повторил старик.

И расплылся в благодушной улыбке. Он постучал пальцем по уху, желая показать, что не понимает по-французски ни слова.

— *Мнин тжи?* — прорычал другой солдат на казарменном арабском.— Откуда идешь?

— Ха! — с облегчением ответствовал горец.— *Нжи филагар.* Я иду с вокзала.

В тот самый миг, когда он произнес эти простые и очевидные, по его разумению, слова, на него обрушился весь ужас войны. И лишь гораздо позже, придя в сознание, он обнаружил себя лежащим на

заднем сиденье мчащегося на полной скорости джипа и связанным собственным тюрбаном. Избитым и окровавленным.

Еще позже — другие солдаты, в подвале, снова побои: удары прикладом, хлыстом из бычьих жил, кулаком, сапогами; свет, более ослепительный, чем самое яркое августовское солнце; варварские голоса, крикливые и непонятные; бессмысленные и беспрерывные страдания.

— Это *феллага*[1]*!* Сам признался, мерзавец!

— Где тайники? Ты будешь говорить?

— Где остальные бандюги *феллага?*

— *Нжи филагар!* — твердил крестьянин.— Месье... друг... *Нжи филагар.*

На протяжении всей ночи, всех нескончаемых часов до рассвета он неустанно повторял эту правду — божью, но не людскую: *«Нжи филагар!»*. Он шел с вокзала, где продал своих кур одному брату — правда, имени его он не знает, но наверняка то был брат... Яйца? О да!.. Многим другим братьям, которые говорили по-берберски или по-арабски, как он сам... Он никому не сделал зла, он устал, а теперь далека та дорога, которая могла бы привести его в родные горы, откуда он бы вовек не двинулся, если б сумел прочесть в небе свою судьбу, но небо на западе было ясным... И как, как, как попасть на родную тропу?

А потом настал мир. Мир вошел ранним утром вместе с человеком в мундире офицера, и наступила тишина. Милостью аллаха пришел конец страданиям и непониманию. Офицер приблизился к нему и заговорил на его языке. Говорил он почти без акцента, а главное— понимал, что слышит в ответ, и теперь все должно было вернуться на свои места: ящерицы — в свои норки, солдаты — на свою войну, а он, горец,— в свои горы, где ничего никогда не происходит, если не считать смены дня и ночи. На его языке все вновь стало простым и понятным, свидетель тому тот самый главный француз, который слушал его, кивая головой. «Да, месье, я шел с вокзала, *филагар... Феллага?* Кто? Я? О нет, клянусь аллахом, и пророком, и де Голлем христиан, я не *феллага,* месье». Произошла обычная человеческая ошибка, «промашка», как объяснил офицер своим людям, отводя глаза в сторону.

Извинений ему не принесли. Ни у кого на это недостало духу — и совести. Зато ему милостиво дозволили подобрать выпавшие монеты, для чего пришлось поползать на четвереньках под тем самым пыточным столом, где он принял столько мучений. То был никель или подделка под серебро — всего лишь металл, холодный, как сердце людей, когда голова их превращается в собачью, но металл этот составлял как раз цену муки́ и других припасов, которые нужно было купить по дороге к своим. Выходил он задом, держась руками за поясницу. Медленно-медленно покидал он подвал, как если бы времени у него было достаточно, чтобы сфотографировать своими лишенными выражения глазами каждую черту каждого из этих человеческих существ, которые за эту ночь его *обесчеловечили.*

Семь дней и семь ночей беспробудно проспал он в пещере. Не пил, не ел. Точь-в-точь как медведь в спячке. Отсутствуя для всех и для себя самого. Припарки и примочки из листьев, толченых корешков и особой глинистой земли, которые прикладывала ему жена, день ото дня делали свое дело — на ногтях, на ногах, на затылке, на животе, изъязвленном ожогами от сигарет. Зато в голове его, внутри, образовалась трещина, невидимая, но очень глубокая. И в трещине этой рос, наливаясь жгучим соком, ядовитый чертополох — чувство, еще более сильное оттого, что дотоле оно было совершенно ему неведомо: жажда мести. А корни у этого чертополоха были: ненависть, жестокость и жажда убивать. Хватило одного зернышка — не так понятого

[1] Так называли французы вооруженных борцов за национальное освобождение в ряде северoафриканских стран.

слова,— чтобы превратить простого крестьянина, рожденного добрым и прожившего добрым весь свой век до наступления старости, в того, кем он стал в последующие недели и месяцы: в капитана Филагара.

Отряда у него не было, ни единого человека. Даже бойцы ФНО[1] долгое время считали, что ночами между *джебелем* и *вади*[2] рыщет алчущий крови лев. А прослышав про его историю по «телефону пустыни», они наградили его прозвищем «капитан Филагар» и предоставили ему в одиночку вести свою беспощадную ночную войну. Он стал их союзником, партизаном без средств передвижения — если не считать его осла, такого же убогого, как он сам,— без тылов и оружия: не назовешь же оружием самый обычный нож с роговой ручкой, который он после употребления втыкал в кормилицу-землю. От убийства он не испытывал никакого удовольствия, но он убивал. Ему нужно было *охладить* свое сердце, чтобы вновь стать тем сыном гор, каким он был когда-то.

Каждая тропка, каждая лощина, каждый куст были знакомы ему с детства. Следы на дороге, сломанная ветка, запах воздуха, цвет неба, камень на тропе — все это вместе составляло его мир. Он их знал, и они его знали, и знакомство было очень давним. Малейшее изменение означало жизнь или смерть. Он обладал упорством скалы, терпением вечности. Недвижимо просиживал он целыми днями, старый, как та древняя стена, к которой он приваливался, если не засыпал просто на обочине, в короткой тени под брюхом своего осла, с виду такого же невзрачного, как и его хозяин,— кому пришло бы в голову заподозрить в чем-либо этого дряхлого старикашку? Тянулись мимо обозы, со стальным лязгом проходили колонны танков, но ничто, казалось, не могло нарушить его сон.

Его толкали, тормошили:

— Эй, посторонись!

— Прочь с дороги! Убирайся! Живей!

Нимало не торопясь, с откровенно идиотской улыбкой на лице, он перебирался спать подальше. А осел брел за ним, хлопая себя хвостом по бокам. О, если требовалось, он становился весьма услужливым, готов был сделать все что угодно, лишь бы его оставили в покое.

— Ты не видал *феллага?*

— А?

— Арабов? *Феллага?*

— А-а,— понимающе осклабясь, кивал крестьянин согласно.

И медленно вытягивал руку, указывая некую точку на горизонте, где, как ему было доподлинно известно, ФНО устроил засаду. Однажды ему пришлось даже стать проводником, и он, напялив личину предателя, повел отряд навстречу его судьбе: в заброшенный поселок, куда солдаты прибыли на закате дня и где провели всю ночь в ожидании неприятеля. Они предусмотрели все, кроме блох, которые на них живого места не оставили. Что до капитана Филагара, то ночь поглотила его, а осел — так ведь любой осел похож на всех остальных своих собратьев, поди их различи. Разве можно вести современную войну в этой стране, если только не перебить всех ослов и не срыть до основания горы?

Нож капитана не давал в ночи ни единого отблеска: он был ржавый. Расположится какой-нибудь отряд лагерем, выставят для охраны часового. А когда придет смена, обнаружат труп с перерезанным от уха до уха горлом. Одна-единственная смерть за ночь, один-единственный акт мщения — этого вполне достаточно, говорил себе капитан. Ведь в году целых триста шестьдесят дней. А может, в каком и больше. И когда занималось утро, оно заставало где-то между горами и плоскогорьями спящего с открытым ртом крестьянина, а чуть по-

[1] Фронт национального освобождения.

[2] Пересохшее русло реки *(арабск.)*.

одаль — унылого осла, который ровным счетом ничего не делал, разве что разок-другой махнет хвостом, отгоняя мух. Вы проезжали мимо, и он взирал на вас своими огромными глазами, обрамленными длинными ресницами, с величайшей снисходительностью, как если бы вы были не значимее козявки в его животном царстве. И везде на вашем пути, похожие на разбросанные где попало кучи камней, так же спали другие лишенные корней и привычной работы крестьяне, неотличимые друг от друга в своих *джеллабах* цвета земли, в своей старости и в беспробудности своего сна. Другие длинноухие стояли рядом с ними, неподвижные, отрешенные от всего, словно безгласные свидетели летаргии целого народа. А от горизонта до горизонта — бесплодная и враждебная земля, где все чуждо языку, нравам, самому духу двадцатого века.

Кормился ли чем-нибудь капитан Филагар? Конечно. Тутовыми ягодами и сорванной с кустов ежевикой, объедками, выпрошенными в гарнизонах, отбросами, раздобытыми на свалках, корешками, которые он долго-долго пережевывал теми обломками, что у него оставались от зубов. Особым аппетитом он не отличался, так ведь и годы-то его были какие. Самая малость требовалась ему, чтобы поддерживать в себе жизнь. Аллах велик! Он никогда не оставляет свои создания в нужде — свидетель тому «ночной осел» (так называл его хозяин, поскольку ночами это животное постоянно бодрствовало), который ухитрялся кормиться чем попало, даже гонимыми ветром листовками, призывавшими всех *феллага* «сдать ножи в гардероб и сесть за стол переговоров». Да, конечно же, то аллах заботливо посылает людям и животным средства к пропитанию, будь то с неба или с земли. Хвала ему, милостивому и милосердному. Он дарует жизнь, он добавил жизнь Филагара к жизни мира. А смерть — не что иное, как дело рук людей. Это они истребляют друг друга, несут смерть себе подобным и всей земле, и даже урожаям пшеницы и ячменя, пылающим от напалма под солнцем всевышнего.

Взгляд капитана Филагара был пронзителен и цепок, как у ястреба. Просиживая с утра и до вечера этакой дряхлой развалиной, он фотографически точно запечатлевал людей и предметы своими, казалось бы, лишенными мысли глазами — медленно, терпеливо, как если бы он пользовался одним из этих древних аппаратов с гармошкой и на треноге. Времени у него было предостаточно — целый день. Сначала он делал «панорамные» снимки, охватывавшие весь окружающий пейзаж. Потом концентрировался — очень постепенно — на действиях одного человека: вот кто самый лютый, вот кто после захода солнца станет его добычей. Решено! Теперь уже капитан Филагар ничего не мог изменить: судьба. Когда последний луч солнца обагрял горизонт, он бросал отрывистый приказ:

— Хррра!

И «ночной осел» бестрепетно пускался в путь, отправлялся выполнять поставленную ему боевую задачу: продираться сквозь заросли колючего кустарника, по пути сталкивать вниз с тропы камни, стучать всеми четырьмя копытами, словно посланец ада,— короче, отвлекать на себя внимание и посылаемые страхом пули (но он бегал как угорелый и к тому же пользовался господним благоволением), в это время во тьме бесшумно проскальзывала тень — и настигала намеченную жертву. Сразу же вслед за тем капитан Филагар забивался в заранее облюбованное укрытие.

После каждой гибели человеческого существа он чувствовал, что сердце его понемногу охлаждается — вроде топки, в которой начинает недоставать дров. И происходило это так: он плакал. По мере следования недель, месяцев и убийств он плакал все сильней, все чаще. Его слышали издалека и, подходя, жалели: может, он потерял на войне сыновей и теперь на старости лет остался один как перст? Скажи, дедушка, они что, сожгли твою хижину, спалили твой скудный уро-

жай, прирезали твоего козла и всех коз в своем безумстве? Кое-кто затягивал «Песнь усопших», дабы утешить правоверного напоминанием о тщете и бренности всего земного: «Ничтожны наши страдания, и тленны наши тела. И вечен только лик всевышнего!» Филагар не отзывался, ничего и никого не слышал. Сгорбившись и спрятав в ладонях лицо, он сотрясался в рыданиях.

— Да,— сказала Хаджа, с чистосердечной улыбкой обращаясь к начальнику полиции.— Он плакал, в его-то годы, словно малое дитя или женщина. Ты когда-нибудь видел плачущим своего отца?

— Кто, я? — растерявшись, спросил тот. (Он поспешно утер рот джутовым мешком, который служил ему вместо салфетки.) — Н-нет, не думаю... Не помню такого.

— Аха! — сказала Хаджа.

Она принялась разрезать арбуз ножом с роговой ручкой. В старой ее голове, привычной к нескончаемой череде времен года и веренице лет, вдруг возникла картина: золотистые фиги. Их собирали в самую пору зрелости, высушивали на солнце, нанизывали на веревку — по одной, по мере того как они достигали нужной степени сухости — и таким путем получали целую вязку, да что там одну — много вязок, когда еще живо было фиговое дерево, когда оно целой рощей возвышалось прямо тут, напротив пещеры. Теперь бедняги уже нет на этом свете, жгучий сирокко развеял его останки. Но перед мысленным взором Хаджи, словно настоящие, покачивались на веревке сушеные фиги, в то время как в голове ее выстраивались один к одному бережно копившиеся на протяжении всего этого вечера подробности — одни уже спелые, другие еще мякотно-бесформенные, без определенного смысла,— все эти мелкие, совершенно пустячные детали, которые она как бы между прочим, самым естественным образом подобрала из уст начальника во время безобиднейшего допроса, учиненного столь искусно, что начальник ни на миг ничего такого не заподозрил. Теперь ей было известно, кто он, как звали его отца и чем тот занимался; прошлась она по закоулкам его семьи, узнала, из какого дерева сделан его письменный стол, в какой деревне начальник родился, в каком из больших городов работает, и почему, и как, и какой пищей кормится, выведала, хоть и с превеликим трудом, его мысли и воспоминания... словом, целую жизнь воссоздала по крупицам, с помощью невинных вопросиков, которыми она пересыпáла свою речь, пока рассказывала легенду о капитане Филагаре, приковывая к ней все внимание.

Протягивая начальнику арбузный ломоть, Хаджа проговорила:

— На! Держи, сын мой!

— Но почему он плакал, этот человек? — спросил тот.

— Не знаю,— ответила она.

— Быть может, он плакал от огорчения? — вставил инспектор.— От огорчения и угрызений совести?

И этот уже не составлял для нее загадки. Он высказывался прежде, чем успевал составить слова. Слишком много недозрелых фиг.

— Не знаю,— повторила она.— Никто и никогда этого не узнал.

— Ну а я,— объявил начальник,— кажется, знаю почему. Я даже в этом уверен. Ведь это ясно как день. Просто очевидно. Достаточно иметь кое-что здесь, в черепке, чтобы понимать, что творится в умах людей.

Умолкнув, он обвел взглядом присутствующих в надежде обнаружить кого-нибудь если не одного с собой интеллектуального уровня, то хотя бы разделяющего его мнение. Он узрел двух внимательных слушателей: взрослого, витающего мыслями где-то в необозримой дали, и ребенка, чьи глаза вобрали в себя всю мировую скорбь. Инспектор Али сосредоточенно поглощал арбузную мякоть, производя

однообразный звук, подобный хлюпанью вантуза. Вокруг них, как одна семья, сгрудились Аит Яфельманы, внимая речам начальника. Никто из них не сделал ни малейшего замечания, даже кашлянуть себе не позволил. Гостеприимство священно.

— Это же сама очевидность! — зычно провозгласил начальник.— Он был горд собой, этот человек! Он, простой крестьянин, примитивный—я имею в виду: без всякого образования,— и стал капитаном деяниями рук своих. Силою воли достиг чуть ли не вершины военной иерархии, то есть учрежденного государством организма.

— Аха? — произнесла Хаджа.— Поешь арбуза. Он восхитителен на вкус и промывает все внутри. Освежает и успокаивает.

Потрясая ломтем арбуза, как деревенский учитель линейкой, начальник, подхваченный валом энтузиазма, продолжал вещать:

— Он разбил цепи бедности, нищеты и рабства. Я горжусь им, вот вам моя мысль, вот вам мое чувство! Ему достало мужества подняться на борьбу против колонизаторов, и он их победил... Да, победил, несмотря на все их оружие и средства уничтожения. Он плакал от гордости, от обретенного достоинства и суверенитета. Я неустанно твержу своим подчиненным: если в нашей столь прекрасной стране все начнут думать о государстве, то все будут счастливы. Это ясно как день.

Начальник сделал паузу, надеясь хотя бы на искру интереса со стороны кого-нибудь, кто наделен мало-мальским разумом. Но никто уже не придавал ему никакого значения, никто не попросил, чтобы он продолжил извержение слов, которые без задержки пролетали над обритыми головами. Его взгляда избегали взгляды всех, за исключением тех двоих: у ребенка глаза становились все более печальными, а во взоре мужчины все явственней проступало слабоумие. Что же касается инспектора («Моего подчиненного, моего *непосредственного* помощника, клянусь честью!»), то он в это время преспокойно уплетал оставшееся на дне блюда, как если бы то была первая в его жизни трапеза. Но терпение, о, терпение!.. Совсем скоро... завтра... как только завершится эта официальная миссия!.. «Терпение и времени неспешное теченье достигнут большего, чем гнев и силы привлеченье»,— как говорил этот французский начальник от литературы, как его... Ну да, Лафонтен... Это точно он — в школе начальник учил его басни и ничего не позабыл...

— Я уверен,— продолжал он упрямо гнуть свое,— что этот Филагар сейчас в столице. В его распоряжении, конечно же, служебные апартаменты, куча помощников и автомобиль с флажками. И это по справедливости! Он ни в чем не должен нуждаться, потому что теперь ему воздали за его труд, как он этого заслужил. Он Превосходительство из Превосходительств, гордость нации. Я наверняка его знаю.

— А я нет,— вставил инспектор.

— Само собой,— подтвердил начальник.— *Ты* не можешь знать никого из Превосходительств, это очевидно.

— Я имею в виду, что в картотеке ничего такого нет. Я просмотрел ее от первой до последней карточки.

— Что ты мелешь? Вынь палец из носа!

— Ничего об этом, как там его, капитане Филагаре. Ни единой карточки. А ведь бумаг больше чем достаточно — ну ты знаешь где. Я все переворошил. Пусто. Никакого капитана Филагара—ни на обороте, ни на лицевой стороне. Даже тени его нет. Скажи-ка, Хаджа, ведь это легенду ты нам рассказала, а? Красивую легенду, чтобы скрасить время и сдобрить эту восхитительную трапезу, о которой я буду помнить до последнего вздоха? Ведь так, а, Хаджа?

Хаджа по очереди испытующе вгляделась в каждого из этих двух людей оттуда, с равнины, потом хлопнула в ладоши.

— Бургин!

— Да, Хаджа? — отозвался Бургин.

— Возьми-ка ведро и собери туда объедки и арбузные корки. Этот ослик тоже божья тварь и потому вправе разделить с нами нашу трапезу. Нет-нет,— поспешно запротестовала она,— кости оставь! Они пойдут на завтрашнюю похлебку. И отнеси покушать капитану Филагару, чтобы он не заснул с пустым животом.

На начальника будто внезапно навалилась усталость: тени под его глазами стали глубже, и углы рта поползли вниз. Запинаясь, он выговорил:

— Ка... капитан? Он здесь? *Здесь?*

— Я же говорил, что в картотеке ничего нет! — воскликнул инспектор, у которого словно камень с души свалился.— Никакого даже самого завалящего кусочка бумаги! Так кто оказался прав, а? Я или ты, а?

— Пусть уж он зовется своим именем, Рахо,— сказал Бургин.— Во всяком случае, под этим именем он был всегда известен нам. Я накладываю ему полное блюдо кускуса, Хаджа, а еще чего?

— Фиников,— ответила та, не раздумывая.— И шоколаду. Он очень любит тихие радости жизни. Отнеси ему целую плитку. Кто знает, останется ли что-нибудь до завтра?

— Нож ему тоже отнести?

— Да. Уж он-то ему наверняка пригодится.

— Но... но...— залопотал начальник полиции,— но тогда... но тогда это все меняет! Это же все меняет, клянусь честью!

Сидя на корточках и обхватив руками колени, Рахо созерцал звезды. Свет от них, хоть и бесконечно далеких, идет теплый, и Рахо это знал. Они прогоняют тьму из ночи и из людских сердец. Со дня сотворения мира они были тут, знакомые и обнадеживающие: люди никогда не жили в потемках своего одиночества, о нет! Дошедшее до него через многие поколения, сквозь бесчисленные религии и цивилизации, как если бы все человеческие начинания оказывались с прорехами и поневоле пропускали сквозь себя суть жизни, существует древнее знание, согласно которому главенствуют четыре стихии: земля, вода, воздух и огонь. Все остальное мимолетно. Человек — тот тоже был и остается древним: здесь, в горах, и там, внизу на равнине, и в других странах дьявола или господа — древний и земной в плоти своей, и в страстях своих, и в нуждах, и даже в помыслах. Рахо знал это. Он тому был свидетелем.

Звезды эти были тут, на небе, с тех пор, как он открыл глаза на мир,— конечно, все те же звезды, вне времени плывущие каждая по предначертанному ей пути к своей ясной цели. Они направляли его предков в их нескончаемом бегстве, вытесненных с плодородных равнин вверх на бесплодные плоскогорья, а потом и еще выше, в узкое пространство под самым небом, словно в последнее прибежище. А теперь у него, Рахо, и у горстки людей, что осталась от существовавшего некогда народа, впереди нет ни земли, которую предстояло бы возделать, ни цели, которой полагалось бы достичь. Завоеватели и цивилизаторы всевозможных рас и языков вынудили их вернуться в изначальное состояние, в каком они пребывали на заре мироздания,— голых существ, беззащитных перед стихиями. И быть может, где-то на земном шаре, очень близко или очень далеко, есть и другие остатки народов, подобные Аит Яфельманам, которых обратило в камень время. Можно, конечно, просто смириться с судьбой — ведь смирился же кактус с каменистой пустыней, где ему приходится расти; можно рассматривать нищету как пятую жизненную стихию. Но откуда тогда берется надежда?

Рахо отлично знал, что вода не достигнет губ человека, который всего только протянет к ней руки. Да, но когда припадаешь к роднику надежды, пьешь ее жадными глотками, а потом вновь обнаружива-

ешь непроглядную, безысходную нищету, что подстерегает тебя подле иссякающего родника, то нищета эта кажется еще более жестокой, и притерпеться к ней, как раньше, уже нет возможности. Глядя на звезды, Рахо заплакал.

Вот так же горько он плакал, вспоминалось ему, там, в стране алжирцев, в бытность свою капитаном Филагаром. Горько было ему нести смерть французам — людям хоть и злым, но все же ему подобным,— чтобы обрести собственную жизнь. От каждой человеческой смерти его жизнь понемногу возрождалась. А еще плакал он оттого, что даже тогда его окружала красота мира: красота гор, красота солнца, деревьев, луны, звезд, облаков — великолепие жизни, наполняющее сердце радостью.

И теперь, сидя на склоне горы наедине со своей тоской, устремив взгляд в пропасть Млечного Пути, Рахо беззвучно рыдал, ошеломленный окружающим его великолепием: от сияния вечерней звезды до еле уловимого мерцания крохотных блесток небосвода. Эти двое людей города, что вскарабкались сюда штурмовать его покой, несут деревне угрозу смерти — или, может, что еще того хуже, гибель надежды. Неужто ему снова придется убивать?

С мозгами, опустошенными потоками слов, и с брюхом, туго набитым едой, они дрыхнут, эти собачьи дети, пришедшие с равнины и умеющие только гавкать среди людей. Вот что собирался высказать Бургин, громогласно и в ясных выражениях, но Хаджа тотчас же оборвала его и тихим, едва слышным голосом передала ему точные инструкции, полученные от Рахо. На какое-то время Бургин оторопел, с открытым ртом воззрившись на Хаджу. Потом его губы расползлись в улыбке, и он надолго зашелся в беззвучном хохоте. Это послужило как бы сигналом: из уст в уста, от Бургина до Словаря и от одного Аит Яфельмана до другого члена семейства слова приказа разнеслись по всем четырем странам света — молниеносней, чем через любой спутник связи. В окружении медно-красного нимба в небе взошла серебряная луна. Она стала свидетельницей радостных переговоров-перешептываний, что велись не только в деревне, но и в окружающих ее селениях вплоть до высокогорных плато, где начинался этот конец двадцатого века вместе с подобием цивилизации, пришедшим извне и осовременившим феодальную старину.

Завтра, если на то будет воля господня, или самое позднее послезавтра, у Аит Яфельманов состоится настоящее первобытное празднество с барабанами и свирелями. Рахо испросил совета у звезд. Следуя Древнему Закону, он узрел поступь Судьбы.

5

Стоявший на склоне горы осел очнулся от сна в почти неуловимый момент перехода от еще недавно царившей ночи к зарождению зари. К брюху его с земли подымалась легкая свежесть. Длиться этому предстояло недолго: всего лишь краткий миг, пока существует подобие росы. Да, дни все удлиняются, становятся как никогда знойными, сухими, как чертополох: ни дуновения ветерка, ни облачка в вышине. Тут он бессилен. Уж так оно есть. То было раньше: и дождичек с неба, и зеленая травка.

Не шевелясь, расслабив мышцы и дыша как можно медленней, он впитывал это свежее дыхание земли, запасая его в своем теле на весь грядущий день. Ни мыслей, ни желаний. Одна за другой бледнели звезды, и, по мере того как они угасали на небосводе, стремительно нарождающееся солнце штурмовало горы, ярко высветив их вершины и почти тотчас воспламенив рыжего осла волной огня, которая нетерпеливыми гребнями пробежала по нему от хвоста до ушей, подобно тому как вместе со встающим над миром солнцем от горизонта

к песчаным дюнам спешит прилив. Осел медленно опустился на брюхо, перевернулся на спину и, растопырив ноги, принялся перекатываться по земле с боку на бок, вычесывая шкуру о неровную каменистую почву, и тяжелая голова его покачивалась в такт движениям туловища. И в тот самый миг, когда он уже собирался зареветь, приветствуя бога света, он увидел своего хозяина — тот лежал головой к солнцу.

С давних пор осел знал, что не следует производить ни малейшего шума, когда Рахо принимает такое положение, даже отбрасывать свою тень, тень животного, между человеком и тем местом в вышине над горами, где каждое утро зарождался огненный шар. Вот почему он с величайшей предосторожностью поднялся на ноги и застыл на месте, как камень, устремив на хозяина неподвижный взгляд. Солнце заалело, потом раскалилось добела и заполонило собой небо, землю и время.

И этим утром произошло вот что: Рахо неторопливо поднялся, подобрал свою длинную палку, направился к ослу и улыбнулся ему. Он произнес:

— Иди! — Рахо потрепал осла по шее и повторил: — Иди, милостью господней!

Он улыбался как прежде, и рука его, что ходила взад-вперед по шкуре осла, вновь стала рукой спутника по странствиям. Осел не двинулся с места. Он только глядел и глядел на хозяина.

— Ну да! — безмятежно подтвердил Рахо. — Мы с тобой начинаем сызнова. Давай иди!

Осел приподнял левую переднюю ногу, затем правую заднюю и тронулся в путь. Хвост его вилял и подергивался от несказанной радости. Он уже едва не постарел с тех далеких времен, когда демоном носился по стране алжирцев. Но дорогу он еще помнил, помнил памятью животного.

Допрос проходил в два этапа и в двух слегка различных версиях соответственно иерархии: вначале шла версия начальника, потому что ведь это он был начальник, ответственный перед своими руководителями за официальную миссию, которую они сочли возможным ему доверить, затем — версия инспектора, несколько более витиеватая, которую начальник полиции занес через два слова на третье в свой блокнот к концу этого дня адской жары и излишне многословных речей. Материалы расследования, от первого вопроса и до последнего ответа, сгрудились в огромную кучу разглагольствований и безымянной, бесформенной словесной шелухи. Время родилось, прожило и умерло — и начальник, офицер государственной полиции, постепенно или ex abrupto [1] прошел через все возможные состояния души: от врожденного уважения, которое он питал к самому себе (и которое, разумеется, обязаны были выказывать ему все прочие), до полнейшего упадка духа, бездеятельной отрешенности и покорности судьбе, не говоря уже о различных степенях гнева или копролалии[2]. Но весь допрос в целом был скрупулезно зафиксирован инспектором Али: вопросы — ответы, вопросы безо всякого ответа, паузы и смешки неграмотных крестьян — и все слово в слово. Был и такой момент — ему пришлось отметить время: «11 часов 18 минут ровно» — когда начальник, явно выведенный из себя исключительно упрямым подозреваемым, чуть не снес своему подчиненному полчерепа пулей.

Для записи несколько своеобразного допроса, который с непостижимыми вывертами вел инспектор Али, потребовалось не менее трех

[1] Внезапно, без подготовки *(лат.)*.

[2] Болезненное состояние, выражающееся в непрерывном произнесении неприличных слов.

блокнотов установленного образца. Начальнику полиции поневоле пришлось исполнять обязанности писаря, и он записывал все, что слышал: как вопросы инспектора, скачущие в самых неожиданных направлениях, так и порождаемые ими ответы, невозможно длинные, в которых бесконечно нудно пережевывалась одна и та же жвачка.

Все это началось с вибрирующего сигнала побудки, который раздался в положенные 7 часов 30 минут из кварцевых часов начальника: в пещере зазвучали тоненькие электронные бип-бип-бип...

— Что это еще такое? — вскричал начальник, вырванный из сладкого сна.

Но тут до него дошло, где он находится. Он не произнес вслух: «Чего ради я здесь торчу, бог ты мой?» — но именно так он с полной убежденностью подумал.

С разинутым ртом, полным лошадиных зубов, инспектор Али, разлегшийся на своем ложе из шкур, продолжал безмятежно храпеть. Может, у этого ростка пырея чересчур толстый черепок? Округлив губы, начальник свистнул. Потом свистнул громче, начальственней. И зычно провозгласил:

— Проснись!

Он пребольно ткнул подчиненного кулаком в ребра и проревел:

— Проснись! Каждое утро... нет, ну каждое утро одно и то же. Я должен сам все делать в этой дыре!

Инспектор Али открыл один за другим глаза и воззрился на своего начальника.

— Да, начальник. Я в твоем распоряжении. Что мне сейчас делать? Какая будет программа?

— Перво-наперво оденься и разыщи мою форму. А то я чувствую себя обезоруженным, ничтожным в этом первобытном одеянии. Мои начальники меня бы не узнали, клянусь честью. Давай, давай, кончай тут зевать и иди за моей формой.

— А куда?

— Куда хочешь, болван. Туда, где она сейчас находится. Ты полицейский инспектор или нет? Может, у тебя маленько мозги размягчились от всей той жратвы, что ты намедни смолотил?

— Бегу, начальник. Не кипятись,— отозвался инспектор.

И он вышел, бормоча что-то себе под нос по поводу завтрака.

Потом случился следующий эпизод — с вышеупомянутой формой. О, теперь она была чистехонька, просушена на кусте под солнцем. Но она лишилась всех своих пуговиц. Красивых, желтой меди пуговиц, которые Хаджа срезала, чтобы соорудить себе пару чудных сверкающих браслетов. Стоя у входа в пещеру и поддерживая обеими руками сползающие брюки, начальник метал гром и молнии: ему просто слов не хватало для выражения своего глубочайшего возмущения — ни французских, ни арабских. Да и голоса тоже. Инспектор, мигом оценив ситуацию, взял на себя роль дипломатического посредника между конфликтующими сторонами.

— Начальник, он вот что говорит, Хаджа: какой-то джинн сорвал этой ночью все пуговицы с его костюма и превратил их в браслеты на твоих запястьях.

— То не джинн, то я. А красивые они, правда? Как змеиные глаза.

— Да, конечно, Хаджа. Они красивые, но...

— Послушай-ка, видишь веревку, что валяется вон там? Так вот, я ее охотно ему подарю. Пусть подвяжет ею штаны.

— Он никогда не согласится.

— Ну почему же? Только и делов что узел завязать. А что до пиджака, то его и вовсе застегивать незачем. Будет очень жарко, сынок.

Метрах в двадцати находился начальник, который ожидал исхода переговоров. С каждым шагом, приближавшим его к человеку без

пуговиц, инспектор подыскивал в уме все более убедительные аргументы, все старательней растворяя в улыбке отрицательный результат. Солнце стояло уже высоко в небе, и следовало избегать малейшего риска пожара.

— Понимаешь, какое дело, начальник: у этой средневековой женщины психология совсем не похожа на твою — это так же точно, как нуль да нуль будет нуль. Поэтому она аккуратно вычистила твою официальную форму, а потом... Только не смейся, начальник. Слушай спокойно. Так вот: у нее просто появилась одна мыслишка, только и всего. Постирать пуговицы она не сумела. Тогда она надраила их, навела блеск и даже надушила. Теперь они сохнут у нее на запястьях. Уж поверь мне, они под надежной охраной. Иначе их наверняка стибрил бы первый же прошедший мимо крестьянин — или птица с неба. А потом ищи-свищи!

Две-три минуты спустя он спросил:

— Хорошая ей пришла мысль, а, начальник?

— Плевать мне на это! Считай, что ты разжалован, арестован и расстрелян. Ты прекращаешь говорильню, молча подходишь к этой женщине, забираешь у нее пуговицы и приносишь мне, вот и все. Это приказ. Выполнять немедленно!

— Понял, все понял, начальник. Я так и говорил...— заключил инспектор, поворачивая обратно.

На протяжении двадцати метров в обратном направлении непреклонное вето, наложенное начальником на маленький каприз престарелой женщины, успело преобразоваться в нечто вроде уравнения с двумя неизвестными, усложненное воспоминаниями и эмоциями. В итоге получилось что-то наподобие:

— Как ты уже поняла своей умудренной опытом головой, этот человек — всего лишь несчастный сирота, хоть он и из города. Умирая, его отец оставил ему вместо наследства ничего не стоящие медяшки —эти самые пуговицы.

— Аха?!

— Да. Печально, не правда ли? Но такова жизнь. Он отдал на обработку чеканщику эти обрезки желтого металла— в память о своем почившем отце, да успокоит господь его душу там, где она пребывает! И вот в знак вечной привязанности к усопшему создателю дней своих он и привязал их к своему костюму. Благодаря этому отец с сыном неразлучны даже перед лицом смерти.

— Аха? Правда?

— Да. Ладно, мы сделаем вот что, Хаджа. Отвори свои уши и доброе сердце: ты отдаешь ему эти похоронные принадлежности, а я взамен дарю тебе дивную пару браслетов. Взгляни-ка.

— Хм-м! — произнесла Хаджа.— Хм-м! Похожи на лисий капкан. Я отдам их Рахо.

— Как пожелаешь,— ответил инспектор.— Да, как пожелаешь. Если когда-нибудь он изловит одну из этих старых лисиц, сохрани для меня ее задний окорок. Говорят, это очень вкусно.

Ему пришлось объяснить ей устройство наручников, прибегая по возможности лишь к односложным словам. Он предостерег ее от коварства дьявольского изобретения — потайной полицейской пружины, постоянно готовой стиснуть плоть в стальных объятиях. Главное — не надевать браслеты одновременно на обе руки, иначе — щелк! — никак не освободиться.

— Держи, Хаджа,— закончил он,— вот на этот случай ключи.

И пошел пришивать начальнику пуговицы — первым делом на брюках. Тот беспрестанно крутился по сторонам, полосовал воздух неистовыми взмахами рук. А какие неслись при этом слова! Но инспектор, отключив слух, проворно орудовал иголкой с ниткой. Для него так навсегда и осталось загадкой, как он ухитрился ни разу не воткнуть иглу в прущее отовсюду начальниково сало.

Солнце уже проделало четверть своего дневного пути по небу, и лучи его жгли все ощутимей. Вот почему начальник, после того как все пуговицы под его высочайшим наблюдением были пришиты на свои места, снял мундир, аккуратно сложил его, утер лоб и изрек:

— Жарко.

Он приподнял полы своей рубахи и принялся ими обмахиваться, после чего решительным тоном заявил:

— Так. Не будем терять время. Пора начинать расследование, а помощи от тебя никакой. Время бежит, а ты палец о палец не ударил. А как же наша официальная миссия, а?

— Да, начальник. Три минус три четверти — это будет два с четвертью, если я правильно понимаю.

— Что ты там городишь? Что за дурацкая арифметика? Это что, жара расплавила тебе мозги?

— О нет,— с великой простотой отвечал инспектор,— это не жара. К ней я привык с детства подле отцовой печи. Сейчас я объясню тебе, начальник: гостеприимство длится обыкновенно три дня, мы же здесь со вчерашнего полудня, что составляет восемнадцать часов, или, если тебе угодно, три четверти суток. Итог: у нас остается два дня с четвертью. Верно же? А мы еще не завтракали.

Начальник поразмыслил во всех направлениях и приказал:

— Приташи-ка мне сиденье.

— Какое сиденье? — недоуменно спросил инспектор.—Я не вижу тут никакого сиденья, а на зрение я никогда не жаловался. Мы же здесь в полевых условиях, ты вспомни.

— А это что?

Тон, каким начальник полиции произнес эти слова,— сухой, язвительный, ледяной,— явно предназначался для случаев, когда собеседника требуется пронзить на месте.

— Ах, это! — протянул инспектор с некоторым пренебрежением.— Да ведь это просто старый ящик. Похоже, в нем когда-то, давным-давно, хранилось марсельское мыло — думается мне, году этак в четырнадцатом. Тогда еще началась первая мировая война. Нашей стране незадолго до этого оказали протекцию[1]. Надо тебе сказать, начальник, мыло в те времена делали на совесть, оно отмывало, оно пенилось...

— Неси мне это сиденье и выплюнь ту кашу, что у тебя во рту.

— Да, начальник.

— Сюда, поближе, чтобы мне было видно подозреваемых. Они должны быть на свету, а я в тени.

Усевшись, начальник поудобней расставил ноги, шумно выдохнул, потом извлек из кармана автокарандаш и принялся вертеть его в пальцах. Карандаш успел сделать добрую дюжину оборотов, прежде чем инспектор отважился задать вопрос:

— Что будем делать теперь, начальник?

— Лично ты делать ничего не будешь. Ты подчиняешься приказам. Ты исполняешь, и только. А я в это самое время думаю и веду расследование от «а» до «я». Для тебя это будет обучение на практике.

— Да, начальник. Работать с тобой — истинное счастье, дарованное демократией.

— Полезны все граждане,— пустился в рассуждения начальник,— все профессии. Но ты должен отдавать себе отчет, что между различными социо-профессиональными категориями существует разница, и огромная. Рабочий приходит на фабрику, работает там целый день, но он делает это автоматически, так? Машинально, потому что он не думает, ему достаточно исполнять. А чем занимается в своем учебном заведении преподаватель? Он вдалбливает в головы своих

[1] В 1912 г. Марокко было объявлено протекторатом Франции.

учеников знание, образование, культуру, гражданский долг, но... но в конечном счете в его распоряжении книги и учебники, где все расписано черным по белому. Ему достаточно их вызубрить. Возьмем теперь депутатов, да что там депутатов — министров. Принято считать, что они вершат дела государства. Ну так вот, ничего подобного. Они всего лишь проводят в жизнь указания, спускаемые сверху. Потому что, к счастью для всех нас, наверху есть кому думать — на самом верху.

— Да,— с величайшим почтением в голосе подтвердил инспектор.— Да убережет его господь!

— Даже министры, даже министры и прочие шишки! О, я не говорю, что они вовсе не думают, но они делают это наполовину, на 50 процентов. Поверь мне, сынок, редко встречаются люди, которые обладали бы умственной способностью думать, шевелить мозгами, мыслить отвлеченными категориями. Привожу тебе пример: расследование — я имею в виду расследование высокого ранга, вроде того, какое поручило мне в данный момент правительство,— вот это уже кое-что! Это чертовски сложно, потому что мне приходится начинать с ничего, с нуля, на пустом месте. Мне предстоит поработать головой, довести это расследование до завершения, словно корабль до гавани по штормовому морю. И если я хочу в этом преуспеть, я должен разбить его на четыре этапа, подобно тому как разбивается на четыре части классическая симфония. Ты хоть знаешь, что такое симфония?

— *Битхувн?* — рискнул инспектор.

— Что? — встрепенулся начальник.

— «Механический апельсин», я видел его в кино. Ужас, сколько лилось кровищи! Там была музыка этого самого *Битхувна* — так, кажется, его зовут?

— Господь всемогущий! — простонал начальник.

Черные глаза его, чрезвычайно подвижные — из той породы глаз, которые не знавали удовлетворения и не удовлетворятся никогда,— бесновались в своих орбитах.

— Ладно,—философски сказал он.— Начнем с самого начала. Ты действительно служишь в государственной полиции?

— Да, начальник.

— Ты действительно инспектор?

— Да, начальник. У меня есть удостоверение и жетон.

— Тебя действительно зовут Али?

— Верно, Али. Я всегда один и тот же, я не менял фамилию, как некоторые. Никакого псевдонима, никакого номера 007, как у этого придурковатого Джеймса Бонда. Это штучки для кино. У меня так: сначала служба, а уж потом друзья-приятели.

— Ты ведь уже провел под моим руководством несколько расследований, так? Разных пустяковых, второстепенных дел?

— Семнадцать задержаний, начальник. И еще один субчик отдал богу душу, когда я применил к нему удушение. Надо сказать, хлипковата была шея у этого сукиного кота.

— В тот раз я прикрыл тебя от этой гримасы судьбы: ты выполнял служебное задание. Но вернемся к нашим ослам: ты вполне уверен, что у тебя нет брата-близнеца?

— Уверен, начальник. На все сто. В моем личном деле нет никакого брата-близнеца, в свое время ты изучал его досконально.

— У тебя часом нет двойника, который мог занять твое место,— этакого законченного болвана, какой стоит сейчас передо мной и разыгрывает балаган, пока его начальник пытается перейти к обсуждению дела?

— Ах, это? — воскликнул инспектор и сплюнул на землю. — Да будет тебе, начальник, я же пошутил. Будет тебе! Припекает сейчас вовсю, и несколько веселых слов невольно выскользнули у меня изо рта. Так что ты говорил?

Начальник упорно хранил молчание, в то время как солнце подымалось все выше, завоевывая небо. Раз надо, так надо: должны существовать и высокоразвитые страны, и все прочие — слаборазвитые и вовсе безнадежно отсталые, которые так нечеловечески тяжко продвинуть хоть немного по пути прогресса... тем более что индустриальные страны не намерены останавливаться, чтобы их подождать!

При виде опасно замкнутого лица своего начальника инспектор переминался с ноги на ногу, пребывая в нерешительности — в подобном состоянии он находился обычно, когда его заставляли голосовать. Политические течения и водовороты достигали его в образе избирательных бюллетеней, похожих один на другой до полной взаимозаменяемости. И как в таком случае сделать выбор? Решиться было потруднее, чем втащить на гору здоровенный камень. Отдать свой голос за партию имярек, которая исповедует национальную независимость, уважение установлений и социальный прогресс? Да, конечно. Но ведь есть и имярек партия, которая провозглашает социальный прогресс, уважение установлений и национальную независимость!.. Разницы никакой, установления неизменно оказываются в серединке; разве что— и в этом, может, как раз и зарыта собака — эти самые независимость и прогресс меняются местами: с первого на последнее и наоборот. Так доискиваться здесь до смысла, и возможно ли это вообще? Господи, как же сложно не допустить ошибочного выбора, могущего привести к развалу конституционной монархии! Эх, вот бы никогда не было этих проклятых выборов!.. Во времена французов никто не голосовал, и так было куда проще. Не было этого давления, которое сжимает мозг и предает его огню. «О владыка, всемилостивейший и милосердный, властитель миров и вершитель страшного суда, вразуми меня! Подскажи правильный ответ. Может, он в цвете бюллетеня?..»

И вот, бывало, чья-то рука раздвигает шторы, занавешивающие кабину для голосования, и хлопает инспектора по плечу:

— Слушай, парень, за тобой уже целая очередь! Бросай!

Иногда доходило даже до того, что его вытаскивали из кабины manu militari[1] и избежать машины с зарешеченными окнами ему удавалось только по предъявлении полицейской карточки своим коллегам, надзиравшим за избирательными урнами и счетчиками голосов. «Уважьте, ребята,— просил он их, протягивая свои бюллетени.— Проголосуйте вместо меня. А то я спешу, меня срочно вызывают в участок».

Какой же выбор сделать ему тут, в пещере, стоя перед начальником, буравящим его насквозь своими маленькими глазками, в которых теснятся вопросительные знаки? И рядом никого из собратьев-полицейских, на чьи плечи можно было бы переложить тяжкий груз ответственности. За сущую пустяковину, за половину «да» или четвертушку «нет», этот самый начальник, входящий в неисчислимый легион начальников, запросто может лишить его куска хлеба, вышвырнув на улицу. У начальника есть право в любой момент подать на него, инспектора, рапорт, снабдив его своей замысловатой подписью и скрепив печатью. Получив таким образом официальную силу, рапорт этот станет прародителем целого племени казенных бумаг, на каждой из которых последующий начальник утвердит выводы предыдущего собственноручной подписью и очередной печатью, а в результате... Об этом инспектор предпочитал не думать. Он любил жизнь. Сделав выбор в пользу полнейшего самоуничижения, он сказал:

— Начальник, я сейчас мысленно пинал себя ногой в зад, потому что я только этого и заслуживаю. Мое поведение безобразно. Все время паясничаю и перебиваю твои речи идиотскими замечаниями. На твоем месте я бы рассердился не на шутку. Но я не на твоем месте, увы! Я могу быть только на своем. Стоит мне подумать, что ты, боль-

[1] С применением военной силы *(лат.)*.

шой начальник, то есть человек образованный, воспитанный, развитой и вдобавок умный, в один серый, пасмурный день вытащил меня из болота нищеты, на котором я за неимением иного занятия гонял круглый мяч! Стоит мне только об этом подумать!.. Слезы выступают у меня на глазах. У меня не было ничего, я сам был ничто, да, полное ничто! А потом я поступил в полицию, в которой состоял ты, и ты направлял мою карьеру сверху, с выдающегося места, которое ты занимаешь. Три года тому назад ты проявил безмерную доброту и дал мне пройти испытание, чтобы я смог перейти к исполнению завидных обязанностей инспектора,— испытание, которое я буду помнить всю свою жизнь...

— Разумеется,— вставил начальник, он уже начал было улыбаться, но вдруг на лицо его снова набежала тень.— Диктант ты написал хуже некуда. Зато на стрельбище продемонстрировал неплохую реакцию.

— Ты сумел высветлить вековые потемки моего мозга, ты удалил оттуда клочья паутины, да сохранит тебя господь и наградит физическим и душевным здоровьем. Потому что в один прекрасный день я как по волшебству покинул постовую будку у центрального комиссариата, где торчал днями напролет, как... как кол, и очутился в отделе восседающим в кресле, словно паша,— это я-то, который до той поры сидел только на земле, как мой отец и все мои родичи. В мое распоряжение предоставили даже телефон с рядами кнопок. Ты научил меня им пользоваться.

— Это американский телефон,— сказал начальник.— Самый лучший. В государственной полиции всегда так: раз надо, так надо. Никакого тебе диска, только кнопки — и какие чувствительные! В нашей профессии, как тебе известно, действовать нужно моментально. По первому звонку сверху.

— Да, начальник. И если б еще только это! Ты обучил меня нашей профессии во всех ее тонкостях — например, как оставлять с носом другие отделы. А это кое-что! Ты привил мне навыки в изучении самых различных досье, ты показал мне, как их следует читать и толковать вплоть до запятой, имея в виду, что любое слово от рождения виновно.

— Ну, не любое,— вяло запротестовал начальник. — Некоторые всего лишь подозрительны. Ты улавливаешь разницу, не так ли?

— Признаться, не совсем, но с твоей помощью непременно в этом разберусь. Я диву даюсь, с каким упорством ты продолжаешь попытки поднять меня до своего уровня. Возвысить до своего интеллекта, то есть сделать из меня помощника, достойного этого звания, способного впитывать каждое твое слово и выполнять твои приказы. Но знаешь, начальник, некоторые из твоих рассуждений слишком... слишком обширны для меня.

— Не будем преувеличивать,— отозвался начальник, расстегивая верхние пуговицы на брюках.— Скажем, слишком насыщенны.

— Точно, начальник! Ты нашел верное слово: насыщенны, как густой туман... Я имею в виду, что в отличие от твоих мозгов мои не в состоянии пробить туман. Понимаешь? И потом, только что с высоты своего разума ты начал объяснять мне, как ты собираешься приступить к этой официальной миссии, о которой я пока не имею ни малейшего понятия. А я, вместо того чтобы благоговейно внимать тебе... Эх, клянусь аллахом и пророком, я заслуживаю пары добрых оплеух. — И тыльной стороной ладони он закатил себе увесистую пощечину.— Почему ты так себя ведешь, а, инспектор Али? — продолжал он.— Может, ты тащишь на себе груз прошлого? Твои предки были простыми землепашцами без всякой истории. Ни одного начальника в роду, ни одного военного. А шпиком даже самым захудалым не пахнет.

— Не грусти, брат,— подбодрил его начальник. — Ведь сам-то ты уже в полиции. Думай теперь о своих детях. Их путь предначертан. Надежда — она там, на пороге двухтысячного года. Для человека правомерно и даже нормально время от времени заниматься самокритикой, чтобы вскрыть угнездившиеся в нем пороки. Именно это ты сейчас и проделал. Но еще нужно, чтобы ты *слушал* старших.

— Я тебя слушаю, начальник.

— Не всегда, не всегда! Я действительно хочу, чтобы ты развился — в пределах, конечно, возможного,— потому что желаю тебе добра, поверь мне. Я действительно хочу наметить с тобой твое будущее и стараюсь сделать так, чтобы ты смог войти в него так же легко, как палец входит в кусок масла. Потому что кто знает — сегодня инспектор, завтра, быть может, заместитель начальника...

— О начальник!

— А позже, гораздо позже, кто знает... начальник!

— О аллах!

— А пока помоги-ка мне снять ботинки. Ноги у меня совсем взопрели, а мне, чтобы успешно справиться со своей миссией, необходимо с головы до ног пребывать в удобстве и комфорте.

— Да, начальник. Совершенно верно. Перегреваться не нужно.

Ботинки один за другим шмякнулись оземь.

— Как я тебе только что говорил, в самом начале своего инструктажа — briefing по-американски,— я разбиваю это расследование на четыре части. Во-первых, я... Вот что, держи-ка мой автокарандаш, доверяю его тебе. Только смотри не сломай. Я им дорожу.

— Не беспокойся, начальник. Это большая честь...

— Это «ТК-Матик», им можно оставить на бумаге тысячу метров писанины, не выдвигая грифеля. Не выдвигать грифель на протяжении тысячи метров, то есть целого километра, ты можешь себе это представить?

— Клянусь аллахом и про...

— Блокнот у тебя при себе?

— Да, начальник. Вот он. Я едва осмеливаюсь писать в нем этим чудом техники.

— Осмелься. Пометь себе то, что́ я сейчас скажу, друг мой. Итак, часть первая: я буду держаться как ни в чем не бывало, разговаривать с этими крестьянами обо всем и ни о чем, о дожде и хорошей погоде, о севе и урожае — для того, чтобы завоевать их доверие, а еще потому, что вне своих полевых работ они годны только на то, чтобы их расстрелять. Часть вторая... Ты записываешь?

— Да, начальник. Эта штуковина мчится по бумаге сама по себе на четвертой передаче. Давай продолжай. Я уже не в силах ее остановить.

— На втором этапе я влезаю в глубь их психологии, то есть под их твердый череп. Роюсь там, роюсь и в кратчайшее время делаю для себя элементарный вывод: кто подозрителен, а кто нет. Правда, у этих земляных червей круговая порука... но во мне можешь быть уверенным. Часть третья: всех подозрительных я выделяю в особую группу, а там... там тон круто меняется. Фамилия? Имя? Профессия? Сведения о судимостях? Род занятий в свободное время? Алиби?

— Как в комиссариате?

— Правильно. Но несколько глубже, с учетом окружения, поскольку я здесь все же не у себя в отделе. Часть четвертая, заключительная: подозреваемый номер один налицо, он превратился в виновного, и я раскрываю карты. На этом работа закончена, миссия завершена.

— И сколько на это уйдет времени, начальник?

— Как знать... всяко может быть. Один день, а то и два, все зависит от обстоятельств. А почему ты меня об этом спрашиваешь? Спешишь возвратиться к своей разлюбезной женушке?

— Я? Это я-то? — вскричал инспектор.— Не дай бог! Мне понадобилось взобраться аж сюда, чтобы вспомнить утраченный было вкус к еде. Сегодня утром завтрака не было, начальник. Должно быть, эти дикари едят только раз в день, если такое вообще случается.

Начальник рассмеялся. Смех был добродушный, отеческий.

— У меня все предусмотрено, баранья ты голова. Там, в моей сумке. Бисквиты, бутерброды. Термос, до краев наполненный кофе. И приборы.

— Да это же райское наслаждение...

— Оставь сумку в покое. Ее время еще не подошло. Пиши! Просвещайся, зарабатывай будущие нашивки пóтом своего желудка.

— Да, начальник.

— Записывай... Четыре части расследования исполняются в четырех различных тональностях. Поначалу тон дружеский, безобидный, располагающий. Мало-помалу я его меняю... но постепенно, понял?.. неуловимо, пока он не становится нейтральным, конкретным и деловым. Затем изменение происходит на глазах: тон повышается и набирает силу в тот момент, когда я отделяю зерно от плевел и выделяю подозрительных. Наконец, когда виновный тут, у меня перед глазами, я обретаю свой настоящий тон, тон правды, воодушевлявшей меня с самого начала расследования. Как видишь, нет ничего проще. Разве что вдобавок нужно обладать солидным опытом в познании человеческой натуры и ее выкрутасов. Закрой блокнот и верни мне автокарандаш.

— Держи, начальник. Клянусь аллахом, если б у меня была такая штука в начальной школе...

— Что это? — прорычал начальник.— Что на нем такое липкое? Тебе ничего нельзя доверить, клянусь честью. Ты все уродуешь, я уже устал от тебя. Вот что значит жрать руками, как ты делал вчера вечером! Я дал тебе ценный и точный инструмент, и что же ты мне вернул? Какой-то вульгарный карандаш, испачканный, скользкий и жирный! Ты до сих пор не вымыл руки?

Начальник принялся тщательно обтирать «ТК-Матик» платком. Инспектор скорбно разглядывал свои руки. С великой простотой он объявил:

— Воды больше нет.

— Как это, воды больше нет? Что это ты за оправдание себе придумал? Неужели ты думаешь, что таким вот образом тебе удастся отвертеться?

— Нет, начальник. Зачем мне врать? Объясняю тебе: во время недавних прений с Хаджой по поводу известных тебе пуговиц я случайно узнал, что чая не будет. Итак, мы остались без завтрака в ожидании пикника, который у тебя в сумке. Потому-то сейчас у меня и урчит в животе.

Начальник прицепил к карманчику мундира свой автокарандаш, оглядел платок, скомкал его и зашвырнул в угол, как можно дальше от себя. Потом на лбу его меж бровей пролегла губокая борозда непонимания, и он высказался так:

— Осточертело мне все это! Ты у меня уже вó где сидишь! Что это за дурацкие шутки, где все свалено в кучу: твои липкие пальцы, чай и непристойные утробные звуки?

— Выслушай меня, начальник. Только не насмехайся, сохраняй хладнокровие. Это не мои шутки, это шутки Хаджи. Она сказала мне, что еще вчера у них был запас воды на неделю, две-три тыквы. А потом появились мы, и ты выпил немного этой воды. Вдобавок ты освежился. И, будем говорить, неплохо. Потом надо было приготовить все те обильные и восхитительные кушанья. На это тоже, разумеется, пошла вода. Три тыквы минус три — остается три пустых сосуда. Воды ни капли. В итоге осторожных расспросов Хаджа признала, что колодец существует, но внизу, так? То есть километрах в десяти по этому

пеклу. Вот что сообщила мне эта престарелая дама. Улыбаясь, она добавила, что жители всех окрестных деревень вычерпывают воду из этого колодца поочередно. Поэтому в настоящее время... ты легко можешь представить себе ситуацию, начальник. Когда Хаджа выкладывала мне все эти новости, глаза у нее были ясные и правдивые. Поэтому ее слова я не подвергаю никакому сомнению. Ведь это она живет здесь. Не я. И не ты, начальник. Это конец начала, как говаривала та жирная туша. Черчилль — так, что ли, его звали? — Инспектор сглотнул слюну и выложил суть своей мысли: — Это катастрофа.

Медленно истекли несколько минут — так сочится вода из недовернутого крана. Складка на начальниковом лбу, образовавшаяся вследствие напряженной умственной работы, успела побагроветь, а потом и приобрести иссиня-фиолетовую окраску. Наконец начальник отверз уста — как оказалось, чтобы отдать энергичный приказ:

— Мне-то что за дело? Мой руки. Выкручивайся как знаешь. Я уверен, что твой блокнот тоже перепачкан жиром.

— Понял, начальник. На войне как на войне, как говорят солдаты.

Инспектор решительно сплюнул в ладони и потер их одна о другую, словно намыливая. Потом долго вытирал пальцы об овчину, на которой сидел, особое внимание уделяя при этом ногтям. Высунув руки из пещеры на свет, он задумчиво осмотрел их, обнюхал, после чего объявил:

— Они чистые, начальник. Я так думаю. Я хочу спросить тебя — очень вежливо и с выражением самых почтительных к тебе чувств: если воды так и не будет, что с нами станет? Мы уже сейчас забились в эту нору, как крысы, мучимые жаждой — а скоро еще и голодом. И никакого миража на горизонте, если не считать того скромненького пикничка, что припрятан в твоей дорожной сумке. Но надолго его не хватит. Что такое один термос? Разве что промочить горло перед смертью. Лично я уже ощущаю нехватку слюны, так что лучше будет мне умолкнуть. Ты только взгляни на это солнце, начальник. Оно жарит и жарит — без продыху. Уж на что я, сын своего отца, родился и вырос подле печи — и то недавно чуть не окочурился там, снаружи, когда мирно беседовал с Хаджой. Может, выйдешь и сам в этом удостоверишься, а, начальник?

Морщина на лбу разгладилась, уступив место чрезвычайно умной улыбке, озарившей начальнику лицо.

— Нет,— категорически отверг он это предложение.— Это не для меня. И не настаивай. Есть куда более достойные задачи, требующие сосредоточения моих умственных усилий. Некогда мне тут с тобой зубоскалить. Лучше помоги-ка мне отодвинуть сиденье. Это проклятущее солнце меня слепит. Не хватало еще, чтобы я потерял зрение.

— Да, начальник. Это была бы настоящая катастрофа. Не будем больше говорить об этой мелочи.

Инспектор изо всех сил уперся в своего восседающего на ящике руководителя, задвигая его в глубь пещеры.

— О какой мелочи?

— О воде.

— Так. Ну, ладно,— произнес начальник. — Гм-м! Слушай меня. Нет-нет, записывать ни к чему. Экономь бумагу. Я возлагаю на тебя проведение следственного действия. Ступай, доставь мне этих крестьян — всех, кого найдешь. Я всерьез берусь за расследование.

— У меня есть стократ лучшая идея,— заявил инспектор.— Изложу ее кратко, начальник, одну только суть: первое — мы берем ноги в руки; второе — мы жмем отсюда на нашей тачке, не забыв опустить все стекла; третье — останавливаемся в первой попавшейся гостинице, чтобы освежиться и перекусить, и, когда мы вернемся сюда, если это уж так необходимо, наступит конец лету. Когда обстановка усложняется, лучше всего философски на все плюнуть. Французы,

правда, утверждают, будто в таких случаях следует действовать, но ведь мы-то с тобой не французы, верно, начальник?

— Считай меня своим братом, инспектор. Остановись и не спеша ответь мне на такой ма-аленький вопрос: мне писать на тебя рапорт сию же минуту или по возвращении в столицу? Выбирай. Оправдывайся. Приводи мне аргументы за и против. Представь себе, что ты перед судьей, который питает к тебе изрядную симпатию и честно пытался тебе помочь, но после всех твоих выкрутасов уже бессилен что-либо сделать! Он просто опускает руки!

— Согласен,— быстро ввернул инспектор.

— С чем ты согласен?

— Я иду за виновными, начальник. Немедленно. Нельзя ли мне глотнуть кофе из термоса?

— А я разве пил?

— Нет, начальник.

— А хочется мне пить?

— Мне об этом ничего неизвестно, начальник.

— Ну так что?

— Ну ладно, не нужно кофе. Не будем больше говорить об этом, клянусь аллахом!

Инспектор медленно вышел, оставив за спиной всякие надежды на будущее. Если он о чем и думал, так это о ружье — его начальник полиции позабыл накануне во время первого приступа бешенства возле ограды, за которой стражем времени возвышался Рахо.

Под пылающим солнцем по направлению на восток неспешно трусил рыжий осел.

— Иди, сын мой! — напутствовал его перед этим хозяин.— Вверяю тебе этого человека. Отвези его сам знаешь куда.

Упомянутый человек восседал на спине осла с рассвета, без седла и поводьев, покачиваясь в такт мелкой рыси и тряске, и ноги его едва не волочились по земле. Тропка, вьющаяся по склону горы, была крута, узка, окаймлена кустами и оврагами, местами столь обрывиста, что ослу лишь с превеликим трудом удавалось припомнить свое прошлое. Однако он напрягал мышцы, переносил свой вес на задние ноги, в точности повторял все извивы тропинки. Ему надлежало оберегать свою человечью ношу, служить ей проводником — и глазами.

Изредка, словно ободряюще теплый зов друга, до него вместе с порывами ветра долетали обрывки тонкого гласа бычьего рога. Осел пытался уловить малейшие его отзвуки. Но с каждым его шагом расстояние увеличивалось, солнце, казалось, скатывалось вниз и разжижало время, и вскоре не осталось никаких иных звуков, кроме стука копыт об окаменелую землю.

(Окончание следует)

ЭНН ТАЙЛЕР

Обед в ресторане «Тоска по дому»

РОМАН

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ

— Я знала, что за обед предстоит сегодня вечером,— сказала Перл Коди,— не такая уж я дура. Я все знала. Эзра взял и сделал ей предложение, собирается жениться на этой сельской поварихе. Я предчувствовала, но окончательно все подтвердилось, когда я пришла в ресторан и увидела на столе пять тарелок и пять рюмок. Конечно, я поступила нехорошо. Я знаю это и без тебя, Коди. Но когда я увидела эти пять тарелок, у меня внутри что-то оборвалось. И я подумала: ну ладно, пусть так, только не сегодня вечером, только не сегодня. Господи, лишь бы не сразу после того, как мы купили второе подвенечное платье моей единственной дочери. А потом, как ты знаешь, я устроила скандал, и обед пришлось отменить, будто я все задумала заранее, хотя на самом деле это совсем не так. Ты ведь веришь мне, правда? У меня же есть голова на плечах. Я знаю, когда меня заносит. Иногда как бы стою рядом с собой и вижу все со стороны. Словно это происходит не со мной. Я себе говорю: «Перестань». Но ничего поделать не могу: что-то меня толкает, не дает остановиться. Да-да, думаю, сейчас остановлюсь, только скажу еще вот это... Неужели ты не веришь мне, Коди? Разве мне не хочется, чтобы вы трое были счастливы? Еще как хочется. У меня и в мыслях не было отговаривать Эзру, раз уж он решил жениться на этой девчонке, хотя понять не могу, что только он в ней нашел — ни кожи ни рожи, да к тому же чистый сорванец. Она из какой-то глухомани, из графства Гарретт или откуда-то в этом роде. Почти всегда ходит босиком — ты бы посмотрел на ее пятки! Но ты же знаешь, я не из тех мамаш, которые цепляются за своих сыновей. Я всей душой хочу, чтобы Эзра женился. Видит бог, хочу, чтобы кто-то о нем заботился, о нем в особенности. Я знаю, ты не пропадешь, а вот Эзра, он... как бы это сказать... такой беззащитный. Что говорить, я люблю вас всех, но Эзра такой добрый. Правда? Во всяком случае, сейчас, когда у него появилась эта самая Рут, он так изменился; ты как-нибудь посмотри на него, когда она входит в комнату с таким видом, будто ей море по колено — не знаю, как это еще назвать. Он просто обожает ее. Они начинают возиться, как два щенка. В самом деле, они похожи на двух щенят, жмутся друг к другу, хихикают, скачут по кухне или слушают сельскую музыку, от которой Рут без ума. Знаешь, Коди,— только никому об этом не рассказывай, ладно? — вот я иногда стою, смотрю на них и вижу: им кажется, они совсем особенные, первые и единственные люди на Земле, переживающие такое чувство. Они уверены, что будут счастливы до самой смерти, что все другие браки — обычные, приевшиеся, опостылевшие, а у них все будет иначе, лучше. И это меня злит. Ничего не могу поделать с собой, Коди. Знаю, это эгоизм,

Окончание. Начало см. в № 9, 1985.

но это сильнее меня. Иногда мне хочется спросить у них: думаете, вы сделаны из другого теста? Думаете, я всю жизнь была такой несносной старухой? Знаешь, Коди, ведь в свое время и я кому-то казалась особенной. Стоило мне протянуть руку и коснуться пальцем его локтя, когда он разговаривал, и он тут же смущенно замолкал. И у меня были свои надежды, своя незабываемая судьба. Три удивительных беременности, когда каждое утро я просыпалась с мыслью, что через девять месяцев, восемь, семь... произойдет чудо. Мне казалось, я полна света и планов на будущее. А потом, пока вы, дети, были маленькие, я была для вас центром вселенной, всем на свете! Целый день только и слышалось: «Мама!», «Мама!», «Где мама?», «Куда она ушла?» И первое, что вы говорили, когда переступали порог, возвращаясь из школы: «Мама, ты дома?» А теперь, когда я состарилась, никто не обращает на меня внимания. Это несправедливо, Коди. Так несправедливо! Только не говори им об этом.

Пока Коди на следующей неделе хронометрировал движения рабочих на сборке электродрелей, черноволосая Рут постепенно исчезала со стропил и из коридоров и в конце концов исчезла совсем, а он начисто забыл, почему она так волновала его. Ее место заняла новая Рут. Худая, похожая на мальчишку, в мешковатом комбинезоне, она, хихикая, носилась вдоль конвейера, а за ней по пятам мчался Эзра с растрепанными волосами. (Оказывается, у него не было никакого иммунитета против женщин: он просто ждал, по-своему доверчиво и упрямо, появления избранницы.) Но вот Эзра догнал Рут в кабинете управляющего, и они стали возиться, как... да, как два щенка. Хохолок подпрыгивал на макушке у Рут. Губы у нее были обветренные, в трещинах. Ногти обкусаны до основания, а на костяшках пальцев царапины и ожоги — следы сельской стряпни.

Коди позвонил матери и сказал, что приедет на уик-энд. И спросил, будет ли Рут. Так или иначе, сказал он, ему пора поближе познакомиться с будущей невесткой.

Коди приехал в субботу утром с букетом медно-красных роз. Рут и Эзра играли на полу гостиной в карты. Увидев Рут после недели грез о ней, Коди был ошеломлен определенностью, незамысловатостью, резкостью этого характера. Ничего подобного он в жизни не встречал. На ней были джинсы и ковбойка в безобразную коричневую клетку. Увлеченная игрой, Рут едва взглянула на вошедшего Коди.

— Рут,— сказал он, протягивая цветы,— это тебе.

Она взглянула на букет и сняла с колоды верхнюю карту.

— Что это? — спросила она.

— Розы.

— Розы? В такое время?

— Это из оранжереи. Я специально заказал медно-красные к твоим волосам.

— Мои волосы оставь в покое.

— Он хотел сделать тебе комплимент, малышка,— сказал Эзра.

— А-а-а...

— Конечно,— сказал Коди.— Этим я говорю тебе: «Добро пожаловать. Добро пожаловать в нашу семью, Рут».

— Вот оно что. Ну спасибо.

— Молодец, Коди,— похвалил Эзра.

— Я выиграла,— сказала Рут.

Вечером, когда пришло время идти в ресторан, Коди проводил Рут и Эзру. Он провел без движения долгий томительный день — в основ-

ном наблюдая за жизнью других людей,— и сейчас ему хотелось размяться.

С самого утра дождь то лил, то прекращался, на тротуарах стояли лужи. Рут не пропускала ни одной — шлепала напрямик, ей в коричневых кожаных туристских башмаках это было не страшно. Неужели она нарочно их выбрала, недоумевал Коди. Что бы она сделала, если б он подарил ей вечерние туфельки на высоких каблуках? Эта мысль заинтриговала его, не давала покоя: он испытывал чуть ли не физическую потребность увидеть ее широкие ступни, обтянутые серебряными ремешками. И почему-то ему страшно хотелось завладеть ее огромными наручными водолазными часами с черным циферблатом и множеством мелких делений; стальной пружинный браслет свободно болтался на ее костлявом запястье.

Эзра захватил с собой грушевую блок-флейту и всю дорогу, серьезный, сосредоточенный, полузакрыв глаза, наигрывал «Тефтельку рыбную». Прохожие смотрели на него и улыбались. Рут то подпевала ему, то уходила в свои мысли. Наконец Эзра засунул флейту в карман поношенной шерстяной клетчатой куртки, и они с Рут стали обсуждать меню. Хорошо, что сегодня рисовый гарнир, говорила Рут, для арабских семей рис — такая радость. Она пригладила пальцами непокорные рыжие волосы, и Коди почувствовал, как она прильнула к Эзре, когда тот обнял ее и притянул к себе.

Она носилась по ресторану вихрем, а Эзра словно витал в облаках, когда готовил еду — то снимал пробу, то погружался в раздумье. Другие повара (по мнению Коди, все как один — неудачники) бестолково бродили по кухне, а Рут нападала, налетала на продукты, словно сражалась на поле боя. Она отвечала за куриное рагу и что-то наподобие картофельных оладий. Коди наблюдал за нею из угла, места вроде бы безопасного, однако повара тем не менее поминутно натыкались на него.

— Где ты училась стряпать?— спросил он Рут.

— Нигде,— ответила она.

— Это какое-то местное блюдо?

— Попробуй! — огрызнулась она, подцепила вилкой кусок и подала ему.

— Не могу,— отказался Коди.

— Почему?

— Я сыт.

Он и вправду насытился — *ею*. Весь день впитывал ее в себя, пожирал. Каждое ее угловатое движение, то, как она гремела крышками кастрюль, как встряхивала головой — все это питало его. Он был просто счастлив, когда, разглядывая ее узкую спину, вдруг заметил, что она носит майку, трикотажную майку, какую он сам носил в детстве. Под клетчатой ковбойкой виднелись даже швы на майке. Он бережно запечатлел этот факт в памяти, чтобы любовно вернуться к нему, когда останется наедине с самим собой.

Ресторан открылся и начал мало-помалу заполняться посетителями. Высокая улыбающаяся женщина-метрдотель рассаживала их всех в одном конце зала, словно брала под свое крыло.

— Садись,— сказал ему Эзра.— Я принесу тебе что-нибудь из стряпни Рут.

— Я не голоден, честное слово.

— Он сыт.— Рут будто выплюнула эти слова.

— Чем же ты тогда займешься? Тебе здесь, наверное, скучно?

— Нет-нет. Мне интересно,— сказал Коди.

Ему был виден обеденный зал, люди за столиками жевали, глотали, пили, прикладывали салфетки к губам, отламывали кусочки хлеба. Непонятно, как Эзра мог растрачивать на это свою жизнь.

Когда первые хлопоты остались позади, Рут и Эзра уселись посреди кухни за чисто выскобленный деревянный стол, и Коди при-

соединился к ним. Эзра попробовал куриное рагу, приготовленное Рут. Она закурила коричневую сигаретку и откинулась на стуле, наблюдая за ним. Запах у сигаретки был такой, будто пригорает что-то случайно выплеснувшееся в духовке или прилипшее ко дну кастрюли. Коди, сидевший напротив Рут, впитывал в себя и этот запах.

— Ты бы поел, Коди,— уговаривал Эзра. Но Коди только качал головой, не в силах расстаться с дымом сигареты Рут, заполнявшим его грудь.

То и дело появлялись другие повара, некоторые, оставив на маленьком огне свои горшки и кастрюльки, присаживались за стол перекусить. Подошел Эзрин старый друг Джосайя — теперь это был солидный мужчина в белом накрахмаленном халате — и завел с Рут разговор о яблоках, которые надо было почистить (Рут собиралась печь пирог). Коди ничуть не интересовал яблочный пирог Рут, но его завораживала ее бесцеремонная, грубоватая манера разговаривать. Упершись локтем в бок, Рут держала сигарету между большим и указательным пальцами. Потом она наклонилась вперед, что-то обдумывая; ее глаза, смотревшие из-под сдвинутых бровей, были такого бледно-голубого цвета, что у Коди дух захватило.

Они ушли из ресторана еще до закрытия. Эзра сказал, что Джосайя все запрет. Они выбрали кружной путь по тихой улице с односторонним движением, чтобы проводить Рут до дома, где она снимала комнату. Эзра поднялся с ней на крыльцо, Коди ждал на тротуаре. Глядя, как Эзра целует ее на прощанье, Коди не без удовлетворения отметил, что поцелуй был неловкий. Эзра вернулся совершенно счастливый и неуклюже зашагал рядом.

— Ну скажи, ведь правда она необыкновенная? Правда в нее можно влюбиться?

— Хм-м-м...

— Мне надо хорошенько порасспросить тебя! Я хочу по-настоящему заботиться о ней, но не знаю как. Вот, например, страхование жизни. И разные другие вещи. Ведь от мужа многое зависит, Коди. Поможешь мне разобраться?

— С удовольствием,— пообещал Коди. Вполне искренне. Он был согласен на все, лишь бы приблизиться к ней.

Эзра постепенно успокоился, хотя все еще походил на человека, у которого внутри все бурлит от радости. Он непрерывно что-то напевал. А возле самого дома, когда они проходили мимо темных зданий, обитатели которых давным-давно спали, Эзра вдруг вынул из кармана свою проклятую флейту и засвистел. Коди захотелось его придушить. Зла не хватает. Опять эта «Тефтелька рыбная»! Как это похоже на Эзру, подумал Коди, даже его любимая песенка и та — кулинарный рецепт. Он молча шел рядом в надежде, что кто-нибудь вызовет полицию или по крайней мере распахнет окно и крикнет: «Эй ты, заткнись!» Но никто этого не сделал. Эзре везло, как всегда.

В воскресенье утром Коди возник на крыльце перед Рут, точнее, перед увядшей, рыхлой дамой, хозяйкой дома, где жила Рут. Дама так нервно теребила свой медальон, что Коди счел за благо отступить на шаг, доказывая тем самым, что он не бандит-грабитель. С учтивостью истинного джентльмена он улыбнулся и спросил:

— Доброе утро, мэм, вы не скажете, Рут дома?

— Рут?

Коди вдруг сообразил, что не знает ее фамилии, и добавил:

— Я брат Эзры Тулла.

— А, Эзры... — И она отошла от двери, пропуская его.

Он последовал за ней в глубь дома, мимо громоздкой мягкой мебели, запыленных восковых фруктов и стопок журналов. Рут сидела на кухне, согнувшись над столом, она ела кукурузные хлопья и чита-

ла газету, прислоненную к коробке с кукурузой. Невысокий, бледный толстяк в задумчивости застыл перед открытым холодильником. Коди подумалось, что здесь царит застой и жизнь проходит впустую. Сам же он ощущал прилив энергии. Вырвать ее отсюда, пожалуй, не составит труда.

— Доброе утро,— поздоровался он.

Рут подняла глаза. Толстяк скрылся за холодильником.

— Надеюсь, ты еще не наелась досыта,— сказал Коди.— Я хочу пригласить тебя позавтракать.

— Зачем? — нахмурилась Рут.

— Ну... просто так. Вышел погулять и подумал, вдруг ты тоже захочешь прогуляться со мной, а по дороге можно зайти куда-нибудь выпить по чашке кофе с булочками.

— Прямо сейчас?

— Конечно.

— Но ведь идет дождь.

— Моросит чуть-чуть.

— Спасибо, не хочу,— отказалась она и опять уставилась в газету.

Послышался негромкий треск, будто застегнули молнию,— хозяйка провела медальоном по цепочке.

— Что нового на свете? — поинтересовался Коди.

— На каком свете?

— Ну какие новости? Что пишут в газете?

Рут подняла голову, и Коди увидел раскрытую перед ней страницу.

— А-а... так это комиксы.

— Нет, я изучаю свой гороскоп.

— Гороскоп? — Он посмотрел на хозяйку, ожидая, что та придет ему на выручку. Но хозяйка не отрывала глаз от полки, заставленной банками с вареньем, и Коди спросил: — А какой у тебя символ?

— Хм-м-м...

— Какой у тебя символ Зодиака?

— Не символ, а знак,— поправила она со вздохом и встала, как бы нехотя признавая, что он здесь. Схватила со стола газету и сердито направилась в гостиную. Коди пропустил ее вперед и пошел следом, думая о том, что ее джинсы, вероятно, куплены в детском магазине, в отделе одежды для мальчиков. У нее совсем не было бедер, а свитер протерся на локтях.

— Я — Телец,— бросила она через плечо.— Но все это ерунда. Чушь.

— Ты совершенно права,— с облегчением сказал Коди.

Она остановилась посреди гостиной и повернулась к нему.

— Вот глянь.— И она ткнула пальцем в газетную строчку.—«Сильный союзник выручит вас. Сейчас звезды особенно благоприятствуют крупным бизнесменам».— Она опустила газету.— К кому это они обращаются? Чем я, по-ихнему, должна заниматься?

— Глупости,— сказал Коди. Ее брови гипнотизировали его. Они были апельсинового цвета, и, когда она волновалась, кожа вокруг них розовела, становилась темнее, чем сами брови.

— «Не обращайте внимания на инсинуации вашего давнего врага»,— читала она, водя пальцем по строчкам.— Или вот, послушай, еще: «Тайная встреча может раскрыть вам секрет...» Боже милостивый! — воскликнула она, швыряя газету в кресло.— Хорошенькую жизнь надо вести, чтобы хоть как-то оправдать свой гороскоп.

— Ну не знаю,— сказал Коди,— может, в этом что-то есть, больше, чем тебе кажется.

— Чего-чего?

— Может, это указывает тебе, какую жизнь ты должна вести. Ты должна быть более смелой, предприимчивой, а не ишачить как прóк-

лятая в ресторане, не слоняться после работы по мрачному дому, в котором сдают комнаты...

— Не так уж здесь и мрачно,— сказала Рут, вызывающе вздернув подбородок.

— Да, но...

— И потом, я не собираюсь оставаться здесь на всю жизнь. После свадьбы мы с Эзрой переедем в квартиру над рестораном, а когда накопим денег, купим собственный дом.

— И все-таки,— сказал Коди,— у тебя не будет ничего похожего на то, о чем говорят твои гороскопы. Подумай только, ведь перед тобой целый мир! Нью-Йорк, например. Ты когда-нибудь бывала в Нью-Йорке?

Она отрицательно покачала головой, не сводя с него внимательных глаз.

— Тебе надо обязательно съездить туда. Сейчас там весна.

— Здесь тоже весна.

— Но совсем другая.

— Не пойму я, куда ты клонишь, — сказала она.

— Ну, просто я хотел сказать... Зачем тебе так поспешно заводить свой дом, когда на свете есть много такого, о чем ты и понятия не имеешь.

— Поспешно? — переспросила она. — Да мне уже почти двадцать. Я работаю у разных людей с шестнадцати лет. Единственное, чего мне хочется, это иметь свой дом, и чем скорее, тем лучше.

— Вот оно что, — сказал Коди.

— Счастливой прогулки.

— Ах да...

— Смотри не утони, — съязвила она.

В дверях он повернулся:

— Рут.

— Чего?

— Я даже не знаю твоей фамилии.

— Спиви, — сказала она.

Ему показалось, что ничего более волшебного он в жизни не слышал.

На следующий уик-энд он повез ее за город показать свою ферму.

— Насмотрелась я на разные фермы, на всю жизнь хватит, — заявила она.

— Нет, ты все-таки съезди, Рут, — сказал Эзра, — там сейчас так красиво.

Сам он не мог поехать с ними — ему надо было следить за монтажом нового морозильника для мяса. Коди разузнал это заранее, до того как пригласил ее.

На этот раз он принес ей нарциссы.

— К чему мне эти цветы? — спросила она. — Возле заднего крыльца у нас их полным-полно.

Коди улыбнулся.

Он усадил ее в свой «кадиллак», пахнущий новой кожей. Но на нее это не произвело ни малейшего впечатления. Как назло, она надела юбку, хотя джинсы сейчас были бы уместнее. Ноги у нее были синюшно-белые. Таких носков он не видел со школьных лет, а ее изношенные кеды были маленькие и по-детски тупоносые.

По дороге на ферму он делился с ней своими планами:

— Я бы хотел постоянно жить на ферме, растить там детей. Для детей это идеальное место.

— С чего ты взял? — спросила она. — Когда я была девчонкой, я только и думала, как бы удрать в город.

— Да, но свежий воздух, овощи с собственного огорода, домашние животные... Пока что за моим скотом ухаживает сосед, но как только я туда перееду, займусь этим сам.

— Хотела бы я посмотреть, — сказала Рут. — Ты когда-нибудь борову пойло варил? Хлев чистил?

— Всему можно научиться.

Она пожала плечами и умолкла.

Когда приехали на ферму, Коди показал Рут свои угодья. Она так посмотрела на корову, что та даже попятилась, а кур она просто испепелила взглядом. Затем он повел ее в дом, купленный вместе со всей обстановкой, — в гостиной облезлый плюшевый диван, керосиновая лампа, на кухне расшатанный стол, в ящике полно ржавых вилок, ложек и ножей, на стене календарь 1958 года с рекламой смеси «Малларди» для кур-несушек. Прежний хозяин, вдовец, умер наверху в спальне, на старой деревянной кровати с пологом. Коди заменил простыни, купил новое стеганое одеяло и пуховые подушки — вот и все новшества.

— Вообще-то я собираюсь все переделать, — сказал он Рут, — только сперва женюсь. Вдруг жене захочется сделать что-то по-своему.

Рут легко сняла с оконной рамы запор, дерево крошилось у нее под руками. Она перевернула запор и осмотрела его.

— Очень хочу жениться, — сказал Коди.

Рут воткнула запор на место.

— Жаль мне тебя огорчать, но ничего не поделаешь, сказать надо. Чувствуешь запах? Такой сладковатый? У тебя здесь сухая гниль.

— Рут, — сказал он, — я почему-то не нравлюсь тебе?

— Чего?

— Я о твоем отношении ко мне. Ты вроде бы сторонишься меня. Не очень-то у тебя хорошее мнение обо мне, правда?

Она искоса взглянула на него, но тут же отвела глаза и отошла к лестнице.

— Нет, почему же. Я ничего против тебя не имею.

— Правда?

— Но я знаю, из какой ты породы.

— В каком смысле?

— Таких, как ты, в нашей школе было пруд пруди, — сказала она. — Точно. В каждом классе, в каждой команде — высокие, красивые, хорошо одетые парни, спортсмены, остряки. Вежливые, воспитанные, все им легко давалось, они знали, что к чему, и свидания назначали только самым красивым девочкам. А меня просто не замечали, не знали даже, кто я такая, вообще не подозревали о моем существовании. Или за глаза смеялись — я уверена, смеялись над тем, что я плохо одета, над веснушками, над рыжими волосами...

— Когда же это я смеялся над тобой?

— Я и не говорю, что ты смеялся. Но как только взгляну на тебя, так сразу вспоминаю их.

— Рут, я никогда бы так себя не повел, — сказал Коди. — По-моему, ты восхитительна. В жизни не встречал более красивой женщины.

— Да ну? — Она вздернула подбородок, резко повернулась и пошла вниз. Всю долгую дорогу в город она сердито молчала, оставляя без ответа его попытки завязать разговор.

Это была настоящая военная операция — затяжная, сложная боевая операция, которая продолжалась весь апрель и май. Временами его охватывало отчаяние. Он слишком поздно вступил в игру, и шансов у него было немного; он растратил годы на банальных брюнеток, победы над которыми считал большой доблестью, а вот Эзра без малейшего усилия отыскал подлинное сокровище. Счастливчик! Вся его

жизнь шла под знаком удачи, а Коди, видимо, не дано понять, отчего Эзре все так удается.

Часто, расставшись с Рут, Коди на ходу бормотал что-то себе под нос, сердито лупил кулаком по собственной ладони или с размаху пинал свою машину. И в то же время он чувствовал душевный подъем. Да, надо признать, впервые в жизни он ощущал такой прилив энергии, впервые так нетерпеливо ждал каждого нового дня. Теперь до него дошло, отчего он потерял интерес к этой... как бишь ее... Кэрол или Карен, к той девушке из агентства социального обеспечения, которой не понравился его брат Эзра. С ней у Коди все получалось слишком легко. А его привлек дух соперничества, стремление победить в нелегкой схватке с Эзрой, своим исконным врагом. Ему нравилось выжидать, держать себя в узде, до поры до времени скрывать свои чувства от Рут. (Может, именно в терпении и заключался секрет Эзры?) И ведь происходящее вовсе не было открытым соперничеством. Одному из двоих даже не приходило на ум, что он участвует в состязании.

— Знаешь, Коди,— заметил как-то Эзра,— я ужасно рад, что ты теперь так часто бываешь с нами.

А когда Коди приглашал куда-нибудь Рут, Эзра говорил: «Поезжай, тебе понравится».

Однажды, чтобы подразнить Эзру, Коди стащил у Рут коричневую сигарету и выкурил ее на ферме (запах гари наполнил спальню, и если бы у Коди был под рукой телефон, он, забыв о своей стратегии, немедленно позвонил бы ей и признался в любви). Он погасил сигарету и бросил окурок в пепельницу на тумбочке возле кровати. А вскоре пригласил Эзру на ферму посмотреть телят, поднялся с ним наверх — посоветоваться насчет дырки в крыше — и в спальне подвел брата прямо к тумбочке, где стояла пепельница. Но тот спросил только: «Разве здесь была Рут?» — и тут же начал восторженно рассказывать о том, какие пряные травы она развела на крыше ресторана. Коди просто диву давался, как это можно быть таким слепцом, таким доверчивым простаком! К тому же Коди до смерти хотелось, чтоб Рут сажала травы в первую очередь для него. На заднем дворе, именно там, где он не раз видел в мечтах огород своей жены. Розмарин! Базилик! Лимонная мята!

— А почему бы ей не приехать сюда? — спросил он у Эзры. — Пусть бы выращивала свои пряности здесь, на ферме.

— Ну ты же понимаешь — чем ближе к дому, тем они свежее, — сказал Эзра. — Спасибо за предложение, Коди.

Вечером, разбирая винтовку, Коди всерьез подумал, а не пустить ли пулю Эзре в самое сердце.

Когда он делал Рут комплименты, она ощетинивалась. Когда приносил ей хитро выбранные подарки (золотые цепочки, духи в хрустальных флаконах, музыкальные шкатулки, цветы из шелка — все, что, по его мнению, было контрастом отвратительной, небрежно упакованной скалке из пестрого мрамора, которую Эзра подарил ей на двадцатилетие), Рут обычно сразу же теряла их или где-нибудь забывала. Когда же он приглашал покататься на машине, Рут соглашалась ехать только за город. Стоило ему взять ее под руку, как она говорила: «Отвяжись, я пока еще не старуха». Она с легкостью прыгала по камням и пробиралась по лесу в своих спортивных башмаках, а Коди покорно шел следом, робкий, ослепленный, буквально погибающий от любви. Он похудел на восемь фунтов, потерял аппетит — раньше он думал, что это сказки, — и почти не спал, а если и засыпал, то заставлял себя увидеть во сне Рут, но она никогда ему не снилась, она лукаво, упрямо ускользала от него, и когда они встречались днем, в обращенном к нему взгляде Рут ему чудилась насмешка.

Зачастую он лишь с трудом поддерживал с ней разговор. Иногда— в середине недели, когда он находился далеко от Балтимора, — ему казалось, что все это чистое безумие. Они навсегда останутся чужими

друг другу. Ну что, что между ними общего? Однако наступала суббота, и его снова завораживали ее независимая, гордая походка, вызывающе вздернутый подбородок и восхитительно сердитый взгляд. Он с упоением вдыхал ее запах, запах немытого мальчишки, и представлял себе, как ее маленькое тело уютно прижимается к нему. Так вот что общего было между ними — сама Рут. Он тянулся потрогать косточки на ее руке. Она взъерошивалась и шарахалась от него: «Ты что делаешь?» Он молчал.

— Я знаю, что ты задумал, — однажды сказала ему мать.

— О чем ты?

— Я тебя насквозь вижу.

— Ну и что же такого я задумал? — Ему действительно хотелось услышать ее ответ; ведь он уже был в том состоянии, когда всеми правдами и неправдами стараются заставить кого-нибудь произнести вслух имя обожаемой женщины.

— Меня не проведешь, — сказала мать. — Почему у тебя все не как у людей? Тебе эта девчонка даром не нужна. Она же вовсе не в твоем вкусе, но вполне под стать твоему брату Эзре. Может, он ничего в жизни так не хотел... И потом, что ты с ней будешь делать? Ты же бросишь ее. В один прекрасный день скажешь себе: «Господи! На что мне сдался этот недомерок?»

— Ничего ты не понимаешь, — сказал Коди.

— Наверное, это для тебя большая неожиданность, — возразила Перл, — но я прекрасно тебя понимаю. В других людях я не больно-то разбираюсь, но уж в моих собственных детях от меня ничего не скроется. Я знаю, чего ты добиваешься. Насквозь тебя вижу.

— Прямо как господь бог, — усмехнулся Коди.

— Как господь бог, — кивнула она.

Эзра наметил устроить праздничный обед в пятницу, накануне свадьбы Дженни. Но в четверг вечером Дженни позвонила Коди в его нью-йоркскую квартиру. Звонок был местный; она сказала, что они с Сэмом Уайли находятся в гостинице кварталах в десяти от него.

— Вчера утром мы поженились, — сообщила она, — а сегодня начинается наш медовый месяц. Так что праздничного обеда не будет.

— Но как же так? — спросил Коди.

— Мама и Сэм немного повздорили.

— Ясно.

— Мама сказала... И Сэм ответил ей... А потом я сказала: «Слушай, Сэм, а почему бы нам не...» Единственно, перед кем мне неловко, — это перед Эзрой. Сколько труда вложил, и все впустую.

— Да ему пора бы уже привыкнуть, — сказал Коди.

— Он собирался угостить нас молочным поросенком.

Неужели Эзра не заметил, подумал Коди, что их семейство в полном составе ни разу не пообедало у него по-людски. Что они обязательно ссорятся и уходят из-за стола посреди обеда, а иногда даже не успевают сесть за стол. Конечно, он не мог этого не заметить, но вот углядел ли в этом закономерность? Нет, вероятно, он рассматривал каждый обед как отдельную семейную встречу и не сравнивал его с другими. Может, он вообще не сопоставлял их, даже мысленно. Может, он дурак.

Правда, был один случай — они отмечали начало новой карьеры Коди,— когда добрались до сладкого; и если бы десерт тогда не был заказан, можно было бы считать, что обед от начала до конца прошел благополучно. Но десерт остался недоеденным: мать обвинила Коди в том, что он открывает новое дело нарочно, лишь бы уехать подальше от дома. Вспыхнула небольшая перебранка. Разговора не получилось. Коди ушел. Так что, по сути, и этот обед нельзя считать завершенным. Почему же Эзра продолжал упорствовать? Вернее, почему все они продолжали ходить на эти обеды?

Пожалуй, они встречались чаще, чем другие, счастливые семьи. Кажется, именно неурядицы и заставляли их встречаться снова и снова. (Не означает ли это, что когда-нибудь они завершат свой семейный обед, а потом разойдутся навсегда?)

Как только Дженни повесила трубку, Коди сел на диван и начал просматривать утреннюю почту. На душе у него было неспокойно. Непонятно, как это Дженни могла выйти замуж за художника Сэма Уайли, маленького, щуплого задаваку с бегающими глазами. Непонятно, отменит Эзра обед или отложит его на будущее, когда у молодоженов окончится медовый месяц. Мысленно он видел Рут в ресторанной кухне за работой — огрубевшие, исцарапанные пальчики панировали мукой куриные ножки. Затем Коди пробежал проспект страховой компании и задумался: случись ему умереть, даже страховки никто не потребует — некому будет требовать.

Он вскрыл конверт с крупной надписью ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ; внутри оказались три рекламных образца почтовой бумаги и бланк для заказов. Один образец был бледно-голубой, с монограммой ЛМР наверху в середине листа. На втором кружевными буквами было выведено имя — «Пола», причем букву «П» оплетала гирлянда вьюнка; третий образец представлял собой лист бумаги, который можно было сложить в виде конверта. На обороте был напечатан узор из бабочек и адрес: *Миссис Гарольд Александер, 219, бульвар Св. Бьюлы, Даллас, Техас.* Коди внимательно изучил адрес, потом вынул из нагрудного кармана ручку и начал писать измененным почерком, с наклоном влево:

«Дорогая Рут!
Решила черкнуть тебе пару строк и передать привет от всех нас. Как дела на работе? Как тебе нравится Балтимор? Гарольд говорит, чтобы я спросила, не встретила ли ты там подходящего молодого человека. Вчера ему приснился странный сон, будто он видел тебя с высоким мужчиной, черноволосым, сероглазым и в сером костюме. А я сказала: «Надеюсь, сон в руку».
У нас все хорошо, только Линда на прошлой неделе пропустила один день занятий в школе. По-моему, она просто струсила перед контрольной по математике. Ха-ха! Она передает тебе привет и тысячу поцелуев. Пиши, не откладывай. Ладно?»

Под конец он все-таки нашел правильный тон и пожалел, что на листе не осталось свободного места. Подписался он так: «Целую, Сью (миссис Гарольд Александер)». Коди запечатал конверт, наклеил марку и надписал адрес. Потом положил письмо в другой конверт и написал записку однокашнику, бывшему соседу по общежитию, который жил теперь в Далласе, с просьбой опустить письмо в ближайший почтовый ящик.

На этот уик-энд он не поехал в Балтимор, и в награду ему приснилась Рут. Она встречала поезд, на котором он ехал. Он увидел ее на платформе, она вглядывалась в окна медленно плывущих вагонов. Он с таким нетерпением ждал встречи с нею, так хотел увидеть, как просветлеет ее озабоченное лицо, когда она заметит его, что окликнул ее по имени и... проснулся. Он успел еще уловить в темноте что-то вроде отдаленного эха—даже не имя, а какой-то бессмысленный звук, произнесенный во сне; целых четыре часа он пытался вернуться в свой сон, но тщетно.

Утром Коди принялся за второе письмо. На листке с именем «Пола» он написал корявыми буквами:

«Дорогая Рути!
Что же ты, старушка, совсем забыла про своих друзей? Вчера

я так и сказала маме: «Послушай, мама, эта Рут наверняка совсем забыла о нас». Дела у нас неважные. Может быть, ты слышала, что мы с Норманом разошлись. Знаю, он тебе нравился, но ты не представляешь, какой это зануда — вечно копается, слова из него не вытянешь. Он меня просто довел до ручки. Послушай моего совета, подружка: остерегайся этих бледных задумчивых блондинов — никакой от них радости. Найди себе интересного брюнета, который покажет тебе белый свет. Серьезно, поверь, я знаю, о чем говорю.

Мама передает тебе привет и спрашивает, не хочешь ли ты, чтобы она тебе что-нибудь сшила. Коленки у нее теперь совсем не гнутся — артрит, и она все время сидит в кресле, так что у нее уйма свободного времени для шитья.

Привет, Пола».

Это письмо Коди отправил во вторник из Пенсильвании, куда поехал по делам на завод по производству тары. А в среду бросил в нью-йоркский почтовый ящик голубой листок с монограммой ЛМР:

«Дорогая Рут!

Несколько дней назад мы с Донной обедали в ресторане, и она сказала, что у тебя появился очень милый ухажер. Подробностей она не знает, но, когда она сказала, что его фамилия Тулл и он из Балтимора, я сразу поняла, что это Коди. Здесь его все знают и любят. В душе он человек хороший, просто вот уже столько лет никто его не понимает. Ну, Рути, ты кажется, умнее, чем я думала. Я всегда считала, что ты подцепишь одного из блондинов, которых везде пруд пруди, но теперь вижу, что ошибалась. Буду ждать подробностей.

Целую, Лори-Мэй».

— Ну, знаешь, в последнем письме ты малость перестарался, — сказала ему Рут.

— Ты о чем?

Он сидел на кухонной табуретке, наблюдая, как она рубит кубиками мясо. В эту субботу он приехал прямо в ресторан, не заезжая ни домой, ни на ферму,— надеялся найти в Рут какую-то перемену, может быть заинтригованность, нет-нет да и почувствовать на себе ее испытующий взгляд. Ничего подобного — она просто рассердилась и со злостью молотила тяпкой по доске.

— Представляешь, — сказала она, — ведь я ответила на первое письмо. Чтобы люди не волновались, я отправила листок обратно и написала, что письмо не по адресу, что это, наверное, ошибка, специально пошла и купила марку. Я бы сделала то же самое со вторым, но на конверте не было обратного адреса. Ну, а когда пришло третье письмо, я поняла, что ты перегнул палку.

— Да, за мной это иногда водится,— покаянно произнес Коди.

Рут с размаху ударила тяпкой по доске. Ну и грохот. Ужас! В такую рань на кухне были только Тодд Даккет и Джосайя Пейсон, но все равно Коди испугался, как бы они не подумали, будто тут происходит невесть что. А они даже не обернулись. Эзра в эту минуту был в зале — писал мелом на доске сегодняшнее меню.

— Скажи, почему тебя так заело? — спросила Рут. — Чем я тебе не угодила? Не хочешь, чтобы деревенщина из графства Гарретт вышла за твоего брата?

— Да, я не хочу, чтобы ты выходила за него. Я люблю тебя.

— Чего?

Он не собирался говорить об этом, но понесся дальше как угорелый:

— Я вполне серьезно. Меня будто одурманили. Ты должна стать моей. Все время я думаю только о тебе.

Она с изумлением смотрела на него широко открытыми глазами. Ее рука, готовая смахнуть кусочки мяса в сковородку, замерла в воздухе.

— Вероятно, я говорю все не так,— сказал он.

— О чем?

— Рут, честное слово, я люблю тебя, — сказал он, — погибаю от любви. Мне кусок в горло не лезет! Посмотри на меня! Я похудел на одиннадцать фунтов.

Он поднял руки. Пиджак на нем болтался. Недавно он затянул ремень еще на одну дырочку. Костюмы сидели на нем уже далеко не безупречно — они топорщились и собирались в складки, отчего казались мятыми.

— Правда, ты очень похудел, — подтвердила Рут.

— Ботинки и те велики стали.

— Да что с тобой?

— Ты что, не слышала?

— Ты сказал, что это из-за меня. Издеваешься надо мной, что ли?

— Клянусь тебе, Рут... — сказал он.

— На тебе виснут все эти нью-йоркские барышни, манекенщицы, актрисы. Ты можешь выбирать кого захочешь.

— Я хочу тебя.

Она испытующе посмотрела на него. Похоже, он пробил эту стену: наконец-то у них состоялся настоящий разговор.

— Тебя надо подкормить, — сказала она.

Он застонал.

— Вот видишь, — упрекнула она. — Ты вечно отказываешься, что бы я тебе ни предложила.

— Я не могу.

— Да ты, по-моему, ни разу и не попробовал ничего из моей стряпни.

Рут отодвинула сковородку и подошла к стоявшей на плите высокой черной кастрюле; в ней что-то кипело на медленном огне.

— Овощной суп по-деревенски, — сказала она, приподняв крышку.

— Ну правда, Рут...

Она налила суп в небольшую керамическую миску и поставила на стол.

— Садись, ешь. Попробуй, и я скажу тебе, в чем тут секрет.

Над миской поднимался пар, запах был такой соблазнительный и пряный, что Коди почувствовал: он уже сыт. Взял протянутую ложку, нехотя опустил ее в суп и попробовал.

— Ну как?

— Очень вкусно.

Что правда, то правда! Суп был великолепный. Он в жизни не едал такой вкуснотищи. В бульоне, густом и крепком, плавали крупно нарезанные свежие овощи. Он съел еще ложку. Рут стояла рядом, засунув большие пальцы в карманы джинсов.

— Куриные ножки, — сказала она.

— Что?

— Весь секрет — в куриных ножках.

Он опустил ложку в суп.

— Доедай, — сказала она. — Наращивай мясо на костях.

Он покорно поднес ложку ко рту.

Потом она принесла ему салат с пряными травами, которые сама вырастила на крыше ресторана, и булочки в плетеной корзинке, испеченные всего несколько часов назад — по домашнему рецепту, как она сказала. Коди съел все. Пока он ел, она стояла и смотрела на него. Когда она ставила на стол масло и наклонилась над ним, он ощутил ее тепло.

На кухне появились еще два повара; юноша-китаец жарил в масле черные грибы. Эзра сбивал что-то в миксере около мойки. Скрестив на груди руки, Рут села рядом с Коди и уперлась ногами в перекладину его стула. Коди принялся за громадный кусок пирога, размышляя о еде, о ее необъяснимом значении в жизни людей. Можно ли понять натуру человека по тому, как он относится к еде? Наверное, можно — взять хотя бы его собственную мать. Вот уж не кормительница. И никогда ею не была, даже когда они были маленькие и их питание полностью зависело от нее. Попробуй намекни, что голоден, и она тут же выходила из себя — раздражалась, начинала бессмысленно суетиться. Он помнил, как, вернувшись с работы, она яростно металась по кухне. Банки так и вываливались из стенных шкафов ей на голову — фасоль в томате с копченостями, колбасный фарш, тунец в масле, потерявший цвет консервированный горошек. Чаще всего она готовила ужин, даже не сняв шляпы. Хныкала, когда что-нибудь пригорало, а пригорало у нее даже то, что, казалось бы, невозможно спалить, зато другие блюда она подавала полусырыми, в самом фантастическом сочетании — например, тертый ананас с картофельным пюре! (По ее мнению, что бы ни осталось от завтрака, обеда, ужина — все можно спокойно перемешать.) Из приправ она пользовалась только солью и перцем. Из подливок признавала только неразведенный консервированный грибной суп-пюре. И в детстве Коди думал, что ростбиф непременно должен быть волокнистым, что этот сухой жесткий кусок мяса тонко нарезать нельзя, можно лишь разделить его вилкой на волокна, которые одно за другим со стуком падали в тарелку.

Правда, во время болезни мать приносила в комнату питье — горячий чай (она была мастерица по части заварки) и консервированный бульон. Пока ты пил, она стояла в дверях, скрестив на груди руки. Он помнил выражение ее лица, когда при ней ели или пили, — в нем сквозила легкая неприязнь. Сама она ела очень мало, чаще всего просто ковыряла вилкой в тарелке, словно осуждая тех, кто был голоден или проявлял чрезмерный интерес к еде. Необходимая потребность... Она не одобряла это чувство в людях. Когда бы ни назревала семейная ссора, Перл обычно затевала ее за обедом.

Коди ел рассыпчатый пирог и думал о детях своей матери, о Дженни, например, которая вечно сидела на диете — лимонной воде и листьях салата, никогда не позволяла себе сладкого и часто вовсе не являлась к столу, будто ни на миг не могла забыть неодобрительную мину на материнском лице. Да и сам Коди, признаться, не далеко от нее ушел. Для него пища действительно не имела никакого значения; это было нечто необходимое другим, и, чтобы не смущать людей — когда у него бывало свидание с девушкой или деловой ленч, — он за компанию заказывал что-нибудь и для себя. Дома же у него в холодильнике хранились только сливки для кофе и лимоны для джина с тоником. Он никогда не завтракал, нередко забывал и о ленче. Иногда в послеобеденный час у него вдруг начинало сосать под ложечкой, тогда он посылал секретаршу в закусочную. «Что принести?» — спрашивала она, а он отвечал: «Все равно, какая разница». Она возвращалась с пирожком, китайским блинчиком или бутербродом с ливерной колбасой — ему и в самом деле было безразлично. Он не замечал даже, что именно она принесла. Откусив раз-другой, Коди продолжал диктовать и откладывал еду в сторону, а уборщица потом выбрасывала остатки. Одна женщина, с которой он как-то обедал, сказала, что это признак своего рода неполноценности. За обедом он расковырял свою рыбу, а затем отодвинул тарелку, так и не проглотив ни кусочка, отказался от сладкого и стал великодушно, терпеливо ждать, пока она управится с огромной порцией шоколадного мусса, после чего она обвинила его в... как это она выразилась? — в отсутствии способности получать удовольствие от еды. Тогда он не понял, как ей уда-

лось сделать такой вывод из одной-единственной трапезы. И по сей день все еще не мог с ней согласиться.

Да, Эзра, по-видимому, сумел избежать всего этого. Эзра был такой непробиваемый, такой тугодум — ничем его не проймешь. Он всегда ел с аппетитом, любую стряпню — свою или материнскую. Охотно ел все, особенно хлеб; со временем ему придется следить за весом. Но, самое главное, он по природе своей был кормителем, любил кормить других. Поставит перед тобой какое-нибудь блюдо и стоит рядом, подперев рукой подбородок. Было что-то нежное, почти любовное в его отношении к людям, которые ели то, что он для них приготовил.

Как Рут, подумал Коди.

И попросил у нее еще кусок пирога.

Теперь по утрам он звонил ей из Нью-Йорка и нередко будил при этом хозяйку; когда Рут отзывалась, голос у нее был все еще хриплый, то ли со сна, то ли от изумления. И всякий раз, отвечая на его вопросы, она понемногу оттаивала, хотя сначала говорила отрывисто. Да-да, у нее все в порядке. В ресторане все хорошо. Обед вчера прошел нормально. А потом (постепенно удлиняя фразы, будто вновь сдаваясь ему) она признавалась, что этот дом начал действовать ей на нервы — какие-то странные жильцы, слоняются в шлепанцах днем и ночью, никто никуда не выходит, хозяйка вечно торчит перед телевизором. Эта хозяйка, вдова, была уверена, что Перри Комо поднимает брови из-за того, что природа наградила его басом, а ему приходится брать такие высокие ноты и у него постоянно болит горло; и Артур Годфри тоже многие годы тяжко страдает, однако улыбается с экрана героической улыбкой и только ерзает на стуле, потому что каждое движение для него — пытка. Для самой хозяйки, миссис Полинг, вся жизнь была сплошной мукой, и Рут стала задумываться над тем, как же ей оставаться здесь дальше.

По пятницам и субботам Рут носилась вечером по кухне ресторана, кромсая говяжьи ножки и сбивая белки. Эзра работал спокойнее. Коди сидел за деревянным столом, Рут время от времени ставила перед ним какое-нибудь блюдо, и он добросовестно поглощал его. Каждый съеденный им кусок был объяснением в любви, и Рут понимала это. Она держалась настороженно, искоса поглядывая, как он вылавливает из бульона клецки, и он старался, чтобы на тарелке ничего не оставалось.

По воскресеньям, ярким солнечным утром, он звонил в дверь дома, где Рут снимала комнату, и, когда она выходила, притягивал ее к себе. Он целовал ее с неотвязным ощущением, что какая-то часть Рут все еще ходит по дому, за ее спиной, озорная, веселая и даже теперь неуловимая, заглядывает под крышки кастрюль, хлопает дверцами кухонных шкафчиков, что-то напевает себе под нос и вытирает руки о джинсы.

— Не понимаю, — сказал им Эзра.

— Давай начнем все сначала,— сказал Коди.

— Это что — шутка? — спросил Эзра. — Да? Шутка?

— Мы с Рут... — начал Коди.

Но Рут перебила его.

— Эзра, милый, послушай, — сказала она, шагнув вперед. На ней был темно-синий костюм, который Коди купил ей для поездки, и туфли с тонкими ремешками, на высоких каблуках. И хотя стоял удивительно жаркий августовский день, кожа ее казалась прохладной, сухой, словно напудренной, и веснушки ярко выступали на ней. — Эзра, ей-богу, мы не думали, что все так получится, нам это и в голову не приходило, ни мне, ни Коди.

Эзра застыл в ожидании. Смысл сказанного, видно, еще не доходил до него. Спиной он уперся в огромную старую ресторанную плиту, как бы отступив перед этой новостью.

— Все получилось само собой, — сказала Рут.

— Ты не понимаешь, что говоришь, — сказал Эзра.

— Эзра, милый...

— Ты никогда так не поступишь. Это неправда.

— Я сама не понимаю, как получилось, что мы с Коди... Конечно, надо было раньше сказать тебе, но я думала, это просто... Просто глупость... Он такой умный, такой важный, он мне не пара, это просто сон какой-то, понимаешь...

— Но должно же быть всему объяснение... — сказал Эзра.

— Мне очень жаль, что так получилось, Эзра.

— Наверняка сейчас все пойму, — сказал он. — Подождите минутку. Дайте сообразить...

Они ждали, но он молчал. Прижал пальцы ко лбу, будто решал какую-то сложную задачу. Немного погодя Коди тронул Рут за локоть.

— Ну, до свиданья, Эзра, — сказала она. И они с Коди ушли.

В машине Рут всплакнула. Не разрыдалась, нет, но, отвернувшись к окну, тихонько пошмыгала носом.

— Тебе плохо? — спросил Коди.

Рут покачала головой.

— Ты передумала?

Она снова покачала головой.

Они собирались ехать поездом — так хотела Рут, она еще никогда в жизни не ездила поездом — в Нью-Йорк, где они решили обвенчаться. Из ее родни, сказала она, почти все перемерли, а тем, кто еще жив, нет до нее дела; так что совершенно незачем устраивать свадьбу в ее родном городке, что же касается родных Коди... Все ясно без слов. На первых порах они поживут в Нью-Йорке, а дальше все постепенно утрясется.

Рут сняла белую перчатку, уже посеревшую по швам, скомкала и вытерла слезы.

Возле Пенсильванского вокзала Коди нашел автостоянку, где принимали плату за неделю вперед. Ездить поездом он не любил — слишком большая морока, но ради Рут был согласен на все. А она уже заметно ожила. Спросила у Коди, есть ли в поезде вагон-ресторан — «обеденный вагон», как она выразилась. Коди сказал, что должен быть. На стоянке он взял у служащего квитанцию и, крякнув, вылез из-за руля. В последнее время он слегка располнел. Он вытащил из багажника чемодан Рут. Она неуверенно ковыляла рядом на высоких каблуках, то и дело царапая по тротуару.

— Ничего, скоро привыкну,— успокоила она.

— Но ты не обязана ходить на каблуках, если не хочешь.

— Нет, обязана, — возразила она.

Коди взял ее под руку и провел в здание вокзала. Неожиданная прохлада огромного, гулкого помещения, казалось, ошеломила ее. Она умолкла и, пока Коди ходил за билетами, только озиралась вокруг. Женщина из очереди, наклонившись к окошку, препиралась с кассиршей из-за стоимости билета, мужчина в ослепительно белом костюме повернулся к Коди и закатил глаза, безмолвно намекая на безнадежность ситуации. Коди сделал вид, что не заметил этого. Он оглянулся, словно желая посмотреть, сколько за ним скопилось народу, и молодая полная женщина с ребенком тут же улыбнулась ему, будто только и ждала, когда он обернется.

— Коди Тулл, — произнесла она.

— Да...

— Я — Джейн Лаури. Ты помнишь меня?

— Джейн! Джейн Лаури! Рад видеть тебя. Очень рад... А это твоя дочка?

— Да. Поздоровайся с мистером Туллом, Бетси. Мистер Тулл и мамочка учились в одном классе.

— Значит, ты замужем, — сказал Коди, продвигаясь вместе с очередью вперед. — Нет, надо же...

— Помнишь, как я явилась к тебе без приглашения? — Она засмеялась, и в наклоне ее головы на миг ожила та девушка, которую он знал когда-то.

Он вспомнил — дом Лаури находился на Бушнелл-стрит. У Джейн были на редкость красивые волосы, которые до сих пор отливали золотом, только сейчас она их стригла коротко.

— Я была в тебя влюблена, — сказала она, — господи, ты небось решил, что я круглая идиотка...

— Вы с Эзрой играли тогда в шашки, — напомнил он.

— С Эзрой?

— С моим братом.

— А разве у тебя был брат?

— Конечно, был и есть. Вы с ним целый вечер играли в шашки.

— Как странно, а я думала, у тебя только сестра. Как ее зовут?.. Дженни. Она была такая худущая, я ей всегда дико завидовала. Она могла есть что хотела и никогда не прибавляла в весе. А что она делает сейчас?

— Дженни? Учится в медицинском. А у Эзры — ресторан.

— В ту пору у меня была сокровенная мечта, — сказала Джейн. — Проснуться однажды утром — и увидеть, что я Дженни Тулл. Но я напрочь забыла, что у тебя есть брат.

Он открыл было рот, чтобы ответить ей, но мужчина в белом отошел, и настала очередь Коди. А пока он покупал билеты, Джейн оказалась у другого окошка.

Больше он не видел Джейн, хотя высматривал ее в поезде. Странное было у него ощущение — она как бы окунула его в прошлое. Покачиваясь на сиденье рядом с Рут, он держал в своей руке ее маленькую загрубевшую ладонь, но ему нечего было сказать. Обрывки похороненных воспоминаний застали его врасплох. Запах мела в классе геометрии; пьянящее чувство восторга весной, в последний день школьных занятий; резкий стук бейсбольной биты на площадке. Он увидел себя летним вечером в придорожной закусочной, ослепительно высвеченной в кромешной тьме, почуял соленый жирный запах жареной картошки, увидел своих дружков, которые дурачились у обочины. Услышал голос какой-то своей давней девушки, нудный и недовольный: «Позвал меня в кино — я согласилась, а ты сразу же передумал и сказал: «Пойдем поиграем в кегли» — и я опять согласилась, а теперь ты говоришь: «Давай лучше в другой раз», как будто ничего этого тебе уже не нужно...» Потом он услышал голос матери; она сказала Дженни: «Не горбись», ему — «не ругайся» и спросила у Эзры, почему он не может дать сдачи задире-хулигану, на что Эзра ответил: «Хочу проскользнуть по жизни как вода», и Коди (который хотел пройти по жизни как кремень) рассмеялся; он и сейчас слышал свой тогдашний смех. Он услыхал, как Эзра спрашивает: «Почему на огурцах больше нет пупырышков?» и «Коди, ты не пойдешь со мной в школу?» Он увидел, как Эзра, неуклюже изогнув свое детское, исцарапанное запястье, прицеливается дротиком с красными перышками; увидел, как Эзра бежит к телефону с криком: «Я подойду! Я подойду!» — полный надежды и радости, моложе на целую вечность. Вспомнил, как Кэрол или Карен, перечисляя недостатки Эзры, назвала его «мужчиной с материнской жилкой», кажется, именно так. И только сейчас до него дошло: он потому и бросил ее, что она совсем не поняла Эзру, не оценила этого человека. И тут Рут сжала его руку и сказала:

— Теперь всю жизнь буду ездить только на поезде, это гораздо лучше, чем автобусом. Правда, Коди? Правда?

Поезд повернул с высоким, пронзительным свистом, заставшим Коди врасплох. На мгновенье Коди показалось, что он услышал музыку — мелодию, сыгранную на дудочке, сгусток нот, обрывок песенки, принесенный ветром и острой болью отозвавшийся в его сердце.

6. ПЛЯЖИ НА ЛУНЕ

Два-три раза в год она ездит на ферму — проверить, все ли там на месте. Везет ее туда на машине сын Эзра; она берет с собой метлу, совок, тряпки, большой мешок для мусора, ведро и банку с пастой для чистки раковин. Эзра спрашивает, почему все это нельзя оставить на ферме, но она знает: там все пропадет. Посторонние люди, которые без ведома и разрешения хозяев появляются на ферме, все унесут и растащат. Ах уж эти посторонние — мальчишки, влюбленные парочки, шайки хулиганистых подростков. Без злости она и думать о них не может. Как только машина сворачивает с шоссе и, подпрыгивая на ухабах, подъезжает к ферме, она видит весь этот мусор: раскиданные среди сорняков банки из-под пива, висящие на кустах обрывки туалетной бумаги. Заброшенный участок покрыт дикой колючей растительностью, негде укрыться от палящего солнца. Тут и там сверкают втоптанные в землю металлические крышечки от бутылок. Трава во дворе не скошена, а срезана серпом (Джеред Пирс делает это раз или два за лето), кругом валяются белые картонные тарелки, вощеные стаканчики, бумажные салфетки, мешочки из-под бутербродов, пластмассовые соломинки в красную полоску и какие-то удивительно живучие, смятые гармошкой червячки — целлофановые пакетики из-под соломинок.

Эзра ставит машину под дубом.

— Какой ужас! — говорит Перл, выходя из машины. — Какой позор! — На ней платье из жатого ситца (его легко стирать) и старые-престарые туфли. На голове широкополая соломенная шляпа, она защищает волосы от пыли — всю прическу, кроме двух белесых прядей, торчащих на висках. — Это просто преступление, государственное преступление, — приговаривает она, озираясь по сторонам, пока Эзра вытаскивает из машины совок и метлу.

Дом двухэтажный, но с виду ветхий и серый, точно призрак. Гребень крыши прогнулся, веранда покосилась, окна побиты — целых уже не осталось. Она помнит, как Коди впервые показал ей ферму. «Ты только подумай, мама, что здесь можно сделать, — сказал он. — Представь только, какие тут возможности». Коди собирался жениться и поселить здесь семью, а ей подарить множество внуков. Он даже обзавелся скотиной и нанял Джереда Пирса ухаживать за ней до той поры, пока он сам не переедет на ферму. С тех пор прошло много лет, и единственное, что осталось от всей живности, — несколько одичавших всклокоченных кур, которые кудахчут на тутовом дереве за сараем.

Перл привезла с собой ключ от перекошенной задней двери, но в нем нет необходимости — ржавый замок сорван.

— Опять... — говорит она, поворачивает ручку и с опаской входит в дом. (В один прекрасный день она застанет здесь кого-нибудь, а за все свои старания расплатится жизнью.)

Воздух на кухне затхлый, сырой, даже в такую жару. Над столом жужжит муха, на задней стенке раковины желтеет ржавое пятно, на окне болтается обрывок мутной полиэтиленовой занавески. Возле шкафчиков рисунок на линолеуме совсем стерся.

Эзра входит следом за ней, ставит свою ношу на пол и вытирает лицо рукавом старой рубашки. Миллион раз он твердил ей, что не видит в этих поездках смысла: вывозить грязь только для того, чтобы в следующий приезд опять начинать все сначала. К чему так утруждать себя? Зачем она все это придумывает? Но, как человек услужливый, всякий раз, когда она настаивает на поездке сюда, он подчиняется. Эзра проводит пальцами по светлым волосам, потемневшим от пота, и поворачивает кран в раковине. Раздается громкий хлопок, затем появляется маленькая ржавая струйка.

На полу валяются пустые бутылки из-под виски; не меньше полудюжины.

— Посмотри! А вот еще,— говорит Перл. Носком туфли она отбрасывает пустую коробку от «Мальборо». Пытается соскрести со стола след от погашенной сигареты и стыдливо отворачивается, когда Эзра деревянной ручкой метлы подцепляет некий резиновый предмет и опускает его в мешок для мусора.

«Коди, — советовала она раньше, — ты бы нанял кого-нибудь, пусть вывезут всю эту мебель на свалку. Ты же не собираешься пользоваться ею... Коди, в стенном шкафу в спальне висит чужой выходной костюм. А на лестнице в подвал стоит пара башмаков для работы в огороде, старые, грязные. Нанял бы кого-нибудь, пусть вывезут отсюда весь этот хлам». Но Коди не обращал внимания на ее слова— он не бывал здесь. Большую часть времени он проводил в Нью-Йорке, и Перл считала, что он, по всей видимости, там и останется. Какая из его девиц согласится жить на ферме? «Подумай, прежде чем жениться, — говорила она ему, — ни одна из твоих девушек, которых я видела, для фермы не подходит — это же просто королевы красоты».

Ах, если бы он женился на одной из них! Угомонился бы наконец! Но вместо этого однажды к вечеру на кухне появился Эзра; вид у него был удрученный.

— Что случилось? — Она сразу же заподозрила недоброе. — Эзра, почему ты не на работе?

— Коди, — сказал он.

— Коди?

Она схватилась за сердце, представив себе сына мертвым, — самый трудный, самый неласковый из всех ее детей, и теперь она уже никогда не найдет к нему ключа.

Но Эзра сказал:

— Он уехал жениться.

— Жениться? — переспросила она, опустив руку. — На ком?

— На Рут.

— На твоей Рут?

— На моей Рут.

— Родной ты мой...— выдохнула Перл.

Нельзя сказать, чтобы у нее не возникало подозрений. Она догадывалась обо всем, и довольно давно, хотя никак не предполагала, что дело дойдет до женитьбы, — для нее это был скорее каприз, флирт, очередное увлечение Коди. Наверное, стоило бы намекнуть Эзре. Но он бы и слушать не стал. Он был такой доверчивый, такой влюбленный. Рут почему-то весь свет ему заслонила. И потом, кто бы мог подумать, что Коди зайдет так далеко?

— Он делает это просто тебе назло, родной мой, — сказала она Эзре. И была права, как бывала права во всех других случаях, когда повторяла эти слова.

О эти другие случаи! Незаслуженные удары, детские ссоры, споры, злые шутки! «Коди, прекрати сию же минуту, — говорила она сыну.— Думаешь, я не вижу, что ты задумал? Оставь своего бедного брата в покое. Эзра, не обращай на него внимания. Он делает это тебе назло». В те давние времена Эзра покорно кивал, пытаясь поверить матери; он обожал старшего брата. Но сейчас он сказал:

— Какая разница почему? Важно, что он это сделал. Украл ее.

— Если ее можно украсть, сынок, зачем она тебе?

Эзра молча посмотрел на нее — безжизненный, мрачный, не человек, а ходячая боль. Она знала, что за чувство он испытывает. Разве она сама не пережила такого? Она помнила, что было, когда муж бросил ее, — вся она была словно открытая рана, глубокая пустая яма, окруженная обрывками прежнего «я».

Она заметает мусор к середине комнаты, собирает пустые бутылки и коробки из-под сигарет. Эзра тем временем закладывает разбитые окна кусками картона. Он работает методично и усердно. Взглянув на него, она замечает, что на его спине проступило темное пятно, очертаниями похожее на орла. Окна так и пестрят картонными квадратами. Еще год-другой — и работать им придется в темноте. Закладывая картоном окно за окном, они словно замуровывают сами себя.

После медового месяца Коди стал еще красивее — гладкий, смуглый, изящно одетый. Но Рут по-прежнему была дурнушкой: не девчонка, а крысенок с торчащими рыжими волосами, с тонкой нежной кожей в веснушках, с болячками на губах и красными пятнами на лице; строгий коричневый костюм, купленный, видно, специально для встречи с родными, мешком болтался на ее угловатом худом теле. С годами Перл убедилась, что любое платье на Рут сидит нескладно (естественно на ней выглядели только мальчишечьи джинсы, которые она носила, когда была вместе с Эзрой). Перл зорко, внимательно следила за новобрачными, стараясь проникнуть в тайну их брака, но они не выдавали секретов. Рут сидела, сцепив пальцы; Коди положил руку на спинку дивана, он не касался Рут, но всем своим видом показывал, что она принадлежит ему. Он много говорил о ферме. Они поедут туда сегодня же вечером. Огород сажать сейчас уже поздно, но по крайней мере они все там приберут и обдумают планы на следующую весну. Рут займется фермой, а Коди вернется в Нью-Йорк. При этих словах Рут кашлянула и пошарила рукой в кармане жакета. Перл показалось, что Рут хочет достать сигарету, но она мгновенно вынула руку из кармана и замерла в прежней позе. Честно говоря, Перл больше не видела, чтобы Рут курила.

Потом приехал Эзра, без своей блок-флейты, неестественно притихший, каким он стал после ухода Рут. Остановился в дверях и посмотрел на них.

— Эзра, — непринужденно произнес Коди, а Рут встала, протягивая ему руку. Она выглядела испуганной, и это немного смягчило сердце Перл. (По крайней мере Рут поняла, что они наделали.)

— Как дела, Эзра? — спросила Рут дрожащим голосом.

Эзра ответил, что у него все нормально, и, переминаясь в дверях с ноги на ногу, попытался завести общий разговор. Перл даже подумалось, что со временем им удастся наладить отношения. В конце концов, выбор спутника жизни — всего лишь эпизод в истории семьи, незначительный, преходящий.

Но Эзра забросил свою блок-флейту, был подавлен, вял и каждый вечер перед сном говорил только: «Спокойной ночи, мама». У Перл сердце кровью обливалось. Ей так хотелось сказать: «Эзра, поверь мне, она ничтожество. Ты стоишь дюжины таких Рут Спиви! Дюжины таких, как они оба. Даже при том, что Коди мой сын...» Она так любила Коди. А тот с детства неизменно отталкивал ее, и сестра его почему-то сторонилась матери; так кто же оставался у нее, кроме Эзры? Он был всем для нее. Когда Эзра был ребенком, она порой боялась рано потерять его. Судьба любит отнимать у человека то, что ему всего дороже,— это одна из ее уродливых гримас. Перл смотрела, как он медленно бредет по улице в школу, задумчиво опустив желтую, словно у утенка, голову, и ее неожиданно охватывало предчувствие, что она видит его в последний раз. Потом, когда Эзра возвращался из

школы, переполненный новостями, и рассказывал о своих друзьях, об игре в мяч, — каким приземленным, каким обычным и даже назойливым он ей казался! А еще раньше, давным-давно, малышом, он, бывало, забирался к ней на колени и обнимал ее за шею своими маленькими тонкими руками, а она упивалась исходившим от него запахом теплых сдобных булочек и думала: «Вот ради чего стоит жить. Вот ради этого я и живу». Нехотя она разрешала ему слезть с ее колен и убежать. (А они говорили, что мать властная, настырная. Много они понимали.) В детстве он разговаривал, будто чирикал, так забавно, его щебет разливался по всему дому, как журчанье воды... Когда же все стало меняться? С годами он превратился в застенчивого, скрытного ребенка, пристально смотрел вокруг своими сияющими серыми глазами и только невразумительно мычал. Ее беспокоило, что он не встречается с девушками. «Ты не хочешь позвать кого-нибудь домой? Пригласи кого-нибудь из друзей на воскресный обед», — предлагала она. Он качал головой, не в силах произнести ни слова от смущения. Краснел и опускал свои длинные ресницы. Глядя на его залитое краской лицо, Перл не могла понять, думает ли он вообще о девочках и всяких таких вещах. К тому времени отец оставил их, а от Коди, старшего, помощи никакой, он все время гонялся где-то за девчонками. Потом, став взрослым, Эзра так и... Честно говоря, он мало чем отличался от того Эзры, каким был в детстве. Можно сказать, он навсегда так и остался ребенком, ни бахвальства, ни заносчивости, свойственных большинству мужчин, в нем не было; он по-прежнему был мягок, молчалив, с удовольствием хозяйничал в своем ресторане и возвращался домой умиротворенный и усталый.

Она ужаснулась, когда он познакомил ее с Рут. Не девушка, а уличный сорванец! Но Эзра просто обожал ее. «Мама, я хочу познакомить тебя с моей... с моей Рут». Перл немного сомневалась: может, она с самого начала не сумела приветить Рут как следует. Но кто поставит ей это в упрек? Особенно теперь, когда все так обернулось, кто скажет, что она была неправа? И все-таки Перл сомневалась... Если бы она встретила Рут более приветливо, может, они поженились бы раньше. До того, как Коди осуществил свой гнусный замысел. Или если бы она заставила себя до конца понять... Она снова и снова возвращается к той же мысли: если бы она рассказала Эзре о кознях брата, вмешалась в ситуацию, которая была не столько ухаживанием, сколько мощной атакой, низвержением лавины событий... С другой стороны, глупо было бы надеяться, что ее вмешательство возымеет какое-то действие. Чему быть, того не миновать. И ничьей вины тут нет. (Единственным виновником можно было бы считать Коди, потому что он вечно стремился быть первым; прирожденный игрок, он жаждал завоевать абсолютно все, даже то, что было ему совершенно ни к чему, вроде этой рыжеголовой пигалицы, которая никак не отвечала даже обычным его запросам.)

Перл открывает гостиную, чтобы проветрить. Пахнет здесь отвратительно. Она распахивает настежь входную дверь, стараясь не наступать на доски веранды — того и гляди провалишься. Ей вспоминается, как через неделю после их медового месяца она попросила Эзру отвезти Рут на ферму разные мелочи — лишние сковородки, постельное белье, щетку для ковров, которой не пользовалась. Скрывался ли за этой просьбой некий умысел? Если нет, то почему она, как любая хорошая свекровь, не поехала вместе с ним проведать невестку?

— Я не хочу туда ехать, — сказал Эзра.

Но Перл настаивала:

— Съезди, дружок.

Она не строила никаких планов — честное слово, — но позднее в то утро, неторопливо перемывая посуду, она разрешила себе немного пофантазировать: вот Эзра подходит сзади к Рут и обнимает ее,

Рут сперва сопротивляется, скорее для виду, а потом приникает к нему... Неужели нельзя изменить содеянное? Что они все натворили?

Но Эзра вернулся таким же подавленным и сказал только, что Рут благодарит за сковородки и белье, а щетку возвращает, потому что на ферме нет ковров.

В субботу как ураган примчался Коди со всеми вещами, которые Эзра отвез Рут.

— Это что такое? — спросил он у Перл.

— Как видишь, Коди, сковородки и простыни.

— Зачем Эзра привез их?

— Я попросила, — сказала она.

— Я этого не потерплю! Нечего ему околачиваться у нас на ферме!

— Но, Коди, он же сделал это по моей просьбе. Поверь.

— Верю, — ответил он.

На следующей неделе Перл снова попыталась уговорить Эзру съездить на ферму — отвезти Рут ковер из столовой и все ту же ковровую щетку. Но он отказался.

— Я там не в своей тарелке. Бессмысленная затея. К чему это?

Перл решила, что он, пожалуй, прав. Да, пусть-ка Рут поломает себе голову, куда он пропал! Те, кто оставляет нас, в конце концов жалеют об этом. Она вообразила, как Рут в одиночестве бродит по комнатам, печально всматривается в голые окна.

Еще через неделю Перл попросила Эзру свозить ее на ферму.

Он не мог отказать: без его помощи, без машины ей туда не добраться. Точно по уговору, оба принарядились — как-никак ехали в гости. Дом был заколочен и покинут. Только собака во дворе обнюхивала кость, но собака была пришлая.

Возвратясь домой, Перл позвонила Коди в Нью-Йорк:

— Вы что, больше не ездите на ферму?

— У меня здесь много дел.

— А Рут на неделе будет там?

— Я хочу, чтобы она была здесь со мной. В конце концов, мы только что поженились.

— Когда же мы повидаемся?

— Думаю, довольно скоро. Как-нибудь непременно заедем...

Но они не заезжали, а если и бывали на ферме, то не сообщали Перл. Ей же гордость не позволяла спрашивать. Кончилось лето, стали разноцветными листья, а Эзра так и ходил подавленный.

— Сынок, — говорила ему Перл, как в детстве, — ты бы позвал кого-нибудь в гости. Пригласи друзей к обеду, кого захочешь.

Эзра отказывался.

Время от времени Перл звонила Коди в Нью-Йорк. Он был вежлив, но ничего определенного не обещал. Рут, если подходила к телефону, смущалась от волнения, отвечала невпопад. Потом в октябре целых две недели на звонки никто не отзывался. Перл подумала, уж не на ферме ли они, и стала уговаривать Эзру выяснить, так ли это. Он в конце концов согласился съездить, но не застал там ни души.

— Четыре окна разбиты, — сообщил он. — Не то камни бросали, не то стреляли по стеклам.

Перл перепугалась. Мир угрожающе сжимался, наступая на них; даже здесь, на знакомых улицах, она больше не чувствовала себя в безопасности. И кто знает, что могло случиться с Рут и Коди? Вдруг бандитское нападение или какая-нибудь немыслимая катастрофа, какие часто случаются в Нью-Йорке, и они лежат мертвые в своей квартире, и тела их найдут только много дней спустя. Вот что бывает, когда человек отрывается от семьи! Так нельзя — с кем-кем, а уж со своей-то семьей надо поддерживать связь.

День за днем Перл продолжала отчаянные попытки дозвониться до Коди, не опускала трубку, иной раз выслушивая до тридцати —

сорока гудков. В этом мягком далеком сигнале было что-то успокаивающее. По крайней мере он связывал ее с квартирой Коди.

Однажды Коди наконец ответил. Случилось это в последних числах октября. Перл была так ошарашена, что буквально потеряла дар речи. Она уже привыкла довольствоваться монотонными гудками телефона.

— Это ты, Коди? — пробормотала она.

— А-а, мама.

— Коди, где же вы были?

— Меня вызывали в Огайо. Рут ездила со мной.

— Вы две недели не отвечали по телефону, мы разыскивали вас на ферме. Там, между прочим, выбито несколько окон.

— Черт подери! Я же плачу Джереду, чтобы все было в порядке!

— Ты не представляешь себе, Коди, что я пережила, когда узнала об этих окнах... Ферма разваливается, а тебя нет как нет, ну, думаю, наверное, мы никогда больше не увидимся.

— Но мне же надо работать, мама.

— Я думала, после женитьбы вы переедете в Балтимор, ты ведь собирался отремонтировать ферму, посадить сад и все такое...

— Да, конечно, это не исключено, — сказал Коди. — Попроси, пожалуйста, Эзру заделать окна. Ладно? И пусть он поговорит с Джередом. Я не могу допустить, чтобы ферма разваливалась.

— Хорошо, Коди, — сказала она. Потом спросила: — А на День благодарения вы приедете? Ты ведь знаешь, как Эзра любит, когда мы все собираемся у него в ресторане.

— Опять этот Эзра со своим рестораном...

— Ну, пожалуйста, мы же совсем вас не видим.

— Что ж, может, и приедем.

И вот в ноябре они приехали. Элегантный Коди держался непринужденно, Рут в широком и вычурном синем платье выглядела нелепо. Волосы у нее были такие короткие, а головка такая маленькая, что казалось, бедняжка вот-вот утонет в своем платье. Она с трудом ковыляла на высоких каблуках и по-прежнему избегала смотреть Эзре в глаза.

— Чем же вы занимались? — спросила Перл у Рут, когда они на «кадиллаке» Коди ехали в ресторан.

— Да ничем особенно.

— Обставляли квартиру?

— Обставляли? Нет.

— Мы там почти не бываем, — сказал Коди. — У меня теперь долговременные контракты. В декабре начинаю реорганизацию труда на текстильном предприятии в Джорджии, программа серьезная, месяцев на пять, а то и на полгода. Думаю, Рут поедет со мной, снимем себе домик. Нет смысла мотаться туда-сюда, верно?

— В декабре? Но тогда у нас пропадет рождество, — сказала Перл.

— Что значит «пропадет»? — удивился Коди.

— Я хотела сказать... Вы приедете в Балтимор?

— Ах, вот вы о чем... Вряд ли. Скорее всего нет. Но мы же приехали к вам на День благодарения.

Она решила промолчать. У нее была своя гордость.

По обыкновению, они сидели за семейным столом, окруженные многочисленными посетителями. (В то время — в начале шестидесятых — длинноволосые юнцы открыли для себя Эзрин ресторан с вкусной свежей едой и каждый вечер собирались там.) Жаль, что Дженни не смогла приехать: она проводила праздники у родных мужа. Но по крайней мере Рут здесь — хоть какая-то замена. Перл улыбнулась ей через стол.

— Так смешно обедать там, где когда-то сама готовила, — сказала Рут.

— Хочешь зайти на кухню? — спросил Эзра. — Ребята будут рады повидать тебя.

— Ну что ж, — сказала Рут. Впервые после замужества она посмотрела ему прямо в глаза, а может, Перл только теперь это заметила.

Эзра с шумом вылез из-за стола и повел Рут на кухню. Перл сразу поняла, что Коди недоволен. Он перестал разворачивать салфетку и уставился на них, даже рот открыл, словно собирался возразить. Но потом, видно, передумал. Сердито встряхнул салфетку и промолчал.

— Так когда же вы переезжаете на ферму? — спросила Перл.

— На ферму? Не знаю,— сказал он.— Все так изменилось. У меня теперь совсем другая работа. — Он снова глянул в сторону кухни.

— Ты же хотел растить там детей. Только об этом и твердил.

— Мои долгосрочные контракты... — сказал он, будто и не слышал ее слов.

— Ты ведь так мечтал об этом.

Но он продолжал наблюдать за женой и братом. Его ничуть не интересовали рассуждения матери. Кухня была перед ним как на ладони, и ничто, даже самая малость, не могло укрыться от его глаз. Почему же Коди нервничал? Эзра и Рут, повернувшись спиной к залу, разговаривали с кем-то из поваров. Эзра помогал себе жестами. Он широко развел руки, одна из них оказалась за спиною Рут, но не коснулась ее плеча и, уж конечно, не обняла — ничего подобного. Но тем не менее Коди резко поднялся.

— Коди! — позвала Перл.

Он решительно направился на кухню, зажав в руке салфетку. Перл бросилась за ним и догнала его в тот самый миг, когда он сказал:

— Идем, Рут.

— Почему?

— Я не для того приехал, чтобы наблюдать, как вы с Эзрой любезничаете на кухне.

Рут выглядела напуганной. Ее лицо еще больше заострилось.

— Пошли. — Коди взял ее под руку. — До свидания, — бросил он Перл и Эзре.

— Господи, — говорила Перл, семеня за ним. — Ох, Коди, ну что ты выдумываешь. Можно ли так глупо вести себя?

Коди на ходу сорвал с медного крючка пальто Рут. Распахнул входную дверь, вытащил Рут на улицу и захлопнул дверь за собой.

— Не понимаю, — сказал Эзра.

— Почему всегда так получается? — спросила Перл. — Почему все у нас непременно кончается ссорой? Разве мы не любим друг друга? Нет, правда, разве мы не желаем друг другу добра?

— Конечно, желаем, — сказал Эзра.

Его ответ прозвучал так уверенно и твердо, что она успокоилась. В конце концов со временем все наладится. Перл послушно вернулась вдвоем с Эзрой к столу, к забытой индейке, к обеду, сервированному на белой льняной скатерти.

Наверху в доме четыре скудно обставленные спальни. Пахнет сыростью. Кровати там настолько продавленные, что даже влюбленные парочки обходят их стороной; серые от грязи стеганые одеяла гладко расправлены. Но возле окна лежит мертвая птица.

— Эзра! Эзра! — кричит Перл. — Поднимись сию минуту. Захвати с собой метлу и мешок для мусора.

Он покорно взбирается по ступенькам. Она смотрит вниз и с болью замечает, что его прекрасные светлые волосы поредели на затылке.

Ему уже тридцать семь, в декабре стукнет тридцать восемь. Теперь он, по-видимому, уже не женится. Так и будет всю жизнь хозяйничать в своем странном ресторане с нелепой едой, нерасторопными официантками и поварами-иностранцами с сомнительными документами. Можно сказать, Эзра пережил трагедию, хотя в мировых масштабах трагедия эта не столь уж и велика. Можно сказать, и он и Рут пережили трагедию. Что-то с ними случилось, что-то у них отняли. Они потеряли это «что-то». И сами потерялись. И то, что Коди вправду хороший человек, веселый, занятный, по-настоящему добрый (ко всем, кроме Эзры), ничуть не меняет дела.

Можно, пожалуй, сказать, что и Коди пережил трагедию.

В 1964 году, когда она ездила в Иллинойс навестить их, уже с порога она окунулась в неуютную, натянутую атмосферу несчастливого брака. Этот брак не был ужасным, нет, в нем не чувствовалось ни ненависти, ни злорадства, ни жестокости. Но чего-то не хватало. Внутренней связи, что ли. Все у них казалось до невозможности хрупким. Или она это выдумала? И совершенно неправа? Может, все дело было в самом доме, одноэтажном недостроенном доме, арендованном Коди месяца на четыре,— словом, на то время, пока он будет реорганизовывать одно из чикагских предприятий по производству пластмасс. Жилье было явно дорогое, с ковровыми полами, с низкой модной мебелью; но поблизости ни деревца, ни кустика — кирпичный куб одиноко торчал посреди голой равнины. А вокруг такая удушающая, такая изнурительная жара, что им приходилось укрываться в доме с искусственно охлажденным воздухом. Они были узниками в этом доме, зависели от него, как космонавты от космического корабля, и выходили только затем, чтобы сквозь толщу жары пробиться в «мерседес» Коди, где тоже был кондиционер. У Рут, которая ежедневно выходила по хозяйственным делам, на лице была написана отчаянная решимость выжить любой ценой. Коди возвращался вечером, задыхаясь от нехватки кислорода,— Перл казалось, будто он с трудом переползает через порог,— но, похоже, вовсе не радовался возвращению домой. Когда он здоровался с Рут, они едва касались друг друга щекой и тут же расходились.

Тогда Перл впервые приехала к ним в гости. Они редко наведывались в Балтимор. А ферму совсем забросили. Коди почти не писал, хотя звонил в дни рождения и по праздникам. Он вел себя скорее как знакомый, думала Перл. Не очень близкий знакомый.

Как-то раз они с Эзрой отправились на автомобиле в Западную Виргинию, в Харперс-Ферри, и заметили впереди бегущего трусцой человека в спортивных шортах. Высокий темноволосый мужчина, уверенно и плавно покачивая плечами, бежал по обочине шоссе... Коди! Какими судьбами? Вот это встреча! Коди Тулл! Эзра нажал на тормоза, Перл сказала:

— Невероятно!

Но тут бегун, услыхав шум машины, обернулся — это был не Коди, а совсем чужой человек с жирным подбородком, далеко не красивый. Эзра опять прибавил скорость.

— Как же это я,— сказала Перл.— Я же знаю, что Коди в этой... как ее?..

— В Индиане,— сказал Эзра.

— В Индиане. Непонятно, с чего это я решила...

Они замолчали, и Перл живо представила себе, как бы все было, окажись этот бегун ее сыном Коди,— он бы обернулся, а они проскочили бы мимо. Как ни странно, но возможность остановиться не пришла ей в голову. Она думала о том, как он раскрыл бы от удивления рот, увидев их за стеклами машины, как они посмотрели бы на него, улыбнулись, помахали ему рукой и проскочили мимо.

Всякий раз, когда Коди звонил по телефону, голос у него был веселый и бодрый.

— Ну, как живешь, мама?

— Ах, это ты, Коди!

— У вас все в порядке? Как Эзра?

По телефону он так тепло говорил об Эзре, с интересом, с любовью,— настоящий брат. И в тех редких случаях, когда они с Рут проездом оказывались в Балтиморе и ненадолго заглядывали к Перл, он как будто был рад пожать Эзре руку, хлопнуть его по спине, спросить, как у него дела. Вначале.

Только вначале.

А потом: «Рут, о чем это вы там шепчетесь с Эзрой?» Или: «Эзра, сделай милость, не подходи так близко к моей жене». Хотя на самом деле Эзра и Рут почти не разговаривали друг с другом. Они были так осторожны, что больно было смотреть.

— Коди, перестань, что ты выдумываешь? — говорила Перл.

И тогда он обрушивался на нее:

— Конечно, ты не замечаешь. Еще бы, он у нас безгрешный ангел, так ведь, мама? Твой драгоценный мальчик. Правда?

В конце концов она потеряла всякую надежду, что они когда-нибудь пригласят ее погостить. Когда через два или три года после женитьбы Коди позвонил ей и сообщил, что Рут беременна, Перл сказала:

— О Коди, если она захочет... я хочу сказать... когда она родит, я могла бы приехать помочь...

Но, очевидно, помощь ее не потребовалась. И когда Коди известил, что родился Люк — девять фунтов и три унции, что все благополучно, она сказала:

— Так хочется увидеть его, честное слово, жду не дождусь.

Но Коди оставил ее слова без внимания.

Они присылали фотографии. Люк на детском стульчике, белокурый, серьезный. Люк, как медвежонок, идет по ковру на четвереньках, а не ползет (Коди передвигался точно так же). Люк делает первые неуверенные шаги, зажав в толстых кулачках прищепки для белья. Эти прищепки нужны ему, писала Рут, потому что с ними он думает, будто за что-то держится. Иначе он падает. Вместе с фотографиями приходили письма, обычно их писала Рут. С грамматикой она была не в ладах и с орфографией тоже. Например: «Глаза у Люка понашему с Коди, так и останутся галубыми». Но что Перл за дело до грамматики? Она сохраняла каждое письмо, а фотографии Люка ставила на комод в маленьких анодированных рамочках, которые покупала в универмаге Кресги.

«Мне надо бы приехать и повидать Люка, пока он не вырос»,— писала Перл. Никто ей не отвечал. Она писала снова: «Удобно ли приехать в июне?» И тогда Коди ответил, что в июне они переезжают в Иллинойс, но если она действительно так хочет приехать, то это можно сделать в июле.

И вот в июле она отправилась в Иллинойс, в поезде, полном молодых солдат с детскими лицами — их везли во Вьетнам,— и провела неделю среди чистого поля в доме, отгороженном от всех стихий. Удивительно, даже для нее самой, как сразу, как горячо она полюбила внука. Ему еще не исполнилось двух лет — прелестный ребенок, голова совсем как у взрослого, золотистые волосы коротко и аккуратно подстрижены. Прямой решительный рот мальчика тоже казался взрослым, и походка у него была не детская. Он немного сутулился, горбил плечи; вроде бы никаких физических изъянов, но во всей осанке сквозят смирение и покорность, прямо-таки смехотворные в таком крохотном существе. Перл часами просиживала с ним на полу, играла машинками и грузовиками. «Р-р-р... р-р-р... Теперь толкни назад к бабушке!» Ее умиляло спокойствие мальчика. Он уже вполне хорошо и бойко говорил, но на слова был скуп и чаще молчал. Осторожничал.

Ему не хватало веселости. Счастлив ли он? Годится ли такая жизнь для ребенка?

Она заметила у Коди в баках легкую проседь, кожа у него на щеках стала похожа на тонкий пергамент, а вот Рут оставалась все той же нелепой пигалицей с коротко остриженными волосами, в уродливых платьях. Как овощи на прилавке магазина вянут, не успев созреть, так и Рут с годами не пополнела, не стала мягче. Вечерами, когда Коди возвращался с работы, она суетилась на кухне, готовила в изобилии сельские блюда, но Коди к ним почти не притрагивался, он потягивал джин с тоником и смотрел по телевидению новости. Они спрашивали друг друга: «Ну, как прошел день?», «Все в порядке?» но, казалось, не слушали ответов. Перл вполне могла себе представить, как по утрам, проснувшись на двуспальной кровати, они вежливо спрашивают друг друга: «Ну, как спалось?» Ей было тяжело и неловко, но, вместо того чтобы отвернуться, она по какой-то непонятной причине еще глубже вглядывалась в их жизнь. Однажды вечером она отправила Коди с Рут в кино, обещав присмотреть за Люком, и, воспользовавшись их отсутствием, перерыла ящики письменного стола, но нашла только налоговые квитанции, банковские уведомления и альбом, принадлежащий владельцам этого дома. Впрочем, она и сама не знала, что ищет.

Домой Перл ехала в тряском вагоне, опять среди солдат, с чувством усталости и безнадежности. Приехала в Балтимор с опозданием на семь часов и отчаянной головной болью. В здании вокзала она увидела Эзру, который понуро брел ей навстречу, и вдруг ее словно пронзило... Какое сходство! Это была походка Люка, серьезного маленького Люка. Жизнь так печальна, подумала она, невыносимо печальна. Но когда она целовала Эзру, печаль сменилась явственным раздражением. Почему он примирился с этим, как мог допустить, чтоб все так сложилось? Неужели он получал удовлетворение от своего горя? (Словно расплачивался за что-то, подумала она. Но за что именно ему расплачиваться?) В машине он спросил:

— Ну, как тебе понравился Люк?

— А тебе не приходило в голову поехать туда и вернуть ее?

— Я никогда этого не сделаю,— сказал он без всякого удивления, осторожно выруливая со стоянки.

— Не понимаю, почему бы и нет.

— Это нечестно. Так нельзя.

Она не отличалась философским складом ума, но по дороге домой, глядя на унылый балтиморский пейзаж, думала о том, что честно и что нечестно, о теоретических достоинствах, существующих в безвоздушном пространстве, и о том, имеет ли вообще все это смысл. Когда они приехали, она вышла из машины, молча отворила дверь и поднялась по лестнице в свою комнату.

Эзра заметает мертвую птицу на кусок картона и опускает ее в мешок для мусора. Потом закладывает картоном разбитое окно, через которое птица, наверное, проникла в комнату. Перл тем временем собирает в кучку осколки стекла и идет вниз за совком. Дом уже немножко ожил — веселый лиственный узор играет на полу гостиной, по комнатам разносится запах нагретой солнцем травы.

— Она так и не оправдала себя,— сказал недавно Коди по телефону о ферме.— Незрелая была идея, да и появилась она у меня, когда я был еще молод.

Но в таком случае почему же он ее не продаст? Наверное, не может; а она, Перл, столько времени убирала этот дом, готовила для Коди жилье, открывала и закрывала ящики комода, будто могла найти там его секреты. Она отлично представляла себе Рут в этой кухне, Коди, осматривающего забор или занятого еще какой-нибудь мужской работой. Видела, как Люк бегает по двору в джинсовом комбинезончике. Теперь он уже подрос, впору ходить на рыбалку, плавать в реч-

ке за выгоном, а может, и за скотиной ухаживать. В августе ему будет восемь. Или девять? Все перепутала. Теперь она почти не видит внука, и, когда он с родителями проездом бывает в Балтиморе, ей всякий раз приходится заново побеждать его застенчивость. В каждый приезд у него обнаруживаются новые увлечения: то пугачи, то шарики, то марки. В последний раз, когда он был здесь, года два-три назад, она приготовила ему в подарок мужнин марочный кляссер в темно-бордовом переплете из искусственной кожи, посеревшем от плесени, но, как выяснилось, Люк увлекается теперь авиамоделизмом. Он сказал ей, что делает из бальзового дерева реактивный самолет, который будет летать как настоящий. А сам он собирается в астронавты.

— Когда я вырасту, астронавт станет самой обычной профессией,— сказал он.— Люди будут летать на ракетах так же запросто, как сейчас ездят в автобусе. Летом будут отдыхать на Венере. Поедут не в Оушн-Сити, а на Лунные пляжи.

— Вот как,— сказала Перл.— Это замечательно! — Но она была слишком стара для таких путешествий. Не могла она поспеть за всем этим, сама мысль о путешествиях на Луну приводила ее в уныние.

А теперь кто знает? У Люка, наверное, совсем другие интересы. Он так давно не был здесь, приедет ли когда-нибудь снова? В тот последний приезд Эзра достал из чулана свою старую грушевую блокфлейту и показал Люку, как на ней играть. Перл не разбирается в блок-флейтах, но, очевидно, с ними что-то происходит — может, дерево пересыхает, может, коробится,— если на них долго не играть, а эту блок-флейту не брали в руки по крайней мере лет десять. Звук у нее стал прерывистым и хриплым. Но как взволновали ее эти три старые мелодии, прозвучавшие после долгого-долгого молчания! Эзра и Люк отправились на Кэлверт-стрит за льняным маслом. Не прошло и двух минут после их ухода, а Коди уже спросил, где они.

— Пошли купить масла для Эзриной флейты,— сказала Перл.— Разве ты не видел?

Он извинился, вышел на улицу и стал расхаживать перед домом. Рут осталась в гостиной и толковала про школу. Перл слушала вполуха. В окно ей было видно, как Коди в расстегнутом пиджаке точно маятник ходит взад-вперед. Она поняла, что Эзра и Люк вернулись, еще до того, как увидела их,— поняла по тому, как Коди застыл на месте.

— Где вы были? — услышала она его вопрос.— Что ты там делал?

Люк так и не научился играть на флейте. Коди объявил, что им пора.

— Но, Коди,— сказала Перл,— я думала, вы заночуете!

— Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я не могу оставаться здесь. Это рискованно. Разве ты не видишь, что замышляет Эзра.

— Что он замышляет, Коди?

— Разве ты не видишь? Хочет украсть моего сына,— сказал Коди.— Так же, как он всегда крал всех. Разве ты не видишь?

В конце концов они уехали. Эзра хотел подарить Люку свою блокфлейту, но Коди запретил Люку брать ее, обещал купить новую, красивее, лучше, не пересохшую, не искореженную.

Теперь Перл уже не сомневается, что ее семья из невезучих. Сыновья несчастливы, а дочь, похоже, так и будет вечно разводиться. И винить в этом некого, кроме самой Перл, которая растила детей одна, без мужа, и наделала ошибок, уйму ошибок. И все же иногда ей думается, что это просто судьба, а ничья не вина. Наверное, все было заранее предопределено, и каждый должен исполнить свою роль. Она, конечно же, не собиралась делить своих сыновей на хорошего и плохого, но что поделаешь, если один из них всегда был хорошим, а другой всегда плохим? И что могут поделать сами сыновья? «Разве ты не видишь?» — кричал Коди, и на мгновение она вообразила, что он предлагает ей окинуть взглядом всю его жизнь — годы боли и недоумения.

Часто, словно ребенок, глядящий через забор на чужое веселье, она с завистью смотрит на другие семьи и спрашивает себя, в чем же их секрет. Они кажутся такими дружными, такими спаянными. Может, это потому, что они набожны? Более требовательны или, наоборот, более терпимы? А может, потому, что они занимаются спортом? Вместе читают книги? Имеют общие увлечения? Недавно она случайно подслушала, как соседка рассказывала о своих планах на праздник Дня независимости: они всей семьей устроят пикник. Каждый член семьи — ребенок или взрослый — приготовит свое любимое блюдо. Те, кто еще мал, чтобы стряпать, будут отвечать за бумажные тарелки. Перл охватила такая тоска, что у нее задрожали колени.

Эзра наконец заложил картоном разбитое окно. Перл обходит спальни, проверяет там окна. В самой маленькой комнате — детской — она сталкивается с невысокой старушкой в шляпке. Это ее собственное отражение в мутном зеркале над комодом. Она подходит ближе и разглядывает морщины вокруг глаз. Возраст уже не удивляет ее. Она привыкла. На старость человеку отводится в жизни гораздо больше времени, чем на молодость, думает она. Разве это справедливо? Вдруг ни с того ни с сего она вспоминает девочку, с которой ходила в школу. Линда-Лу — забыла ее фамилию — была красивая, взбалмошная, Перл всегда ей завидовала. В последнем классе, в середине года, Линда-Лу исчезла. Ходили слухи — впоследствии они подтвердились,— что у нее была связь с единственным мужчиной-учителем, женатым человеком, и она ждала от него ребенка. С каким ужасом восприняли тогда эту новость в классе! Подумать только, они были знакомы с этой девчонкой, брали у нее записи по истории, помогали завязывать развязавшийся пояс, может, даже случайно задевали ее руку, ту самую руку, которая... какой позор! Пока Перл вглядывалась в зеркало, ей пришло в голову, что ребенку, который родился от этой скандальной связи, теперь уже шестьдесят. У него седые волосы, пигментные пятна, может быть, вставные зубы, очки — унылый груз прожитых лет. Но перед глазами Перл по-прежнему танцует Линда-Лу в белом платье, самая красивая девушка на балу старшеклассников.

«Разве ты не видишь?» — спросил ее как-то Коди, и Перл сказала: «Милый, я просто не понимаю тебя».

Он пожал плечами, и на лице его снова появилось обычное насмешливое выражение. «Ну ладно,— сказал он.— И я тоже, кажется, не могу понять. В конце концов, какое мне дело до всего этого? Я уже взрослый. Почему это должно меня тревожить?»

Перл не помнит, нашлась ли тогда, что ответить.

Она отступает от зеркала. Входит Эзра с мешком для мусора.

— Все в порядке, мама,— говорит он.

— В доме стало гораздо лучше, правда?

Они спускаются по лестнице, запирают дверь и относят в машину метлу, совок и все остальное. Когда они немного отъезжают от дома, Перл оглядывается назад, как всякая хорошая хозяйка, проверяющая, что она успела сделать, и ей кажется, что даже покосившаяся веранда выглядит прямее и прочнее. Ну, вот и хорошо, с удовлетворением думает она. Другие давно бы умыли руки и бросили ферму на произвол судьбы, другие, но не Перл. Она приедет и через год, и через два, и через три. И Эзра будет привозить ее сюда снова и снова — они будут трястись по дороге к дому, преданные, исполненные чувства долга, навсегда вместе.

7. ДОКТОР ТУЛЛ НЕ ИГРУШКА

— Кто первый заговорил о разводе, тот забирает себе всех детей,— сказала Дженни.— Вы не представляете, сколько раз это спасало нашу семью.

Она шутила, но священник не улыбнулся. Наверное, был слишком молод, чтобы понимать такие шутки. Он только смущенно заерзал на стуле. Дети меж тем возились вокруг него точно суетливые, неугомонные муравьи, а у самой маленькой слюни текли прямо на его ботинки. Он осторожно поджал ноги, словно опасаясь обидеть ребенка.

— Да, но мне кажется...— Он осмотрительно выбирал слова.— Вы сами уже были разведены, не так ли?

— Дважды.— Дженни хихикнула; это еще больше озадачило священника.— А Джо только один раз,— добавила она.

Муж улыбнулся ей с дивана.

— Если бы у меня не хватило ума оставить девичью фамилию,— сказала Дженни,— мой медицинский диплом был бы похож на записную книжку с адресами людей, которые только и делают, что переезжают. Зачеркнутые имена, над ними записаны другие, потом опять вычеркнуты и вписаны новые — полнейший хаос! Доктор Дженни-Мария Тулл-Бейнс-Уайли-Сент-Амброз.

Священник был из тех бесцветных блондинов, чьи волосы кажутся стеклянными; лицо у него было такое красное, что Дженни подумала, уже не страдает ли он гипертонией. Впрочем, возможно, это просто от смущения.

— Итак,— сказал он,— миссис... то есть доктор...

— Тулл.

— Доктор Тулл, по-моему, все трудности у Слевина от непрочности... от отсутствия стабильности в семье. Так сказать, из-за смены отцов...

— Отцов? О чем вы говорите? Слевин не мой ребенок. Он — сын Джо.

— Что?

— Джо — его родной отец. И был им всегда.

— Прошу прощения,— извинился священник и покраснел еще больше.

Так тебе и надо, подумала Дженни, ведь каждому ясно, что медлительный толстяк Слевин с пепельными волосами — сын Джо. Дженни — миниатюрная, темноволосая, а Джо — внушительный бородатый блондин, настоящий медведь, с чуть раскосыми голубыми, как у Слевина, глазами. (Ее постоянно тянуло к крупным мужчинам. Рядом с ними она казалась себе такой изящной.)

— Слевин,— сказала она священнику,— его сын от первой жены, Греты, как, впрочем, и все остальные дети, которых вы здесь видите. Кроме Бекки; Бекки — моя, а остальные шестеро — его.— Она нагнулась, чтобы отобрать у малышки кость, которую притащила собака.— Так вот, Грета, жена Джо, бросила их.

— Бросила,— повторил священник.

— Насовсем,— весело сказал Джо.— Смылась из Балтимора. В один прекрасный день, когда я был на работе, она оставила детей у соседки, вызвала машину с грузчиками и вывезла из дома все, буквально все, что у нас было, кроме детской одежды. Ее она сложила аккуратно стопками на полу.

— Боже праведный!— вздохнул священник.

— Забрала с собой даже ребячьи кроватки и пеленальный столик. Как прикажете это понимать? Единственное объяснение: она так привыкла быть с детьми, что не представляла себе иной жизни. Видно, в самом деле решила, что ей понадобится детская кроватка, где бы она ни находилась. Когда я вернулся в тот вечер с работы, мне пришлось немедленно отправиться в «Сирс» и закупить кучу кроватей. Там, наверное, решили, что я открываю мотель.

— Вы только представьте себе,— сказала Дженни,— Джо в переднике готовит малышке молочную смесь. Он, естественно, растерялся. Пришел в отчаяние. А встретились мы вот как: Джо вызвал меня среди ночи, когда малышка заболела краснухой. Он безнадежно

отстал от жизни — вот уже лет двадцать педиатры не принимают вызовы на дом. Но я пошла, сама не знаю почему. Возможно, потому, что они жили в двух кварталах от моего дома. И он был в таком отчаянии — открыл дверь прямо в полосатой пижаме, с ребенком на руках...

— Я влюбился с первого взгляда, едва она появилась на пороге.— Джо разгладил бороду, и золотистые вьющиеся волоски пробились между его толстых коротких пальцев.

— Он решил, что я фея,— сказала Дженни,— с медицинским саквояжем в руке вместо волшебной палочки. Трудно сопротивляться мужчине, который нуждается в твоей помощи.

— Дело не в этом,— сказал Джо.

— Ну, тогда уйти от мужчины, который восхищается тобой. Он спросил, есть ли у меня дети и куда я их деваю, когда ухожу на работу. Я сказала: смотря по обстоятельствам, иногда за моей дочерью приглядывают девочки-подростки, иногда старушки, а то и мать, если у нее есть такая возможность, брат или соседка, а бывает, Бекки просто-напросто сидит у меня в приемной и готовит уроки...

— Я сразу понял, что она не мелочная,— сказал Джо священнику.— Не суровая, не из этих серьезных чопорных дам.

— Да,— кротко сказал священник, оглядывая комнату. (В этот день Дженни не успела заняться уборкой.)

— Он сказал: ему нравится, что я разрешаю детям виснуть на мне. Сказал, что в последние годы дети страшно раздражали его жену. Понимаете? Вот так все и началось. А я уже дала себе зарок больше не выходить замуж. Решила, что мы с Бекки вполне проживем вдвоем, так оно спокойнее,— и тут появляется этот Джо со своим выводком. Малышка была совсем крохотная — ее только что отняли от груди; едва я взяла ее на руки, она повернула ко мне головку и открыла ротик: ясно, она еще все помнит... Интересно...— Дженни улыбнулась священнику, который в самом деле был удивительно молод, прямо-таки мальчик с широко раскрытыми, удивленными глазами.— А почему мы вдруг заговорили на эту тему?

— Мы говорили о Слевине,— напомнил священник.

— Ах да, о Слевине.

Стоял дождливый апрельский день, ветер трепал листья на деревьях, стучал ветками по окнам; в гостиной едва начали сгущаться сумерки, и никто еще не догадался зажечь свет. Воздух казался густым и плотным. Дети затихли, будто часики, у которых кончился завод, и ерзали в ожидании ужина, но бездетный священник этого не замечал. Он слегка подался вперед, сложил кончики пальцев и сказал:

— Меня беспокоит поведение Слевина на собраниях молодых католиков. Он необщителен, у него нет друзей. Вид у него угрюмый, замкнутый. Возможно, это возрастное, но... Ему уже четырнадцать?

— Тринадцать,— подумав, уточнил Джо.

— Тринадцать лет — это, конечно, трудный возраст... Я бы не стал говорить об этом. Но когда я предложил ему зайти ко мне, он отвернулся и убежал — только его и видели. К тому же мы заметили, мистер Сент-Амброз, что каждое воскресенье вы привозите его к мессе, а он даже не заходит в церковь, усаживается на ступеньки и смотрит на проезжающие мимо машины. Так сказать, прогуливает... Но...

—Подумать только! — сказал Джо.— Я каждое воскресенье поднимаюсь ни свет ни заря, чтобы отвезти его в церковь, а он, видите ли, прогуливает!

— Но дело не в этом...

— И вообще, не понимаю, зачем ему это понадобилось? Он единственный из детей, кто ходит в церковь.

— Меня беспокоит его замкнутость, а что он не бывает в церкви — это уж дело десятое,— сказал священник.— Хотя было бы, по-

жалуй, неплохо, если бы вы иногда приезжали вместе с ним к утренней мессе.

— Я? Но я же не католик!

— Ну, может быть, тогда вы, доктор Тулл?

Мужчины смотрели на нее, ожидая ответа. А внимание Дженни в эту минуту было приковано к подозрительно вспучившейся малышкиной пеленке; все же она собралась с мыслями и сказала:

— Боже мой, да мне такое и...— Она фыркнула, привычным жестом прикрыв рот.— И вообще, единственной католичкой у них в семье была Грета, мать Слевина.

— Ах, вот оно что... Ну в таком случае...

— Не знаю, зачем Слевин ходит в церковь. Да еще в ту же самую, куда ходила его мать, Грета, на другом конце города.

— Он поддерживает отношения с матерью?

— Нет, с тех пор она ни разу не появлялась. Сразу же оформила в штате Айдахо развод, и больше нам о ней ничего неизвестно.

— У вас не возникает трудностей с... э-э... приемными детьми?

— С приемными детьми? — переспросила Дженни.— Нет, пожалуй. А может, и да. Точно не знаю. Вероятно, должны быть, такое никогда не проходит гладко. Но жизнь тут у нас ключом кипит, ни на что не хватает времени.

— Слевин очень привязан к Дженни,— сказал Джо священнику.

— Ну спасибо, милый,— поблагодарила Дженни.

— Она сразу покорила его, куда она — туда и он. С детьми она всегда спокойная и веселая.

— Стараюсь как могу. Правда-правда, стараюсь. Но с ними не знаешь, как лучше. В этом возрасте они очень скрытные.

— Может, мне еще раз позвать его к себе? — спросил священник.

— Как хотите.

— Просто так, поговорить о том о сем...

Дженни не сомневалась, что толку от этого не будет.

Она проводила священника к двери; шла рядом, засунув руки в карманы юбки.

— Надеюсь,— сказала она,— вы поняли нас правильно. Джо — прекрасный отец. Он всегда находил общий язык со Слевином.

— Да, конечно.

— И когда сравнишь его с другими...— С людьми, которые ее осуждали, Дженни становилась удивительно многословной (и сама знала об этом).— Вот хотя бы Сэм Уайли, мой второй муж, отец Бекки. Жаль, что вы его никогда не видели. Он художник. Изящный, ловкий, маленький — таким я теперь вот настолько не доверяю. Безответственный человек, на которого нельзя положиться. Он бросил меня еще до рождения Бекки ради манекенщицы Адар Банье.

Она открыла входную дверь. В лицо пахнуло мелкой свежей изморосью, и Дженни глубоко вздохнула.

— Как хорошо!.. Правда, идиотское имя? Я все старалась перевернуть его. Думала, если прочесть задом наперед, может, будет лучше звучать. Ну, до свидания, ваше преподобие. Спасибо, что зашли.

Она закрыла дверь и отправилась на кухню готовить ужин.

Дженни любила говорить, что дом у нее был бы на славу, если б только вода из ванной не протекала в столовую. Высокий, опрятный, он стоял в длинном ряду одноквартирных домов на Болтон-Хилл; она купила его еще в 1964 году, когда цены были не такие безумные. В то время дом казался ей огромным, но семь лет спустя, когда прибавилось шестеро детей, он перестал быть просторным. Планировка хуже некуда: дом состоял как бы из клетушек, сплошные двери и отопительные батареи, для мебели места нет.

Она готовила у заляпанной плиты на высоких ножках, овощи

промывала в пожелтевшей раковине, задрапированной от края до пола ситцем, тарелки расставляла на столе, изрезанном инициалами.

— А теперь, дети,— сказала она,— каждый возьмет себе вилку и ложку...

— Ты дала Джейкобу больше горошка, чем мне.

— Она дала тебе столько же.

— Нет, не столько.

— Нет, столько.

— Нет, не столько.

— На, возьми, я его вовсе даже и не люблю.

— Где же Слевин? — спросила Дженни.

— А кому он нужен, этот старый ворчун Слевин?

Зазвонил телефон. Вошел Джо с малышкой на руках.

— Это твой телефонный секретарь,— сказал он.— Они хотят знать...

— Сегодня не моя очередь. Сегодня ночью дежурит Дэн. Почему это они звонят мне?

— Я тоже так думал, но они говорят...

Джо неторопливо вышел из комнаты, а минуту спустя вернулся и сел за стол с малышкой на коленях.

— Вот ее мясо,— мимоходом сказала Дженни,— ее ложечка лежит...

Она вышла из кухни и, запрокинув голову, крикнула:

— Слевин!

Ответа не последовало.

Дженни быстро взбежала по лестнице и задохнулась. Мама права, я совсем не в форме, подумала она. Мама все время твердит: «Ты совсем перестала следить за собой, Дженни. Преступление — с твоей внешностью так относиться к себе». В самом деле, вид у нее изможденный, усталый, кожа на лице нездорового, желтоватого оттенка, брови разрослись, широкие смешливые губы стали сухими и коричневыми, она перестала их красить. А волосы! «Куда же девались твои прекрасные волосы?»— причитала мать. А разве они были прекрасными — так, густая копна с пробивающейся сединой и выстриженной челкой. «Ты же была такая красивая»,— говорила Перл, а Дженни смеялась. Ну и что хорошего это ей дало? Она с удовольствием думала, что изводит свою красоту, так сказать, расходует ее. От этой мысли она получала удовлетворение, как хозяйка, старательно опорожняющая банку с продуктом, который пришелся ей не по вкусу,— она никогда больше его не купит, но выбросить остатки — рука не поднимается.

С трудом переводя дух, придерживая руками юбку, Дженни добралась до второго этажа, отведенного старшим детям. Здесь, на чужой территории, воздух был спертый, как на старом чердаке.

— Слевин! — позвала она и постучала.— Иди ужинать, Слевин!

Она приоткрыла дверь, заглянула внутрь. Слевин лежал на неубранной кровати, прикрыв локтем глаза. Между поясом джинсов и краем майки виднелся рыхлый живот. Слевин был в наушниках и поэтому не услышал ее. Она подошла и сняла с него наушники. Тихо зазвучала песенка «Мы с Бобби Макги» в исполнении Дженис Джоплин. Слевин заморгал, будто только что проснулся, и с удивлением посмотрел на нее.

— Ужинать пора,— сказала она.

— Я не хочу есть.

— Как «не хочу»? Это что за разговоры?

— Честно, Дженни, неохота вставать.

Но она уже стащила его с кровати и поставила на ноги. Крупный мальчишка, почти с нее ростом и много тяжелее, но кожа до сих пор нежная, гладкая, точно у младенца. Упершись ладонями Слевину в поясницу, она подтолкнула его к двери.

— Ты единственный, кого мне приходится чуть ли не на руках тащить к столу,— сказала она.

И пока они спускались по лестнице, напевала:

Волокли-толкали до парома Гарри,
А потом толкали к берегу его...

— Ну правда, Дженни,— сказал Слевин.

Они вошли на кухню. Джо, сложив руки над головой малышки, протрубил:

— Тра-ра-ра! Наконец-то он пожаловал!

Слевин тяжело вздохнул. Но остальные даже головы не подняли.

Усевшись за стол, Дженни с удовлетворением оглядела свой выводок. Пока все идет хорошо, подумала она, даже со старшими, которые поначалу встретили ее опасливо и недружелюбно.

А в следующий миг ее охватила тревога: она вдруг поняла, что так будет всегда. Взвалила на себя всех этих детей, выправила их исковерканные жизни, медленно, но верно завоевала их доверие — и теперь совесть не позволит их бросить. Она увязла здесь навеки.

— Как хорошо, что мы живем дружно,— сказала она Джо.

— Просто замечательно,— откликнулся он, погладил ее по руке и попросил передать горчицу.

— Странно, школа всегда пахнет школой,— сказала Дженни учительнице Слевина.— Сколько ни добавляй новинок — аудиовизуальных пособий, микрокалькуляторов,— а школа по-прежнему пахнет книжным клеем, дешевой серой бумагой для черновиков по арифметике и еще чем-то... Знакомый запах. Я узнаю его, но никак не могу вспомнить, чем это пахнет.

— Садитесь, доктор Тулл,— предложила учительница.

— Пылью от батарей! — вспомнила Дженни.

— Как вы сказали?

— Вот чем еще пахнет школа.

— Я вызвала вас не случайно,— произнесла учительница, раскрывая лежащую перед ней папку.

Учительница была крохотного роста, явно моложе тридцати, бойкая, веснушчатая, в огромных роговых очках, под которыми прямотаки исчезал ее остренький носик. Быстро же она усвоила командирский, не терпящий возражений тон, подумала Дженни.

— Я знаю, доктор Тулл, вы человек занятой,— сказала она,— но меня серьезно беспокоит Слевин, и я считаю необходимым поставить вас об этом в известность.

— Вот как? — Дженни решила, что будет лучше, если она тоже наденет очки, хотя она захватила с собой только те, что для чтения. Она порылась в сумочке, на пол выпала розовая пластмассовая пустышка. Дженни сделала вид, будто не заметила этого.

— Слевин очень умный мальчик,— сказала учительница, неодобрительно уставившись на Дженни.— Способнее остальных моих учеников.

— Да, я согласна с вами.

— Но по английской грамматике,— сказала учительница, перелистывая бумаги,— у него «плохо». В лучшем случае он получит «посредственно» с минусом.

Дженни цокнула языком.

— По математике «удовлетворительно», по истории «посредственно», по физике и физкультуре... Слевин столько пропускал, что я наконец спросила, не прогуливает ли он. Он не стал запираться. «Сколько же ты прогулял?»— «Весь февраль».

Дженни рассмеялась. Учительница в недоумении посмотрела на нее. Дженни поправила очки и спросила:

— А вам не кажется, что это просто переходный возраст?

— Да ведь и у всех его одноклассников переходный возраст,— возразила учительница.

— Или... Не знаю, может быть, ему скучно. Вы же сами сказали, что он умный мальчик. Посмотрели бы вы на него дома. Вечно возится с какими-то механизмами, делает проводку для стерео... У него собственный магнитофон. Он купил его на свои, заработанные деньги. Какая-то потрясающая марка, не могу вспомнить, как называется. Я вообще в этих делах профан. Когда Слевин завел разговор об очистителе для головки, я было решила, что речь идет о шампуне, а Слевин все эти хитроумные штуки знает как свои пять пальцев и...

— Наш директор мистер Дэвис считает,— перебила ее учительница,— что Слевин переживает трудности эмоционального характера, связанные с приспосабливанием к новой домашней обстановке.

— С каким приспосабливанием?

— Он говорит, что мать Слевина бросила его и мальчика сразу же перевезли в ваш дом, где ему пришлось привыкать к новой матери и сестре.

— Ах, вот вы о чем...— Дженни махнула рукой.

— Мистер Дэвис считает, что Слевину, по всей вероятности, потребуется профессиональная помощь психиатра.

— Глупости! — сказала Дженни.— Подумаешь, небольшой период привыкания. С тех пор прошло уже добрых полгода. И вовсе не... Посмотрите на мою дочь! Ей тоже пришлось привыкать — сразу к семерым. И она ни разу не пожаловалась. Ничего страшного, мы справляемся! Кстати, недавно мой муж говорил, что надо подумать о новых детях. По его мнению, у нас должен быть хотя бы один общий ребенок, но я пока что не могу решиться. Как-никак мне уже тридцать шесть, и вряд ли разумно...

— Мистер Дэвис считает...

— ...Хотя если для него это так важно, то мне все равно...

— Все равно! — возмутилась учительница.— А как же насчет демографического взрыва?

— Что? Вы меня сбили... А я хотела вот что сказать,— продолжала Дженни,— нечего сваливать на разводы, притирания, плохих родителей и тому подобное. Всякий человек — творец своего счастья, согласны? В жизни надо преодолевать трудности. Нельзя опускать руки перед неудачами. Все это я объясню Слевину. Поговорю с ним сегодня же вечером. Я уверена, он исправит свои отметки.

Она нагнулась, подняла с пола пустышку, попрощалась с учительницей и ушла.

В кабинете Дженни на стене висела лакированная деревянная доска с надписью: ДОКТОР ТУЛЛ НЕ ИГРУШКА. Эту доску сделал для нее Джо в своей домашней мастерской. Его злили синяки и царапины, которые изо дня в день оставались у Дженни после возни с ее маленькими пациентами.

— Заставь их хоть немного тебя уважать,— говорил он.— Надо держаться с достоинством.

Но доска, в сущности, затерялась среди фотографий пациентов (на пляжах, на качелях, голышом на одеяле в фотостудии или у пирога с зажженными свечами), а также их автопортретов, сделанных цветными карандашами. Вдобавок ее пациенты еще не умели читать.

Она подхватила Билли Бернема и потащила к сестре, чтобы та сделала ему укол против столбняка; мальчик хохотал и отбивался.

— Очень может быть,— через плечо громко сказала она его матери,— что сегодня ночью у него немного поболит под левой...— Билли дернулся, и от белого халата Дженни отлетела пуговица.

Маленькому Олбрайту надо сделать очередную прививку. Младенцу Кэрролов пора назначить другую молочную смесь. Бесконечный насморк Люси Брэндон похож на аллергию. Дженни сказала ее

матери, что девочку надо повезти на аллергеновые пробы. У близнецов Моррис увеличены миндалины...

Она попросила секретаршу купить ей сандвич.

— А разве вы сегодня не в ресторане обедаете? — спросила та.— Здесь ваш брат, он дожидается уже по крайней мере полчаса.

— О господи, я же совсем о нем забыла,— сказала Дженни и вышла в приемную.

Эзра сидел на обтянутой пластиком кушетке в окружении игрушек, кубиков, клеенчатых книжек с картинками. Целый выводок малышей, лопочущих по-испански,— должно быть, пациенты доктора Рамиреса,— копошился у его ног, но, глядя на растрепанные мягкие, как у ребенка, светлые волосы Эзры, на его выцветший рабочий комбинезон, на широкое, застывшее в ожидании лицо, никто бы не принял его за их родителя.

— Эзра, милый,— сказала Дженни,— я напрочь забыла. Через двадцать минут я должна принять следующего пациента, может, успеем перекусить?

— Ну конечно,— кивнул Эзра.

Она сняла халат, надела плащ, они спустились на лифте в большой, мощенный мрамором вестибюль и через дверь-вертушку вышли на улицу. На тротуаре темнели капли дождя, небо над головой было серое, хмурое. В воздухе пахло мокрым углем. Торопились куда-то прохожие, пыхтели автобусы, вдали раздавался колокольный звон.

— Я чувствую себя круглой идиоткой,— сказала Дженни.— Приглашаю тебя — не кого-нибудь, а тебя! — в котлетную.

Она вспомнила его ресторан, который всегда немного пугал ее. Недавно Эзра превратил квартиру над рестораном в элегантные отдельные кабинеты, вроде тех, какие показывают в старых фильмах (небольшие затянутые плюшем комнатки, где злодей пытается соблазнить героиню). Эзра считал, что они непременно понравятся супружеским парам, отмечающим свадебные юбилеи (как у большинства холостяков, у него были забавные, до крайности сентиментальные представления о браке). Однако до сих пор кабинеты заказывали только для деловых переговоров бизнесмены и балтиморские политиканы, сверкающие дорогими запонками, перстнями и часовыми браслетами.

— Котлеты — это хорошо,— сказал Эзра.— Обожаю котлеты!

Когда они вошли через стеклянные двери в чистенькую современную закусочную, где по стенам были развешаны огромные яркие фотографии — кольца лука и молочные коктейли,— он со счастливой улыбкой огляделся по сторонам. За одними столиками сидели секретарши, за другими — рабочие-строители.

— Все это здорово смахивает на коммуну, кибуц или что-то в этом роде,— сказал Эзра.— Сети стандартных закусочных, куда приходят завтракать, обедать, а иногда и ужинать. Скоро у нас вовсе не останется домашних кухонь — всегда можно будет зайти в ближайшую забегаловку Джино или Макдональда. Неплохая идея.

Интересно, а существует ли кафе, закусочная, ресторан, чтоб не понравились Эзре? — подумала Дженни. В бесплатной столовой для безработных ему наверняка пришлось бы по душе, что посетители зверски голодны. В какой-нибудь вонючей таверне он обнаружил бы невиданные доселе маринованные яйца. Надо признать: там, где дело касалось еды, Эзра понимал, что к чему.

Пока Эзра ходил за котлетами, она устроилась за столиком, сняла плащ, пригладила волосы, ногтем соскребла с блузки пятнышко от молочной смеси. Странно было сидеть в одиночестве за столиком. Ее постоянно окружали люди — дети, пациенты, коллеги-врачи. От незаполненного пространства вокруг она ощущала какую-то пустоту, невесомость, словно ей не хватало балласта и в любую минуту она могла взмыть вверх.

Эзра вернулся с котлетами.

— Как дела у Джо? — спросил он, усаживаясь.

— Нормально. А как мама?

— Хорошо, передает тебе привет. Я тут принес кое-что...— Он отодвинул тарелку, порылся в карманах куртки и вытащил потертый белый конверт.— Фотографии.

— Фотографии?

— Да. У мамы их полным-полно. А я их нашел недавно и подумал: может, ты захочешь что-нибудь взять себе.

Дженни вздохнула. Бедный Эзра, он превратился в семейного опекуна — ухаживает за матерью, охраняет их прошлое, регулярно звонит сестре, приглашает ее позавтракать.

— Пусть остаются у тебя,— сказала она.— Ты же знаешь, я все равно потеряю.

— Но здесь много твоих фотографий.— Он выложил на стол содержимое конверта.— Я думал, может, детям будет интересно. Вот, например...— Он перебрал целую пачку фотографий Дженни, молоденькой и суровой.— Вот — вылитая Бекки, а?

На фотографии была Дженни в клетчатом берете, с серьезным лицом.

— Бр-р..— пробурчала она, помешивая ложечкой кофе.

— Ты была такая хорошая девочка,— сказал Эзра и, прислонив фотографию к своей чашке, принялся за котлету.

Дженни увидела на обороте снимка какую-то карандашную надпись и попыталась прочесть. Эзра, заметив это, пояснил:

— Осень сорок седьмого года. Я заставил маму надписать даты. Между прочим, хочу послать некоторые из снимков Коди.

Дженни живо представила себе лицо Коди, когда тот получит фотографии.

— Эзра,— сказала она,— честно говоря, на твоем месте я бы не стала тратиться на марки.

— Думаешь, ему не будет приятно сравнить их с подрастающим Люком?

— Поверь, он их сожжет. Ты ведь знаешь Коди.

— Может быть, он изменился.

— Да не изменился он,— сказала Дженни,— и вряд ли изменится. Стоит только словом обмолвиться о нашем детстве, упомянуть о чем-то самом невинном, и он тут же кривит рот. Ты знаешь эту его манеру. Я однажды сказала: «Коди! Ты прямо как Лоусоны». Помнишь Лоусонов? Они переехали в Балтимор, в наш район, из Нашвилла, в штате Теннесси, и в первую же неделю все четверо их детей заболели свинкой. Тогда миссис Лоусон сказала: «Мне кажется, это несчастливый город». На следующей неделе у них в подвале лопнула труба, и она сказала: «Ну, это же Балтимор». Потом ее дочь сломала руку... Когда Лоусоны собрались обратно в Теннесси, я пошла попрощаться с ними. Они как раз загружали багажник машины, стали закрывать его и прищемили пальцы младшему сыну. И когда отъезжали, он орал благим матом, а миссис Лоусон крикнула: «Как мы жили здесь, так и уезжаем! Я всегда говорила, что Балтимор — несчастливый город!»

— Не пойму я, к чему ты все это вспоминаешь? — спросил Эзра.

— Дело в том, что если человек копит обиды, то все в жизни кажется ему плохим. А Коди, точно, копит и отравляет себе этим всю жизнь. «Но в конце концов,— сказала я ему,— мы же выстояли. Так ведь? Выросли. И все трое выбились в люди. И еще как выбились!»

— Да, ты права,— подтвердил Эзра, и его наморщенный лоб разгладился.— Особенно ты, Дженни. Врачом стала.

— Ерунда! Я всего только взвешиваю младенцев,— сказала она.

Но его слова польстили ей. И когда они поднялись из-за стола, она взяла с собой фотографии, чтобы доставить Эзре удовольствие.

Джо сказал, что, если у них будет ребенок, он бы хотел, чтобы родилась девочка. По его подсчетам, им не хватает девочек.

— Да ты что? — Дженни, загибая пальцы, стала считать девочек: — Фиби, Бекки, Джейн...— И осеклась, чувствуя на себе внимательный взгляд Джо. Она ждала, что́ он скажет, но Джо молчал.— Ну? — спросила она.

— Так их только три.

Она вдруг покраснела от неловкости.

— Разве я забыла кого-нибудь?

— Нет. Забыла ли она кого-нибудь? — произнес Джо, обращаясь к стене, и фыркнул.— Забыла ли она кого-нибудь, спрашивает моя жена. Что за вопрос? Нет, никого ты не забыла. Их у нас всего три. Три девочки.

— Так что же ты злишься?

— Я не злюсь. Просто разочарован. Я пытаюсь серьезно поговорить с тобой.

— А разве мы говорим несерьезно?

— Да, да...

— Так в чем же дело?

Джо не пожелал объяснять. Он стоял в дверях кухни, плотно прижав к груди скрещенные руки, отведя в сторону сердитые глаза. Дженни была в недоумении. Это что, ссора? Молчание затянулось, и она потихоньку вернулась к своему занятию — продолжала резать к ужину огурцы. Она нареза́ла аккуратные кружочки и бесшумно смахивала их в миску. (Когда они с Джо познакомились, он как-то спросил: «Ты протираешь лицо огурцами?»—«Огурцами?!»— удивилась она. «У тебя такая прохладная кожа,— сказал он.— Я сразу вспомнил флакон с огуречным молочком, который стоял на трюмо у моей тети».)

Мальчики, Джейкоб и Питер, играли возле холодильника с доской для спиритических сеансов. Дженни пришлось переступить через них, когда она шла за помидорами.

— Извините,— сказала она детям,— вы мне мешаете.

Они пропустили ее слова мимо ушей. Их внимание было прикован о к доске.

— Кем я буду, когда вырасту? — спросил Джейкоб и осторожно положил пальцы на стрелку.— Зажиточным джентльменом из среднего класса, полузажиточным из среднего класса или незажиточным из среднего класса? Кем я буду?

Дженни рассмеялась, Джо бросил на нее пристальный взгляд, резко повернулся и вышел из кухни.

По телевизору передавали вечерние новости. С военными почестями хоронили одного из членов экипажа вертолета, погибшего в Лаосе. Родителям — седовласому мужчине с квадратной челюстью и его хрупкой жене — подали сложенный мягким треугольником американский флаг. На женщине был изящный бежевый плащ и короткие белые перчатки. Она приняла из рук военного американский флаг. Муж отвернулся и зарыдал, не захотел сказать даже несколько слов в микрофон, который кто-то совал ему. «Сэр! Сэр!..»— настаивал репортер. Рука в белой перчатке протянулась и взяла микрофон. «Мне кажется, мой муж хочет сказать,— произнесла жена с легким южным акцентом,— что мы благодарим всех, кто собрался здесь. Мы уверены — это не сломит нас. Мы сильные люди, и у нас все будет о'кей».

— Брехня,— сказал Слевин.

— А я и не знала, что ты интересуешься политикой,— заметила Дженни.

— Я не интересуюсь политикой. Но это все брехня,— повторил Слевин.— Она должна была сказать: «Уберите ваш вонючий флаг! Я протестую! С меня хватит».

— Ну ладно, ладно...— примирительно сказала Дженни. Она разбирала фотографии, которые ей дал Эзра, и, вытащив одну из них, подала Слевину, чтобы отвлечь его.— Вот посмотри. Это твой дядя Коди, когда ему было пятнадцать лет.

— Он мне не дядя.

— Очень даже дядя.

— Если по-настоящему, то не дядя.

— Ты бы не говорил так, если бы знал его. Он бы тебе понравился,— сказала Дженни.— Что бы ему заехать к нам погостить! Он такой... неродственный, что ли, не знаю. А вот смотри,— она протянула ему другой снимок,— правда, моя мама красивая?

— По-моему, она похожа на ящерицу.

— Ну, знаешь ли, когда она была девушкой... До чего грустно... Знаешь, какая она была тогда беспечная...

— Она всегда забывает мое имя,— сказал Слевин.

— Но она же старенькая.

— Не такая уж старая... Она просто показывает, что я ничего не стою. Старая грымза. Сядет во главе стола, положит руки рядом с тарелкой — а на тарелке кусок хлеба — и зыркает во все стороны: туда-сюда, туда-сюда, как вращающийся вентилятор. Ждет, чтобы ей масло передали. Никогда не попросит, слова не вымолвит, пока ты или отец не скажете: «Не передать ли вам масло?» И она: «Ах, благодарю», как будто только и ждала, когда вы наконец догадаетесь это сделать.

— У нее была нелегкая жизнь.

— Хоть бы раз можно было поесть спокойно, чтобы не передавать ей масло.

— Знаешь, Слевин, ведь она воспитывала нас одна,— сказала Дженни.— Думаешь, ей легко было? В один прекрасный день отец ушел из дома, бросил ее. Мне было всего-навсего девять лет.

— Правда? — Слевин внимательно посмотрел на нее.

— Бросил ее навсегда. С тех пор мы его ни разу не видели.

— Вот сволочь,— сказал Слевин.

— Что поделаешь! — вздохнула Дженни и вернулась к фотографиям.

— Ну что за люди! Так и норовят обдурить.

— Не преувеличивай,— сказала Дженни.— По правде говоря, я теперь даже не помню, как он выглядит. Я бы не узнала его, если бы мы встретились. А мама все выдержала. Все обошлось. Вот посмотри, Слевин, какая у Эзры здесь старомодная стрижка.

Слевин пожал плечами и переключил телевизор на другую программу.

— Видишь, какая я была в твоем возрасте? — Дженни протянула ему свою фотографию в клетчатом берете.

Он посмотрел и нахмурился:

— Кто это?

— Я.

— Нет, не ты.

— Уверяю тебя, это я — тринадцатилетняя. Мама пометила на обороте дату.

— Это не ты! — сказал он. Голос у него был необычно высокий, как у маленького ребенка.— Это не ты! Ну ты сама погляди! Как из концлагеря... Анна Франк! Ужас какой-то!

Удивленная, она перевернула снимок и еще раз посмотрела на него. В самом деле, фотография не особенно удачная: темноволосая маленькая девочка с худым настороженным лицом. Но не настолько ужасная, как он говорит.

— Ну так как же? — спросила она, снова протягивая Слевину снимок. Он отпрянул.

— Это кто-то другой. Не ты. Ты всегда смеешься, всегда веселая. Это не ты.

— Ну ладно, будь по-твоему,— сказала она и принялась рассматривать остальные карточки.

— Я хочу поговорить с тобой о вашем старшем,— сказала мать по телефону.— Как его зовут? Кевин?

— Слевин, мама, боже ты мой!

— Так вот, он украл мой пылесос.

— Что?

— В воскресенье, когда вы заезжали проведать меня, он забрался в кладовку и унес мой пылесос.

Дженни опустилась на кровать.

— Повтори, пожалуйста, еще раз,— попросила она.

— Пылесоса нет вот уже целую неделю,— сказала мать,— и я все не могла понять, в чем дело. Ведь точно знаю, воры к нам не лазили, а если бы даже и забрались, кто польстится на это старье?

— Но почему ты подумала на Слевина?

— Сегодня днем соседка, миссис Артур, сказала мне: «Не вашего ли внука я видела в прошлое воскресенье? Такой упитанный мальчик? Укладывал ваш пылесос в багажник машины».

— Не может быть! — сказала Дженни.

— А ты откуда знаешь? Откуда ты знаешь, что может и чего не может быть? Он нам чужой, Дженни. Эти дети достались тебе, как людям достаются гости на уик-энд.

— Ты преувеличиваешь,— сказала Дженни.

— Все, о чем я прошу: сходи в комнату Слевина и проверь. Проверь, и дело с концом.

— Как, сию минуту?

— У меня весь ковер в пуху.

— Ну ладно,— согласилась Дженни.

Она положила телефонную трубку на подушку и поднялась на второй этаж. Дверь в комнату Слевина была открыта, но мальчика там не было, хотя из радиоприемника громыхала рок-группа «Джефферсон Эрплейн». Дженни осторожно перешагнула через рюкзак Слевина, обошла шаткую стопку научно-популярных журналов, открыла стенной шкаф и тотчас наткнулась на материн пылесос. Она бы не спутала его ни с каким другим — старый пылесос с серым матерчатым мешком для пыли. Провод был аккуратно свернут и как будто не поврежден. Она бы еще поняла, если б Слевин разобрал пылесос, чтобы узнать, как он работает. Или сломал его в припадке ненависти к Перл. Но нет, вот он — цел и невредим — стоит в шкафу. Озадаченная Дженни помедлила несколько минут, потом вынула пылесос из шкафа и стащила его вниз по лестнице к телефону. В трубке нетерпеливо дребезжал голос матери:

— Дженни, Дженни!

— Ты права,— сказала Дженни,— я нашла пылесос в его комнате.

Последовала пауза, которую мать могла бы заполнить возгласом: «А я что говорила?» Но Перл великодушно промолчала. А потом наконец заметила:

— Может, он, сам того не сознавая, просит о помощи.

— Кражей пылесоса?

— Он ведь все-таки очень милый мальчик,— сказала Перл,— это сразу видно. Может, ему нужна помощь психоаналитика или кого-нибудь в этом роде.

— Скорее всего, ему нужно, чтобы в доме у нас было почище. В его стенном шкафу столько пыли, что задохнуться можно.

Дженни представила себе отчаявшегося Слевина за кражей принадлежностей для уборки: у одного соседа он крадет веник, у другого — пасту для чистки ванн и собирает все это с тем же рвением, с каким собирал монетки с профилями индейцев. На нее вдруг напал смех.

— Ох, Дженни! — с грустью сказала мать.— Ну почему ты все превращаешь в шутку?

— Я же не виновата, что случаются такие смешные истории,— ответила Дженни.

— Еще как виновата,— сказала мать. И, не пускаясь в дальнейшие объяснения, деловым тоном потребовала, чтобы к следующему утру пылесос был возвращен.

Дженни, Джо и все дети, кроме малышки, сидели у телевизора. Большинству из них давно пора было спать, но сегодня был особый случай: по программе «Для полуночников» показывали «Вкус меда»— самую любимую картину Дженни. Она видела этот фильм всего один раз в 1963 году и не могла забыть его. «Со „Вкусом меда" ничто не сравнится,— часто повторяла она и, возвращаясь из кино, говорила:— В общем-то фильм неплохой, но не „Вкус меда"».

И теперь любой из детей мог завершить эту фразу, едва Дженни ее начинала. Она открывала дверь, а они тотчас спрашивали:

— Это было как «Вкус меда», Дженни, да?

Однажды она услыхала, как Фиби сказала Питеру:

— Новая учительница в общем-то ничего, но не «Вкус меда».

Узнав из программы, что по телевизору будут показывать этот фильм, дети добились разрешения посмотреть его. Старшие заварили какао, младшие принесли тарелки с хрустящим картофелем. В гостиной Бекки и Слевин расставили стулья перед телевизором.

— Знаешь, что будет? — сказал Джо.— Через столько лет даже «Вкус меда» покажется тебе другим.

По-своему он был прав. Не то чтобы фильм ей разонравился. Да, да, говорила она детям, все так и было, как она помнит, только сама она теперь совсем другой человек. Сейчас у нее сердце щемило от жалости, а в то время фильм вселил в нее надежду. И как удивительно, как невероятно, что тогда она не увидела в героине фильма себя! В 1963 году, когда она была ординатором и разрывалась между работой и двухлетней дочкой, родившейся через полтора месяца после развода. И все-таки тогда эта история про одинокую девушку, живущую в бедности и ожидающую ребенка, глубоко тронула ее — задумавшись, она незаметно для себя сгрызла целую коробку соленых сушек. (Как же она тогда попала в кино? Откуда взялось время? При ее безумной занятости?)

Фильм окончился, Дженни выключила телевизор и отправила детей наверх. Куин, самый младший, на которого «Вкус меда» не произвел сильного впечатления, крепко спал; пришлось тащить его по лестнице на руках. Даже старшие дети сонно моргали глазами.

— Проснитесь,— сказала она им,— и живо в постель.

Она потормошила Джейкоба, которого сморило на верхней ступеньке. Довела каждого до кровати и поцеловала на сон грядущий. Их комнаты казались шумными даже в тишине. Горы ярких игрушек, раскиданная одежда, кричащие плакаты с портретами эстрадных звезд, наклейки для автомобильных бамперов с антивоенными лозунгами, вымпелы балтиморской бейсбольной команды «Ориолс». Трое не признавали простынь и спали в пестрых спальных мешках — коконы на молниях, брошенные поверх одеял; а Фиби не признавала даже кровати — спала, свернувшись калачиком, на полу на стеганом одеяле, чаще всего в коридоре, ведущем в родительскую спальню. Она укладывалась у порога, словно телохранитель, и в темноте надо было ступать осторожно, чтобы не споткнуться об нее.

— Выключи радио,— сказала Дженни и поцеловала Бекки в макушку.

Потом она заглянула в комнату Слевина, постучала по косяку открытой двери и вошла. Как обычно, он улегся поверх одеяла, прямо

в дневной одежде, не потрудился даже снять широкий узорчатый пояс с огромной пряжкой. Каждый вечер, с того дня как они с Джо поженились, Дженни целовала Слевина перед сном, но мальчик все еще стеснялся, и, щадя его самолюбие, она обыкновенно едва касалась своей щекой его щеки.

— Спокойной ночи,— сказала она Слевину.

— Ты ведь нашла пылесос.

— Пылесос...— повторила она, пытаясь выиграть время.

— Извини, что я взял его,— сказал он.— Твоя мать наверняка разозлилась, да? Но я не украл. Честное слово! Просто взял ненадолго.

Дженни присела на край кровати.

— А для чего взял?

— Не знаю. Просто... Понимаешь, он стоял там у нее в чулане. Ну точно такой же, как у моей мамы. Знаешь, как это бывает, не думаешь о чем-нибудь, даже не представляешь, что помнишь. И вдруг что-то снова напоминает тебе обо всем. Я и забыл, что там внизу есть такой резиновый обод, чтобы не царапать мебель. И потом этот большой мешок, который раздувается, в детстве я страшно его боялся. Даже запах у него такой же. Пахнет материей, как мамин. Понимаешь? И мне вдруг захотелось взять его домой. А когда принес, оказалось, совсем не то.

— Не волнуйся, Слевин, все в порядке,— успокоила его Дженни.— Все хорошо, милый.— И чуть погодя, испугавшись, что ее взволнованный голос снова смутит мальчика, она тихонько засмеялась и предложила: — Может, подарить тебе такой же на день рождения?

Слевин лег на бок и отвернулся.

— Или давай закажем пылесос из ситца.— Дженни хихикнула.— Маленький игрушечный пылесосик из ситца, набитый ватой, чтоб его можно было брать с собой в постель.

Но Слевин закрыл глаза. Она помолчала немного, пожелала ему спокойной ночи и вышла из комнаты.

В ту ночь ей приснилось, что она снова живет со своим вторым мужем, Сэмом Уайли, которого любила больше всех. Просто голову из-за него потеряла. Ей приснилось, что он вертится на высоком деревянном табурете, что стоял у нее в кухне еще в Полеме, подкручивает свои длинные усы и поет песенку «Все пройдет» [1], которой тогда и в помине-то не было!

Она открыла глаза — песенка «Все пройдет» доносилась из глубины темного коридора: кто-то из детей забыл выключить радио. Сколько раз им повторять! Она встала и, осторожно переступив через спящую у порога Фиби, босиком пошла в комнату Питера. Поздно ночью радио звучит совсем не так, как днем, подумала она,— музыка доносится откуда-то издалека, сквозь шорохи и наждачный скрежет электрических помех, словно преодолевая долгий путь над километрами железнодорожных рельсов и пустынных автострад, угольных складов и автомобильных кладбищ, нефтяных вышек, фабричных труб и трансформаторных подстанций. Дженни выключила радио и натянула спальный мешок Питеру на плечи. Заглянула и в кроватку малышки. Потом, озябшая, вернулась к себе и, чтобы согреться, прижалась к широкой спине Джо.

Сэм часто напевал «Мэкки Нож» и «Зеленые поля» — песни эти были тогда весьма популярны. Она вспомнила, как он разыгрывал оперного певца и, стараясь рассмешить ее, закатывал глаза и бил себя кулаком в грудь. (Она в ту пору была серьезной девушкой-студенткой.) Потом ей вспомнилось, какая полоса появилась у нее

[1] Одна из популярнейших песен английской группы «Битлз».

на животе из-за того, что во время осмотра больных она налегала животом на край стола. Шесть месяцев беременности, семь месяцев... На восьмом брак расстроился, и Дженни ходила как в тумане. Она осуждала себя: неудачница, не способна вызвать ответную любовь, удержать мужа. Раньше она никогда не задумывалась над этим, однако боль, которую она испытывала, была на редкость знакомой, словно давнее подозрение наконец подтвердилось.

Она носила тогда халаты, скроенные на врачей-мужчин солидной комплекции,— специальных медицинских халатов для беременных женщин не было. На обходах профессора с тревогой поглядывали на нее и спрашивали, не тяжело ли ей работать. Сестры, жалея Дженни, накачивали ее кофе, и порой ей казалось, что в конце концов она уплывет куда-нибудь. Одна из сестер во время родов неотступно была при ней; возле других женщин — мужья, а у Дженни — Роза Перес; Дженни изо всех сил сжимала ее руку, но Роза ни разу не пожаловалась.

А как звали ту соседку, на попечение которой она оставляла Бекки? Мэри и еще как-то — Мэри-Ли, Мэри-Лу,— жена одного коллеги по интернатуре, такая же бледная, как Дженни, мать двоих детей; ее старшему сыну не было еще и двух лет. Она согласилась за гроши присматривать за Бекки, но даже эта ничтожная плата была Дженни не по карману. А ее рабочий график! Месяцами она дежурила по ночам, тридцать шесть часов кряду, потом двенадцать часов была свободна. Реанимация, родильное отделение, травматологическая хирургия... Да и в педиатрической ординатуре было ненамного лучше. Тем временем Бекки подросла — из грудного младенца превратилась в маленькую девочку. Этот незнакомый жизнерадостный ребенок с живыми черными глазами Сэма Уайли, казалось, никакого отношения к Дженни не имел. Хотя иногда она поражалась, заметив, как Бекки вдруг смотрит на что-нибудь спокойным, оценивающим, типично тулловским взглядом. Неужели эта маленькая незнакомка и есть ее семья? Девочка научилась ходить, начала говорить. «Нет!» — решительно, категорически заявляла она, и Дженни, борясь со сном, в три часа ночи или в три часа дня — смотря когда удавалось выкроить время для дочери — беспомощно роняла голову на руки. «Нет!» — сказала Бекки, и Дженни наотмашь ударила дочь по губам и так тряхнула девочку, что у той голова замоталась из стороны в сторону, потом отшвырнула Бекки и выбежала из дома... Куда? (Может, в кино?) В те дни окружающие предметы расплывались у нее перед глазами и обрастали лишними углами. Дженни была настолько измучена, что ее гипнотизировал один только вид белых подушек в палатах. Звуки доносились до нее глухо, точно из-под воды, слова в историях болезней казались бессмысленными, сплошные «К» да «Г». Каким отрывистым был английский язык — короткие слоги, куча согласных; раньше она никогда этого не замечала. Таким, пожалуй, мог быть исландский или эскимосский. Она резко ткнула Бекки лицом в тарелку с нарисованным на дне зайчиком — у девочки из носа потекла кровь. Вырвала у дочери клок волос. Ее собственное детство возвращалось к ней: побои, шлепки, проклятья матери, острые ногти, впивающиеся в руку, крики: «Дрянь! Крыса безобразная!» И обрывок воспоминаний — она никак не могла припомнить, когда же именно это случилось: Коди схватил Перл за руку и отбивается от нее, а сама Дженни в ужасе жмется к стене.

Значит, выхода нет? Значит, они из поколения в поколение обречены повторять все то же? Дженни проглядела кромку тротуара, оступилась и подвернула ногу; превозмогая острую боль, кое-как добралась до работы. Поставила неправильный диагноз мальчику с вирусной пневмонией, не заметила смещенного перелома у другого ребенка. Среди ночи принесла Бекки чашку с водой и вдруг ни с того ни с сего закричала: «На возьми, на возьми!» — и выплеснула воду

девочке в лицо. После этого несколько часов Бекки вздрагивала и судорожно всхлипывала даже во сне, хотя Дженни держала ее на коленях и крепко прижимала к себе.

Потом мать позвонила ей из Балтимора и сказала:

— Дженни, ты что, решила больше не писать нам?

Дженни хотела сказать: «Я так занята». Или: «Оставь меня в покое. Я все помню. Все возвратилось снова. Писать? Зачем? Ты изуродовала, искалечила меня. Почему же я должна писать тебе?»

Но вместо этого она... нет, не заплакала, куда хуже: сухие рыдания раздирали ее, она задыхалась, из груди вырвался какой-то скрежет.

— Дженни, повесь трубку,— сказала мать спокойным голосом.— У тебя в гостиной стоит диван. Поди ляг. Я приеду, как только Эзра сможет подвезти меня на машине.

Перл прожила у нее две недели, потратив на это весь свой отпуск. Первым делом она позвонила Дженни на работу и сообщила о ее болезни. Затем принялась наводить порядок в жизни дочери. Сменила постельное белье, подавала ей чай и крепкий бульон, вымыла шампунем голову, поставила на комод вазочку с цветами. Бекки, которая раньше толком не видела своей бабушки, сразу влюбилась в нее. Перл звала ее не Бекки, а, как взрослую, Ребеккой, относилась к ней серьезно, с уважением, словно была не вполне уверена в своих правах.

Каждое утро Перл отправлялась с Бекки на детскую площадку и качала ее на качелях. После обеда они вместе ходили по магазинам. Она купила Бекки модное платье в стиле «ретро»; в нем девочка выглядела серьезной и благовоспитанной. Перл накупила ей книжек с картинками — стишки, сказки и «Маленький домик». Дженни совсем забыла про «Маленький домик». Боже, до чего она его любила! Она вспомнила, что в детстве каждый вечер просила читать именно эту книжку. Сидела на старом уродливом диване и слушала, а мать с бесконечным терпением читала ее три, четыре, пять раз подряд... Теперь уже Бекки сказала: «Прочти еще раз». И Перл начала сначала, а Дженни слушала так же увлеченно, как и Бекки.

По воскресеньям, когда ресторан был закрыт, из Балтимора приезжал Эзра. Несмотря на свое простодушное лицо, он не был прямым человеком: он не отваживался откровенно спросить Дженни о ее разводе и только со своей неизменной мягкой, безмятежной улыбкой смотрел куда-то в сторону. Ее это успокаивало; на свете и так все чересчур откровенно: люди бушуют, плачут, ликуют. Ей казалось, Эзра не подвержен перепадам, потрясавшим других людей. Ей нравилось, когда он читал вслух газеты — напряженное положение в Гондурасе, напряженное положение в Сайгоне, стихийные бедствия на Гаити, на Кубе, в Италии (она слушала обо всем этом, лежа в своем гнездышке из темно-синих одеял, в ночной сорочке, еще хранившей тепло материнского утюга).

На второй уик-энд на них свалился Коди. Он шел по жизни энергичным шагом богатого человека; на Дженни это произвело большое впечатление. Битых два часа он провисел на ее телефоне,— настоящий, прирожденный делец!— нанял и оплатил няню на полный рабочий день; эта стройная молодая женщина — ее звали Делайла Грининг — оказалась лучшей из всех помощниц, которые потом были у Дженни. После чего, перекинув через плечо пиджак, шутливо отдал сестре честь — и был таков.

Иногда она спала по двенадцать — четырнадцать часов кряду. Просыпалась и не понимала, где находится, напуганная ярким солнцем и щекочущей тишиной квартиры. Сны и действительность смешивались у нее в голове. «Как же это случилось?..» — спрашивала она у матери и только позже вспоминала, что этого не было вообще (какое-то общество, прошедшее парадным маршем через ее спальню, и пожилой джентльмен, член этого общества, свисавший вниз головой

с карниза над ее окном, словно некий плод). Иногда по ночам она явственно слышала в темноте чьи-то голоса. «Доктор Тулл, доктор Тулл»,— взывали они настойчиво, официально, или: «Шестьсот пятьдесят миллиграммов сульфата хинина...» В ушах отдавалось биение ее собственного пульса. Дженни протягивала руку в луч света от уличного фонаря и удивлялась, какой бледной, бескровной стала ее рука.

Когда уехала мать и появилась Делайла, Дженни встала с постели и вернулась на работу. Некоторое время она ходила осторожно, будто была чашкой, до краев наполненной жидкостью. Она старалась делать все медленно, аккуратно, чтобы жидкость не перелилась через край. Но она поправлялась, действительно выздоравливала. На уик-энды ненадолго наезжали мать и Эзра, или Дженни вместе с Бекки ездила к ним поездом в Балтимор. В эти поездки они принаряжались и сидели в вагоне чинно, чтобы не помять одежду... Дженни чувствовала себя очищенной, как человек, переболевший опасной горячкой.

А на следующее лето, когда ей представилась возможность получить более выгодное место в Филадельфии или в Ньюарке, она предпочла Балтимор. Вошла в пай с двумя пожилыми педиатрами — отдельные кабинеты и общая приемная,— определила Бекки в детский сад и вскоре купила дом на Болтон-Хилл. Однако, все еще ощущая в себе какую-то неустойчивость, она продолжала тревожно прислушиваться к себе. Иногда от громкого звука — когда мать неожиданно окликала ее по имени или поздно ночью звонил телефон — сердце ее начинало громко колотиться. Но она брала себя в руки. Напоминала себе, что надо собраться с силами и успокоиться. Ей казалось, что всех людей, которых она глубоко уважала (одного из коллег, остроумного, ироничного Дэна Чарлза, брата Эзру и соседку Лию Хьюм), объединяло нечто общее: они смотрели на мир остраненно. Таили в себе какую-то неясность — их трудно было понять. Дэн, например, непрерывно болтал о всяких пустяках, чтобы его не спрашивали о здоровье жены, которая почти все время находилась в психиатрических лечебницах. Лия же только хохотала над бесконечными провалами своих немыслимых деловых начинаний, словно это была веселая балаганная клоунада. Посмотришь, как она тихонько посмеивается, прикрывая рот красивой, неухоженной рукой,— и кажется, что все это нисколько не задевает ее, да и не может задеть! Дженни изучала Лию, прямо-таки конспектировала ее поведение. Училась искусству идти в жизни на компромиссы. Старалась освободиться от внутренней напряженности.

— Ты изменилась,— сказала мать (сама — воплощенная напряженность).— Ты стала совсем другой, Дженни. Я не могу точно сказать, в чем тут дело, но что-то с тобой не так.

Перл хотела, чтобы Дженни снова вышла замуж и нарожала ей по крайней мере дюжину внуков; она вечно приставала к Дженни, чтобы та ходила куда-нибудь, бывала в обществе, следила за собой, познакомилась с каким-нибудь приятным молодым человеком. Но Дженни не признавалась матери, что все это ей совершенно безразлично. Она казалась себе бесплотной, и все отскакивало от нее, не оставляя ни малейшего следа: одна только мысль о задушевных разговорах, без которых не обходится никакое ухаживание, вызывала у нее протест.

А потом она встретила Джо с его выводком, с его оравой, с его ребячьей ордой, срочно нуждавшейся в ее активном, компетентном внимании. Тут уж было не до разговоров — они с Джо едва выкраивали минуту, чтобы поговорить серьезно. С трудом слышали друг друга сквозь грохот заводных грузовиков и звон игрушечных ксилофонов. Даже подумать о чем-то ей теперь было некогда.

— Конечно, сама по себе вещь ничего не значит,— сказал священник и поморщился от визга, доносившегося из кабинета.— Мате-

риальной ценности она для меня не представляет. Но она имеет определенную историческую ценность. Если не ошибаюсь, это подарок миссионера, брата одного из наших прихожан.

Дженни прислонилась к окошечку регистраторши и провела пальцами по лбу.

— Я, право, не... Что, вы говорите, это было?

— Нога носорога,— сказал священник.— В виде подставки для зонтов. Или подставка для зонтов в виде ноги носорога. Настоящая нога носорога из... тех мест, где они водятся.

Одна из дверей распахнулась, и в приемную, будто пробка из бутылки, вылетел голенький мальчуган, а за ним медсестра со шприцем в руке. Священник посторонился, пропуская их.

— Нам известно, что утром она стояла на месте,— сказал он.— А в четыре она уже пропала. Слевин был у меня как раз перед этим, я попросил его зайти. Когда он пришел, я говорил по телефону, а когда я повесил трубку, не увидел ни его, ни носорожьей ноги.

— Как бы узнать, была ли у его матери носорожья нога? — сказала Дженни.

— Что? — переспросил священник.

Она сообразила, что́ он мог подумать, и рассмеялась.

— Нет, я не имела в виду, что у его матери была носорожья нога... О господи...

— Доктор Тулл, неужели вы не понимаете, что речь идет о серьезных вещах? Ребенок нуждается в помощи, разве вы не видите? Вам не кажется, что необходимо что-то предпринять? Какова ваша позиция, доктор Тулл?

Улыбка сбежала с лица Дженни, она посмотрела священнику прямо в глаза.

— Не знаю,— сказала она, помолчав. Ей вдруг почудилось, будто у нее что-то отняли, лишили ее чего-то, будто она от чего-то отреклась. «Я ведь не всегда была такая!»— хотелось крикнуть Дженни, но вслух она сказала:— Видите ли, я... по-моему, он крадет лишь то, что напоминает ему о матери. Пылесосы, подставки для зонтов. Понимаете?

— Вот оно что...— протянул священник.

— Интересно, что он возьмет в следующий раз...— Она задумалась.— Вообразите только — рояли, кухонные раковины... Боже мой, скоро к нам перекочует все хозяйство его матери — фотоальбомы, классные альманахи, подруга по общежитию будет спать на нашей кровати, школьные ухажеры рассядутся в нашей гостиной!

Она представила себе мальчишек пятидесятых годов в выходных костюмах, с гладко причесанными, смоченными водой волосами, в свежеотутюженных рубашках — сидят на ее диване как манекены. И у каждого на коленях коробка шоколадных конфет в форме красного сердца. Она опять засмеялась. Священник тяжело вздохнул.

Синий пластмассовый вертолетик прожужжал через всю приемную и спустился на голову Дженни.

8. ТАК ОНО И БЫЛО

В то лето, когда Люку исполнилось тринадцать, с его отцом произошел несчастный случай на заводе, где он проводил обследование. Качавшаяся на тросе балка задела его и стоявшего рядом мастера и сбросила обоих с верхней галереи. Мастер погиб. Коди чудом остался жив, но сильно покалечился. Два дня он находился между жизнью и смертью. Врачи долго не могли установить, поврежден ли у него мозг; наконец он пришел в себя и спросил своим обычным резким тоном:

— Кто, черт побери, здесь начальник?

Спустя три недели карета «скорой помощи» привезла Коди домой.

Его густые черные волосы были наполовину сбриты, самую ужасную из ран прикрывала марлевая повязка. Лицо — обычно худощавое, загорелое — с одной стороны распухло, там желтели синяки разных оттенков, следы от ушибов, которые постепенно исчезали. Грудь была забинтована, правая рука и левая нога — в гипсе, поэтому он не мог пользоваться костылями и, лежа в постели, проклинал телевикторины:

— Идиоты! Ослы! И они думают, что это дерьмо кто-то будет смотреть?

Мать Люка, обычно такая живая, после несчастного случая с отцом сильно изменилась. Поначалу в те страшные два дня, когда Коди был на волосок от смерти, она места себе не находила и все время плакала — маленькая, невзрачная, с покрасневшими от слез глазами. Казалось, ее рыжие волосы и те поблекли.

— Ма! — обращался к ней Люк, но она его не слышала; иногда хватала ключи от машины и в каком-то помрачении снова мчалась в больницу, оставляя Люка одного в доме. Даже после того как Коди вернулся к жизни, она долго не могла прийти в себя. Когда Коди привезли домой, она часами молча сидела у его постели, осторожно поглаживая толстую вену на внутренней стороне его запястья. Вместе с ним она смотрела телевизионные викторины, и на ее губах появлялась робкая улыбка.

— Господи, как они кудахчут,— с отвращением говорил он. Рут наклонялась и прижималась щекой к его руке, будто он изрек нечто из ряда вон выходящее.

Люк, который раньше был средоточием ее жизни, теперь оказался где-то с краю.

Стоял июль, и заняться ему было нечем. Они переехали сюда, в пригород виргинского городка Питерсберга, совсем недавно, в конце учебного года, и он толком не успел познакомиться со сверстниками. Все мальчишки на их улице, неугомонные, писклявые, были младше его. Люка раздражал их визг во время игры в лапту, бесконечные «тах-тах!» при стрельбе из воображаемых пистолетов. Двух-трехлетки сидели в цветастых надувных бассейнах из пластика и целое утро выливали из них воду, кружка за кружкой, пока задние дворы не превращались в море жидкой грязи... Себя таким маленьким Люк не помнил. Слоняясь по дому среди леденящей бело-золотистой изысканности — они арендовали виллу в колониальном стиле,— он то и дело видел свое отражение в зеркалах с золочеными рамами: неуклюжий, всеми забытый, ходит враскачку, ноги непомерно длинные, лицо потеряло детскую миловидность, но окончательно еще не оформилось — овальное, хрупкое, с копной светлых волос, на зубах шины, из-за которых губы казались неровными и беззащитными. Он вырос из своих джинсов, но понятия не имел, как купить новые. Такими вещами всегда занималась мать, и он привык к этому. Рут все делала для сына сама, и это даже раздражало его.

Теперь он сам готовил себе завтрак — какие-нибудь хлопья с молоком, а днем на обед — сандвич. Ужин готовила мать, наспех, не как прежде; чаще всего Люк ужинал на кухне в одиночестве, а она уходила с подносом к отцу и ужинала вместе с ним в спальне. Если Рут и оставалась с Люком, говорила она только об отце. Теперь она не расспрашивала Люка о его делах, нет; каждая ее фраза начиналась и кончалась одинаково: «Твой папа то», «Твой папа се», ни о чем другом она и думать не могла. Как мужественно и стойко он выносит свое несчастье, каким мужественным и стойким был всегда, каким надежным оказался с самого начала.

— Мне было всего девятнадцать, когда мы встретились,— рассказывала она,— а ему тридцать. Я — невзрачная девчонка, а он — красавец, с прекрасными манерами, в замечательном сером костюме. В то время я собиралась замуж за Эзру, папиного брата, ты, навер-

ное, не знал об этом? Да, я тогда пользовалась успехом. И тут вмешался твой папа. Ох и настырный же он был! Его не смущало, как это выглядит со стороны,— ему было все равно. Растолкал всех и объявил себя моим женихом. Сперва я думала, он смеется надо мной. Ведь он мог бы взять себе любую девушку, любую красавицу, но потом я увидела: это всерьез. Я не знала, что делать, потому что по-настоящему любила твоего дядю Эзру, хотя он... он был гораздо проще, больше подходил мне. Но стоило появиться твоему папе — даже воздух в комнате и тот становился другим, живым, что ли. И вот однажды он положил мне руки на плечи, я сказала ему: «Не надо, я помолвлена с Эзрой»,— а он сказал, что знает об этом, и подошел еще ближе, и тогда я сказала, что Эзра хороший, очень хороший человек, а он ответил: «Да, это правда»,— и мы обнялись и прижались друг к другу, как двое людей, у которых общее горе, и я сказала: «Да ты ведь почти что мой деверь»,— и он сказал: «Да, вот именно, почти» — и поцеловал меня в губы.

Люк опустил глаза. Зачем она рассказывает о таких вещах?

— И если мы ссорились,— продолжала она,— ты должен знать, Люк, виноват в этом был не он. Ну кто я такая? Подумаешь — девчонка с фермы из захолустного графства Гарретт. Почти совсем неграмотная, да и поладить со мной не так-то просто. Я человек нелегкий. Ты не должен его винить. Однажды — ты еще ходил в детский сад и наверняка не помнишь — я забрала тебя и ушла от него. Сказала, что он меня не любит и никогда не любил, а женился на мне назло своему брату, которому всегда завидовал. Я обвинила его во всех смертных грехах, а когда он ушел на работу, взяла тебя и отправилась на станцию... Сейчас смешно рассказывать, но тогда мне было не до смеха: пока мы сидели на скамейке и ждали поезда, какого-то солдата вырвало прямо в мою раскрытую сумку. Подошел поезд, а я никак не могла заставить себя слазить в сумку и вытащить билеты, если они еще на что-то годились, не могла заставить себя вытащить деньги, чтобы купить новые билеты. И, как нищенка, попросила у монашки монетку и позвонила твоему папе. «Коди,— сказала я,— приезжай за мной, я не хочу с тобой расставаться. Мы так срослись, что, если даже ты и не любишь меня, теперь нам с тобой не разойтись. Я должна вернуться к тебе». Он все бросил и приехал за мной на машине, спокойный, уверенный, в своем замечательном сером костюме, не похожий на других. Ты не помнишь? — спросила она.— Совсем забыл. Ну, вероятно, оно и к лучшему. Знаешь, Люк, когда едва не потеряла близкого человека, с глаз будто пелена спадает! Начинаешь понимать, как много он для тебя значит. Видишь, что нет никого, кто бы хоть немного походил на него, что он незаменим. Он всегда заботится прежде всего о нас, никогда, ни разу в жизни он нас не оставлял. Когда уезжает по делам на новое место, то всегда берет нас с собой, потому что, как он говорит, не хочет быть таким, как его отец: разъезжает повсюду, а о родных и думать забыл. Неправда, будто твой отец возит нас с собой потому, что не доверяет мне. Он по-настоящему заботится о нас. Я часто вспоминаю, как твой папа поцеловал меня тогда в первый раз. «Да, вот именно, почти что деверь»,— сказал он и поцеловал меня так легко, но так настойчиво и уверенно, как будто не представлял себе, что я могу ему отказать. И теперь я понимаю: тогда-то и началась моя жизнь! А в то время мне это даже в голову не приходило, я и не подозревала, как все это важно. Не знала еще, что один человек может иметь на другого такое влияние.

Но если мать изменилась, если изменился сам Люк (стал похож на привидение, как он считал), то Коди не изменился нисколько. Как-никак он не пережил напряженных дней борьбы со смертью, потому что был без сознания. Он не пережил страха смерти и тогда, когда пришел в себя,— ведь людям его склада чужды подобные мысли. Он

перенес все с обычным для него равнодушным высокомерием и воинственностью, а теперь беспокойно метался в кровати, ожидая, когда же наконец встанет на ноги.

— Больше всего меня бесит в этой истории вот что,— сказал он Люку.— Когда балка врезалась в меня, я почувствовал удар и боль, понимаешь? Удар и боль. И пока я летел вниз, мне хотелось дать этой балке сдачи, врезать кому-нибудь, и сейчас у меня вроде бы такое же чувство — я все еще жду удобного случая расквитаться. Судиться с ними, требовать компенсации — это ерунда. Единственно, чего я хочу,— вмазать как следует этой балке.

— Мама спрашивает, ты суп будешь есть? — Люк нервно провел ладонями по ляжкам.

— Нет, не буду. Какого черта она меня пичкает! Слушай, Люк, если бабушка сегодня позвонит, скажи, что я ушел на работу.

— На работу?

— Я не могу больше слушать по телефону ее причитания.

— Но ты все время говорил ей, что еще очень слаб, чтобы тебя навещали,— напомнил Люк.— Вчера ты был очень слаб, а сегодня пошел на работу. Что же она подумает?

— Меня нисколько не волнует, что она подумает,— сказал Коди.

После несчастного случая бабушка ежедневно звонила по телефону из Балтимора, и по тому, как Коди с ней разговаривал, было ясно, что он не так уж любит ее. Люку бабушка очень нравилась, хотя он мало знал ее, но отец сказал, что внешность обманчива.

— На людях она совсем другая,— сказал он.— Ты не знаешь ее. Не знаешь, каково было жить с такой матерью.

А Люку казалось, что он знает (ведь он уже слышал обо всем этом миллион раз!). Но отец оседлал любимого конька — теперь его не остановишь.

— Вот тебе пример,— сказал он.— Послушай. Так оно и было.— Такими словами он всегда начинал свои воспоминания о детстве. «Так оно и было»,— говорил он, будто рассказывал о чем-то немыслимом, невероятном, но все, что обычно шло за этими словами, никогда не казалось Люку очень уж страшным.— Клянусь. У твоей бабушки была подруга Эммалин, с которой она тысячу лет не виделась. Единственная бабушкина подруга. Эта самая Эммалин жила в... забыл, где именно, но где-то далеко. Так вот, однажды я накопил денег к рождеству, чтобы купить маме билет на автобус в тот город, где жила Эммалин. Работал как лошадь, влез в долги, а часть денег просто украл. И вот утром на рождество я преподнес матери билет на автобус. Мне тогда было семнадцать лет, и я вполне мог остаться с младшими. И я сказал: «Завтра ты поедешь к Эммалин, погостишь там недельку, а я до твоего возвращения присмотрю за домом». И знаешь, что она ответила? Ты даже не поверишь. «Но, Коди, милый,— сказала она,— послезавтра у Эзры день рождения».

Он посмотрел на Люка. Тот ждал.

— Понимаешь,— сказал Коди,— двадцать седьмого декабря — день рождения Эзры.

— Ну и что? — сказал Люк.

— А то, что она не в силах была расстаться со своим драгоценным сыночком в день его рождения. Даже ради встречи с самой старой, самой любимой, единственной подругой, когда другой сын подарил ей билет для поездки.

— Я бы тоже не хотел, чтобы моя мама уезжала на мой день рождения,— сказал Люк.

— Нет-нет, ты не понял главного. Она просто не могла расстаться со своим любимчиком Эзрой. Меня или сестру она бы оставила не задумываясь.

— Откуда ты знаешь? — спросил Люк.— Ты когда-нибудь пробо-

вал дарить ей билет в свой день рождения? Я уверен, она сказала бы то же самое.

— Мой день рождения в феврале,— сказал Коди.— В феврале никаких праздников, на которые положено делать подарки. Хотя к чему все эти разговоры! Ты единственный ребенок в семье. Вот в чем беда. Тебе этого просто не понять.— Коди перевернул подушку и со вздохом откинулся на нее.

Люк вышел во двор и стал кидать бейсбольный мяч в стенку гаража. Мяч с глухим стуком ударялся о стенку и, сверкнув на солнце, отлетал от нее. Раньше с ним играла мать — учила его отбивать мяч битой и подавать сверху. В свое время она была хорошей спортсменкой. Порой в ней проглядывала та худенькая, быстрая девчонка-сорванец, какой она, видимо, была когда-то. Но игру с матерью он всегда воспринимал лишь как зубрежку перед экзаменом, как подготовку к настоящей игре — с отцом. По пятницам, приезжая домой, Коди подавал сыну мяч и, если тот, размахнувшись битой, запускал его через забор, говорил: «Недурно, совсем недурно». В такие минуты у Люка и походка делалась более уверенной, и плечи распрямлялись. Ему казалось, он становится похожим на отца. После такой разминки он неторопливо, с независимым видом направлялся к дому и, проходя во дворе мимо машины Коди, спрашивал: «Ну как, она еще не жрет бензин впустую?» Открыв холодильник, пил прямо из кувшина чай со льдом, хотя мать терпеть этого не могла. Пришла пора оторваться от матери. Все эти годы Люк ходил за ней по пятам, целиком подчиняясь ей, тащил за собой игрушечный веник, если у матери в руках был настоящий, или, облокотившись о ее туалетный столик, восторженно наблюдал, как мать пудрит свой веснушчатый нос. Монотонность женской жизни. Его это больше не интересует. Ему осточертели все эти мелочи: отмерять мыльную стружку для стиральной машины, ожидать слесаря... Давно пора занять место рядом с отцом. Но отец лежал на спине в спальне и безостановочно ругался:

— Что с этим проклятым телевизором? Зачем было покупать «Сони», если его некому чинить?

— Сегодня же найду мастера,— непривычно мягко сказала Рут.

Теперь она все время носила платья, потому что Коди надоели ее бесконечные брючные костюмы. И действительно, в них она выглядела не столь модной, как большинство женщин; правда, Люк не был уверен, что дело тут в брючных костюмах. Даже когда она перешла на платья, что-то было не так. Они были ей или слишком велики, или слишком топорщились, или слишком блестели и напоминали уже не одежду, а панцирь.

— Ну а так лучше? — с надеждой спросила она мужа, стоя на пороге в своих дешевеньких мокасинах (в графстве Гарретт ее не приучили ходить на каблуках). К этому времени настроение Коди улучшилось, и он сказал:

— Конечно, милая, просто замечательно.

Коди не всегда был раздражителен. Его угнетало перенапряжение, длительная неподвижность, непреходящее чувство стесненности и неудобства. И все же он обуздывал себя. Но не проходило и двух часов, как:

— Рут, ты мне можешь объяснить, почему я должен жить в доме, похожем на бонбоньерку? Неужели обязательно было арендовать дом, где кругом золото и завитушки? По-твоему, это шикарно?

Коди работал в одиночку — такое уж у него было занятие. Закончив модернизацию производственного процесса на заводе, пригласившем его в качестве эксперта, он отправлялся в другое место. Его компаньон Слоун жил в Нью-Йорке и по заказам Коди конструировал специальные приспособления: сортировочные стеллажи, упаковочные механизмы, универсальные инструменты, выполняющие сразу несколько операций. Поэтому у Коди не было друзей по работе, которые навещали бы его, если не считать единственного визита владель-

ца завода, на котором произошел несчастный случай. С соседями они тоже не знакомились. Жили втроем, сами по себе, точно на необитаемом острове. Неудивительно, что Коди стал так раздражителен. Люк с матерью выходили из дому всего лишь раз в неделю — ездили за продуктами. Выводя задним ходом из гаража свой белый «мерседес», Рут не оглядывалась, сидела за рулем прямая и напряженная. Стоило ей ступить за порог, как она начинала волноваться. Вот и сейчас:

— Может, ты зря поехал,— сказала она сыну.— Вдруг ему понадобится в уборную.

— Потерпит,— процедил сквозь зубы Люк.

— Люк, что ты говоришь?!

— Пусть описается.

— Люк Тулл!

Люк уставился в окно.

— Я знаю, тебе трудно,— сказала мать.— Хорошо бы тебе найти здесь друзей.

— Не нужны мне никакие друзья.

— Друзья нужны всем. У нас нет никого в этом городе. Такое чувство, будто я засыхаю. Иногда я думаю, что такая жизнь может...— Она замолчала, так и не докончив фразы.

Возвратившись, они нашли Коди приветливым и веселым, словно в их отсутствие он решил изменить свое отношение к ним. А может, просто отдохнул.

— Звонил Слоун из Нью-Йорка,— сообщил он Рут.— Я сказал ему, что, как только снимут гипс, я немедленно закончу работу и уеду отсюда. Мне здесь все осточертело.

— Наконец-то, Коди, дорогой.

— Принеси-ка мне портфель, хочу записать кое-что. Я могу много сделать, пока лежу в постели.

— Я купила твои любимые груши.

— Нет-нет, принеси только портфель и ручку со стола в моем кабинете. Поглядим, смогу ли я работать. Работа — вот что мне нужно,— сказал он Люку.— Я изголодался по работе. От этого безделья я и стал таким взвинченным.

Люк почесал грудь и сказал:

— Ничего, все будет о'кей.

— Когда вырастешь, непременно найди себе работу по душе. Человек должен любить свое дело. Это очень важно.

— Знаю.

— Я занимаюсь проблемой рационального использования времени.— Коди взял у Рут шариковую ручку.— Эта проблема интересует меня больше всего.

Люк очень любил, когда отец говорил о времени.

— Время — это моя страсть. Нельзя тратить его попусту, бросать на ветер. Это... не знаю, как сказать... для меня это нечто осязаемое, вещественное. Вот если б можно было собрать его в кучу и двигать туда-сюда! Понимаешь? Если Эйнштейн прав и время — это что-то вроде реки, то войти в нее можно где угодно.

Он защелкал шариковой ручкой, нахмурился и посмотрел вдаль.

— Если бы существовала машина времени, я бы непременно прокатился на ней. Все равно куда — в прошлое или в будущее, лишь бы не оставаться в настоящем. Укатил бы куда-нибудь в другое время.

У Люка екнуло сердце:

— Но тогда бы ты не узнал, что я есть.

— Что?

— Еще как узнал бы,— тут же вмешалась Рут, открывая портфель.— Он бы взял тебя с собой. Только не забудь,— обратилась она к Коди,— если Люк поедет с тобой, надо захватить пенициллин, таблетки от сенной лихорадки и зубную пасту с фтором. Слышишь?

Коди засмеялся, но так и не сказал, возьмет он с собой Люка или нет.

В тот вечер Коди впервые пришла в голову эта странная мысль. Внезапно. Они втроем играли в «монополию» у него на кровати. Коди, как всегда, выигрывал и предложил Люку взаймы, чтобы тот мог продолжать игру.

— Да нет, не надо, я, наверное, проиграл,— сказал Люк.

Последовала крохотная пауза, будто на миг замерло сердце. Коди взглянул на Рут, которая считала свои закладные, и сказал:

— Он говорит точь-в-точь как Эзра.

Она нахмурилась, разглядывая закладную на Болтик авеню.

— Разве ты не слышала, что он сказал? Точь-в-точь как Эзра.

— Да?

— Эзра поступил бы точно так же,— сказал Коди Люку.— Твой дядя Эзра. С ним было скучно играть. Он никогда не брал взаймы, ничего не закладывал, даже такую малость, как железная дорога или насосная станция. Он тут же поднимал руку и сдавался.

— Но ведь... Ясно, что я проиграл,— сказал Люк.— Это просто вопрос времени.

— Иногда мне кажется, что ты Эзрин сын, а не мой.

— Коди, что ты говоришь! — упрекнула Рут.

Но было уже поздно. Слова повисли в воздухе. Люк чувствовал себя ужасно и с трудом доиграл до конца. (Он знал, что отец всегда был не особенно высокого мнения об Эзре.) А Коди, хотя больше и не возвращался к этой теме, весь вечер брюзжал.

— Да сиди же ты прямо,— повторял он Люку.— Не горбись. Сиди прямо. Господи, до чего же ты похож на кролика.

При первой возможности Люк пожелал родителям спокойной ночи и ушел спать.

Утром все вновь было прекрасно. Коди опять писал что-то, разбирал свои бумаги, еще раз посовещался по телефону со Слоуном. Рут сварила курицу, чтобы к ужину она остыла — так вкуснее. Каждый раз, когда Люк проходил мимо открытой двери, Коди говорил ему что-нибудь ободряющее.

— Ты что такой кислый? — спрашивал он. Или: — Заскучал, сын?

Странно, что он сказал «сын», совсем на него не похоже.

Обедали они в спальне сандвичами и картофельным салатом с майонезом, как на пикнике. Зазвонил телефон, погребенный где-то в простынях, но Коди запретил брать трубку, пока они не пообедают. Он был уверен, что звонит его мать. Все трое притихли, словно звонивший мог их услышать. Когда звонки умолкли, у Рут вырвалось:

— Бедная, бедная женщина.

— Тоже мне, бедная! — фыркнул Коди.

— Нехорошо получилось!

— Если б ты знала ее поближе, ты бы так не говорила.

Люк ушел к себе и принялся разбирать старые модели самолетов. Из спальни доносились голоса родителей.

— Послушай, Рут,— говорил Коди.— Так оно и было. Я скопил денег ко дню рождения матери, целых четырнадцать долларов, а Эзра ни цента, понимаешь?

Люк порылся в деревянном сундучке — единственный предмет, составлявший его личную собственность. Этот сундучок сопровождал его во всех переездах с тех пор, как он себя помнил. Сейчас он искал там отклеившееся крыло от реактивного самолета. Крыла не нашел, зато обнаружил кожаный мешочек со стеклянными шариками — как он дорожил ими когда-то! В стекле, точно в минеральной воде, виднелись пузырьки воздуха. Еще он отыскал рогатку, сделанную из обрезка велосипедной камеры, и дудку, пыльную дудку из черной пластмассы, на которой он, первоклассник, вместе с другими мальчишками

на утреннике в День матери исполнял песенку «Белые цветочки». Он попробовал сыграть ее сейчас: «Белые цветочки на хрупких стебельках...» — и вспомнил всю до конца, ноту за нотой. Встал и пошел в комнату родителей, чтобы сыграть им песенку: «Белые цветочки укроют мою...»

— Это невыносимо! — крикнул отец.

Люк опустил дудочку.

— Ты что? Решил изводить меня? — набросился на него Коди.

— Что?

— Коди, дорогой...— начала Рут.

— Ты преследуешь меня, что ли? Деваться некуда! Полжизни я провел с этим тихоней Эзрой и его проклятой деревянной дудкой и вот наконец-то вырвался. Так нет же — все сызнова! Ей-богу, это заговор! Меня еще и на свете не было, а кто-то уже решил, что всю свою жизнь я проведу среди людей, которые лучше меня, от природы лучше, без всякого старания, и все их любят, а я... где бы я ни был, меня так и будет преследовать эта чертова снисходительная улыбка или какая-нибудь идиотская песенка, вылетающая из окна...

— Коди, Люк подумает, что ты сошел с ума,— сказала Рут.

— А ты! — крикнул Коди.— Посмотри на себя! О боже! Некоторые люди так подходят друг другу, правда? Водой их не разольешь. Неважно, жена ты мне или нет, ты все равно любила Эзру больше, чем меня.

— Коди, ты в своем уме?

— Признайся,— сказал Коди,— что настоящий, кровный отец Люка — Эзра.

Воцарилось молчание.

— Как у тебя язык повернулся сказать такое?!

— Признайся!

— У тебя нет никаких оснований.

— Но это же правда. Скажи! Я не рассержусь, даю слово.

Люк вернулся в свою комнату и закрыл за собой дверь.

Остаток дня он валялся на кровати, перечитывая старую детскую книжку про лошадей,— больше заняться было нечем. Глупая книжка, хотя раньше она ему очень нравилась. Когда мать позвала ужинать, он твердым шагом вошел в кухню, исполненный решимости отказаться есть вместе с отцом в его спальне. Но мать уже положила на кухонный стол два прибора. Она сидела напротив него, но к еде почти не притрагивалась. Уминая холодные закуски, Люк старательно прятал от нее глаза. Оказывается, она глупа. Никогда еще не встречал он такой слабой, глупой женщины.

После ужина Люк вернулся к себе и включил радио. Передавали программу «Ваше мнение»: слушатели звонили в студию ведущему, судя по голосу — усталому, и высказывали свою точку зрения на пьяных водителей и жестоких женщин. Стемнело, но Люк не включал света. Мать нерешительно постучала в его дверь, подождала немного и ушла.

Потом он, кажется, заснул. Проснулся, когда было уже совсем темно. Шея затекла, он не мог повернуть голову. Женщина говорила по радио: «Не отрицаю, я подписала эту бумагу, но только потому, что он обдурил меня. "Поставь свой автограф",— говорит...» — «По-видимому, вы хотите сказать "подпись"»,— устало прервал ее ведущий. «Какая разница»,— сказала женщина.

Сквозь их голоса, подобно журчанью воды, сочащейся через стену, до Люка донеслось недовольное ворчание Коди и беспомощный голос Рут. Он накрыл голову подушкой. Попробовал представить себе дядю Эзру. Последний раз они виделись в Балтиморе несколько лет назад, да и то очень недолго — не успели приехать, как рассерженный отец увез их оттуда. Вспомнить Эзру было трудно, все равно что разыскивать какую-нибудь вещицу в своем сундучке — прежде чем

приблизиться к цели, приходилось раскидывать десятки, сотни давних воспоминаний. Он вспомнил запах подгорелого гренка у бабушки на кухне, комнату Эзры, которая некогда была комнатой Эзры и его отца; их детские сокровища (подставка для книг в форме мяча, обшарпанная хоккейная клюшка) пролежали тут уже столько лет, что Эзра перестал их замечать и удивлялся интересу Люка.

— Хочешь, возьми себе,— предлагал он, а когда Люк, боясь показаться жадным, вежливо отказывался, говорил: — Да бери, бери, ну пожалуйста. Не понимаю, как я до сих пор не выбросил все это?

Большая комната Эзры, чем-то напоминавшая общежитие, занимала весь верхний этаж, но из-за спертого воздуха, пропахшего несвежим постельным бельем и лицованной одеждой, казалась меньше. Люк вспомнил, что задвижка в ванной на первом этаже похожа на серебряный орешек, а сама ванная старомодная, с высоким потолком и холодным полом; там гулкое эхо, а на одном из фарфоровых кранов написано «слив».

Люк попытался вспомнить своих двоюродных братьев и сестер, детей тети Дженни, но вместо них в памяти всплыла еще одна комната — спальня кузины Бекки, вся в каких-то оборочках, с целым стадом потрепанных игрушечных зверей, расставленных тесным кольцом вокруг постели. Как же она тут спит? — подумал он. Но Бекки сказала ему тогда, что звери нисколько не мешают, наоборот, если приходилось ночевать где-нибудь в другом месте, она брала с собой весь этот зверинец в огромном брезентовом чемодане и на новом месте первым долгом, еще до того как вынуть пижаму, расставляла зверей кольцом вокруг новой кровати; так же поступали почти все ее подружки. Тогда Люк впервые подумал, что девочки устроены иначе, чем мальчики. Кузина Бекки заинтриговала и очаровала его, и все оставшиеся дни их короткого визита он относился к ней покровительственно, хотя Бекки была на полголовы выше его и на год старше.

Если Эзра на самом деле его отец, то Люк мог бы жить с ним в Балтиморе, где дома темные и таинственные. Его бы окружали родные: любящая бабушка, странная тетя Дженни и целая куча двоюродных братьев и сестер. Эзра разрешил бы ему помогать в ресторанной кухне. Они бы рассуждали о еде и о том, с какой любовью надо кормить людей; Люк как наяву услыхал размеренный, неторопливый голос Эзры — наконец-то вспомнил! Эзра носил линялую байковую ковбойку, когда-то синюю. Волосы у него были белокурые... Ну да, такие же, как у него, Люка,— где посветлей, где потемней. И глаза у Эзры такие же серые, как у Люка, гораздо светлее, чем у Коди, и кожа такая же золотистая, как волосы.

И Люк вдруг поверил, что четырнадцать лет назад между Рут и Эзрой произошло нечто невероятное. И тут же мысленно представил себе день, когда Эзра приедет забрать его: «Теперь ты достаточно взрослый, сынок, чтобы понять...»

Рисуя себе в темноте эту сцену, то возвращаясь назад, чтобы подправить детали, то устремляясь вперед к счастливой развязке, Люк забылся и сбросил с головы подушку. И тотчас из-за стены донесся голос отца:

— К чему бы я ни стремился, все доставалось Эзре. Все, что мне хотелось получить от жизни. Даже когда мне казалось, что я выиграл, на деле выигрывал Эзра. А главное, получалось это у него без всяких усилий.

— Но в эту чертову «монополию» всегда выигрывал ты! — крикнул Люк.

Коди не ответил.

На следующее утро Коди был непривычно тихим. Рут повезла его к врачу, чтобы тот наложил ему на ногу гипс со скобкой. Наконец-то он сможет ходить — они так долго ждали этой минуты, но сейчас ка-

залось, что Коди это совершенно безразлично. Люк поехал с ними, чтобы поддерживать отца вместо костыля. Он съежился, когда отец опустил тяжелую руку в гипсе ему на плечо; ему почудилась в этом затаенная опасность. Но Коди лишь покрякивал, давил на него мертвым грузом и явно думал о чем-то своем. С трудом он забрался в машину и уставился вперед невидящими глазами. В приемной врача, пока Люк и Рут рассматривали разложенные на столе журналы, Коди сидел с отсутствующим видом. А потом в новом гипсе самостоятельно доковылял до машины, не обращая внимания на попытки Люка помочь ему.

Дома он тут же свалился в постель и уставился в потолок.

— Коди, милый, не забывай, доктор сказал, тебе надо разрабатывать ногу,— напомнила Рут.

Он ничего не ответил.

Люк вышел во двор и стал яростно топтать ногами траву. В соседнем дворике малыши, сидящие в надувном бассейне, вытаращились на него. Он хотел крикнуть: «Отвернитесь! Чего уставились? Не ваше дело!» — но вместо этого отвернулся сам и поплелся по улице. Опять надувные бассейны, опять широко раскрытые любопытные глаза. По тротуару быстро семенил на коротких лапах коренастый чопорный пес, валлийский корги, за ним следовала дама в развевающейся тунике и звала:

— Тулуз! Тулуз!

Жара пульсировала, обжигая все и вся своим дыханием. У Люка взмокло лицо, майка прилипла к спине. То и дело вытирая пот с верхней губы, он шагал мимо домов в колониальном стиле, таких же, как у них: на окне в гостиной, словно в музейной витрине, непременно какой-нибудь предмет: пузатая лампа, фарфоровая лошадь, ваза с торчащими из нее ноготками. (А что же стоит у них на окне гостиной? Он никак не мог вспомнить. Вроде бы плакучий инжир, хотя нет — это было в квартире, которую они снимали года три-четыре тому назад.) На газонах лениво крутились дождевальные вертушки. Приятно было время от времени остановиться и понаблюдать, как земля впитывает радужные, сверкающие на солнце водяные капли.

Навстречу шла озабоченная дама с младенцем в прогулочной коляске, а рядом с ней целая стайка малышей. Чтобы не столкнуться с ними, он перешел на другую сторону, повернул направо и очутился на оживленной Уиллоу-Бау авеню с ее недорогими аптеками, маклерскими конторами, огромными рекламными щитами и заправочными станциями. На перекрестке он помедлил, решая, куда же идти дальше. Одним из минусов постоянных переездов было то, что он так и не научился ориентироваться. У него это чувство словно бы притупилось, и он не понимал, как это некоторые люди умудряются держать в голове подробную карту города, в котором живут.

Мимо промчался междугородный автобус с надписью «БАЛТИМОР». Вот бы остановить его! (А разве можно остановить на дороге такой автобус?) Вот бы сесть на него — если бы были деньги на билет, а их у него не было — и уехать в Балтимор, подкатить к ресторану Эзры и невзначай появиться там. «А вот и ты»,— скажет Эзра. Ну как же он не захватил с собой денег! Проехал еще один автобус, на этот раз местный. Потом у перекрестка остановился на желтый свет огромный грузовик. Люк словно по команде поднял большой палец. Водитель перегнулся через пустое сиденье и открыл дверцу:

— Залезай.

На ветровом стекле машины виднелось объявление «ПАССАЖИРОВ НЕ БЕРЕМ». Невероятно. Медленно, точно кто-то подталкивал его сзади, Люк залез в кабину, полную громкой музыки и мужского запаха кожи и пота — от этого сразу стало уютно и спокойно. Он захлопнул дверцу и устроился поудобнее. Водитель, небритый, с резким профилем, прищурился на светофор и спросил:

— Куда едешь, сынок?
— В Балтимор,— сказал Люк.
— А родители знают?
— Само собой,— ответил Люк.
Водитель бросил на него быстрый взгляд.
— Мои родители... там и живут, в Балтиморе,— сказал Люк.
— Ну тогда другое дело.
Грузовик тронулся с места. Они миновали торговый центр, где мать Люка покупала продукты. Над улицей раскачивался зеленый указатель с перечнем городов северного направления.
— Так вот,— сказал водитель, поправляя зеркало заднего обзора,— слушай: я могу довезти тебя только до Ричмонда, дальше я сворачиваю на запад.
— Порядок,— сказал Люк.
По правде говоря, он и представить себе не мог, что доберется в такую даль, до Ричмонда.
По радио Билли Суон исполнял песенку «Могу помочь». Водитель скрипучим голосом, фальшивя, тихо подпевал ему. Люк заметил, что он недавно расчесал свои редкие седые волосы. В одной руке он держал незажженную сигарету. Ногти у него были толстые, с глубокими продольными бороздками — будто из желтого вельвета.
— Летом пятьдесят шестого года,— сказал водитель,— я проезжал по этой самой дороге вместе с женой. В то время я водил продуктовую машину фирмы «Сэйфуэй». И вдруг у жены начались роды. Всего восемь месяцев — и вдруг на тебе, роды! Боже ты мой! Никогда не забуду. Она говорит: «Клемент, боюсь, пришло время». Ну я тогда молодой был, неопытный. Думал, дети рождаются — раз-два, и готово. Думал, у нас ни минуты в запасе. И потом, знаешь, говорят, семимесячные выживают, а восьмимесячные нет. Не знаю почему. Ну так вот, значит, нажал на тормоз. А сам трясусь весь. Нога на тормозе тоже дрожит, машина петляет... Видишь вон тот указатель? Со стрелкой направо. С надписью «Больница». Так вот, туда я ее и отвез. По той самой дороге. И теперь, как проезжаю это место, всегда вспоминаю.
Люк вежливо посмотрел на указатель «Больница» и, когда они проехали мимо, еще раз оглянулся на него. Это было самое большее, что он мог сделать в ответ на слова водителя.
— ...Роды продолжались тридцать два часа,— продолжал тот.— Фирма решила, что я угнал машину.
— Ясно,— сказал Люк.— Но ведь ребенок родился нормальный?
— Точно,— отозвался водитель.— Пять фунтов. Мы назвали ее Лиза-Мишель.— Он помолчал с минуту и добавил: — А потом она умерла.
Люк кашлянул.
— Сейчас это называется «скоропостижная смерть новорожденных»,— сказал водитель и обогнал трейлер.— Слыхал когда-нибудь про такое?
— Нет, никогда.
— Умерла внезапно. Ей было шесть месяцев. Единственная радость в моей жизни. И такая шустрая. А как любила меня! Приду, бывало, домой, а она увидит меня, так и молотит руками и ногами как заводная. А потом взяла и умерла.
— Жалко,— посочувствовал Люк.
— Теперь у меня другие,— сказал водитель.— Хочешь посмотреть? Опусти козырек.
Люк опустил козырек. Розовой пластмассовой прищепкой к нему была прикреплена цветная фотография: две невзрачные девочки в новых накрахмаленных платьях, сразу видно — снимок сделан в пасхальное воскресенье.
— Младшая примерно твоего возраста,— сказал водитель.— Тебе сколько? Тринадцать? Четырнадцать? — Он посигналил фургону,

который перерезал ему дорогу.— Хорошие девочки, а все-таки не то. Я будто что потерял... Разучился привязываться. Забыл, как это бывает... Нет, я их люблю, конечно. Очень даже люблю, но просто нет у меня больше сил на все это...

Женский голос по радио рекламировал «шевроле». Водитель переключил программу, и кабина заполнилась голосом Барбры Стрейзанд, которая, как всегда, выпендривалась.

— Ты бы послушал мою жену! — продолжал водитель.— Потрясающе! Она любит этих детей так же, как и первую. Будто начала все сначала. Просто в голове не укладывается, вроде и не было ничего. Смотрю — и не верится. «Дотти,— говорю,— неужели ты все забыла? Как ты можешь так жить, Дотти?» Сам-то я забыть не сумел, не сумел остаться таким, как раньше. Проезжаю мимо этой дороги на больницу, и кажется, если я сверну на нее — все возвратится на свои места и будет как было: Дотти снова будет держать меня за руку, а Лиза-Мишель вот-вот родится.

Люк потер ладони о джинсы.

— Что-то я разговорился,— сказал водитель,— ты небось думаешь: вот болтун.

И всю остальную дорогу он молчал, насвистывая сквозь зубы, когда по радио передавали знакомые мелодии.

Он расстался с Люком возле Ричмонда. Специально проехал подальше, чтобы довезти Люка до съезда с шоссе, как раз у заправочной станции и кафе.

— Подожди тут. Кто-нибудь тебя непременно подберет. Здесь все равно снижают скорость, и остановиться ничего не стоит...— Он поднял на прощание руку и уехал.

Издали его машина стала похожа на яркую распластанную игрушку. И Люку показалось, будто водитель увез с собой что-то важное — дух скорости и уверенности. Вокруг стало как-то... Что он, Люк, здесь делает? Что он придумал? Он как бы увидел себя со стороны — одинокая фигура на дороге под палящими лучами белого солнца, с неумело задранным вверх большим пальцем, посреди огромного незнакомого мира. Он даже не представлял себе, сколько еще надо ехать (он никогда не был силен в географии). И хотя было очень жарко — самый знойный послеполуденный час,— он жалел, что не захватил брезентовую куртку. А еще жалел, что оставил дома бумажник, не столько из-за денег (их там было немного), сколько из-за карточки, удостоверяющей его личность. Карточка лежала в отдельном прозрачном кармашке. Если его убьют на этой дороге — как узнают, кого надо известить об этом? А вдруг он застрянет здесь без крыши над головой, без родителей — что же, ему так и придется до самой смерти носить эти металлические штуки для исправления зубов? Он вообразил себя стариком, который старается не очень широко улыбаться, чтобы скрыть шины на зубах.

И вдруг рядом затормозила старомодная машина; открылась дверца.

— Тебя подвезти? — спросил водитель.

Маленький белобрысый мальчишка подпрыгивал на заднем сиденье и звал его:

— Давай, давай! Залезай, поедем с нами!

Люк забрался в машину. Водитель — загорелый мужчина в джинсах, с глубокими морщинами вокруг глаз — с улыбкой представился:

— Дэн Смоллетт. А это Сэмми.

— Меня зовут Люк.

— Мы едем в столицу, в Вашингтон. Подойдет?

— Да,— кивнул Люк.— Наверное,— добавил он, не очень представляя себе, в каком именно направлении ему надо ехать.— Я еду в Балтимор.

— Балтимор! — Сэмми опять запрыгал на сиденье.— Давай и мы поедем в Балтимор, папа!

— Нам надо в Вашингтон, Сэмми.
— А разве мы никого не знаем в Балтиморе? Китти? Сузи? Бетси?
— Успокойся, Сэмми.
— Мы навещаем папиных старых подруг,— пояснил Сэмми.
— А-а-а...— протянул Люк.
— Сейчас мы едем из Роли, от Карлы.
— Нет-нет, Карла была в Дареме,— поправил его отец.— В Роли мы навещали Диди.
— Карла хорошая,— сказал Сэмми.— Лучше всех. Она бы понравилась тебе, Люк.
— Да?
— Жалко, что она замужем.
— Сэмми, Люку совсем не интересно слушать о наших личных делах.
— Нет, ничего,— сказал Люк. Он все равно не понимал, о чем идет речь.

Они снова ехали по шоссе в крайнем правом ряду с самым медленным движением, может быть, потому, что всякий раз, когда Дэн нажимал на газ, раздавался оглушительный скрежет. Люк никогда не ездил в такой старой машине. Внутри она была обита пыльным серым фетром, под ногами — куча бумажных стаканчиков и пустых целлофановых пакетов от печенья. Перчаточное отделение без дверцы было до отказа набито потрепанными, потертыми дорожными картами, мелкими деньгами, леденцами, миниатюрными игрушечными тракторами и самосвалами. Сэмми подпрыгивал на заднем сиденье среди одеял и несвежих спальных подушек.

— Успокойся,— твердил отец, но все было бесполезно.— После обеда ему не сидится на месте,— пояснил он Люку.
— А вы давно уехали из дому? — спросил Люк.
— Да недели три назад.
— Три недели!
— Мы отправились в поездку, как только окончились занятия в летней школе. Я преподаю английский язык и читал там курс грамматики.
— Вот погляди,— Сэмми, подпрыгнув, ткнул Люку в лицо комок бумаги. Прямо изжеванный какой-то. Состоял он из четырех мятых листков с напечатанными на них длинными рядами имен и адресов.
— Это папины знакомые девочки,— сказал Сэмми.

Люк бросил взгляд на листки.

— Ничего подобного,— возразил Дэн.— Что ты болтаешь, Сэмми? Это список моих одноклассников,— обратился он к Люку.— Наш выпуск. И мальчики и девочки. В прошлом году у нашего класса была традиционная встреча. Я не поехал, но они заранее прислали этот список.
— И теперь мы навещаем всех его девочек,— сказал Сэмми.
— Не всех, Сэмми,— заметил Дэн.
— Тех, с которыми ты дружил.
— Жена подала на развод,— сказал Дэн Люку. Очевидно, он считал это достаточным объяснением. И снова уставился на дорогу.
— Ясно,— сказал Люк.

Они проехали еще одну заправочную станцию и кафе среди целого леса рекламных щитов компаний «Тексако» и «Амоко». Мебельный фургон дружелюбно просигналил, когда Сэмми помахал ему из окна. Сэмми завизжал и запрыгал еще неистовее — скелетик в полосатой майке, болтающихся шортах и рваных кедах.
— Тебе сколько лет? — спросил Дэн Люка.
— Пошел четырнадцатый.
— Хемингуэя читал? А «Над пропастью во ржи?» Что вам задают по литературе?
— Не знаю, я в этой школе недавно,— сказал Люк.

Нетрудно представить себе Дэна в роли учителя. На работу хо-

дит в джинсах. Один из тех невозмутимых доброжелательных типов, к которым Люк питал недоверие. Уж лучше бы ходил в костюме и при галстуке, по крайней мере было бы ясно, с кем имеешь дело.

— В Вашингтоне,— сказал Сэмми,— живут две девочки, Патти и Лина.

— Не девочки, а женщины,— поправил Дэн.

— Патти Сирс и Лина Спарроу.

— Мне везет на букву «с»,— сказал Дэн Люку.

— Говорят, Лина разошлась,— вставил Сэмми.

— И что же вы у них делаете?

— Да так, сидим,— сказал Сэмми,— а если приглашают, остаемся на несколько дней. Играем с их собаками, кошками, детьми. У них почти у всех есть дети. И мужья.

— Так если у них мужья...— начал Люк.

— Но заранее-то мы об этом не знаем, правда? — сказал Сэмми.

— Сэмми все путает,— заметил Дэн.— Мы вовсе не ищем замену. Мы просто путешествуем. Развод для меня — большой удар, я просто... путешествую в прошлое. Навещаю старых друзей.

— Но одних только девочек,— уточнил Сэмми.

— Да, девочек, с которыми раньше дружил. Не обязательно увлекался ими. Но я им всем нравился, они считали, что я отличный парень. Во всяком случае, мне так казалось. Не знаю. Может, они вели себя так просто из вежливости. Может, я был ни рыба ни мясо.

Люк не знал, что же ему ответить.

— Послушай,— сказал Дэн.— Ты еще не читал «Великого Гэтсби»?

— Кажется, нет.

— А «Повелителя мух»? Вы уже дошли до «Повелителя мух»?

— Я ничего этого не читал,— сказал Люк.— Меня все время перевозили с места на место. Куда ни приеду, все читают «Сайласа Марнера».

Слова эти почему-то произвели на Дэна удручающее впечатление. Он опустил плечи и замолчал.

Сэмми наконец угомонился и начал рассматривать детский журнал «Джек и Джил». Журнальные страницы шелестели на горячем ветру, врывавшемся в машину. Ветер трепал мятые листки с адресами на сиденье между Дэном и Люком. Список адресов был не очень-то и длинный — четыре-пять страниц, по две колонки на каждой. Не успеешь оглянуться, как он кончится.

Люк хмыкнул. Дэн покосился на него.

— Вы, наверное, окончили университет? — сказал Люк.

— Да.

— И аспирантуру тоже?

— Нет, только колледж.

— А у вас нет адресов знакомых по колледжу?

— Это совсем не то,— сказал Дэн.— Слишком близкое прошлое. Впрочем,— вдруг удивился он,— ведь жену-то я встретил в колледже!

— Понятно,— сказал Люк.

Не доезжая до Вашингтона, Дэн высадил Люка из машины. На горизонте в дымке маячили какие-то здания — по словам Дэна, это был город Александрия.

— Александрия, штат Виргиния? — спросил Люк. Он не понимал, при чем тут Вашингтон. Но Дэн, видимо, торопился и уже поглядывал в боковое зеркало. Сэмми высунулся из окна и закричал:

— До свидания, Люк! Когда же мы снова увидимся? Ты приедешь к нам в гости, когда мы найдем себе дом? Напиши мне, Люк!

— Обязательно,— сказал Люк и помахал им на прощание рукой. Машина тронулась.

Люк решил, что сейчас, наверное, уже часа четыре, но жара не спадала. Глаза у него болели, потому что от яркого солнца он все

время щурился. Влажные от пота волосы пропылились и висели жесткими космами. Но что-то в этой дороге — может, непривычные запахи гудрона и дизельного топлива, может, грохот машин — впервые заставило его поверить, что он действительно продвигается к некой цели. Он не сомневался, что рано или поздно кто-нибудь его подсадит. Постояв на обочине и посигналив поднятым большим пальцем, он прошел немного вперед и снова поднял палец. А когда хотел пройти еще, рядом заскрежетали тормоза и остановилась машина.

— Ради бога, влезай немедленно! Слышишь? — воскликнула женщина-водитель.

Он открыл дверцу и влез в автомобиль. Это был «додж», не такой старый, как у Дэна, но почти такой же изношенный, видимо, гоняли его здорово. За рулем сидела полная женщина лет сорока. Глаза ее опухли, на щеках виднелись следы слез, но Люк почему-то с первого взгляда ей поверил; со стороны можно было подумать, что это его мать, так она ругала его:

— Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы тебя укокошили? Будто не знаешь, какие типы шляются вокруг! Захлопни дверцу как следует. Запри ее, черт побери! Это тебе не захолустье какое-нибудь. Пристегнись!

Он с радостью выполнил все ее приказания и застегнул какую-то замысловатую пряжку, а хозяйка машины, шмыгая носом, тем временем со скрежетом переключила скорости, и они влились в стремительный поток автомобилей.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Люк.

— Так вот, Люк, ты круглый идиот. Твоя мать знает, что ты добираешься на попутках? И вообще, где твои родители?

— Они... в Балтиморе. Вряд ли вы едете туда.

— Надо думать! Что я там потеряла?!

— А куда вы едете?

— Не знаю.

— Не знаете?

Люк взглянул на женщину. Слезы вновь потекли по ее щекам.

— Тогда... может быть...— начал он.

— Успокойся, я отвезу тебя в Балтимор.

— Правда?

— Все лучше, чем мотаться по окружной.

— Вот спасибо,— обрадовался он.

— До чего дожили. Младенцы шляются без присмотру.

— Я не младенец.

— Ты что, газет не читаешь? Сексуальные маньяки! Грабежи! Убийства! Черт знает что.

— Подумаешь! Я путешествую самостоятельно уже давным-давно. Много лет. Чуть ли не с самого рождения.

— А вдруг я потребую за тебя выкуп?

От неожиданности Люк громко рассмеялся. Она посмотрела на него и грустно улыбнулась. Было что-то успокаивающее в ее толстом уютном животе, в джинсовой юбке, которая задиралась на полных ногах, в серых от пыли теннисных туфлях. Время от времени она вытирала костяшками пальцев кончик носа. Люк заметил на ее руке обручальное кольцо; и носила она его, видимо, долгие годы — оно словно бы вросло в палец.

— Без малого месяц назад,— сказала она,— милях в двух-трех отсюда парень подсадил девушку, а та ручным фонариком размозжила ему череп, спихнула труп под откос и укатила на его спортивной машине.

— Выходит, это вы идете на риск, а не я,— заметил Люк. (До чего легко было подхватить слегка подтрунивающий материнский тон.)— Зачем же вы подобрали меня? Может, я решил вас убить?

— Еще чего.— Она шмыгнула носом.— У тебя случайно нет косметической салфетки?

— К сожалению, нет.

— Я не всякого подбираю,— сказала она.— Сажаю в машину только тех, кто в опасности,— одиноких молодых девушек или младенцев вроде тебя.

— Я не...

— Вчера это была девочка в шортиках, представляешь? Я ей так и сказала: «Милочка, в таком виде накличешь беду». А днем раньше — двенадцатилетний мальчик, он сказал, что у него украли деньги на автобус и ему приходится добираться до дома на попутках. А еще раньше...

— Вы что же, каждый день ездите по этой дороге?

— Почти каждый.

Он посмотрел в окно на фургоны, бензовозы, междугородные автобусы, легковые машины с перегруженными багажниками на крышах.

— А я думал, на этом шоссе нет съезда,— заметил он.

— Да что ты! Я живу тут совсем рядом,— сказала она.

— Тогда зачем же вы куда-то едете?

Подбородок ее сморщился.

— Не твое дело,— отрезала она.— Я бываю здесь каждый день с двух-трех часов до ужина. Иногда еду в Аннаполис или куда-нибудь в Виргинию. А иногда просто гоняю по окружной. Смотря по обстоятельствам.

Она взглянула на Люка, как бы ожидая, что он спросит, какие же это обстоятельства. Но Люк обиделся и промолчал. Она вздохнула.

— В два, а то и в три часа просыпается моя дочь. Ей четырнадцать. Наверное, твоя ровесница, да? Тебе сколько лет?

Он барабанил пальцами по стеклу и молча глядел наружу.

— Летом она может проспать сколько угодно. Муж говорит: «Послушай, Мэг, почему ты разрешаешь ей так долго спать?» Я скажу тебе почему. Потому что она несносная. Иначе не скажешь. Уму непостижимо, как она может быть такой ужасной. Спускается вниз в халате. Зевает. Приходит ко мне на кухню. «Ну и ну, ма,— говорит,— похоже, опять ты надушилась своим клопомором ДДТ номер пять». И удаляется. А я в недоумении нюхаю свои запястья. «Лидди,— говорю,— ты собираешься сегодня убирать свою комнату?» А она отвечает: «Ты только послушай себя: пилишь и пилишь, совсем как твоя мать». Стоит мне пошутить, она говорит: «До чего смешно, ма. Ха-ха! Ты у нас настоящий комик». Стащила мой лучший кружевной бюстгальтер, который я надеваю только на годовщину свадьбы, а потом швырнула его мне обратно, замызганный, заношенный. «На,— говорит,— возьми свой драгоценный лифчик. Кому он нужен? Это для плоскогрудых». Называет меня сукой, прямо в лицо. Говорит, что я — жирная уродина, что она ненавидит меня. А я говорю: «Послушайте, барышня, не кажется ли вам, что пора поговорить начистоту?» Тогда она зевает в ответ и начинает отгрызать от рукава блузки пластмассовую веревочку, к которой прикрепляют ценник. Я прошу мужа: «Поговори ты с ней». «Лидди,— говорит он ей,— видишь, что с мамой. Зачем же ты огорчаешь ее?» А я говорю: «Что со мной? Что ты имеешь в виду?» И у нас с ним начинается скандал, а ей небось только того и надо. Отчуждение, разрушение, хаос — вот это по ней. Она дружила с одним парнем, обращалась с ним хуже некуда. В конце концов он ее бросил, и она всю ночь плакала и повторяла: «Ну зачем я так себя вела? Что мне сделать, чтобы он вернулся?» Я сказала ей, нужно быть честной, позвонить ему: так, мол, и так, сама не знаю, что на меня накатило. Ну, на следующее утро она позвонила ему, они помирились, и все было замечательно. Лидди даже поблагодарила меня за добрый совет. Все вроде бы снова у нее наладилось. Сидит в кухне за столом, тихая, спокойная, давно я ее такой не видела. Потом начала качать ногой, грызть ногти, а потом опять позвонила

своему парню. «Роджер,— говорит,— мне не хотелось огорчать тебя, но думаю, тебе пора знать правду: врач сказал, что я умираю от белокровия».

Люк засмеялся. Женщина взглянула на него простодушно, но он заметил, что губы ее горько скривились.

— И вот часа в два-три,— продолжала она,— я сажусь в свою машину и еду куда глаза глядят. Сначала говорю сама с собой. Ты бы послушал меня: «Ни за что не вернусь»,— говорю себе. Ругаюсь последними словами, сигналю старухам, которые едва ноги передвигают. «Паскуда, зараза, испорченная девчонка,— твержу,— она еще пожалеет об этом». И гоню во весь дух. Ты бы видел мой талон! Еще один прокол — и меня отправят на субботние курсы по борьбе с лихачеством, придется смотреть фильм про женщину, которая остается без головы. Но мне все равно где быть, лишь бы не дома. Мчусь по дороге и представляю, как муж вернется домой и скажет: «Лидди, где мама? До чего ты довела ее, Лидди!» И ей станет стыдно... А потом я начинаю думать о муже. У меня в самом деле очень хороший муж. От него бегать незачем. Вот я и воображаю, как ночью тайком проберусь в дом и скажу ему: «Слушай, давай удерем вместе. Смоемся». Но я знаю, он не согласится. Ведь его непосредственно это не так уж и касается. Конечно, она действует ему на нервы, но он целыми днями на работе, поэтому реже сталкивается с ней и реже допускает промахи. Промахи, вот они-то и бесят меня больше всего. Я чересчур вспыльчива, позволяю себе злиться, спорю с ней... Да мало ли что еще! И если разобраться, то уезжаю я от своей несостоятельности, верно? В конце концов я сбавляю скорость. Начинаю вспоминать прошлое. Когда Лидди была маленькая, она всегда так хорошо держалась, спина прямая как струнка. А то целый год ела только китайскими палочками. Ты бы видел, на что была похожа ее тарелка! Но я не ругала ее. В то время она очень любила меня. Я была по-настоящему хорошей матерью. И она меня любила.

— Может, она и сейчас вас любит,— не слишком уверенно сказал Люк.

— Нет, не любит.

Они миновали указатель с надписью «Балтимор». За окном простирался бесконечно унылый пейзаж — заросли высокой травы, задние дворы жилых домов с веревками для белья, мотоциклами, круглыми бассейнами, потом снова заросли высокой травы, как будто пейзаж вращался на гигантском театральном круге.

— В сущности,— сказала женщина,— я езжу до тех пор, пока не вспомню ее совсем маленькой. Понимаешь? И пока не отыщу свое прежнее «я». Тогда я постепенно успокаиваюсь, сбавляю скорость и к ужину готова вернуться домой.

Люк взглянул на приборный щиток: часы показывали тридцать пять пятого.

— Сегодня сделаю на ужин салат из тунца,— сказала она.

— Отлично.

— Чепуха.— Она снова провела по носу костяшками пальцев.

К пяти часам вечера они очутились на окраине Балтимора. Будто въехали в какой-то гигантский механизм, закопченный, громыхающий, замысловатый. Но женщина не обращала внимания на эту картину и молча, не отвлекаясь, вела машину.

— Когда доедем до Рассел-стрит, скажешь, куда ехать дальше,— сказала она.

— Что?

— Как найти твой дом?

— Хм... Высадите меня в центре, и все.

— Где именно?

— Все равно.

Она пристально посмотрела на него.

— Я живу совсем рядом...

— Рядом с чем?

— Да с чем угодно.

— Слушай, Люк,— сказала она.— Все это очень странно. Ну-ка выкладывай, где твои родители.

Интересно, что она сделает, если он скажет, что сперва ему надо заглянуть в телефонный справочник. Он, дескать, давно не был дома— все лето в лагере или еще где-нибудь, не может вспомнить адрес... Нет, не годится. Но он в самом деле не знал адреса Эзры. Просто был дом, к которому они подъезжали на машине, Коди — за рулем, Люк на заднем сиденье.

— Дело в том,— сказал Люк,— что родители на работе. У них свой ресторан, «Тоска по дому». Может, довезете меня до ресторана?..

— А где он находится?

Люк замялся.

— Признайся,— сказала она,— ведь этого ресторана вообще не существует. Так я и знала. Ничего себе название — «Тоска по дому»!

— Есть такой ресторан! Честное слово. Только он еще новый. Они купили его совсем недавно. Я еще ни разу там не был.

— Иди посмотри адрес в телефонной книге,— сказала она.

Машина резко затормозила возле телефонной будки — хорошо, что он пристегнулся ремнем.

— Иди поищи! — сказала она, уверенная, что он врет.

— Ладно, пойду.

Будка была старомодная, с закрывающейся дверью — пышущая жаром коробка из стекла и алюминия; он зашел внутрь, раскрыл телефонную книгу и провел пальцем вниз по колонке: «Продажа недвижимости», «Публичная библиотека»... Ага, вот и рестораны. «Тоска по дому»,— прочитал он и так удивился, будто и в самом деле врал.

— На Сент-Пол-стрит,— сказал он, вернувшись в машину.— Могу выйти где угодно, я сам найду.

Но нет, она решила довезти его до дверей ресторана, хотя для этого пришлось порядком попетлять: выяснилось, что на Сент-Пол-стрит одностороннее движение, и она не сразу сумела на нее выехать. Наконец машина остановилась у ресторана.

— Кто бы мог подумать! — сказала она.— Действительно, есть такой.

— Спасибо, что подвезли,— поблагодарил Люк.

Женщина пристально посмотрела на него:

— Я могу быть спокойна, Люк?

— Конечно.

— И твои родители точно здесь?

— А где же им быть?

Однако она почему-то не трогалась с места. (Это напомнило ему дни рождения одноклассников в начальной школе: мать ждала в машине, пока его не впустят в дом, и только потом уезжала.) Он дернул дверь — заперто. Придется идти черным ходом. Женщина высунулась в окошко и окликнула:

— Что случилось, Люк?

— Заперто. Пойду с черного хода.

— А если и там заперто?

— Нет, не заперто.

— Послушай, Люк,— сказала она.— Времена меняются. Раньше здесь было спокойно, а теперь в Балтиморе проулки кишат грабителями. Слышишь, Люк? В каждой подворотне, в каждом пустом доме, на каждой улице.

Он помахал ей рукой и скрылся за домом. А через минуту услышал, как машина медленно, нехотя отъехала от дома, будто женщина все еще увлеченно перечисляла опасности.

Люк знал ресторан как свои пять пальцев, словно память о нем всегда жила в его сердце: грохот кастрюль и звон тарелок, запах резаного сельдерея, томившегося в масле на медленном огне, сухие пучки пряных трав, вениками подвешенные под потолком, пятилитровые банки сморщенных греческих маслин, корзины петрушки и исходящие паром черные котлы, за которыми следил мальчик его возраста. За кухней, почти ничем не отделенный от нее, находился обеденный зал — столики с белыми скатертями, в солнечных лучах пляшут пылинки. В этом зале было множество украшений — подарки и сувениры, накопленные за долгие годы,— которые всегда наводили Люка на мысль о доме, где живет большая дружная семья, где над камином прикрепляют детские рисунки да так там и забывают. Он увидел знакомый двухметровый коллаж с изображением коронного салата Эзры — подарок художника-завсегдатая, увидел и гирлянду из цветной бумаги, которую вместе с двоюродными братьями и сестрами обернул вокруг люстры по случаю давнего рождественского обеда.

Разгоряченные, раскрасневшиеся люди сновали по кухне, каждый занимался своим делом; в толчее они лавировали как старые «форды» в немых кинокомедиях: зум-м-м! — и разминутся, никогда друг друга не заденут, пути у них пересекаются, но сами они чудом остаются в целости и сохранности. Люк, никем не замеченный, стоял в дверях. Путешествие само по себе было таким хлопотливым, что он почти потерял из виду его цель. И вообще, почему он здесь оказался? Но тут Люк увидел Эзру, который укладывал булочки в камышовую корзинку. На нем была не знакомая синяя ковбойка — впрочем, байковая ковбойка совсем не годилась для лета,— а легкая рубашка с закатанными рукавами. Он аккуратно, неторопливо укладывал каждую булочку — большие руки двигались размеренно и четко. Люк зашагал через кухню и удивился собственной робости. Сердце колотилось быстро-быстро. Подойдя к Эзре, он сказал:

— Привет!

Эзра взглянул на племянника, все еще погруженный в свои мысли.

— Привет! — рассеянно ответил он, не понимая, кто перед ним.

Сначала Люк был обескуражен, а потом ему стало приятно. Значит, он здорово изменился! И вырос на целых тридцать сантиметров, и голос у него ломается — чем не взрослый мужчина. Бесхитростный взгляд Эзры внушал уверенность и спокойствие. Люк мгновенно придумал новый план. Он расправил плечи и решительно сказал:

— Я бы хотел наняться на работу.

Эзра замер:

— Люк?!

— Раз тот мальчик может следить за котлами...— Люк запнулся на полуслове.— Простите, как вы сказали?

— Ты Люк, сын Коди?

— Как ты узнал?

— Ты передернул плечами в точности как твой отец. В точности, поразительно! Да и в голосе у тебя есть что-то... воинственное... Люк!— Он крепко пожал руку племянника. От булочек пальцы его казались на ощупь шероховатыми.— А где родители? У нас дома?

— Я приехал один.

— Один?— переспросил Эзра и улыбнулся добродушно, неуверенно, как человек, который пытается понять шутку.— Совсем, значит, один?

— Хотел узнать, могу ли я остаться у тебя.

Эзра перестал улыбаться:

— Коди...

— При чем тут Коди?

— С ним что-то случилось.

— Ничего не случилось.

— Надо было мне навестить его. Обязательно. Зря я его послушался. Наверное, он искалечен гораздо сильнее, чем нам сказали.

— Нет! Он уже совсем поправился.

Эзра долго и внимательно смотрел на него.

— У него гипс со скобкой, он уже ходит,— сказал Люк.

— Да? А другие раны? Как у него голова?

— Все нормально.

— Клянешься?

— Вот еще...

— Пойми, это же мой единственный брат,— сказал Эзра.

— Честное слово,— сказал Люк.

— Тогда где же он?

— В Виргинии. Я оставил его там. Убежал.

Эзра задумался. Мимо проскользнула официантка, на подносе у нее тонко позвякивали рюмки.

— Я вообще-то не собирался убегать,— признался Люк,— но он сказал... Знаешь, что он сказал мне...

Нет, незачем передавать Эзре отцовские слова. Сейчас они казались Люку нелепостью, из тех, что ненароком срываются с языка. И вот теперь он, Люк, далеко-далеко от дома, стоит и мямлит что-то под добрым взглядом своего дяди.

— Не могу объяснить,— вздохнул он.

Но тут Эзра, как будто ему все стало ясно, мягко сказал:

— Не принимай близко к сердцу, Люк. Это он просто так. Он не хотел обидеть тебя.

— Знаю,— кивнул Люк.

Эзра говорит с Рут по телефону веселым, нарочито оживленным тоном, будто ничего особенного не произошло.

— Послушай, Рут, вот он здесь, передо мной, цел и невредим... Полицию? Зачем? Ну ладно, перезвони и скажи им, что мальчик нашелся, жив-здоров. Дескать, напрасно шум подняли.

Люк слушал с напряженной улыбкой, как будто мать могла его видеть, и сосредоточенно перебирал спираль телефонного шнура. Разговор происходил за кухней, в маленьком кабинетике. Эзра сидел за письменным столом, на котором громоздились поваренные книги, журналы, счета, там же стоял цветочный горшок со шнитт-луком, медная сковородка с потрескавшейся эмалью и вставленная в рамку газетная фотография — двое мужчин в белых фартуках держат в руках блюдо с большущей рыбиной.

Потом, видно, трубку взял Коди. Голос Эзры посерьезнел.

— Может, Люк останется пока у нас? — сказал он.— Пускай погостит немного, а? Надеюсь, ты разрешишь.

Люк почувствовал настороженность в сдержанном голосе Эзры, в его коротких фразах и испугался: отец не иначе как кричит на другом конце провода; он бросил шнур и отошел к шкафу, сделав вид, что заинтересовался книгами Эзры. Ему было стыдно за отца. Но, похоже, никакого крика не было, потому что Эзра мягко сказал:

— Хорошо, Коди. Да, я понимаю.— Он повесил трубку и повернулся к Люку:— Они выезжают немедленно. Отец хочет сегодня же забрать тебя домой.

Люк почувствовал, как в животе шевельнулся комочек страха. Отец, наверное, злой как черт. И как он, Люк, только решился отправиться в такую даль! Один-одинешенек! Теперь ему казалось, что все это было во сне.

В доме у бабушки, по обыкновению, пахло горелыми гренками, все тот же сумрак по углам, все та же таинственность. Люк подумал, что, переехав в этот дом, будешь неделями, а то и месяцами наты-

каться на незнакомые закутки и стенные шкафы. (А что? Вот бы и правда переехать сюда и жить вместе с ними в уютной гостиной и тихой бабушкиной кухне.) Бабушка суетилась вокруг него, выставляя на стол все новые яства.

— Мама, успокойся, не суетись,— приговаривал Эзра.

Но Люку нравилась эта суета, нравилось, как бабушка вдруг отходила от плиты, чтобы погладить его по щеке и сказать:

— Какой же он стал! Вы только посмотрите!

Теперь она стала ниже его ростом. И здорово состарилась. А может, раньше он по молодости лет не обращал на это внимания. Что-то небрежное, торопливое было в ее прическе, в этом небольшом тугом пучке некогда золотистых волос, и в изрезанном глубокими складками лице, и в руках, морщинистых, испещренных темными пятнами. По беспрестанным поцелуям Люк понимал, что бабушка души в нем не чает, и недоумевал, как мог отец так ошибочно судить о ней.

— Как у них ловко получается, у твоих родителей,— приедут и сразу же заберут тебя,— говорила она.— А мы их не отпустим. Не отпустим, и все. Я сменю белье в комнате Дженни, а ты ляжешь в комнате для гостей. Ну Люк, я бы тебя ни за что не узнала. Мы так давно не виделись — встреть я тебя на улице, мне бы в голову не пришло, что это ты. Но я бы сказала... вернее, подумала про себя: господи, до чего этот мальчик похож на моего Коди в детстве. Только этот — блондин, вот и вся разница. Екнуло бы сердце, и я бы тотчас забыла об этом. Только потом, заваривая дома чай, подумала бы: постой-ка, что это мне там померещилось?..— Перл хотела переложить из миски в кастрюльку остатки отварной зеленой фасоли, но промахнулась и залила кухонный столик. Она тут же вытерла лужу бумажным полотенцем, приговаривая: — Ты небось думаешь: ну что за глупая старуха! Глаза у меня уже не те, что раньше... Нет-нет, Эзра, я сама, сынок!

— Мама, почему ты не даешь мне похозяйничать?

— На своей кухне я прекрасно управляюсь сама, Эзра,— сказала она.— Может, ты бы вернулся в ресторан? Надо же присматривать за своими работниками.

— Ты просто не хочешь ни с кем делить Люка,— пошутил Эзра.

— Да. Может, ты и прав.— Она зажгла газ под кастрюлей.— Одно к одному,— сказала она Люку,— я так беспокоилась, просто места себе не находила, представляя, как страдает наш Коди. Я так хотела быть с ним, но он, конечно, не разрешил мне. Такой уж он уродился — колючий, жесткий, всегда настороже. И сейчас вот, небольшое недоразумение или что там у вас стряслось... Да не смотри на меня так! Обещаю не задавать никаких вопросов. Эзра говорит, это не наше дело. Но какое-то недоразумение привело тебя к нам... не знаю, может, ссора? Одна из папиных вспышек?

— Мама...— выразительно сказал Эзра.

— И поэтому,— быстро продолжала она,— в конце концов мы все-таки повидаемся с ним. Он сам явится сюда. Люк, скажи правду. Он... не изуродован? Я имею в виду лицо. На лице нет уродливых шрамов?

— Только ссадины,— сказал Люк.— А от них следов не остается. Уже почти все зажило.

Он с удивлением подумал, что и сам до сих пор не отрешился от образа изувеченного отца, хотя ссадины давно побледнели, отеки опали, волосы на голове, там, где была рана, отросли.

— Он всегда был такой красивый,— сказала Перл.— Всегда.

Эзра накрывал на стол — расставлял тарелки, раскладывал вилки, ножи. На плите шипела кастрюля. Люк уселся на кухонную табуретку и прислонился к батарее. Трубы и жесткие ребра батареи пробудили в нем воспоминания о старомодном уюте — например, о церкви, где он побывал с одним мальчиком из детского сада, или о класс-

ной комнате в школе, где его, второклассника, застигла во время завтрака снежная буря, и он представил себе, что метель разбушуется и все дети на много дней будут отрезаны от внешнего мира и будут пить из чашек горячий суп, который им принесут из школьной столовой.

После ужина Перл села смотреть телевизор, а Эзра отправился в ресторан проверить, как там дела. В гостиной стало совсем темно — Перл не зажигала света, только голубым пятном мерцал телевизионный экран. Окна, выходящие на улицу, были открыты, и снаружи доносились разные звуки — кричали дети, занятые шумной игрой, звенел колокольчик мороженщика, какая-то женщина звала домой детишек. Часов в девять, когда сумерки наконец уступили место ночи и душный воздух немного остыл, Люк услыхал знакомый рокот подъехавшего к тротуару «мерседеса». Мальчик насторожился. Перл явно не поняла, что там за шум, и продолжала спокойно смотреть телевизор.

— Кто это, милый? — Она напряженно вглядывалась в экран, вопрос ее относился к какому-то актеру.

На лестнице раздались шаги.

— Что? — спросила Перл.— Уже? — Она попыталась встать, но замешкалась, потому что не сразу нащупала подлокотники, потом наконец поднялась с кресла, открыла входную дверь и спросила: — Коди?

Он стоял в дверях. Высоченный, гораздо выше, чем думал Люк. Гипс на его руке и ноге белел в темноте.

— Здравствуй, мама.

— Ах, Коди, дай я на тебя посмотрю! И Рут здесь? Здравствуй, милая. Коди, у тебя все в порядке? Я не вижу твоего лица. Тебе действительно лучше?

— Все нормально.— Коди поцеловал ее в щеку и проковылял в дом.

— Привет, папа,— сказал Люк, неуклюже поднимаясь со стула.

— Хотел бы я знать, зачем тебе это понадобилось,— сказал Коди.

— Не знаю...

— Не знаешь! И это все, что ты можешь сказать? Ты до смерти напугал нас. Мама чуть с ума не сошла.

— Мы так волновались, сынок,— воскликнула Рут, притянула Люка к себе и поцеловала. Колючие оборки синтетического платья, которое она надевала по особым случаям, примялись на его груди. Он уловил исходивший от нее запах трав, такой родной и близкий, хотя раньше он его как-то не замечал.

— Мы чуть с ума не сошли,— сказала Рут, обращаясь к Перл.— Ей-богу, я состарилась на сто лет. Мне казалось, что, если я еще раз выгляну в окно, на улицу, я просто свихнусь — тот же поворот на дороге, тот же безлюдный тротуар. Вы даже представить себе не можете.

— Могу,— возразила Перл,— еще как могу.

Она ощупью искала выключатель настольной лампы. Шелковый абажур шуршал и покачивался. В дверях появился Эзра:

— Коди? Это ты? — Он быстро вошел в комнату, и первой на его пути оказалась Рут. Он едва не сшиб ее — схватил за руку и быстро поздоровался.— Рад видеть тебя, Рут.

Тем временем Коди нащупал выключатель и включил свет. Простое совпадение — он только помог матери, но Люку почудилось, будто отец включил лампу нарочно, чтобы как следует рассмотреть их, Рут и Эзру, стоящих лицом к лицу. Эзра заморгал от яркого света, потом, точно медведь, обнял Коди. Тот не сопротивлялся.

— Как рука? Как нога? — спрашивал Эзра.— Ты что, без костылей?

Коди по-прежнему не отрывал глаз от Рут и Эзры.

— Он говорит, что ими нельзя пользоваться, когда в гипсе левая рука и правая нога,— сказала Рут. Она одернула Люку майку, хотя в этом не было никакой необходимости, затем отвела волосы с его лба и рассеянно продолжала: — А сейчас, когда ему наложили гипс со скобкой... Ох, Люк, мальчик мой, что ж ты не подумал, как мы будем без тебя?

Коди отвернулся и сел в кресло.

— Может, чаю со льдом? — спросила Перл.

— Нет, спасибо,— поблагодарил Коди.

— А кофе? Как насчет кофе?

— Да нет, ничего не надо,— проворчал Коди.

Люк думал, что Перл обидится, но она взглянула на Коди со странно умиротворенной улыбкой и сказала:

— Ты вечно брюзжал, когда плохо себя чувствовал.

В самом деле, странный это был визит! Нарочито сдержанный, без всяких событий, даже нудный. Люк поначалу сидел неестественно выпрямившись, но постепенно успокоился и стал смотреть по телевизору концерт. Взрослые вполголоса обсуждали денежные дела. Коди говорил, что Перл надо сменить котел в подвале, он заплатит. Перл сказала, что у нее есть кое-какие сбережения, но Коди так настаивал, будто покупка котла доставляла ему удовольствие, дарила ощущение победы. Ах эти деньги, деньги, деньги! Словно нет более интересных тем для разговора.

Люк нажал какой-то рычаг и неожиданно, вместе со спинкой кресла, откинулся назад, а его ноги, наоборот, поднялись на чем-то вроде подставки. Перл теперь расспрашивала, куда они двинутся из Питерсберга. Коди сказал, что пока не знает, они со Слоуном надеются заключить контракт с одной косметической фирмой в... Слушая рассудительный голос отца, Люк чувствовал себя обманутым, преданным. С детства ему внушали ужасные вещи: дескать, сколько в семье злобы, сколько ожесточенности! А Перл и Коди мирно беседуют, как нормальные взрослые люди. Обсуждают, где лучше жить — на Севере или на Юге. Потом разгорелся какой-то нудный, бестолковый спор; выяснилось, что Перл считает Балтимор северным городом, а Коди — южным. Перл спросила, не окажется ли новый завод таким же опасным, как предыдущий.

— Любое место опасно, если им управляют идиоты,— ответил Коди.

— Коди, я так тревожусь,— сказала Перл.— Знаешь, что со мной было! Мой старший сын, мой первенец, находится между жизнью и смертью, а мне нельзя навестить его.

— «Между жизнью и смертью»! Ты же видишь, я на ногах.

— На ногах, но искалеченный.— Она всплеснула руками.— Вот ведь насмешка! Я всегда думала, что беды и несчастья — удел низших слоев. Читала, конечно, всякие печальные истории в газетах: женщину вышвырнули из дома, а ведь она из сил выбивалась, воспитывая семерых детей своей дочери, которую застрелили в баре, притом один из детей — слабоумный, а другого надо было несколько раз в неделю возить городским автобусом с двумя пересадками в больницу... искусственная почка... жалко, конечно, таких людей, но, с другой стороны, они меня раздражают — ну, не знаю, мне кажется, они сами во всем виноваты. Хочется сказать им: есть же какой-то предел, в конце концов, невезение — это лишь малая часть жизни. И вот пожалуйста! У меня ослабло зрение, старший сын перенес тяжелую травму, а его сын по неведомой нам причине только что сбежал из дома, и дочь свою я не видела бог знает сколько недель, потому что она по рукам и ногам связана собственной дочерью, у которой... как называется ее болезнь? Анор... эксия, что ли.

— А кстати, как дела у Бекки? — спросил Коди, и Люку представилось, что отец сунул руку в клубок безнадежно запутанных веревок и тянет за единственный короткий конец, который не спутан с другими.

— Да бог ее знает,— пожала плечами Перл.

Рут массировала лоб, как всегда после тяжелого дня. Эзра увидел что-то на экране телевизора и засмеялся. Коди, наблюдавший за ними, глубоко вздохнул и повернулся к матери:

— Нам пора.

Перл выпрямилась.

— Уже? — спросила она.— Уезжаете?

— Нам долго ехать.

— Именно поэтому вам лучше остаться! — воскликнула она.— Отдохнете за ночь, а утром с новыми силами в дорогу.

— Это невозможно,— сказал Коди.

— Почему?

— Нам надо... гм... накормить собаку.

— А я и не знала, что у вас собака.

— Доберман.

— Но они же такие злые!

— Поэтому и надо поскорее накормить его,— сказал Коди.— А то он всех соседей перекусает.— Он протянул руку сыну — тот слез с кресла, чтобы помочь отцу встать на ноги. И когда пальцы Коди стиснули его пальцы, Люку в этом тайном рукопожатии почудилось что-то заговорщицкое, словно отец хотел сказать: «Здорово мы ее обманули!» На лице его появилось нарочито бесстрастное выражение.

— Послушайте,— сказал Эзра,— ведь скоро День благодарения.

Все уставились на него.

— Вы приедете к нам на День благодарения? Устроили бы в ресторане семейный обед.

— Кто знает, где мы будем в это время.

— А разве вы не слыхали о самолетах, о современных способах передвижения? — спросила Перл.

— Поговорим об этом ближе к празднику,— сказал Коди, потрепав ее по плечу.— Рут, ты все собрала? Ну пока, Эзра. Держи меня в курсе.

Последовали объятия и рукопожатия. Направляясь к машине, Люк никак не мог вспомнить, поблагодарил ли он Эзру. Хотя, собственно, за что его благодарить? Так, вообще... Они прошли по тротуару к машине Коди, где по-прежнему пахло мертвенным кондиционированным воздухом. Все неестественно громко переговаривались, будто должны были еще очень много сказать друг другу, только не хватало времени:

— Так ты не забудь... Так хорошо было... Скажи Дженни, что мы надеемся... Веди машину осторожно...

Они отъехали от тротуара. Перл и Эзра удалялись. Люк повернулся и увидел, что за рулем — отец. Рут сидела рядом с ним.

— Мама,— сказал Люк,— наверное, лучше, если бы за руль села ты.

— Он настоял,— объяснила Рут.— И сюда он сам вел машину.— Поверх спинки сиденья она многозначительно посмотрела на Люка.— Сказал, что сам хочет съездить за тобой.

— Вот как...— сказал Люк.

Чего она ждала? Некоторое время она еще смотрела на него, но, поняв, что это бесполезно, снова отвернулась. Люк подался вперед, чтобы поглядеть, как Коди ведет машину.

— Пожалуй, не так уж трудно,— сказал он,— кроме переключения скоростей.

— Ну, это пустяки,— сказал Коди.

— Ясно.

— Хорошо, что здесь со сцеплением все просто.

— Ага.

За окном мелькали нескончаемые ряды жилых домов, на верандах сидели люди в качалках. Потом свернули в другой квартал, веранды сменились белыми крылечками. На одном разместилось целое семейство с переносным холодильником для пива, электрическим вентилятором и младенцем в кроватке, выставленной прямо на улицу. На капоте припаркованной у тротуара машины стоял включенный телевизор, так что прохожий мог пройти только между телевизором и зрителями, бормоча при этом «извините, пожалуйста». Он как бы попадал в чужую гостиную. Люк провожал взглядом эту семью, пока она не скрылась из виду. Теперь мимо плыла вереница баров и кафе, а дальше — неосвещенный переулок.

— Странно,— сказал Люк отцу,— что тебя ни разу не пригласили реорганизовать что-нибудь в Балтиморе.

— Очень странно,— кивнул Коди.

— Тогда мы могли бы пожить с бабушкой, правда?

Коди промолчал.

Город остался позади; теперь они ехали по скоростному шоссе, окунувшись в мир высоких холодных фонарей и иссиня-черного неба. Рут медленно склонилась к окну, ее головка слегка покачивалась из стороны в сторону.

— Мама заснула,— сказал Люк.

— Она очень устала,— отозвался Коди.

Это прозвучало укором. Может, сейчас начнутся нотации? Люк затих. Но Коди сказал:

— Ее так угнетает этот дом. Трудный человек твоя бабушка.

— Ничего подобного.

— Для тебя, может, и нетрудный. А для других — трудный. Для мамы. Бабушка считает, что твоя мама пигалица. Один раз она мне так и сказала. Назвала ее «пигалицей» и «сорванцом».— Он засмеялся, вспомнив что-то. И Люк тоже заулыбался.— Однажды,— сказал Коди,— ты вряд ли помнишь, мы с твоей матерью поссорились из-за какого-то пустяка, она подхватила тебя и решила бежать к Эзре. Но едва добралась до вокзала и представила себе, что за жизнь у нее будет с твоей бабушкой, как тут же позвонила мне и попросила приехать за вами.

Улыбка исчезла с лица Люка.

— Куда она решила бежать?

— К Эзре, но это неважно. Это просто...

— Вовсе не к Эзре, она собиралась уехать к своим родным,— сказал Люк.

— К каким родным? — спросил Коди.

Люк не знал.

— Она сирота,— сказал Коди.— К каким родным?

— Ну, может быть...

— Она собиралась к Эзре,— повторил Коди.— Это ясно как божий день. Представляю, как она, едва выйдя за порог моего дома, сразу же начала бы с ним новую семейную жизнь. Недаром мне всегда казалось, что у нас нет семьи. Это чужая семья. Их семья. Иногда мне даже нравилось смотреть на все это как бы чужими глазами.

— Зачем ты мне это говоришь?

— Просто я хотел...

— Ты что, сумасшедший? Почему ты год за годом цепляешься за все это?

— Нет, погоди...

— Мама! — Люк потряс Рут за плечо.— Мама! Проснись!

Голова Рут склонилась в другую сторону.

— Пусть спит,— сказал Коди.— Люк...

— Мама, проснись!

— М-м-м,— промычала Рут во сне.

— Мама! Я хочу спросить тебя. Мама! Помнишь, как ты взяла меня и ушла от папы?

— М-м-м...

— Помнишь?

— Да,— пробормотала она и еще глубже утонула в сиденье.

— Куда ты собиралась тогда увезти меня?

Рут подняла голову, волосы ее растрепались, она устремила на Люка сонный невидящий взгляд.

— Что? — спросила она.— В графство Гарретт, к моему дяде. А кого это интересует?

— Никого,— сказал Коди.— Спи.

Рут вновь уснула. Коди задумчиво потер подбородок.

Они мчались по световому коридору среди непроглядной тьмы. Редкие автомобили пролетали мимо и мгновенно исчезали. Веки у Люка слипались.

— Я хотел сказать...— начал Коди.— Я проделал весь этот путь, чтобы сказать...

Он запнулся и умолк, а когда заговорил снова, то переключился совсем на другую тему. Повел речь о том, как мало люди ценят время. О том, как оно важно... Люк облегченно вздохнул, безмятежно слушая убаюкивающие слова отца.

— В конце концов,— рассуждал тот,— все сводится к времени, к течению времени, к времени. Ты когда-нибудь задумывался над этим? Все, что тебя радует и огорчает, заключено во времени, в пролетающих минутах. Что такое счастье, как не ожидание чего-то, что принесет тебе время. А тоска — это ведь желание вернуть ушедшее время. Даже такие глубокие чувства, как горе, скорбь по усопшему,— это в конце концов желание возвратить время, когда тот человек был жив. Или фотографии — ты замечал, как грустно становится, когда смотришь на старые фотографии? Вот люди далекого прошлого — улыбаются, вот девочка, которая теперь уже старуха, вот кошка, которой нет на свете, цветок в горшке, который давным-давно засох, а горшок разбился, и никто не знает, где он... Разве грусть возникает не оттого, что время нельзя остановить ни на секунду? И думаешь: вот если бы можно было вернуть его! Если бы можно было изменить это или вот то, не сделать того, что уже сделано, если бы хоть раз можно было повернуть время вспять!

Отец, видно, не ждал ответа. И слава богу. Люку хотелось спать, а не разговаривать. Он весь отяжелел, будто под бременем чужих судеб. Ему казалось, он катится, падает куда-то — плавно скользит по широкой, ярко освещенной реке времени вместе со всеми теми людьми, с которыми ему пришлось встретиться сегодня. Голова его склонилась на грудь. Он закрыл глаза и уснул.

9. Ш-Ш-Ш...

Однажды утром Эзра Тулл встал, побрился, почистил зубы и, надевая брюки, наткнулся в правом паху на какое-то уплотнение. Пальцы скользнули по нему случайно, на мгновенье задержались и тут же отдернулись. В зеркале отразилось застывшее в ужасе широкое простодушное лицо. Слово «рак» пришло на ум само собой, словно кто-то шепнул его на ухо, но испуг вызвала мысль, которая явилась следом: ну и пусть. Будь что будет. Если суждено, я умру.

Эзра, конечно, тут же отмахнулся от этой мысли. Ему сорок шесть лет, человек он спокойный, рассудительный. Запишусь-ка я на прием к доктору Винсенту, подумал он. Надел сорочку, застегнул ее, достал пару чистых носков. Дважды машинально ощупал уплотнение. Чувствительное, но безболезненное, размером с желудь, оно каталось под кожей как шарик.

Разумеется, он не хотел умирать. Боже упаси! Просто минутная слабость, решил он, спускаясь по лестнице. Лето выдалось тяжелое. Мать, у которой с семьдесят пятого года стало сдавать зрение, теперь, в семьдесят девятом, почти полностью ослепла, но никак не желала признать это, что очень затрудняло уход за ней; брат был далеко, а сестра слишком занята, и серьезной помощи от них ждать не приходилось. Дела в ресторане шли не блестяще: лучшая повариха взяла расчет — так, дескать, велит гороскоп; невиданная жара повергла весь город в оцепенение. Все вокруг складывалось до того плохо, что любой незначительный пустяк был способен усугубить отчаяние Эзры — соседская собака, лежащая на тротуаре с высунутым языком; чахлая гортензия, ежедневно поникающая после обеда. Даже почтальон и тот напоминал о катастрофе — его жену весной убили грабители, и теперь он таскал по улицам кожаную сумку с таким видом, словно это неимоверная тяжесть, которая вот-вот свалит его с ног. Ноги он переставлял все медленнее и медленнее, спина клонилась все ниже, а почта с каждым днем доставлялась все позже и позже.

Эзра, стоя у окна с чашкой кофе, наблюдал за почтальоном, который уныло тащился по улице, и размышлял, есть ли в жизни вообще какой-то смысл.

По лестнице осторожно спустилась Перл.

— Посмотри,— сказала она,— какое солнечное утро!

Когда Перл остановилась рядом с ним у окна, Эзра подумал, что она, наверное, чувствует солнце, потому что оно согревает ей кожу. А может быть, она видит солнце, все еще различает свет и тьму. Зато платье на ней было застегнуто неправильно; жидкие, седые с белокурым отливом волосы она, как всегда, закрутила в пучок и привычно мазнула розовой помадой по сухим поджатым губам, но один уголок воротничка стоял торчком, цветастое платье на груди оттопыривалось, и в просвете между пуговицами виднелась комбинация.

— Опять будет жарища,— сказал Эзра.

— Бедный Эзра, страшно смотреть, как ты в такую жару идешь на работу.

О чем бы она теперь ни говорила, все так или иначе связывалось со зрением. И ведь не поймешь, сознательно она делает это или нет.

Мать попросила чашку кофе, но от завтрака отказалась и, пока он читал газету, сидела рядом с ним в гостиной. Время с утра до полудня они обычно проводили вместе. Затем Эзра уходил в ресторан и возвращался после полуночи, когда мать уже спала. Он понятия не имел, чем она занимается в его отсутствие. Иногда он звонил ей с работы — голос ее по телефону звучал бодро. «Решила приготовить себе чай со льдом»,— говорила она, или: «Разбираю чулки». Но в глубине комнаты слышались душераздирающие звуки органа — фонограмма одной из телевизионных мелодрам, и Эзра подозревал, что бóльшую часть дня мать сидела перед телевизором, даже в такую жару накинув на плечи вязаную кофту и сложив на коленях холодные руки. Конечно, друзей она не принимала, насколько он помнил, их у нее не было. Она жила детьми — о том, что происходит в мире, знала только по их рассказам, а вся динамика, вся переменчивость жизни воплощалась для нее в их поступках. Даже работая в бакалейной лавке, Перл никогда не общалась ни с покупателями, ни с другими кассиршами. И теперь, когда она оставила работу, никто из бывших сослуживцев не навещал ее.

Да. Эти неторопливые утренние часы наверняка были важнейшей частью ее будней — шуршание газеты, отрывистые замечания Эзры о происшествиях и событиях дня.

— Ограбили еще одного таксиста,— сообщал он.

— Боже мой!

— Опять перестрелка в центре.

— Ох, чем только все это кончится? — вздыхала мать.

— Террористы взорвали бомбу в Мадриде.

Перл позволяла Эзре читать ей газеты, письма, журналы, комментировать фотографии — тут он был ее переводчиком, а она сидела, уставившись невидящими глазами в одну точку. Во всем остальном Перл упрямо цеплялась за самостоятельность. Так в чем же, собственно, была суть их негласной договоренности? Мать признавала лишь, что зрение ее ухудшилось и ей стало трудно читать. «Она совершенно ослепла»,— говорил врач. А сама она твердила Эзре: «Он думает, что я слепну», не возражая, но в то же время недвусмысленно намекая, что здесь можно поспорить и вообще многое зависит от подхода. Эзра научился объясняться с ней обиняками, в непринужденной, приемлемой для нее форме. Если, например, они куда-нибудь собирались, то он не говорил: «Мама, идет дождь», потому что на это она бы лишь с обидой бросила: «Без тебя знаю». Теперь он говорил: «По радио сказали, что сегодня будет лить до самой ночи. Надо бы захватить зонтик». Тогда ее лицо прояснялось. «Честно говоря, не верю я этим прогнозам»,— отвечала она, хотя дождь моросил почти беззвучно и Эзра знал, что услышать его она не могла. Однако Перл искусно скрывала свое удивление и замешательство; только ее дети, привыкшие, что мать упорно отрицает собственную слабость, видели, что прячется в неподвижном воинственном взоре ее серых глаз.

Месяц назад сестра сообщила Эзре, что мать задала ей по телефону весьма странный вопрос. «Она поинтересовалась, правда ли, что, если долго лежать на спине, можно заболеть пневмонией,— сказала Дженни.— Я спросила, почему это ее волнует, а она в ответ: "Просто любопытно"».

Эзра отложил газету и потрогал кончиками пальцев шишку в паху.

Они допили кофе. Эзра вымыл чашки и прибрал на кухне, которая, несмотря на его старания, теперь всегда выглядела неопрятно. Он не знал, что делать с посеревшими занавесками возле плиты, с кружевной, заскорузлой от пыли салфеткой под конфетницей. Можно ли стирать такие вещи? Взять и бросить в стиральную машину? Проще всего было бы спросить у матери, но он не решался. Ведь она расстроится и станет думать: а что еще она упустила?

Перл вышла ему навстречу, ступая с такой осторожностью, что ее черные туфельки казались трепетными сверхчувствительными щупами.

— Эзра,— спросила она,— какие у тебя планы на сегодняшнее утро?

— Никаких, мама.

— Правда?

— А что ты хотела?

— Может, разберем у меня в письменном столе? Но если ты занят...

— Я свободен, мама.

— Ты не стесняйся, скажи.

— Я с удовольствием помогу тебе.

— В детстве,— сказала она,— ты сердился, когда я болела или нуждалась в помощи.

— Так то в детстве!

— Странно, да? Ты был самым добрым и ласковым из всех моих детей, самым близким, другие вечно были заняты своими делами. Но стоило мне заболеть, и ты становился таким равнодушным! Сердито спрашивал: «Значит, в кино не пойдем?» И тогда все заботы по хозяйству брал на себя твой брат, хотя на него это вроде бы вовсе не похоже. Я говорила: «Эзра, принеси, пожалуйста, плед»,— а ты сидел как чужой и делал вид, что не слышишь. Ты вел себя так, будто я досаждала тебе, будто голова у меня болела тебе назло.

— Я был тогда совсем маленький,— сказал Эзра.

Странно, но даже сейчас внутри у него стоял жесткий ком — не столько злость, сколько беспомощность; ему казалось, что именно это чувство владело им в детстве. Он был так уверен в матери, считал, что ей все по плечу; когда она порезала ножом палец, он был раздосадован ее неловкостью. Разве можно положиться на такого человека? Почему она подвела его?

Эзра взял Перл за руку и повел обратно в гостиную (он вдруг ощутил свой высокий рост и солидный вес). Усадив мать на диван, он подошел к письменному столу и вытащил нижний ящик.

Этим они занимались уже много раз. Дело, конечно, не в том, что ящик следовало разобрать, хотя постороннему взгляду и могло показаться, будто там царит беспорядок. Пока Эзра нес ящик, кипы фотографий разъезжались в разные стороны; из рассыпающихся по листочку старинных альбомов тоже торчали снимки. Чего здесь только не было: коробка из-под обуви с девичьими дневниками матери, незаконченный альбом «Наш ребенок» с фотографиями Коди, конфетная коробка со старыми письмами — марки со всех конвертов были срезаны. Лежал тут и блекло-сиреневый сплющенный букетик искусственных цветов, жесткий и негнущийся, как усохшая мышиная тушка, и загрубевшая от времени лайковая перчатка, и пахнущий затхлостью школьный табель с надписью «Перл И. Коди, 4 класс, 1903 год», отметки в нем были проставлены таким изящным почерком, что казалось, рядом с названием каждого предмета кто-то разложил тончайшие коричневые волоски в форме буквы «А» — «отлично». Эзре нравились эти вещи; он охотно разбирал их, подробно рассказывая матери о каждой:

— Вот на этой фотографии ты и тетя Мелинда в день ее свадьбы.

— Да?

— Ты стоишь рядом с ней, и у тебя в руках веер из перьев.

— Эту оставим,— говорила мать. Она все еще делала вид, что они просто разбирают вещи. Но вскоре забыла об этом и, устроившись поудобнее, погрузилась в задумчивость. Эзра продолжал:

— А тут чья-то веранда.

— Веранда? Какая веранда?

— Не знаю.

— Ну как она выглядит?

— Два столба, темный пол, глиняный горшок с геранью...

— А я там есть?

— Нет.

— Ну,— махнула рукой Перл,— может, это веранда Лу́ны.

Никогда в жизни Эзра слыхом не слыхал о Луне. Честно говоря, он вообще не верил, что мать интересуют родственники. Леди и джентльмены проплывали мимо как в тумане; он пытался выспросить их имена, но мать равнодушно отмахивалась, и он понимал — она ищет только себя.

— Меня ты там видишь где-нибудь? Это что, тот обед, на котором я была в голубом?

Ее внимание к собственной персоне порой забавляло Эзру, а порой раздражало. Мать как-то алчно вскидывала подбородок, ожидая сообщения, есть ли она на фотографии.

— А я там есть, в этой группе? Я была на том пикнике?

Эзра открыл бордовый бархатный альбом. Толстые страницы пожелтели по краям. Карточки в этом альбоме не были приклеены как следует. Коричневый портрет бородатого мужчины был засунут в обложку вместе с цветной фотографией розового малыша в блестящем хлорвиниловом надувном бассейне; последний снимок датирован сентябрем шестьдесят третьего года. Мать выжидающе повернулась к Эзре.

— Мужчина с бородой,— сообщил он.— Наверное, твой отец.

— Может быть,— равнодушно отозвалась она.

Он перевернул страницу.

— А тут группа женщин под деревом.

— Женщин?

— Я тут никого не знаю.

— А в чем они?

— Какие-то длинные мешковатые платья,— сказал он.— С большим напуском на талии.

— Значит, девятьсот десятый год или вроде того. Может, помолвка Иолы?

— А кто такая Иола?

— Поищи меня. На мне было платье в темно-синюю полоску,— сказала мать.

— Здесь нет платьев в полоску.

— Тогда давай следующую.

Перл была не из тех, кто живет воспоминаниями, постоянно возвращается к прошлому. Она никогда не говорила маленькому Эзре: «Я в твои годы...», как твердят многие матери. И сейчас эти фотографии не служили ей поводом для воспоминаний. Она почти не комментировала их, даже те, на которых была запечатлена. Но настороженно ловила каждое слово о своем прежнем облике. Может, хотела взглянуть на себя со стороны? Или надеялась отыскать разгадку некой тайны?

— Я улыбаюсь или нахмурена? Как по-твоему, на этой фотографии у меня счастливый вид?

Когда Эзра пытался о чем-нибудь расспрашивать, Перл становилось скучно.

— Расскажи, какая у тебя была мама,— просил он.

— О, это было так давно,— отвечала она.

Вероятно, жизнь у нее была однообразная, малоинтересная. Что же ей было бы приятно вспомнить? — думал он. Ухаживания отца, даже зная наперед, чем все кончится? Появление детей? Раннюю пору материнства? Она действительно часто и с нежностью вспоминала те годы, когда дети были маленькими, но большинство фотографий в этом ящике относились к куда более раннему периоду ее жизни, к началу века,— вот они-то и интересовали ее больше всего.

— Семейная встреча Бейкеров. Девятьсот восьмой год. А это день рождения Бьюлы, ей исполнилось шестнадцать. А здесь — серебряная свадьба Люси и Гарольда.

События, которые она перечисляла, были связаны с судьбами других людей, она же лишь издали наблюдала за ними.

— Это Кэтрин Роуз в то лето, когда она была такая красивая и встретилась со своим будущим мужем.

Эзра пристально глянул на Кэтрин Роуз:

— По-моему, она тут совсем некрасивая.

— Она довольно быстро поблекла.

На Кэтрин Роуз было строгое платье весьма сложного фасона, вышедшего из моды лет этак шестьдесят с лишним назад. Он оценивающе взглянул на ее острое личико, словно она была его современницей, девушкой, которая встретилась ему в баре, а между тем ее, наверное, уже давным-давно нет в живых. Казалось, он сквозь толщу поколений погружается в прошлое.

Он раскрывал маленькие дневники — некоторые размером не больше дамской пудреницы — и читал вслух фразы, написанные убористым почерком матери:

— «8 декабря 1912 года. Навестила Эдвину Барретт. По дороге домой пролила в коляске полпинты сливок, пришлось немало потрудиться, чтобы смыть сливки с сидений»; «4 апреля 1908 года. Ездила с Алисой в город. В магазине у мистера Солтера взвесились на новых весах. Алиса весит 113 фунтов, а я — 110 с половиной».

Мать слушала внимательно и напряженно, словно ожидая услышать что-то очень важное, но все, что он мог сообщить ей, было:

— «Купила десять ярдов полушерстяной ткани пурпурного цвета»; «сварила шоколадное бланманже для нашего кружка литературы и искусства»; «еще раз взвесилась в магазине мистера Солтера».

Тем летом, в 1908 году, ей было четырнадцать, думал он, и она взвешивалась каждые два дня, а для этого запрягала своего Принца и ехала в центр городка.

— «7 августа,— читал он.— Портниха сняла с меня мерку и записала на листке бумаги. Физически я заметно развилась».— Эзра рассмеялся, но мать нетерпеливо махнула рукой.— «7 сентября»,— прочел он, и вдруг ему почудилось, будто земля уплывает из-под ног. Ведь та бойкая девушка — это сидящая теперь перед ним старуха! Слепая старуха! А ведь когда-то она была совсем другая, у нее была своя жизнь, не имевшая никакого отношения к его жизни, она «делала упражнения с булавами в группе "Молодые амазонки"» «страшно осуждала братьев Нил», «получила первую премию на осеннем конкурсе чтецов» («Я надеялась, что победит бедная Надин,— писала она по-детски крупными буквами.— Но, конечно, приятно было победить самой»). Мать сидела молча, задумчиво поглаживая сиреневый искусственный букетик.

— Это все неважно,— сказала она.

— Дальше не читать?

— Вообще-то я хотела услышать совсем другое.

По дороге в ресторан Эзра заглянул в книжный магазин и в отделе «Здоровье» нашел медицинский справочник издательства «Мерк». Он поискал в указателе слово «уплотнение», но не обнаружил его. По-видимому, надо точно знать название заболевания, хотя в таком случае поиски никому не нужны. Он вспомнил школьный курс биологии и решил посмотреть, что тут сказано о «лимфатических железах», ведь в учебнике говорилось, что лимфатические железы имеют обыкновение распухать. И действительно, при насморке у него на шее распухали две железки. Но в указателе «лимфатических желез» не было, зато Эзра с ужасом прочел «лимфатическая лейкемия» и «лимфогематогенный туберкулез». Он быстро захлопнул справочник и поставил его обратно на полку.

Джосайя уже открыл ресторан, и два его помощника шинковали овощи на кухне. Коммивояжер в клетчатом костюме изо всех сил расхваливал Джосайе какой-то новый продукт.

— Нет,— твердил Джосайя,— нет, не думаю...

Эзра посмотрел на этого худущего великана в белом, неуклюжего и растерянного, с космами седовато-черных волос, словно он в отчаянии рвал их на себе,— и его захлестнула волна нежности.

— В чем дело, Джосайя? — спросил он, и Джосайя благодарно повернулся к нему:

— Вот... Этот джентльмен хочет...

— Моя фамилия Мэрфи,— представился коммивояжер,— я предлагаю особый соевый соус. Ящиками.

— Ящик соуса нам не нужен,— сказал Эзра.— Мы им почти не пользуемся.

— Ну так будете пользоваться,— сказал коммивояжер.— Соевый соус сейчас идет нарасхват, закупайте, пока есть. Прекрасное средство против радиации.

— Против чего?

— Ядерные катастрофы! Атомные взрывы! Посмотрите фактам в лицо. В Хиросиме не было таких жутких последствий, какие предполагались. А знаете почему? Потому что японцы все едят с соей. Держите под рукой ящик соевого соуса — и вам незачем волноваться по поводу утечек радиации.

— Но я не люблю соевый соус.

— А зачем вам его любить?

— Что ж, тогда, может, стоит взять несколько бутылок.

Эзра подумал, уж нет ли на его двери тайного знака, извещающего психов, что он не умеет говорить «нет».

Он пошел посмотреть, как идут дела в обеденном зале. Две официантки расстилали на столах свежие скатерти, встряхивая их с резким хлопающим звуком. Джосайя принес кипы чистых накрахмаленных салфеток. В эту раннюю пору ресторан всегда наводил на Эзру уныние. Там было неуютно — пустые столы, высокие голые окна и горький запах вчерашних сигарет. Ну куда это годится? Люди бездумно ели заказанные блюда — поглощенные флиртом, ссорой или деловым разговором, они внимания не обращали на то, что им подают, а потом уходили домой и напрочь забывали о еде. Все впустую. И сам Эзра уже не первой молодости, и волосы на макушке изрядно поредели, а ведь он так и остался на том самом месте, где очутился в двадцать лет — жил с матерью в том же доме на Кэлверт-стрит и читал перед сном поваренные книги. Он не женился, не стал отцом, из-за веры в судьбу, безволия, готовности к поражению потерял единственную девушку, которую любил. («Будь что будет» — вот девиз его жизни. Эзрой руководила романтическая покорность судьбе — источник его счастья и бед.)

Неожиданно перед ним вырос Джосайя:

— Видишь мои башмаки?

Эзра возвратился к действительности и посмотрел вниз, на ноги Джосайи. Из-под белых форменных брюк высовывались громадные непромокаемые парусиновые башмаки, которым не страшны ни наводнение, ни буран, ни лавина.

— Фирменные, «Л. Л. Бин»,— пояснил Джосайя.

— Ишь ты...

С некоторых пор Джосайя стал получать таинственные подарки от фирмы «Л. Л. Бин». Их доставляли ему раз или два в год: одноместная палатка, пуховый спальный мешок, охотничьи ботинки невероятно большого дефицитного размера, защитного цвета пончо, в котором можно спастись от любого муссона, аварийный комплект с компасом, кремнем и сигнальным зеркалом... И все это предназначалось человеку, который родился и вырос в городе и, по всей вероятности, не собирался оттуда уезжать. Ни визитной карточки, ни записки к подаркам не прилагалось. Джосайя направил запрос фирме, но в ответ ему сообщили, что даритель желает остаться неизвестным. Эзра с Джосайей не один час голову себе ломали, кто бы это мог быть.

— Помнишь старушку, у которой ты убирал снег? Не она ли?

— Да она уже давно умерла, Эзра.

— А помнишь Молли Кейн? Ты ее возил в инвалидном кресле на занятия по алгебре.

— Да, но она говорила: «Оставь мое кресло в покое, идиот!»

— Так может, сейчас она жалеет об этом.

— Ну нет, она не жалеет.

— А вдруг кто-нибудь, кому ты менял колесо? Или открывал дверцу автомобиля? Или... Нет, не знаю...

Обычно такие разговоры доставляли Эзре удовольствие, но сейчас, когда он разглядывал огромные башмаки Джосайи, его пронзила мысль, что даже у Джосайи, неуклюжего, зубастого заики Джосайи есть человек, с которым он связан — неважно, знает он его имя или нет,— и живет Джосайя в уютном гнездышке из подарков, секретов и тайной заботы, которых он, Эзра, лишен.

— «1 января 1914 года,— прочел вслух Эзра.— Надеюсь, этот маленький дневник не потеряется, как потерялся прошлогодний. Надеюсь, я не напишу сюда никаких глупостей, как раньше».

Мать безуспешно попыталась скрыть улыбку. О каких глупостях она могла писать в те далекие годы? Взгляд Эзры скользнул по странице к вычеркнутой строке.

— Здесь я кое-что не разберу,— сказал он.

— У меня всегда был плохой почерк.

— Нет, я хотел сказать, что ты так густо замазала эту строчку...

— Ш-ш-ш,— прошелестела мать.

— Что?

— Мы писали эту букву поверх слов, которые хотели сохранить в тайне от других.

— И правда не разберешь,— сказал Эзра.

— Читай дальше, —попросила мать.

— Хм... «Приложила к пальцу примочку из льняного семени.... Завела подвязки из бледно-розовых лент... Приготовила воздушную кукурузу — одну половину промаслила, а другую залила сахарным сиропом...»

Мать вздохнула. Эзра молча пробежал глазами несколько страниц.

До чего же бессюжетна, беспорядочна реальная жизнь! В романах события развиваются логично и последовательно, а в дневниках матери они беспорядочно пролетали мимо. Фрэнк подарил ей надушенные промокашки и коробку конфет с «кокосовой начинкой»; Рой пришел в гости и никак не мог уйти; Берт Тэнзи пригласил ее на комическую оперу, а потом подарил ей сборник песен из этой оперы; но ни один из этих людей ни разу больше в дневнике не упоминался. Некто по имени Артур написал ей письмо, «такое нежное... Я и не представляла, что он такой дурачок, хотя все было вполне прилично, и я нисколько не сержусь на него». Какой-то Кларк Алленсби обещал зайти и не пришел. «Наверное, это к лучшему,— записала она.— Но я не понимаю его поведения — ведь завтра он уезжает». А когда она вешала занавески, слуга-негр сказал, что к ней с визитом явился молодой человек. «Вид у меня был ужасный, но я все равно вышла в гостиную и увидела Хью Мак-Кинли. Он заглянул просто так, по дороге в магазин "Семена", и провел со мной некоторое время...»

Постепенно до Эзры дошло, что у матери (вернее, у девушки, которой она тогда была) все-таки существовал определенный замысел. Она задумала прекрасный сюжет — в любой случайной встрече заключался особый смысл, возможность стремительного романа, ослепительной свадьбы и безоблачного счастья до конца дней. «Джеймс Рейсон пришел неприлично поздно,— писала она,— стащил с рояля мою фотографию и спрятал в карман. Он вел себя ужасно глупо, просто передать невозможно. Не знаю, что из этого получится».

Что ж, из этого не получилось ничего. Все впустую. Она вышла замуж за коммивояжера корпорации «Таннер», а он ее бросил. Навсегда.

— Эзра, почему ты не читаешь? — спросила мать.

— Устал.

Эзра повел мать на бейсбольный матч. В старости она вдруг стала ярой болельщицей команды «Ориолс». Не отходила от радиоприемника если не удавалось попасть на стадион, и не ложилась спать, если назначали дополнительное время. Бейсбол, говорила она, единственный вид спорта, в котором есть смысл; это игра понятная, как нарды и умная, как шахматы. Ей очень нравилось собственное определение, но Эзра подозревал, что бейсбол чем-то напоминал ей телевизионные мелодрамы, которые она без памяти любила. Во всяком случае, каждый матч был для нее драмой, и она бурно переживала любую новость, которую Эзра выискивал для нее в спортивных разделах газет, — травмы игроков, соперничество, неудачи, печаль-

ные истории о начинающих, которые от волнения упускали верный шанс. Перл считала команду «Ориолс» бедной и добродетельной — ведь эта команда не имела возможности попросту перекупать опытных игроков, как это делали команды побогаче. Внешность игроков значила для нее очень много, словно они были кинозвездами: услыхав от одной из внучек, что у Кена Синглтона худое, скуластое лицо, она пришла в трепетный восторг. Она любила слушать рассказы о том, с каким изяществом Эл Бамбри замахивается битой для удара, как Стенхаус нарочно медлит и тем самым доводит всех до исступления. Ей ужасно хотелось, чтобы Дуг Де Чинчес сбрил усы, а Кико Гарсиа постригся как следует. Она считала, что тренер Эрл Уивер недостаточно заботится о своей команде, и часто, когда он заменял какого-нибудь беднягу игрока, которому не удалось толком себя проявить, она поворачивалась к радиоприемнику и, нарочито коверкая имя тренера («Мерл Бивер»), язвительно цедила: «Если человек любит свою профессию, это еще не значит, что у него доброе сердце».

Эзра иногда цитировал высказывания матери своим друзьям в ресторане и посреди какой-нибудь фразы вдруг думал про себя: да я же выставляю ее чудачкой,— и собственные слова казались ему фальшивыми, хотя он говорил чистую правду. Дело в том, что Перл была очень волевой, сильной натурой (в детстве — устрашающе сильной), и пусть внешне она съежилась от старости, но ее внутреннее «я» по-прежнему оставалось огромным, могучим, ошеломляющим.

На стадион они пришли загодя, чтобы мать могла без спешки дойти до своего места, но двигалась она так медленно и нерешительно, что к тому времени, когда они наконец уселись, на поле уже объявили состав команды. Места у них были хорошие, совсем близко от главной базы, где стоял игрок с битой. Мать с облегчением опустилась на скамью, но тотчас же снова встала — заиграли гимн. Даже два гимна — противник был из Торонто. К середине второго гимна Эзра заметил, что у матери дрожат колени.

— Хочешь сесть? — предложил он.

Перл отрицательно покачала головой. День выдался очень жаркий, но, когда Эзра взял мать под руку, кожа ее показалась ему прохладной и неестественно сухой, словно напудренной.

Какой же яркой и зеленой была трава! Он понял, о чем говорила мать: бейсбольное поле — ровное, четко расчерченное, яркое — действительно напоминало доску для настольной игры. Игроки лениво размахивали руками. На главной базе торонтский игрок сильным ударом биты послал мяч высоко вверх, но центровой «Ориолса» с легкостью, как бы небрежно, отбил его.

— Вот здорово! — восхитился Эзра.— Первая подача, а нападающий сразу вылетает из игры.

Он искусно комментировал действия игроков, рассказывал матери, что происходит на поле, обсуждая с нею ход игры.

— Ну и ну,— говорил он,— ничего себе замена! — Или восклицал: — Разве это мяч?! Вот шляпа! Кто так подает?

Мать внимательно слушала его, чутко вскинув голову, будто на концерте.

Что она получала от этого? Эзре казалось, что ей проще было бы следить за игрой дома, у радиоприемника. (Но она ни за что не возьмет транзистор на стадион из боязни, что люди примут его за слуховой аппарат.) По-видимому, ей нравится здешняя атмосфера — приветственные крики, всеобщее возбуждение, запах воздушной кукурузы. Она даже попросила стаканчик пива, хотя отпила совсем немного, а когда прозвучала сирена, чуть слышно, со смущенной полуулыбкой на губах сказала:

— Вперед!

Трое мужчин у них за спиной все больше пьянели, они громко

выражали свое неодобрение, свистели, приставали к проходящим мимо девушкам, но мать Эзры невозмутимо глядела на поле.

— Когда приходишь на стадион,— сказала она Эзре,— можно самому выбрать, на что смотреть, верно? Телевидение и радио сосредоточивают внимание, к примеру, на подающем, тебе же в это время хочется знать, что творится на первой базе, а приходится идти у них на поводу.

Отбивающий нырнул за низким мячом, взял его, и Эзра — он зорко следил за игрой — увидел, как все поле тотчас пришло в движение, каждый из игроков выполнял свой маневр. Блокирующий «Ориолса» Гарсиа без промедления подскочил, как на пружине, и поймал мяч; дальняя часть поля сузилась, точно в калейдоскопе; игрок со второй базы бросился было к третьей, но Гарсиа вывел его из игры.

— Браво, Гарсиа! — заорал один из пьяных сиплым голосом заядлого болельщика. Струя холодного пива из его стакана потекла Эзре за воротник.

— Н-да...— сказал Эзра матери, не зная, как объяснить ей, что произошло на поле, и в конце концов докончил: — Похоже, мы выигрываем.

Она не ответила. Эзра повернулся и увидел, что мать медленно склонилась вперед, выпустив из рук стакан с пивом.

— Мама! Мама! — закричал он. Люди, сидевшие вокруг, вскочили, засуетились.

— Расступитесь, дайте ей побольше воздуха,— сказал кто-то.

Перл с трудом уложили на скамейку. Лицо у нее было белое, как бумага, и неподвижное, как камень. Один из пьяных шагнул вперед, поправил задравшуюся юбку, другой откинул волосы ей со лба.

— Сейчас все пройдет,— сказал он Эзре.— Не волнуйся. Это от жары. А ну расступитесь! Дайте человеку воздуха!

Перл открыла глаза. Воздух был ослепительно ярким, как лезвие ножа, струящийся свет отливал металлом, но она даже не зажмурилась, и тогда впервые Эзра до конца осознал, что она слепа. До сих пор он как-то не отдавал себе в этом отчета. Он отшатнулся, присел на корточки возле чьих-то чужих ног и на миг вообразил, что останется здесь навсегда, вдвоем с нею — беспомощной, распластанной под ослепительным легким небом.

В ту ночь ему приснился сон: он ходит между столиками у себя в ресторане. Мистер Роузен, его давний клиент, нервно просматривает меню.

— Что бы вы посоветовали? — спрашивает он Эзру.— Я вижу, у вас есть бефстроганов, но это тяжеловато для меня. Я не очень голоден, просто хотел немного перекусить. В последнее время я что-то располнел, раздался в талии. Понимаете? Так что́ бы мне выбрать? На чем я мог бы остановиться?

Мистер Роузен вел себя точь-в-точь как в жизни; Эзра не ожидал другого и всегда относился к этому человеку доброжелательно. Но во сне его вдруг охватила паника.

— У меня ничего нет! — закричал он.— Не приставайте ко мне! — И он заломил руки при мысли о зияющей пустоте холодильника и остывшей плите.

Эзра проснулся в испарине среди скомканных, влажных от пота простынь. Темнота чуть отливала белизной, и он решил, что время близится к рассвету. Он встал с кровати, натянул пижамные штаны, спустился на кухню и налил себе стакан молока. Потом побрел в гостиную за каким-нибудь журналом, но под руку попались только старые номера. В конце концов он сел на ковер возле письменного стола матери и выдвинул нижний ящик.

Рецепт торта с апельсиновым джемом. На листке типографским шрифтом напечатано: «Из кухни миссис...» — а имя не проставлено

Чей-то свернутый в трубочку диплом, перевязанный грязной голубой лентой. Вырезка из газеты: «В плохих условиях сосны концентрируют всю свою жизненную силу в одной шишке, остальные же шишки отмирают». Фотография его сестры Дженни в вечернем платье, с браслетом из живых гардений. Дневник за 1909 год с заложенной между страницами сухой фиалкой. «Выстирала свое желтое платье, испекла буханку хлеба, играла в баскетбол, — прочел он.— Купила в магазине Уорнера колпак для шляпы и отделала его зеленой репсовой лентой. Законсервировала помидоры. Была на занятиях по спортивной ходьбе. Научилась по-новому играть в бирюльки...»

Гостиная бурлила ее энергией. Она без конца переделывала свои «лифы», то есть, видимо, блузки. Вышивала их, штопала, покупала материал для нового лифа, меняла тесьму на старом, приметывала либо выпарывала вставку, застрачивала складки на красном клетчатом лифе, пока не испортила лапку швейной машинки, обновляла рукава, даже целую неделю ходила на курсы моделирования. Она гладила корсаж, шила подкладку для корсета, штопала чулки, переделывала пояс, стегала ватное одеяло, вышивала монограмму на платочке, кроила фланелевые юбки (хотя Эзра ни разу в жизни не видел, чтобы она подрубила хотя бы кухонное полотенце). Она ходила на лекцию «Громовые раскаты гильотины». Мучила ветеринара в связи с болезнью Принца (ушиб коленного сустава). Продавала билеты на благотворительные вечера, любительские спектакли, пикники общества миссионеров. Поехала навестить дядю, но дверь оказалась заперта, только окно в гостиной было открыто.

В сонном, неподвижном доме Эзры самый громкий шум создавала пятнадцатилетняя Перл, которая, подобрав нижние юбки, влезала в то давнее окно.

Изо дня в день заходя в книжные магазины, Эзра первым делом хватался за медицинский справочник издательства «Мерк» и только потом переходил к другим, более популярным справочникам. В некоторых были указатели симптомов. Он нашел слово «уплотнение» и выяснил, что уплотнение действительно могло быть лимфатическим узлом — временным отеком в ответ на незначительную инфекцию. Еще оно могло быть грыжей, а то и кое-чем пострашнее. «Обратитесь к врачу»,— прочитал он, но не сделал этого. Каждое утро, снимая пижаму, он ощупывал уплотнение и убеждал себя, что надо позвонить доктору Винсенту, но потом передумывал. А вдруг у него рак? Стоит ли проходить все эти курсы облучения, химиотерапии?.. Лучше уж умереть.

Он заметил, что смерть представлялась ему своего рода приключением, чем-то новым, неизведанным. Как необыкновенное путешествие во время отпуска.

Приехала сестра Дженни с детьми. В среду утром. (Этот день был у нее свободен.) Приехала и тут же ловко принялась за домашние дела.

— Что надо погладить? Тащи сюда белье, живо!—сказала она. — А из продуктов что купить? — И тут же: — Куин, немедленно слезай!

В ней была уйма энергии, и она так бездумно ее растрачивала. Носилась по гостиной в изношенном платье, в стоптанных туфлях, с растрепанными черными волосами.

— По-моему, тебе надо купить кондиционер, мама. Слыхала последние данные о загрязнении воздуха? Человеку с твоим здоровьем...

Сначала мать безмолвно и покорно терпела этот словесный натиск, потом подняла свою бескровную руку.

— Подойди ко мне, Дженни, я хочу посмотреть на твои волосы, — сказала она.

Дженни подошла к матери, и та с недовольным видом провела рукой по ее волосам.

— Не понимаю, почему ты не следишь за собой,— сказала она.— Ты когда последний раз была в косметическом салоне?

— Я очень занята, мама.

— Сколько времени требуется на стрижку? Ты совсем перестала пользоваться косметикой, да? При таком освещении трудно разглядеть. Ох, Дженни, что подумает твой муж? Решит еще, что ты махнула на себя рукой. Вконец опустилась. Мне кажется, я не узнала бы тебя на улице.

Любимое ее выражение, подумал Эзра, «на улице я бы тебя не узнала». Она говорила так, когда речь заходила о том, что Дженни недостаточно следит за собой, что Коди редко их навещает, что Эзра стал полнеть. Мысленно он увидел широкий, безлюдный тротуар, по которому, отвернувшись друг от друга, идут члены их семьи.

Дети Дженни, изнывая от безделья и скуки, слонялись по дому. Малышка мусолила шнур от гардин. Девятилетняя Джейн непринужденно, как на стул или на диван, взобралась к Эзре на колени. От девочки пахло мелками для рисования и арахисовым маслом. Запахи были такие домашние, что у него потеплело на сердце.

— Что вы готовите сегодня в ресторане? — спросила Джейн.

— Холодные блюда. Салаты. Супы.

— Супы горячие,— сказала она.

— Не обязательно.

— Разве?

Она умолкла, наверное укладывая эти сведения на особую полочку в своей голове. Эзру растрогала ее готовность пойти навстречу, ее дружелюбное соглашательство. Неужели, думал он, дети ублажают взрослых? Взрослые требуют, чтобы не забывали говорить «спасибо» и «пожалуйста», и дети подчиняются: извольте, раз это так важно для вас. Стоит ли спорить из-за пустяков? «Это переходный глагол»,— скажет кто-нибудь из взрослых, и ребенок не станет протестовать, хотя, по правде говоря, ему совершенно все равно — переходный это глагол или непереходный. Какая разница? Все это для них полнейшая абракадабра.

— Может, пригласишь меня на ужин в свой ресторан? — спросила Джейн Эзру.

— С огромным удовольствием.

— А можно мне позвать с собой подругу?

— Разумеется.

— Я приглашу Барби.

— Прекрасно,— сказал Эзра.

— Ты тоже пригласи кого-нибудь из друзей.

— Все мои друзья работают в ресторане.

— А разве ты никогда не ходишь на свидания?

— Хожу, конечно.

— Да я не про ваших поварих, с которыми ты дружишь, я про другое.

— Ну как же, было время, и я ходил на свидания.

Это она тоже упрятала на полочку.

Дженни ругала врача Перл:

— Он слишком стар, слишком старомоден, слишком... на все руки. А тебе нужен хороший терапевт. Я как раз знаю одного опытного...

— С тех пор как мы поселились в Балтиморе, я лечусь у доктора Винсента,—сказала мать.

— Ну и что?

— А зачем менять? Просто так?

Дженни закатила глаза и повернулась к Эзре.

— Может, ты сама будешь лечить ее? — предложил он.

— Я же ее дочь, Эзра.

— Тем лучше.

— Вдобавок я педиатр.

— Дженни,—начал Эзра,—какое заболевание...

Он замолчал. Дженни подняла брови.

— Какое заболевание самое распространенное среди твоих пациентов?

— Невозможность оторвать их от матери.

— А-а...

— Почему ты спрашиваешь?

— Я думал, рак или что-нибудь в этом роде.

— Почему ты спрашиваешь? — повторила она.

Эзра пожал плечами.

Сложив неглаженое белье, составив список необходимых покупок и собрав детей, Дженни объявила, что им пора ехать. Прикоснулась щекой к щеке матери и потрепала Эзру по плечу.

— Я провожу тебя до машины,— сказал он.

— Не беспокойся.

Он все равно проводил ее к машине, донес мешок с бельем для глажения, а она сама несла малышку. По дороге им встретился почтальон. Он так сгорбился, что даже не заметил их.

Когда подошли к машине, Эзра сказал:

— У меня какое-то уплотнение.

— Уплотнение? — переспросила Дженни.— Где?

Он дотронулся до паха.

— Утром оно маленькое, а к вечеру становится большим и твердым, как камень в кармане. Может, это... рак.

— Едва ли. Скорее похоже на грыжу,—сказала Дженни.—Сходи к врачу.— Она влезла в машину и пристегнула малышку к ее стульчику. Потом высунулась в окошко:—Дети все здесь?

— Да.

Она помахала ему рукой, и машина тронулась с места.

Эзра застал мать у окна, словно она и вправду могла что-нибудь видеть.

— У этой девочки слишком большая семья,— сказала Перл.— От ее красоты, наверное, следа не осталось.

— Нет, я что-то не заметил.

— А ее волосы? Эзра, скажи мне честно, как ты находишь Дженни?

— Да как всегда.

— Тебе не кажется, что она махнула на себя рукой? Что на ней было?

Он постарался припомнить. Что-то выцветшее, но вполне приличное. Синее? Серое? Он попытался вспомнить ее прическу, фасон туфель, но вместо этого в памяти возникли тонкие морщины, которые всегда, с самого детства, кольцами прорезали ее шею, что совсем ей не шло. Мысль об этих морщинах почему-то расстроила Эзру. Так же как воспоминание о смуглых руках Дженни с неровно подстриженными овальными ногтями и «гусиных лапках» в уголках ее глаз и ее слова, означавшие, что жизнь его все-таки будет продолжаться...

— «6 февраля 1910 года,—прочел вслух Эзра.—Испекла несколько шотландских булочек, но к чаю их не подашь, получились не очень удачно».

Мать внимательно слушала, обдумывая каждое слово. Затем, как обычно, жестом показала, что это ее не интересует, и снова стала раскачиваться в качалке.

— «Запрягла Принца и поехала в центр за коричневыми шелковыми перчатками и пузырем для льда. Потом достала шляпную болванку и постирала свою соломенную шляпу. На ужин приготовила....»

— Давай дальше,— попросила мать.

Эзра быстро переворачивал страницы, выхватывая взглядом отдельные слова: «петельный шов», «гости на арбуз», «комплект хорошего меха — воротник и манжеты — за 22 доллара 50 центов».

— «Сегодня рано утром,— прочел он вслух,— пошла за дом полоть огород. Стояла на коленях на земле возле конюшни, в грязном фартуке, пот струился у меня по спине. Я вытерла лицо рукавом, потянулась за совком и вдруг подумала: ей-богу, вот сейчас я совершенно счастлива».

Мать перестала качаться, замерла.

— «...Из окна дома Бедлоу слышались звуки фортепьяно, девочка разучивала гаммы,— продолжал он,— навозная муха жужжала в траве, и я поняла, что стою на прелестной маленькой зеленой планете. Не знаю, что меня ожидает, но у меня была эта минута. И она принадлежит мне».— На этом запись обрывалась. Эзра замолчал.

— Спасибо, сынок,— поблагодарила мать.— Не надо больше читать.

Она с трудом поднялась с качалки и разрешила ему проводить ее на кухню. Эзра вел ее осторожно, шаг за шагом. Они пересекали кривизну планеты, маленькие и стойкие, окруженные друзьями и попутчиками,— вот Дженни мчится мимо со своими детьми, вот пьяницы на стадионе, мгновенно протрезвевшие, когда потребовалась их помощь, вот игроки бейсбольной команды послушно подпрыгивают в ярком солнечном свете, вот Джосайя, связанный с неизвестным дарителем, связанный столь же прочно и таинственно, как сам Эзра связан с этой идущей рядом женщиной.

10. ОБЕД В РЕСТОРАНЕ «ТОСКА ПО ДОМУ»

Когда Перл Тулл скончалась, Коди был в отъезде, охотился на гусей, и два дня его не могли разыскать. Они с Люком жили в лесу в бревенчатом домике, который принадлежал его компаньону. Телефона там не было, и добраться к домику можно было только по лесным дорогам.

Поздно вечером в воскресенье, когда Коди и Люк вернулись домой, Рут встретила их у гаража. Ночь была прохладная, но Рут не надела свитера и шла им навстречу, обхватив себя руками. Бледное веснушчатое лицо выглядело как-то необычно, выцветшие рыжие волосы растрепались от ветра. И Коди сразу догадался — случилось что-то недоброе. Рут не выносила холода и обыкновенно дожидалась их в доме.

— Плохие новости,— сказала она.— К сожалению.

— Что случилось?

— Твоя мать скончалась.

— Бабушка умерла?— переспросил Люк, как бы уточняя.

Рут поцеловала сына в щеку, но не сводила глаз с Коди, наверное, хотела понять, насколько известие расстроило его. Но пока еще и сам Коди, устало закрывая дверцу машины, не мог осознать случившегося. У матери, конечно, был трудный характер, но все-таки...

— Умерла во сне вчера утром,— сообщила Рут, взяла руку Коди в свои ладони и крепко сжала ее, так что боль, какую он ощутил в этот момент, была чисто физической. С минуту он постоял, не противясь, потом осторожно высвободил руку и пошел открывать багажник.

Они не подстрелили ни одного гуся — охота была поводом провести некоторое время с Люком, который заканчивал школу и вскоре

должен был уехать из дома учиться дальше. Коди вынул из багажника ружья в чехлах и брезентовый рюкзак, взял походный холодильник, и они молча вошли в дом. Коди все еще не произнес ни слова.

— Похороны завтра в одиннадцать,— сказала Рут. — Я обещала Эзре, что мы приедем утром.

— Он-то как?—спросил Коди.

— Голос нормальный.

Войдя в дом, Коди опустил рюкзак на пол у двери, ружья прислонил к стене. Он ощущал не столько горе, сколько тяжесть. Хотя он был худощав и по-прежнему в хорошей форме, ему показалось, что тело его как-то уплотнилось, глаза стали тяжелыми и сухими, а походка слишком грузной для узких лакированных досок пола в прихожей.

— Вот такие дела, Люк,—произнес он.

На Люка словно бы нашло какое-то оцепенение, а может, ему просто хотелось спать. Глаза на бледном лице прищурились от яркого света...

— Хочешь поехать на похороны? — спросил его Коди.

— Конечно,— ответил Люк.

— Тебе это не обязательно.

— Нет, я не против.

— Естественно, он поедет,— сказала Рут.— Он же ее внук.

— Это его ни к чему не обязывает,— сказал Коди.

— Нет, обязывает.

Они по-разному смотрели на такие вещи и могли бы проспорить целую ночь, но Коди слишком устал.

В Балтимор Коди повез их на машине Рут, потому что его машина после поездки на охоту была заляпана грязью. А им, видимо, придется участвовать в торжественном похоронном кортеже. Но когда он обронил какое-то замечание по этому поводу, Рут сказала, что, по словам Эзры, мать завещала, чтобы ее кремировали. («Жуть!»— ахнул Люк.) Поэтому будет только панихида без поездки на кладбище и без погребения.

— Разумно,— одобрил Коди. Он представил себе аккуратную фигуру матери, небольшой волнистый пучок на ее затылке. Сохранилось ли еще это неугомонное маленькое тело или уже стало пеплом? — О господи, какое все-таки варварство! — вырвалось у него.

— Что, кремация? — спросила Рут.

— Смерть.

Они мчались по шоссе — Коди в своем выходном сером костюме, рядом Рут в непомерно просторном черном платье, на заднем сиденье сидел Люк, глядя в окно. Они выехали на окружное шоссе и приближались к Балтимору, оставляя позади деревья, пламенеющие красными и желтыми листьями, торговые центры, как обычно в начале недели полные покупателей и машин.

— Когда я был маленьким, здесь жили фермеры,— сказал Коди Люку.

— Ты рассказывал.

— А Балтимор был тогда небольшим портовым городком.

Ответа не последовало. Коди посмотрел на Люка в зеркало заднего обзора.

— Эй,— окликнул он сына.— Хочешь сесть за руль?

— Нет.

— Я серьезно. Хочешь?

— Оставь его,— шепнула Рут.

— Почему?

— Он расстроен.

— Чем?

— Смертью твоей мамы. Ты же знаешь, Коди, он очень любил ее.

У Коди в голове не укладывалось, что кто-то мог очень любить его мать — кроме Эзры, которого некоторые считали блаженным. Коди еще раз посмотрел в зеркало на сына, но что поймешь по его невозмутимому взгляду?

— Я же, черт побери, просто спросил, хочет ли он сесть за руль! — сказал Коди.

Город выглядел еще более несуразным, чем обычно, он как бы рассыпáлся на части под блеклым голубым небом.

— Вон посмотри,— сказал Коди.— «Конфеты и табак Линси». Раньше здесь продавали сигареты несовершеннолетним. А это «Копчености Бобби Джо». А вон моя старая школа.

По обеим сторонам Кэлверт-стрит тянулись бесконечные ряды стандартных домов.

«Не представляю, как ты узнавал свой дом»,— как-то сказал ему Люк, и Коди очень удивился. Каждый, кто жил здесь, знал свой дом. Они вовсе и не были одинаковыми. Перед одним — множество роз в крохотном палисаднике, в другом на окне гостиной день и ночь сияла подсвеченная мадонна. В некоторых домах оконные рамы и двери были дерзко выкрашены в кричащие тона — будто зазнайки выпятили грудь. То, что у этих домов были общие стены, совершенно ничего не значило.

Коди затормозил у дома матери. Вышел из машины и потянулся, поджидая Рут и Люка.

В эту минуту Перл уже спешила бы им навстречу, протягивая свои нетерпеливые руки.

— Это машина твоей сестры? — спросила Рут.

— Понятия не имею, какая у нее машина.

Они поднялись на крыльцо. Рут цеплялась за ремень Люка. Он так вырос, что теперь она не могла, как прежде, опереться о его плечо.

После отъезда из Балтимора Коди, приезжая к матери, прежде чем войти в дом, всегда стучал в дверь. Умышленно: хотел унизить Перл. Она это понимала и сетовала: «Неужели нельзя войти без стука? Делаешь вид, что ты в этом доме чужой».— «Но я и есть чужой»,— отвечал он. И Перл всегда старалась перехитрить Коди и, заслышав его шаги, торопилась навстречу (так что, сбегая к нему по ступенькам крыльца, она, возможно, была движима не одной лишь любовью). И вот сейчас, подходя к двери, Коди не знал, постучать или просто открыть ее. Впрочем, теперь этот дом, наверное, принадлежит Эзре. Он постучал.

У Эзры был горестный, измученный вид. Летний костюм цвета хаки (только он мог посчитать этот костюм подходящим для такого случая) болтался на нем как на вешалке. Лицо его, как всегда, казалось совсем мальчишеским. Галстук был завязан небрежно, из кармана пиджака торчал мятый платок.

— А-а, Коди, заходи,— сказал он, тронув брата за плечо — жест более значительный, чем рукопожатие, но менее сердечный, чем объятия.— Рут? Люк? Мы уже начали волноваться...

Из мрачной глубины дома появилась Дженни, поцеловала каждого. От нее пахло какими-то мудреными духами, но вид, как всегда, был такой, будто собиралась она в спешке — жакет нараспашку, темные волосы растрепаны. Следом неторопливо шагал ее муж, толстый, бородатый, добродушный. Он легонько хлопнул Коди по плечу:

— Рад тебя видеть. Прими мои соболезнования.

— Спасибо, Джо.

— Пора,— сказала Дженни.— Надо выехать пораньше, ведь придется еще заехать за старшими детьми.

— Я готов,— кивнул Коди.

— Может, выпьешь сначала кофе? — спросил Эзра.

— Нет-нет, едемте.

— А я рассчитывал, что сперва мы выпьем по чашке кофе с пирожками. Думал, вы приедете пораньше.

— Мы уже позавтракали,— сказал Коди.

— Но все на столе.

Коди почувствовал, как внутри закипает давнее привычное раздражение.

— Послушай, Эзра...— начал он.

— Это очень мило с твоей стороны, Эзра,— сказала Рут.— Но честно, мы уже позавтракали, не стоит задерживать остальных.

Эзра посмотрел на часы. Потом взглянул через плечо в направлении столовой.

— Еще только четверть одиннадцатого.— Он подошел к окну на улицу, приподнял занавеску.

Стало ясно, что он преследует какую-то цель. Остальные стояли в ожидании. (Эзра мог быть убийственно медлительным и, если его торопили, медлил еще больше.)

— Так вот...— сказал он наконец и кашлянул.— Я надеюсь, что приедет папа.

Воцарилось напряженное молчание.

— Кто? — переспросил Коди.

— Наш отец.

— Но откуда он знает?

— Так ведь я... сообщил ему.

— Эзра, ты с ума сошел! — сказал Коди.

— Это не мое желание,— ответил Эзра,— а мамино. Она просила об этом, когда так сильно разболелась. «Посмотри мою записную книжку,— сказала она,— и всех, кто там записан, пригласи на мои похороны». Сначала я не понял, кого она имела в виду. Вы же знаете, она никому не писала, почти все ее родственники умерли. Но на первой же странице стояло — Бек Тулл. Я даже не думал, что ей известно, куда он сбежал.

— Он писал ей,— сказал Коди.

— Вот как?

— Время от времени он писал ей, хвастался своими успехами: «Дела идут отлично... Скоро меня должны повысить...» Я читал его письма тайком от мамы.

— Мне это в голову не приходило,— сказал Эзра.

— А какая разница?

— Ну, не знаю...

— Он бросил нас,— сказал Коди,— когда мы были совсем маленькие. Так какое нам до него теперь дело?

— Никакого,— сказал Эзра.

И Коди, которого так часто раздражало Эзрино мягкосердечие, понял, что брат говорит правду: ему действительно все равно. Глядя на Коди своими на редкость чистыми лучезарными глазами, Эзра сказал:

— Это мамина воля, не моя. Я только позвонил ему и сказал: «Это Эзра. Мама умерла. Похороны в понедельник в одиннадцать утра».

— И все? — спросил Коди.

— Ну а потом я сказал, что если он приедет пораньше, то может зайти сюда.

— Но ты не спросил у него: «Как живешь?», или «Где ты был все это время?», или «Почему ты нас бросил?»

— Я только сказал: «Это Эзра, мама умерла и...»

Коди рассмеялся.

— Как бы там ни было,— сказала Дженни,— он вряд ли приедет.

— Да,— согласился Коди.— Но ты только подумай, что происходит. Сначала отец уходит, а мама делает вид, что ничего подобного. Из гордости, из духа противоречия или еще по какой-нибудь причине она не сказала нам об этом ни слова. Делала вид, что он просто уехал в командировку. На целых тридцать пять лет. А теперь Эзра звонит ему по телефону и происходит то же самое: «Это Эзра...» — будто он видел отца только вчера...

— Может, поедем все-таки? — сказала Дженни.— У меня там дети совсем закоченеют.

— Да, конечно,— забеспокоилась Рут.— Коди, милый, дети ждут нас.

— Мама поступила бы так же,— сказал Коди.— Если бы вдруг появился отец, она бы сказала: «А, вот и ты. Скажи, пожалуйста, у меня из-под юбки не торчит комбинация?»

Джо фыркнул. Эзра улыбнулся, но глаза его заволокло слезами.

— Ты прав,— вздохнул он.— Именно так она и сказала бы. Именно так.

— Ладно, пусть бы так и сказала,— вмешалась Дженни.— Поехали?

В конце концов, она, Дженни, была в то время маленьким ребенком и поэтому теперь могла утверждать, что совсем не помнит отца.

Во время панихиды священник, никогда не видевший Перл, произнес речь настолько безличную, что Коди вспомнилась игра: все по очереди пишут слова, загибают край листка и передают следующему, а потом, читая, что получилось, хохочут до слез.

— Перл Тулл,— сказал священник,— была преданной женой, любящей матерью, столпом общества. Она прожила долгую счастливую жизнь и умерла в кругу семьи, оплакивающей ее, но родные усопшей находят утешение в мысли, что она ушла в лучший мир...

Священник, наверное, забыл, а возможно, никто ему не сказал, что вот уже более трети века покойная жила без мужа, что она была неистовой, яростной и порой даже страшной матерью, что она не проявляла ни малейшего интереса к жизни окружающих, держалась как гостья из богатого квартала — выходя на улицу, всегда надевала шляпу, а когда была дома, постоянно держала дверь на замке. Жизнь ее действительно была долгой, но нисколько не счастливой, скорее несостоявшейся или... какое слово искал Коди? Взращенной на шпалерах. Исковерканной, изломанной, расплющенной, особенно с годами, когда она состарилась, съежилась, ослепла и стала целиком зависеть от Эзры. Она не была религиозна, десятилетиями нога ее не ступала в молельный дом, и хотя в угнетенном состоянии духа она иногда признавала, что рай существует, Коди ничуть не утешала мысль, что мать его попала в райские кущи — она и там будет суетиться, осуждать, будоражить других, вызывать недовольство окружающих.

В молельне Коди сидел справа на передней скамье — воплощение скорби и сыновней преданности. Однако скептические мысли проносились в его голове с таким шумом, что он готов был поверить: присутствующие прихожане способны их услышать. Он будто возвратился в детство и боялся, как бы мать не угадала его мысли так же безошибочно, как угадывала, готова ли курица в духовке, словно невзначай щипнув ее за ножку. Коди покосился на Рут — она внимательно слушала священника. Тот объявил заключительный псалом, который Перл назвала в своем погребальном распоряжении: «Со временем все мы поймем». Вскинув длинное костлявое лицо и готовясь начать псалом, преподобный Тэрман выглядел смущенным — не

столько неисповедимостью путей господних, сколько равнодушием скорбящих. Присутствующие уставились в раскрытые молитвенники, безмолвно следя за текстом псалма. Да и народу было очень мало: несколько сослуживцев Эзры, небольшая группа угрюмых подростков — внуки покойной, мрачно восседавшие на разных скамьях, и пять-шесть неизвестных стариков, прихожан с сумками, которые заглянули сюда, словно чтобы укрыться от холода.

Служба окончилась, священник сошел с кафедры и остановился возле Коди, чтобы пожать ему, старшему сыну, руку и выразить сочувствие.

— Примите мои соболезнования,— сказал священник,— я понимаю, это такая утрата...

Коди поблагодарил и вместе с Рут зашагал по проходу за священником. За ними следовали Дженни и Джо, а последним, сморкаясь, шел Эзра. По всем правилам внуки должны были присоединиться к ним, но, сделай они это, на церковных скамьях не осталось бы почти никого.

На улице было холодно и дышалось легче. Грохот машин приободрил Коди. Он стоял на тротуаре между Дженни и Рут и принимал соболезнования от незнакомых прихожан.

— Прекрасная служба,— тихо говорили они.

— Благодарю вас,— отвечал он.

Коди услышал, как женщина, стоявшая у притвора, сказала Эзре:

— Сочувствую вашему горю.

И тот сердечно ответил:

— Что поделаешь? — Хотя он был единственным из троих детей, для кого смерть матери явилась большим ударом. Чем теперь он заполнит свои дни? Он был для Перл глазами. А в последнее время даже руками и ногами. И теперь, когда матери не стало, он будет возвращаться вечером домой и... Что же он будет делать? Чем займется? Коди представилось, как Эзра в одиночестве сидит на диване или, не раздеваясь, лежит на постели, вглядываясь в роящийся над головой мрак.

— Эзра говорил тебе, что после службы мы соберемся у него в ресторане? — спросила Дженни.

Коди с тяжелым вздохом пожал руку какому-то старику и повернулся к Дженни:

— Я так и знал. Так и знал.

В самом деле, разве он не говорил об этом Рут? В машине, по дороге в Балтимор, он сказал: «Господи, наверняка потом устроят сборище. Опять будем мучиться на нескончаемом семейном обеде в Эзрином ресторане».— «Думаю, он очень расстроен,— ответила тогда Рут.— Вряд ли ему сейчас до обеда». Это лишний раз доказывало, что она не настолько хорошо знала Эзру, как ей представлялось. Обед он устроит во что бы то ни стало. Дай только повод — свадьба, помолвка или племянник, который успешно закончил учебный год,— и он тут же готов устроить обед в ресторане «Тоска по дому». Вся семья в сборе! Теплая семейная встреча. Эзра, как всегда, будет потирать руки — есть у него такая мерзкая привычка. Наверняка его повара трудятся сейчас над... как это называется? Поминальным обедом. Коди вздохнул. Но он знал наверняка: придется идти.

Старик, видимо, что-то сказал и ждал от Коди ответа, наклонив к нему свое раскрасневшееся лицо под пышной шапкой серебристых волос, в которых сверкало солнце.

— Благодарю вас,— сказал Коди и, видно, невпопад. Лицо старика разочарованно вытянулось.

— Хм-м...— пробормотал Коди.

— Я спросил,— повторил старик,— узнаешь ли ты меня, Коди.

Да, Коди его узнал.

И мог бы узнать раньше. Были приметы, на которые ему следовало тотчас же обратить внимание: этот веерообразный, все еще густой и волнистый чуб, ослепительная синева глаз, темно-синий, не по размеру, костюм в узкую полоску, придававший владельцу прямотаки гангстерский вид.

— Да.— Старик победоносно кивнул.— Перед тобой — твой отец, Коди.

— Как ты думаешь, Эзра не забыл поставить для папы прибор? — спросил Коди у сестры.

— Что? — рассеянно переспросила она, глядя на Бека Тулла.

— В ресторане. Думаешь, не забыл?

— Наверное, нет,— сказала Дженни.

— Будет просто обед,— сказал Коди Беку.

Тот непонимающе уставился на него.

— Легкий обед в «Тоске».

— О чем ты? — спросил Бек.

— О том, что будет поминальный обед в ресторане «Тоска по дому».

Бек провел рукой по лбу и сказал:

— А это Дженни?

— Да,— ответила она.

— Когда я видел тебя, Дженни, в последний раз, тебе было лет восемь,— сказал Бек.— восемь или десять. У тебя еще была любимая песенка про Мэри и ее овечек. Ты распевала ее с утра до вечера.

— Да, помню,— холодно ответила Дженни.— «А ягнятки щиплют плющ».

Бек набрал воздуха, чтобы сказать еще что-то, но замолчал и закрыл рот.

— Ты, конечно, помнишь Рут? — спросил Коди.

— Рут?

— Мою жену.

— Да как же я могу ее помнить? Я же уезжал! Меня здесь не было!

Рут шагнула вперед, протягивая ему руку.

— Значит, Коди женат,— сказал Бек.— Подумать только. И дети есть?

— Ну конечно. Люк,— ответил Коди.

— Стало быть, я дед! — Бек повернулся к Дженни.— А ты? Ты замужем?

— Да, муж поехал за малышами.— Дженни помахала кому-то рукой.

— А Эзра? — спросил Бек.— Где же Эзра?

— Вон там, у лестницы,— сказал Коди.

— Вижу.

Бек бойко направился к Эзре, пригладил рукой волнистый чуб. Дженни и Коди проводили его взглядом.

— Если б я встретила его на улице, я бы прошла мимо,— сказала Дженни.

— Мы как раз и встретили его на улице,— заметил Коди.

— А ведь в самом деле.

Бек подошел к Эзре и остановился перед ним с видом ребенка, который ждет похвалы. Эзра учтиво склонил голову, чтобы получше разобрать слова Бека, потом мягко улыбнулся и пожал ему руку.

— Подумать только! — донесся до Коди и Дженни голос Бека.— Оба сына выше меня ростом.

— Обедать будем в моем ресторане,— безмятежно сообщил отцу Эзра.

На лице Бека снова отразилось недоумение, но он быстро овладел собой, воскликнул: «Замечательно!»— и направился к подросткам, ко-

торые, смекнув, в чем дело, сгрудились неподалеку, молчаливые и враждебные. Бек, казалось, не замечал этого.

— Я ваш дедушка,— объявил он.— Дедушка Тулл. Вы когда-нибудь слыхали обо мне?

Похоже, что не слыхали, так как ни один рта не раскрыл. А Бек по-прежнему с сияющей улыбкой смотрел на них.

— Я ваш пропавший дедушка,— сказал он.— А вы... Какой красивый парень!

Бек энергично пожал руку самому длинному из подростков, который, к сожалению, вовсе не приходился ему внуком, а работал у Эзры на салатах.

В ресторан шли пешком — Коди, Рут и Дженни впереди, остальные беспорядочной группой следом за ними. Они свернули на Сент-Пол-стрит, миновали химчистку, аптеку, цветочный магазин — небольшие заведения, полные шумных клиентов. Прохожие вокруг были в основном негры; многие прижимали к уху маленькие транзисторы, из которых, то приближаясь, то удаляясь, доносились обрывки песен о любви, ревности и жестокосердных женщинах. И вот уже над головами закачалась на ветру деревянная вывеска ресторана; Коди, Рут и Дженни поднялись по ступенькам и вошли внутрь.

В струящемся из окон холодном свете ресторан казался пронзительно пустынным. Один из длинных столов под белой льняной скатертью был уставлен хрусталем и фарфором. Коди насчитал тринадцать приборов — Джо, муж Дженни, привезет детишек, которые еще слишком малы, чтобы высидеть заупокойную службу. Миловидная полная официантка в ситцевом халате придвинула к столу высокий детский стульчик, а увидев их, подошла к Дженни и обняла ее.

— Очень вам сочувствую,— сказала официантка.

— Благодарю вас, миссис Поттер... Вы знакомы с моим братом Коди? А это его жена, Рут.

Миссис Поттер огорченно прищелкнула языком:

— Такой тяжелый день для всех вас.

Коди повернулся к двери в тот самый миг, когда в зал вошли Бек и Эзра, а за ними толпа подростков. Эзра, как видно, немного успокоился и стал более разговорчивым; он вообще не умел подолгу выказывать холодность.

— ...И тогда я сломал вон ту стену...— говорил он.

— Очень здорово, прямо шик,— похвалил Бек.

— А на полу — простые доски...

— Надеюсь, у тебя не подают эти нынешние... не-поймешь-что?

— Нет-нет.

— А то ведь смешают все в одну кучу, как винегрет.

— У нас так не бывает.

Коди с интересом прислушивался к их разговору. (Эзра частенько подавал именно такие блюда.) Эзра провел Бека через весь зал, показывая то одно, то другое.

— Видишь, вот эти столики в случае чего можно сдвинуть вместе... Здесь у нас кухня... А это — мои повара, Сэм и Майрон. Сегодня они пришли специально, чтобы приготовить для нас обед. А вечером у меня работают еще трое — Джосайя, Шенил и Мохаммед.

— Да, большое у тебя дело,— сказал Бек.

Все в ожидании стояли возле стола. Сесть никто не решался. Люк, сын Коди, и Питер, пасынок Дженни, непривычно торжественные в белых рубашках с галстуками, от смущения подталкивали друг друга, исподлобья поглядывая на Бека. Очевидно, вообразили, что этот незнакомый человек как раз и сможет по достоинству их оценить. Но когда наконец пригласили за стол, никто не пожелал сесть рядом с Беком. Возможно, от робости. Даже Эзра и тот сел поодаль. Джо и младшие дети еще не приехали — по обе стороны от Бека ока-

залось несколько свободных стульев. Но он словно и не замечал этого. Восседал в одиночестве, как король, и с широкой улыбкой оглядывал окружающих. Щеки его покрывала сеточка красных жилок, отчетливых, как прочерченные на карте реки с их притоками.

— Итак,— сказал он,— мой сын — владелец первоклассного ресторана.

Эзра выглядел довольным и смущенным.

— А моя дочка — врач,— продолжал Бек.— А ты, Коди? Кто ты?

— Консультант по НОТ,— ответил Коди,— ты же знаешь.

— По чему?

Коди не ответил.

— Он обследует заводы,— объяснил Эзра,— а потом дает инструкции, как наладить дело, чтобы повысить производительность труда.

— Понятно. Изучает проблему рабочего времени.

— Он один из лучших специалистов,— сказал Эзра.— Про него пишут в газетах.

— Да что ты говоришь? Ну, сын, горжусь тобой.

Коди вдруг подумал, что с завтрашнего дня можно не ходить на работу. Наконец-то его успех признан. Неужели это все, к чему он стремился — к мимолетному уважению, промелькнувшему на лице отца?

— Я много думал о тебе, Коди,— наклонился Бек к сыну.— Часто вспоминал тебя, после того как уехал от вас.

— Да? — вежливо обронил Коди.— А ты разве уезжал?

Отец смутился.

— Было дело.— Эзра кашлянул.— Ладно. Ну а ты как, папа? Все еще служишь в корпорации «Таннер»?

— Нет, я уже на пенсии. С шестьдесят пятого года. В мою честь устроили великолепный банкет и преподнесли ручку и карандаш из чистого серебра. Как-никак сорок два года у них прослужил.

У Рут вырвался негромкий возглас, по-женски восхищенный.

Бек повернулся к ней:

— Честно говоря, иногда я скучаю по людям, по жизни... Жизнь коммивояжера — это вечное движение, понимаете? Вечное движение. А теперь у меня то и дело остается уйма свободного времени. Но я, конечно, вижусь с людьми, за картами, например. Есть у меня несколько приятелей в гостинице, где я живу. И дама, с которой я встречаюсь.— Он взглянул на окружающих из-под мохнатых бровей.— Вы небось думаете, я слишком стар для этого. Знаю, меня не обманешь! Но она настоящая дама и высоко ценит меня. Поверьте, я глубоко уважал вашу матушку, но теперь, когда ее не стало, я могу снова жениться...

Коди почему-то никогда в голову не приходило, что его родители до сих пор женаты. Дженни и Эзра тоже захлопали глазами и слегка смутились.

— Единственная загвоздка — в ее дочери,— продолжал Бек.— У нее есть дочь, никудышная дочь. Тридцать пять уже стукнуло, а все при матери сидит. Юстасия-Ли. Дрянь девка. Бог знает сколько лет назад ей отхватило два пальца на сверлильном станке, и с тех пор она ни дня не работала. Всю компенсацию ухлопала на автосани. Не очень-то мне охота жить с ней под одной крышей.

Все молчали, не зная, что сказать.

Тут явился Джо. Ворвался в ресторан в облаке свежего воздуха, с малышкой на руках, таща за собой целую ораву детей. На самом деле так только казалось, их было всего трое, но они без умолку трещали и размахивали руками.

— Миссис Несбитт не хотела отпускать меня с уроков.

— Ты не догадаешься, что съела малышка!

— Фиби оставили после уроков, она запустила математику.

— Кто это? — спросила одна из девочек, уставившись на Бека.

— Твой дедушка Тулл.

— Ясно... А вина нам сегодня дадут?

— Джо, разреши познакомить тебя с моим отцом,— сказала Дженни.

— Да что ты? — сказал Джо.— Вот не ожидал...— Но ему пришлось заняться ремешком на детском стульчике.

Двое детей заняли пустующие места справа и слева от Бека. Они зацепились ногами за перекладины стульев и положили на стол острые локти. Бек изумленно посмотрел сначала на одного, потом на другого.

— Ну надо же! — воскликнул он.

— Что? — переспросила Дженни.

— Эта компания, это сборище, эта ассамблея!

— Ах, ты вот о чем,— сказала Дженни, доставая из сумки детский нагрудник.— Действительно, сборище солидное.

— Одиннадцать, двенадцать... тринадцать... считая малышку, четырнадцать человек!

— Было бы пятнадцать,— сказала Дженни,— да Слевин сейчас в колледже.

Бек покачал головой. Дженни повязала малышке нагрудник.

— Целая команда получается,— сказал Бек,— в полном составе.

Набожная Фиби прочла молитву. Миссис Поттер поставила перед Беком тарелку горячего супа. Он с недоверием вдохнул запах.

— Суп из баклажанов,— пояснил Эзра.

— Хм-м, я думаю...

— Баклажанный суп Урсулы. По рецепту одной из лучших моих поварих...

— В день похорон,— заметила Фиби,— не грех бы и помолчать во время молитвы.

— ...Она стряпала по законам астрологии,— продолжал Эзра.— К примеру, я ей говорю: «Давайте сделаем сегодня салат из эндивия», а она отвечает: «Сегодня в еде — никакого уксуса, звезды не велят». И вместо салата готовит какое-нибудь другое блюдо, которое сам я никогда бы не включил в меню — кто станет есть такое! А ведь ели! Да еще как. Она всегда попадала в точку. Может, эти гороскопы и впрямь не лишены смысла? Но вот прошлым летом звезды посоветовали ей уйти с работы, и она ушла, а я до сих пор не могу найти замену.

— Признайся, в чем здесь секрет! — затормошила его Дженни.

— Кто говорит, что здесь есть секрет?

— По-моему, в любом рецепте есть секрет, разве не так? Что-то особенное, какой-то неожиданный фокус, которым делятся только с кровной родней?

— Что ж. В данном случае это бананы.

— Ага!

— Без бананов в этом супе не было бы ничего особенного.

— В день смерти можно и не обсуждать еду,— заметила Фиби.

— Это не день смерти,— сказала Дженни.— Возьми салфетку.

— Дело в том...— начал Бек и запнулся.— Все это похоже на встречу большой, веселой, шумной семьи! Да-да, семьи!

Взрослые оглядели стол. Дети увлеченно хлебали суп. Бек, который так и не окунул еще ложку в тарелку, взволнованно продолжал:

— ...Я говорю о семейном клане. Вроде тех, какие показывают по телевизору. Толпы двоюродных братьев, сестер, дядюшек и тетушек, шутки, встречи...

— Вообще-то ничего подобного,— вставил Коди.

— Как «ничего подобного»?

— Зря обольщаешься. На самом деле — ничего подобного. Только двое-трое из всех этих детей — твоя родня. Остальные — дети Джо от первого брака. Что до меня, я не видел их много лет и не могу

даже сказать, как зовут младшего. Кстати, девочка это или мальчик? Меня хоть известили, когда он родился? Так что не причисляй меня к этому клану. А Бекки сидит вон там, в конце стола...

— Бекки? — переспросил Бек.— Случайно не в мою честь?

Коди осекся и с открытым ртом повернулся к Дженни.

— Нет,— ответила она, вытирая малышке подбородок.— Ее полное имя Ребекка.

— Ты считаешь, что мы — семья.— Коди снова повернулся к отцу.— Обыкновенная веселая семья вроде тех, что показывают в комедиях по телевизору. А на самом деле живем мы каждый сам по себе, раскиданы по разным углам, а мать наша была ведьмой...

— Ну, Коди! — сказал Эзра.

— ...Бешеной крикливой ведьмой, от которой можно было ждать чего угодно,— не унимался Коди.— Она лупила нас, обзывала «мразью», «гаденышами», орала «чтоб вы сдохли», трясла так, что дух захватывало, вопила как полоумная. Никогда не угадаешь, в каком она настроении — в хорошем, в плохом? От любого пустяка могла взбеситься. «Да я тебя в окно вышвырну! — кричала мне. — Вот весело будет — мозги всмятку!»

Миссис Поттер и вторая официантка, которая все время улыбалась, словно твердо решив ни на что не обращать внимания, на цыпочках подали жаркое, но ни у кого из сидящих за столом рука не поднялась взять вилку. Малышка тихо ворковала над шляпкой грибка, лежавшего на ее тарелке. Остальные дети, побелев от ужаса, смотрели на Коди, взрослые же, казалось, думали о чем-то своем. Все, даже Бек, сидели опустив глаза.

— На самом деле было вовсе не так,— наконец сказал Эзра.

— По-твоему, выходит, я вру? — спросил Коди.

— Нет, но она же не всегда была такая злая. По-настоящему она сердилась редко, всего несколько раз за долгие годы, именно это и осталось у тебя в памяти.

Коди почувствовал себя опустошенным. Он бросил взгляд на свою тарелку, там лежал кусок молодой баранины, чуть розоватый посредине, а рядом яркие овощи — один из шедевров Эзры, но Коди не мог прикоснуться к еде.

— Ты вспомни другое,— продолжал Эзра. — Вспомни, как она играла с нами в «монополию», слушала с нами по радио Фреда Аллена. Как играла с тобой... помнишь, вы с ней играли ту сценку? «Айви, милая Айви...» А потом, приплясывая, удалялись под ручку на кухню?

— Ну и ну! — сказал Бек.— А я даже забыл, что Перл умела танцевать.

Миссис Поттер налила Коди вина. Он взял рюмку за ножку, но так и не смог поднять ее. Рут искоса с тревогой наблюдала за ним.

— Так-то,— сказал Эзра. — Тебе нравится это вино, папа?

— Знаешь, сынок, я не большой любитель вина.

— Это правда замечательное вино.

— Мне больше по вкусу рюмочка кукурузного виски,— сказал Бек.

— Самое лучшее вино будет к десерту. Его делают из винограда, пораженного особой плесенью, и...

— Погоди-погоди,— перебил Бек.— Говоришь, плесенью?

— Тебе наверняка понравится.

— А это что за белая штука?

— Русская каша.

— Никогда не пробовал.

— Тебе наверняка понравится,— повторил Эзра.

Бек покачал головой, но выглядел очень довольным, похоже, ему было приятно, что Эзра опередил его в жизни.

Коди отодвинул тарелку.

— У меня есть компаньон,— сказал он.— Слоун. Он холостяк. Ни разу не был женат.

Все, даже дети, с интересом обернулись к нему.

— Так вот в прошлом году,— продолжал Коди,— Слоун случайно встретил старую знакомую, женщину, с которой много лет назад у него был роман. Она была с дочерью, и встреча произошла как раз в день рождения дочери. Чтобы как-то поддержать разговор, Слоун спросил, сколько девочке лет, и, когда женщина ответила, его вдруг осенило. Он прикинул в уме и воскликнул: «Господи, да это, наверное, моя дочь!» Женщина рассеянно посмотрела на него, собралась с мыслями и сказала: «Да, между прочим, твоя».

Все молчали. Коди улыбнулся и поднял руку в знак того, что рассказ окончен и присутствующие могут приниматься за еду.

— Странная женщина,— сказал наконец Бек.

— Вовсе нет,— возразил Коди.

— Могла бы по крайней мере...

— ...Тем самым она дала ему понять,— пояснил Коди,— что он, Слоун, никакого отношения к ним не имеет. Он никогда с ними не жил, а поэтому в расчет его не принимают. Он не был членом их семьи.

Бек резко откинулся на стуле. Глаза его теперь казались не ярко-синими, они потемнели до черноты.

— Малышка! — вдруг крикнул Джо.

Девочка беззвучно содрогалась, рот ее был широко открыт, личико побагровело.

— Она задыхается! — ахнула Дженни.

Несколько человек повскакали с мест, опрокинулась чья-то рюмка. Джо пытался вытащить малышку из стульчика, но Дженни остановила его:

— Не надо! Пропусти меня к ней!

Ребенок был пристегнут к стульчику ремешком, и высвободить его оттуда было невозможно. Кто-то из детей постарше расплакался. Что-то с грохотом упало на пол. Дженни слегка ударила малышку по диафрагме, и на стол вылетела грибная шляпка. Раздался громкий вопль, девочка снова порозовела. Ее вытащили из стульчика и посадили к Дженни на колени. Она тотчас повеселела, устроилась поудобнее и стала гонять пальчиком горошину по краю тарелки.

— Доживу ли я до того времени, когда они вырастут?! — вырвалось у Дженни.

— Он ушел,— сказал Эзра.

Все сразу поняли, о ком речь, и устремили взгляд на стул Бека. Он был пуст. Льняная салфетка брошена рядом с тарелкой, угол ее намок от подливки.

— Ждите меня здесь,— сказал Эзра.

Они не просто ждали, они перестали разговаривать, перестали двигаться. Эзра быстрыми шагами пересек ресторанный зал и вышел на улицу. За столом стояла оглушительная тишина, даже малышка не проронила ни звука. Скоро Эзра вернулся, встревоженный, теребя пальцами волосы.

— Он исчез, а ведь ушел всего минуту назад. Мы еще можем догнать его. Давайте все вместе!

Никто не тронулся с места.

— Ну пожалуйста! Прошу вас. Я хочу, чтобы хоть раз вся наша семья пообедала вместе, по-людски. Подумайте, ведь стоит нам собраться здесь всем вместе, как непременно что-то случается. Кто-то уходит рассерженный или в слезах, и все расстраивается... Пошли, прочешем все вокруг и найдем его! А потом снова соберемся и закончим обед.

— Можно закончить обед и без него,— заметил Коди.— Есть и такой вариант.

Но такого варианта не было, даже он это понимал. Единственное пустующее место за столом портило все. Уже сам по себе стул со спинкой в форме лиры выглядел сиротливо и укоризненно. Люди стали нехотя вылезать из-за стола. Дети толпились вокруг Эзры, и он, точно полководец, командовал:

— Ты и самые младшие ищите на Бушнелл-стрит... Встречаетесь с Джо на Прима-стрит...

Рут тоже поднялась и взяла у Дженни ребенка, чтобы та могла надеть пальто. Все направились к двери.

— Счастливой охоты! — крикнул Коди им вдогонку.

Демонстративно развалясь на стуле, он откинулся назад и попросил миссис Поттер принести еще вина. Однако в душе он был весьма смущен. Ему вспомнилось, как в начальной школе он порой доводил до слез какого-нибудь одноклассника и при этом так перегибал палку, что, оглянувшись вокруг, видел: никто уже не смеется. Разве не такое же глухое молчание царило сейчас в этом зале, среди застланных белыми скатертями пустых столов? Миссис Поттер поставила на поднос с серебряным ободком бутылку вина. А сама отступила, сложив руки на животе.

— Пойду, пожалуй, гляну, как у них там,— сказал ей Коди.

Небо тем временем стало ярко-синим. Бледное солнце освещало верхушки домов. Потеплело. Коди стоял, широко расставив ноги и подбоченясь, вроде бы совершенно невозмутимый, посмотрел сначала в одну, а потом в другую сторону. Часть поисковой группы — Джо и подростки — как раз заворачивала за угол. Высокая статная негритянка в тюрбане из ярких платков остановилась переложить продукты в своих сумках.

Коди свернул направо, в проулок между домами — узкая полоска бетона, окаймленная с одного боку старыми ящиками и мятыми мусорными баками. Миновал окно ресторанной кухни, где вентилятор повеял на него воспоминанием об Эзрином барашке. Обошел облезлую голодную кошку с хвостом, свалявшимся и истрепанным, как ершик для мытья бутылок. Коди был настороже, в затылке у него возникло то особое чувство, без которого на улицах Балтимора никак нельзя. Но шел он не торопясь, вразвалочку, засунув руки в карманы брюк.

«У тебя всегда должна быть цель,— учил его когда-то отец.— Делай вид, что идешь по делу, и никакая шпана к тебе не пристанет». Еще отец говорил: «Никогда не доверяй людям, которые начинают фразу со слов *откровенно говоря*». Ему же принадлежали высказывания: «Главное в боковой подаче мяча — резкий поворот кисти» и «Если хочешь что-нибудь продать, никогда не смотри покупателю прямо в глаза».

«Мы можем рассчитывать только на себя,— говорил Эзра, оправдывая очередной нескончаемый обед.— Нам надо держаться вместе, ведь нас связывает общий опыт прошлого». Жалкая, скудная горстка советов, полученная от Бека Тулла — больше Коди от отца ничего не видал,— ну куда годится такой опыт прошлого! Послушать отца, выходит, что для успеха требуется лишь видимость целеустремленности, недоверие к откровенности, ловкость рук и ускользающий взгляд.

Коди вдруг охватила тоска по сыну — по светловолосой голове Люка, по сутулым плечам. (Еще ребенком он поклялся, что скорее умрет, чем бросит своего сына; все что угодно, только не это...) Ему вспомнилась охота — они с Люком почти не разговаривали, стеснялись друг друга. Ну да ничего, может быть, Слоун разрешит ему отправиться в лесной домик на следующий уик-энд, тогда они с Люком еще раз попробуют найти общий язык.

Он вышел на солнечную, почти безлюдную Бушнелл-стрит. Заслонив рукой глаза от солнца, огляделся — и вдруг, как по мановению волшебной палочки, перед ним возник Люк! Он почему-то сидел

на ступеньках заколоченного дома. Коди быстро направился к сыну. Люк услышал шаги и поднял голову в тот самый миг, когда Коди подошел почти вплотную. Но это был не Люк. Это был Бек. Его серебристые волосы от солнца казались желтыми, он снял пиджак и остался в белой рубашке, плечи у него были точь-в-точь как у Люка — острые, сутулые. Коди остановился.

— Я искал междугородную автобусную станцию,— сказал Бек. — Думал, пешком дойду, но что-то непохоже...

Коди вынул платок, промокнул потный лоб.

— Клодетт небось ждет,— сказал Бек.— Это та знакомая, о которой я говорил. Вот я и решил, что пора возвращаться. Неловко, конечно,— поел и сразу ушел, но ты ведь знаешь, каково иметь дело с женщиной. Я обещал вернуться до ужина. И она верит мне.

Коди сунул платок обратно в карман.

— Теперь-то,— продолжал Бек,— Клодетт наверняка захочет, чтоб мы поженились. Она знает, что Перл умерла, и явно уже строит планы.

Бек расправил свой пиджак и осмотрел его как бы в поисках изъянов. Потом аккуратно сложил подкладкой наружу и повесил на руку. Подкладка была шелковистая, переливалась на солнце, как срез на лежалом мясе.

— Честно говоря,— сказал Бек,— я не рвусь жениться на ней. И дело не только в ее дочери, дело во мне. Во мне самом. Думаешь, у меня не было любовниц? Да я мог бы жениться чуть не на каждой. Многие умоляли: «Напиши жене, разведись, и мы поженимся». «Давай еще подождем»,— говорил я, но так ничего и не предпринимал. Сам не знаю почему.

— Ты оставил нас в ее когтях,— сказал Коди.

Бек посмотрел на него:

— Что?

— Как ты мог так поступить? Как мог бросить нас на произвол матери? — Коди наклонился к Беку и почувствовал легкий запах нафталина от его костюма.— Мы же были тогда совсем маленькими, не могли защититься. Ты был нашей единственной защитой. Мы напрягали слух, ожидая, когда за дверью прозвучат твои шаги, шаги заступника. А ты отвернулся, палец о палец не ударил, чтобы нас защитить.

Бек смотрел мимо Коди, куда-то в сторону.

— Она доконала меня,— сказал он наконец.

— Доконала?

— Убила все хорошее, что было во мне.

Коди выпрямился.

— Сначала она считала меня прекрасным человеком. Ты бы посмотрел на ее лицо, когда я заходил в комнату. Мы познакомились, когда она уже была старой девой и примирилась с этим. За ней давным-давно никто не ухаживал, подруги просили ее посидеть с детьми, которые называли ее тетей Перл. И тут появился я. И сделал ее счастливой! А себя загубил, сынок. Беда в том, что если я делаю женщину счастливой, то не могу ей ни в чем отказать. Будь она щербатой, уродливой или толстухой — чем хуже, тем лучше! Разведись я с твоей матерью, я бы, вероятно, уже раз шесть женился заново — переходил бы всякий раз к новой женщине, которая была бы счастлива просто оттого, что видит меня, и уходил бы, как только она, привыкнув ко мне, перестанет быть такой счастливой. Именно привычная близость вечно все портит. Не подпускай к себе людей слишком близко, сынок. Разве я не говорил тебе этого, когда ты был мальчиком? На первых порах у нас с твоей матерью все шло прекрасно. Казалось, я просто не мог сделать что-нибудь не так. Однако постепенно она стала замечать мои недостатки. Я не скрывал их; но, как теперь выяснилось, они все же имели значение. Я совершал ошибки,

и Перл их видела. Видела, что я слишком часто уезжаю из дома, мало помогаю ей, не продвигаюсь по службе, полнею, много пью, не так разговариваю, не так ем, не так одеваюсь, не так вожу машину. Что я ни делал — все было не так. Все оборачивалось несчастьем. Привезу из поездки какую-нибудь игрушку, чтобы порадовать вас, а из-за нее непременно начнется скандал — ваша мать всегда найдет к чему прицепиться: то игрушка слишком дорогая, то очень опасная, то слишком сложная. И вы, дети, тоже начинали ссориться, кому первому играть. Помнишь тот набор — лук и стрелы? Я-то думал, все будет хорошо, сблизит нас, поедем всей семьей за город, прикрепим мишень к дереву и станем упражняться в стрельбе. Но ничего не получилось. Сначала Перл сказала, что она не спортсменка, потом Дженни захныкала, что слишком холодно и она замерзла, потом вы с Эзрой заспорили и в конце концов подрались, выпустили стрелу и ранили мать.

— Помню,— сказал Коди.

— ...Попали ей в плечо. Кошмар. Катастрофа. На следующей неделе, пока я был в отъезде, что-то стряслось с ее раной. Возвращаюсь домой, а она говорит, что чуть не умерла. Инфекция какая-то, что ли. Это для меня была последняя капля. В воскресенье вечером я пил пиво на кухне и вдруг, к собственному удивлению, сказал: «Перл, я ухожу».

— Значит, это тогда ты ушел от нас? — спросил Коди.

— Собрал чемодан и ушел,— кивнул Бек.

Коди сел на ступеньки.

— Понимаешь,— сказал Бек,— я думаю, виной всему — беспросветность. Унылая беспросветность жизни. Все оказалось перепутанным, сложным и нисколько не прекрасным. Я так не мог. Мать могла, а я не мог. Что ж, надо отдать должное твоей матери.— Бек вздохнул и провел рукой по подкладке пиджака.— По правде говоря, когда я ушел, я не думал, что когда-нибудь снова захочу увидеть вас. Но потом иной раз и задумывался: интересно, что сейчас делает Коди? Чем заняты Эзра и Дженни? Семья у нас была не ахти какая счастливая, думал я, но так или иначе это все, что есть у человека. К тому времени прошло года два или три с тех пор, как я ушел от вас. И вот однажды вечером я очутился проездом в Балтиморе. Оставил машину в соседнем квартале и пошел к вашему дому. Чуть не замерз, пока ждал на другой стороне улицы; решил: если кто-нибудь выйдет из дома, тогда подойду. И вот появился ты. Сперва я даже не узнал тебя, решил, что в доме живет другая семья. А потом сообразил, что это ты так вырос. Стал почти мужчиной. Ты прошел по дорожке, нагнулся за вечерней газетой, выпрямился, подбросил ее в воздух и поймал — и тут я понял, что ты проживешь без меня. Ведь ты способен на такой беззаботный жест — подкинул газету и поймал ее. Из тебя будет толк, подумал я. И оказался прав, верно? Смотри! Разве из вас не получился толк — живете хорошо, все трое. Это ее заслуга, это Перл добилась. Я и тогда знал: она справится. И я вернулся к машине... После я жил своей будничной жизнью. Были кой-какие приятели, время от времени появлялись любовницы. Потом кто-нибудь начинал мною восхищаться, и я говорил себе: «Вот бы Перл узнала об этом». Изредка я посылал ей весточку. Сообщал свой последний адрес. Но на самом деле я писал, чтобы сказать ей: «Новый важный начальник очень высоко ценит меня» или «Одна дама в восторге, когда я захожу к ней». С ума сойти, правда? Мне кажется, что все эти годы, когда мне выпадала удача, я мысленно как бы выставлял ее напоказ перед вашей матерью. «Вот, Перл, полюбуйся»,— думал я, а теперь она ушла из жизни, так что же мне делать?

Бек горестно покачал головой.

Не зная, что ответить, Коди рассеянно глянул в сторону Примастрит и увидал, как все его семейство веером сворачивает к ним, на Бушнелл-стрит. Впереди мчались дети, за ними вприпрыжку бе-

жали подростки, а за теми, стараясь не отставать, почти бегом следовали взрослые — вид у них у всех был неожиданно радостный. Из-за темной траурной одежды лица их казались на диво светлыми. Руки и ноги детей так и мелькали, малышка подпрыгивала на плечах Джо. Коди был удивлен и тронут. Он почувствовал, что они притягивают его к себе, что не они к нему направляются, а он — к ним.

— Они нашли нас,— сказал он Беку.— Пойдем закончим обед.

— Не знаю, как и быть,— замялся Бек, но разрешил Коди помочь ему подняться.— Ладно, разве что последнее блюдо,— добавил он,— но предупреждаю: я уйду до того, как подадут это десертное вино.

Поддерживая отца под руку, Коди повел его навстречу родным. Над их головами парили чайки, а небо сияло чистой синевой, навевая воспоминания о загородных прогулках детства — поездках на машине, пикниках, осенних походах, прогулках среди весенних цветов. Он вспомнил ту поездку, с луком и стрелами, и ему вдруг почудилось, что он снова видит изящный, трепетный полет стрелы. Видит распрямленную фигуру матери на фоне сухой травы, ее золотистые волосы, маленькие руки, поправляющие букет в тот самый миг, когда стрела уже была в полете. А в вышине, как ему казалось теперь, висел тогда почти недвижимый коричневый самолетик, гудящий как шмель в солнечных лучах.

Искусство человеческого общения

Перл Тулл, героиня романа «Обед в ресторане "Тоска по дому"», на склоне своей долгой жизни проводит вечера за чтением записей в своем дневнике. Вернее — за слушанием. Зрение отказало Перл, и дневник читает ей вслух ее младший сын Эзра. Записям этим без малого три четверти века. «6 февраля 1910 года. Испекла несколько шотландских булочек, но к чаю их не подашь, получились не очень удачно... Запрягла Принца и поехала в центр за коричневыми шелковыми перчатками и пузырем для льда... На ужин приготовила...» И так далее. Сын читает, пытаясь понять, что именно надеется услышать мать в этих обрывках прожитой жизни, что покажется ей сейчас самым важным. Ничто не отражается на лице Перл. Но вот — очередная запись:

«Сегодня рано утром пошла за дом полоть огород. Стояла на коленях на земле возле конюшни, в грязном фартуке, пот струился у меня по спине. Я вытерла лицо рукавом, потянулась за совком и вдруг подумала: ей-богу, вот сейчас я совершенно счастлива».

Мать замерла.

— ...Из окна дома Бедлоу слышались звуки фортепьяно, девочка разучивала гаммы, навозная муха жужжала в траве, и я поняла, что стою на прелестной маленькой зеленой планете. Не знаю, что меня ожидает, но у меня была эта минута. И она принадлежит мне...» — На этом запись обрывалась. Эзра замолчал.

— Спасибо, сынок,— поблагодарила мать. — Не надо больше читать».

Вскоре Перл Тулл умерла. Итак, минута счастья за долгую-долгую жизнь. Почему так? На что же эта жизнь была потрачена?

В своем новом романе «Обед в ресторане "Тоска по дому"» американская писательница Энн Тайлер, известная советским читателям по роману «Блага земные», продолжает развивать основную тему своего творчества — тему трагической разобщенности людей в современном обществе.

После потока кинофильмов и романов, насыщенных удачливыми супергероями, экстраординарными событиями и экзотическими пейзажами, как бы вновь открываешь для себя в искусстве повседневность «одноэтажной Америки». Перед нами — рассказ о простых людях так называемого «среднего класса», жителях небольшого американского города.

«Обед в ресторане "Тоска по дому"» — это история одной семьи, семьи Туллов. Вернее, пожалуй, история воспитания матерью трех своих детей. Охватывая значительный отрезок времени — более полувека,— книга эта производит впечатление осознанной замкнутости. Замкнутости на формировании человеческого характера именно в своей семье. В ключевые моменты своей жизни они оказываются собранными в доме Туллов в Балтиморе, а причины своих взлетов и падений, поражений и удач рассматривают как бы сквозь призму сформировавшихся в детстве устремлений.

Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорит словами Алеши: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родитель-

ского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение». Увы, героям романа Энн Тайлер выпало немного таких воспоминаний.

Цель жизни Перл вполне обычна, бесспорна и понятна: благополучный брак, прочная семья, безукоризненный порядок в доме, счастье и преуспевание детей. Но превыше всего она стремится сохранить единство семьи, нерушимость клана Туллов. (Все находящееся вне стен их дома не существует для нее.)

Но мечты и планы героини рушатся. Муж неожиданно оставляет семью. Перл вынуждена зарабатывать на жизнь — с утра до ночи она сидит за кассой в бакалейном магазине, а вернувшись с работы, несет все заботы по дому, воспитывает и обихаживает детей. Разрыв с мужем, материальная нужда, усталость, повседневные заботы ожесточают ее, и Перл вымещает раздражение на детях. Отношения матери с детьми оставляют желать много лучшего: они «отбиваются от рук», стараются держаться подальше от нее.

Благодаря железной воле Перл удается выстоять в борьбе за существование, вырастить детей, «вывести их в люди». Но полного удовлетворения она не испытывает, понимая, что семьи, как таковой, не существует. А ведь все делалось из наилучших побуждений. Впрочем, возникает вопрос: что движет Перл в ее фанатическом подчинении всей жизни воспитанию детей? Только ли любовь к ним? Нет, на мой взгляд, ею движет другое чувство: «Воспитаю, несмотря ни на что! Назло всему!» Назло ушедшему от нее мужу Беку, назло собственной неудачливой юности, назло себе самой (она ведь так боготворила мужа в первое время их знакомства), назло даже самим детям, которые, кажется, только тем и занимаются, что мешают воспитывать себя! Воспитание «назло» неотделимо от властности и лжи. В нем нет места признанию собственных ошибок и взаимному уважению. Оно порождает комплекс неполноценности и злобу. Выросшие в таких условиях часто переносят свои детские впечатления на само понятие «семейная жизнь». Она кажется им каким-то изнурительным бременем, сковывающим свободу человеческой самореализации.

Дети Перл Тулл — второе поколение семьи. Это совершенно разные люди, как бы олицетворяющие для автора три способа подхода к жизни, своего в ней самоутверждения. Тайлер не проводит резкой грани в их материальном положении: никто из них не становится ни миллионером, ни безработным, ни крупным политиком, ни грабителем банков. Все «вышли в люди», заняты любимым делом. Это позволяет сосредоточить внимание в первую очередь на их внутреннем мире, на нравственной установке в жизни.

Старший сын Коди по внешним признакам является, кажется, образцом преуспевающего человека в «обществе равных возможностей». Воля, напор, обаяние, бесстрашие, удачливость — полный набор необходимых и достаточных качеств для успешной карьеры, для стабильного положения «сделавшего себя» бизнесмена. И в личной жизни достигнуто все, к чему стремился: девушка, которой он упорно добивался, согласилась стать его женой, влюблена в мужа, в семье растет умный, здоровый, интересный ребенок.

Однако счастья и гармонии нет во внутреннем мире Коди. Вся его жизнь надломлена полученными в детстве психологическими травмами. С самого раннего возраста он болезненно завидует своему младшему брату, мстит ему в мелочах, старается возбудить у матери ненависть к Эзре. Мать же с полным отсутствием педагогического такта противопоставляет Эзру Коди, вызывая у старшего все большую озлобленность.

Любопытна здесь авторская позиция Энн Тайлер. С одной стороны, Коди вызывает сочувствие, так как является стороной страдающей, в какой-то степени — жертвой материнской несправедливости. Однако его чувство ущемленности носит преувеличенно яростный, а временами просто маниакальный характер, тем более что с возрастом оно не проходит, а лишь приглушается «деловыми» победами.

Интересно, что, когда Коди, вспоминая детство, начинает пересказывать своему сыну Люку эпизоды, характеризующие, казалось бы, вопиющую материнскую несправедливость, тот не находит в них ничего особенного. Да, пожалуй, и самому Коди по прошествии многих лет должна бы стать ясна несостоятельность многих своих обид и подозрений. Однако он продолжает жить по инерции, опять словно «назло» матери и брату, мучая себя и своих близких.

Порой в детстве, как и во всей жизни, можно увидеть лишь то, что хочешь увидеть. Замкнутость на желании воспринимать только черное или, наоборот, только розовое ведет к оскудению и разрушению человеческой души.

Эзра как раз вспоминает из детства то, что объединяло семью, что вселяло надежду и веру. Эзра, безусловно, симпатичен автору. Любопытно сочетание несчастливости и как бы везучести в его судьбе. Ему вроде бы все идет в руки само. Девушки всегда обращают на него больше внимания, чем на брата, хотя он не прилагает к этому никаких усилий, да, кажется, и не замечает своего успеха. Он оказывается владельцем собственного дела — ресторана с хорошей репутацией. И опять же никаких шагов для этого он не предпринимал. Везение!

Однако разве не требует напряжения ума и души человека формирование нравственных установок в жизни? Постоянное внимание к людям, нежелание хоть

чем-то обидеть их, мучительные переживания из-за допущенной бестактности или, пусть и невольной, жестокости?

Семейная жизнь Эзры не сложилась. Коди, во многом из чувства зависти и мести брату, увел у него невесту. Эзра не может полюбить другую женщину. Смерть матери обнажает его одиночество и в какой-то мере пустоту жизни. Однако и в день похорон он устраивает семейный обед в своем ресторане, ресторане с символическим названием «Тоска по дому». Ему так хочется, чтобы хоть смерть матери сблизила родных по крови, но по сути чужих друг другу людей.

И все же (впрочем, это мое личное мнение) фигура Эзры Тулла неоднозначна. Сочувствуя ему, отдавая должное его доброте и чувству самопожертвования, иногда невольно становишься на позицию Коди по отношению к брату. И тогда доброта его оборачивается нерешительностью, рассудительность — безволием, а привязанность к матери — удобной формой существования. Судьба Эзры — тоже результат полученных в детстве психологических травм.

Дженни, младшая из детей Перл, в отличие от братьев, предстает в романе словно сотканной из разных лоскутков — разных черточек характера. Порой создается впечатление, что существуют как бы разные люди под именем Дженни. Однако все это она. А разность вызвана тем, что характер Дженни дан в развитии — в нелегком пути к собственному счастью, а главное — к самой себе. Она не желает терпеть насилия над собственной личностью, запрограммированности своей судьбы другим человеком, как это было в детстве.

Дженни рассказывает Эзре о своем первом муже: «Сперва он требует, чтобы машину вела я, но стоит мне сесть за руль, как он принимается критиковать каждое мое движение. Он такой умный, ты даже себе не представляешь, какой он умный... Он точно знает, какова оптимальная температура для тушения мяса, как лучше всего расставить на кухне мебель,— у него в голове все разложено по полочкам... распланировано заранее. Так и видишь, как в его голове перелистываются нумерованные страницы. Он никогда, никогда не делает ошибок».

Дженни по профессии детский врач, и это, конечно же, очень важно для идеи романа. Но еще важнее — личная судьба Дженни. Будучи уже второй раз разведенной, она выходит замуж за Джо — человека, от которого ушла жена, оставив шестерых детей. Да и у Дженни есть дочь — ребенок от второго брака. И Дженни с поистине потрясающей самоотверженностью берется за создание новой семьи. Сколько мудрости, любви и тепла, оказывается, существует в человеке. И как прекрасен он, посвящая себя другим. Впрочем, Дженни живет и для себя. В этом главное ее несходство с матерью. Она не «делает что-то для чего-то», а вольно существует в этом детском хороводе и дома и на работе. Это приносит ей счастье, не сравнимое с другими жизненными благами.

В романе «Обед в ресторане „Тоска по дому"» Тайлер дает беспощадный анализ действительности. Не только через факты открытого и явного социального зла (здесь и упоминание о кошмарах военной службы в Корее, о растущей преступности, о тяжелых условиях труда женщин), но главное — через извращение психологии человека. Тема одиночества, отсутствия столь необходимого тепла человеческого общения прослеживается в судьбах и главных героев, и в эпизодических персонажах, и в пейзажах, и в темпо-ритме повествования.

Но, пожалуй, более всего впечатляет тема, составляющая важнейшее звено в цепи мироощущения автора,— тема невозможности для человека показать свое лицо. Ведь на лице человека, если он искренен, читается все — и радости, и печали. И не дай бог, люди узнают, что у тебя что-то не в порядке. Америка не любит неудачников. Пожалуй, этим объясняется и властный характер Перл Тулл, терзающей себя и других, и вызывающая агрессивность Коди, и отчаянное стремление Дженни выйти замуж. Только бы не хуже, чем у других. Неважно, что ты собой представляешь на самом деле, важно, кто ты в глазах общества. И потому — прочь угрызения совести, нерешительность, раскаяние! Побеждает сильнейший!

При всем этом «Обед в ресторане „Тоска по дому"» нельзя назвать произведением пессимистичным, безысходным. Автор избегает легких решений, «хэппиэнда», однако роман проникнут верой в общность людей, в то, что человек способен выявить в себе и реализовать все лучшее, чем наделила его природа. Каждый из героев романа обретает в конце концов способность взглянуть на окружающую жизнь, на близких людей более широко и светло. В этом смысле роман Тайлер примыкает к произведениям «новой волны» в американской литературе, чьи авторы — Т. Уайлдер, Дж. Гарднер, П. Смит и другие,— несмотря на общественные потрясения в стране, вызванные прежде всего войной во Вьетнаме, не разучились видеть хорошее в человеке, как бы трудно ему ни приходилось.

«...Коди рассеянно глянул в сторону Прима-стрит и увидал, как все его семейство веером сворачивает к ним, на Бушнелл-стрит. Впереди мчались дети, за ними вприпрыжку бежали подростки, а за теми, стараясь не отставать, почти бегом следовали взрослые — вид у них у всех был неожиданно радостный. Из-за темной траурной одежды лица их казались на диво светлыми. Руки и ноги детей так и мелькали, малышка подпрыгивала на плечах Джо. Коди был удивлен и тронут. Он почувствовал, что они притягивают его к себе, что не они к нему направляются, а он — к ним».

С большой теплотой выписаны характеры Люка — сына Коди и Рут, детей Джо и Дженни. Пусть они будут лучше своих родителей! Пусть жизнь добрее улыбнется им!

ВИКТОР РОЗОВ

Человек в китайской классической поэзии

Перевод с китайского, вступление и комментарий Л. ЭЙДЛИНА

Китайский человек, представленный стихотворениями VIII века, жил в государстве, управлявшемся династией Тан с 618 по 907 год. Он участвовал в высоком подъеме государства, но увидел и первые признаки крушения его, что известно нам из истории. Мысли же и чувствования этого человека поведаны им в стихах, объединенных намного позднее в «Полное собрание танских стихотворений».

Авторы танских стихотворений были чиновниками — правителями областей и уездов, военачальниками, отшельниками, буддийскими монахами, но чиновниками прежде всего, потому что знание поэзии и умение писать стихи было одним из первых условий занятия государственной должности: поэзия входила в государственные экзамены на ученую степень, дававшую это право.

Танскую поэзию смело можно назвать энциклопедией своего времени, ибо в ней (пусть даже в ограниченных рамках установившейся тематики) сказано обо всем, что волновало ее авторов, которые, не прячась за «лирического героя», вверяли поэзии подлинные события и собственные размышления.

В работах современных китайских исследователей классической поэзии все чаще появляется термин «интеллигенция» в применении к определенной части, условно говоря, средневекового китайского общества. Да, примем этот наш поздний термин, по-видимому наиболее точно определяющий и социальное и умственное состояние старых китайских поэтов.

VIII век занял всего одну треть во времени существования танского государства, но именно в эту пору творили великие поэты — Мэн Хаожань (689—740), Ван Вэй (701—761), Ли Бо (701—762), Ду Фу (712—770), начинал свой путь Бо Цзюйи (772—846). Танские стихи отразили жизнь общества — мирное его существование, войны на границах, происшедший в 755 году, потрясший страну и изменивший многие судьбы мятеж полководца Ань Лушаня, введение в 80-х годах VIII века так называемого «двойного налога», который крестьяне должны были вносить дважды в год — летом и осенью. На все откликалась поэзия, ставшая летописью каждодневной жизни стихотворца, по положению своему находившегося в самой гуще событий — участнику их или очевидцу. Танская поэзия реалистична, высоконравственна, гуманна. Перед нами китайский «интеллигент» VIII столетия. Он говорит от себя, своими словами. Стоит его послушать.

Поэзия призвана оповещать обо всем. И если поэт Чжан Юэ в канун осени возвращается из Шу (нынешней провинции Сычуань) в восточную столицу Лоян, а осень опережает его, то он пишет об этом в стихах. И если некий неизвестный нам Лу Ли приглашает поэта Чжан Цзюлина отведать приготовленного им вина, то Чжан Цзюлин отвечает ему стихами, предназначенными уже для более широкой аудитории, чем сам приглашающий, и, как видим, дошедшими даже до нашего времени.

ЧЖАН ЮЭ (667—730)

Опаздываю. На Шуской дороге

Гость в своем сердце
и дням знал и лунам счет,

До Шу и обратно
заранее вычислив путь.

Осенний же ветер
гостя не подождал

И первым ворваться
успел в столицу Лоян!

ЧЖАН ЦЗЮЛИН (673—740)

Отвечаю Лу Ли

На хвое сосновой
настоянного вина

Весною прошедшей
ты много ль себе припас?

Ссылаться не стану
на горной дороги даль:

Я даже по снегу
пешком до тебя дойду!

Гао Ши пишет об Инчжоу, местности, расположенной в нынешней провинции Хэбэй к северу от Великой стены, на восток от реки Ляохэ, где обитали северные пограничные племена киданей. Из этого проникнутого дружелюбием стихотворения мы можем узнать, что с киданями не всегда воевали, а порою жили мирно вместе с ними и наблюдали их обычаи «варваров»-ху.

ГАО ШИ (700?—765)

Инчжоуская песня

Юношей инских в этих краях
пленяет степная ширь.

В лисьих мохнатых шубах они
охотятся под Стеной...

Тысяча чжунов их луских вин
людей не сбивают с ног.

Местные отроки в десять лет
умело ездят верхом!

И конечно, во множестве вариаций в стихотворениях речь идет о разлуке с другом, находящимся на государственной службе или ушедшим в уединение, и в последнем случае романтизируется природа, среди которой обрел он свое отшельничество. «В разлуке есть высокое значенье»,— сказал Тютчев. Так или приблизительно так считали и китайские поэты.

ЧАН ЦЗЯНЬ (VIII в.)

Написано в монастыре за храмом Пошаньсы

Чистое утро.
Вступаю в старинный храм.
Взошедшее солнце
осветило лес в вышине.

Тропинкой в бамбуке
прохожу среди тайных мест.
Келья монаха
скрывается меж цветов.

В отсветах горных
веселье для вольных птиц.
В воде отраженья
очищают сердца людей.

Все тысячи звуков
утихли — их больше нет,—
Слышится только,
как в колокол бьют и в цин!

ЦЭНЬ ШЭНЬ (715—770)

Весенний сон

В дальних покоях ночью вчера
весенний ветер подул.

Друг мой еще в разлуке со мной
над Сяном пока живет...

Я на постели за краткий миг
в недолгом весеннем сне

Преодолел целиком Цзяннань,
те несколько тысяч ли!

Одна из подробностей быта старого Китая — праздник «холодной пищи». Очень многие танские поэты не миновали этой темы, рассматривая ее с разных сторон. Праздник «холодной пищи» приходится на весну. По преданию, в начале годов Чуньцю — «Весен и Осеней» (770—476 до н. э.) — некий Цзе Цзытуй верой и правдой в продолжение девятнадцати лет служил цзиньскому князю в его изгнании. Когда князь вернулся и стал цзиньским правителем Вэнь-гуном, он захотел вознаградить тех, кто не покинул его в трудные годы. Но Цзе Цзытуй отказался от почестей и вместе с матерью удалился на гору Мяньшань (в нын. провинции Шаньси). Вэнь-гун не мог его дозваться и повелел зажечь лес на горе, в надежде, что Цзе Цзытуй, спасаясь от огня, придет. Цзе Цзытуй обнял дерево и сгорел. Праздник «холодной пищи», когда запрещено разводить огонь, был установлен в честь Цзе Цзытуя. Поэт Мэн Юньцин, сам человек несчастливой судьбы, воспользовался этой темой для того, чтобы выразить свое сочувствие бедному люду.

МЭН ЮНЬЦИН (VIII в.)

Праздник «холодной пищи»

Весной, в этот месяц второй, в Цзяннани
цветы украшают ветви.

В иной стороне «холодная пища»
скорее признак печали.

В домах бедняков, как всегда, сегодня
огня в очаге не видно,

Но не потому, что им надо завтра
оплакать судьбу Цзытуя!

Поэт Лю Чанцин пережил и благополучие и беды VIII столетия, и мирные дни и войны, в творчестве своем преломляя события привычным для танской поэзии способом — через встречи и расставания с друзьями.

ЛЮ ЧАНЦИН (709—780)

В снег ночую у хозяина дома на горе Фужуншань

День вечереет.
Синие горы вдали.

Пасмурно небо.
Беден невзрачный дом...

Ночью в воротах
слышу — собачий лай...

Ветер со снегом.
Вернувшийся человек!

Поэт Хуанфу Цзэн, о встрече с которым Лю Чанцин говорит в следующем стихотворении, тоже оставил стихи об этом своем посещении Лю Чанцина. Обращает на себя внимание живописность стихотворения Лю Чанцина, живописность именно китайская, вертикально рисующая движение картины, представленной взору.

Радуюсь приходу сановника-шиюя Хуанфу в мой загородный дом у Бицзянь~Лазоревого ручья

Глухая деревня
в лучах закатного солнца.
Опавшие листья,
кружась, ложатся на землю.

На древней дороге
нигде не заметен путник,
На склоне холодном
тебя одного и вижу.

Мост перед деревней
дождями полузатоплен.
Ручей из ущелья
по ближним полям разлился...

Когда б мы не знали
взаимного состраданья,
В ком силы нашлись бы
до белых туч подниматься!

Это чувство взаимного сострадания и скрытой за ним любви рождает стихи-провожания с прелестным образом травы, в свою очередь провожающей то, что она способна обнять,— копыта коня, уносящего друга в битву. Это же чувство заставляет рассказать встреченному человеку о боли, ожидающей его в родных местах, разоренных мятежом Ань Лушаня. Место встречи — Мулинская застава — находилось на территории нынешней провинции Хубэй (в древнем Чу), а Юйян, куда к реке Сангань направляется встреченный путник,— на севере, в нынешней провинции Хэбэй.

Провожаю судью Ли в Жуньчжоуский походный лагерь

От мирного дома за тысячи ли
барабаны тебя зовут

К Цзиньлинской почтовой дороге, вдаль,
и на запад от Чуских туч...

Весна на реке не позволит себе
задержать человека в пути,

И цветом трава зелена-зелена,
провожает копыта коня!

К северу от Мулинской заставы встретил человека, возвращавшегося в Юйян

Я встретил тебя
на Мулинской горной дороге
Верхом на коне,
направляющимся к Сангани...

Здесь в Чуском краю,
как и прежде, синие горы.
В Ючжоу тебя
не согреть и белому солнцу:

В разбитых домах
после сотни боев жестоких
Хозяев былых
так ли много в живых осталось?

Повсюду вокруг
завладели землею травы.
Пришедший домой,
видя их, утирает слезы!

Среди десятков тысяч танских стихотворений, каждое из которых вызывает ответное чувство читателя, есть незабываемые, и одно такое принадлежит Чжан Цзи. Описанный им пейзаж недавно изготовлен в миниатюре из сандалового дерева и слоновой кости на месте события в городе Сучжоу, древнее название которого Гусу. Буддийский храм Ханьшаньсы построен в VI веке, а назван так по имени жившего при нем в начале танского времени монаха — поэта Ханьшаня.

ЧЖАН ЦЗИ (VIII в.)

Ночью причалил к Фэнцяо — Мосту у кленов

И луна закатилась, и ворон кричит,—
даже небо иней покрыл.

Только клен у реки и рыбачий огонь,—
и печаль прогоняет сон...

В стороне от стены городской Гусу
храм Холодной горы-Ханьшань.

Там в полуночный колокол бьют, и звук
долетает до челнока!

Непременная часть китайского пейзажа — дикая слива мэйхуа, расцветающая ранней весной на безлиственных ветвях.

ЧЖАН ВЭЙ (VIII в.)

Ранние цветы мэйхуа

Холодного дерева сливы мэйхуа
нефритово-белая ветвь

Вверху на краю деревенской дороги,
где мост над ручьем навис...

И если не знать, что с водою рядом
расцветают раньше цветы,

Покажется, будто нападавший за зиму
еще не растаял снег!

Лан Шиюань провожает друга — известного танского поэта Цянь Ци (722—780). Как будто сказано все, что полагается при расставании. Но каждый поэт привносит сюда и нечто новое. На сей раз это «хризантемы начальника Тао», великого китайского поэта Тао Юаньмина (365—427), начальника уезда Пэнцзэ, который в своих стихах «хризантему сорвал у восточной ограды в саду». И вот Лан Шиюань готов отдать как самое дорогое — цветы, что навеки остались от начальника Тао в общей памяти потомков. Было бы достаточно этого объяснения, если бы мы не знали о китайской поэтической манере возвеличивания путем сравнения с древними. И тогда «хризантемы начальника Тао» обретают вполне материальную основу: под начальником Тао подразумевается Чжэн И, хозяин дома.

ЛАН ШИЮАНЬ (VIII в.)

В уезде Чжоучжи в доме Чжэн И провожаю Цяня Старшего

Вечерней цикады
я крикам внимать не в силах.
Опавшие листья
как могут мой слух не тревожить?

С тобою мы оба
не дома в печальную осень,
И знаем к тому же,
что дальше наш путь раздвоен!

Замшелые стены
омыты бегущей рекою.
Далекие гуси
влетают в холодную тучу...

У восточной ограды
хризантемы начальника Тао.
Те из них, что остались,
я поднес бы тебе в подарок!

Вэй Инъу встречает поэта Фэн Чжу (в «Полном собрании танских стихотворений» ему принадлежат четыре стихотворения), прибывшего в Чанъань для того, чтобы «рубить на горе», то есть уединиться, отправляет стихотворные послания Цю Даню (Цю Двадцать второму), Ли Даню, тоскует по родному краю и слышит прилетевших оттуда на зимовку гусей; он хочет покинуть службу, стыдится получаемого жалованья.

Чувство стыда в стихах поэтов его времени возникает по разным причинам. И самая главная из них — сравнение обеспеченности чиновника-поэта со скудной и тяжелой жизнью крестьян, на труде которых, как это поэт понимает, зиждется благополучие тех, кто управляет ими и имеет досуг писать стихи о них.

ВЭЙ ИНЪУ (737—789?)

Услышал гусей

Когда я отчизну
глазами ищу вдали,

По ней в моих думах
вдруг тягостнее тоска,

И вот в Хуайнани
осеннею ночью в дождь

С высокого дома
я слышу прилет гусей!

В Чанъани повстречал Фэн Чжу

Наверное, гость
с востока сюда пришел:
На платье его
остался Балинский дождь.

У гостя спрошу —
зачем он сюда пришел.
«Рубить на горе —
на то и топор купил»...

А здесь в тишине
как раз расцвели цветы
И птицы снуют:
у ласточек вновь птенцы...

Расстались вчера,
сегодня уже весна,
И как на висках
прибавилось седины!

Осенней ночью посылаю сановнику Цю Двадцать второму

Я в мыслях с тобою
в осеннюю эту ночь

Все время хожу,
о прохладе пою стихи...

Там горы пустынны,
земля в семенах сосны

И славный отшельник,
должно быть, еще не спит!

Посылаю Ли Даню (Ли Юаньси)

В прошлом году посреди цветов
с тобой расставались мы.
Нынешним днем расцвели цветы,—
значит, и год прошел...

В мире событья темны-темны,
их трудно предусмотреть.
В грусти-печали весенней все,
и сплю только я один.

Тело мое болезни гнетут,
в мечтах — лишь земля и сад,
Столько скитальцев в моем краю,
что жалованья стыжусь...

Слышал — ты скоро приедешь вновь;
наведаешься ко мне.
С западной башни я лунный круг
вижу в который раз!

Глядя на крестьянина...

За дождиком первым
пробилась новая зелень.
За рокотом грома
в земле пробудились твари.

Крестьяне в деревне
и дня не живут без дела,—
И к пахоте с севом
они уже приступают.

Мужчины обычно
чуть свет на работе в поле.
Еще огороды
их ждут не дождутся тоже.

Домой возвратятся
они на закате солнца.
Напоят корову
водой из далекой речки.

Усталость и голод
они безропотно терпят.
В дожде милосердном
свою обретают радость.

В их ветхих амбарах
зерна не лежат запасы.
Повинностей тяжких
они вовек не отбудут...

Становится стыдно,
что сам не пашу я землю,
А мне содержанье
приносит труд деревенский!

Отшельник среди танских поэтов — фигура обычная. Уход со службы не означал, однако, резкого и официального перехода в другое качество или другое сословие. Просто человек уединился, освободил себя от всех условий жизни чиновника с ее каждодневными обязанностями. Но существовали и другие отшельники — буддийские монахи, добровольно налагающие на себя монастырские узы. В «Полном собрании танских стихотворений» помещены стихи поэтов-монахов, известных под своими монашескими именами — «фахао». Монах Цзяожань был в десятом поколении потомком выдающегося поэта Се Линъюня (385—433). Его мирское имя — Се Чжоу. Стихи Цзяожаня высоко ценил Вэй Инъу. Лу Хунцзянь, которому Цзяожань посвятил свое стихотворение,— это поэт Лу Юй, знаменитый автор «Чайного канона». У Цзяожаня есть сочинение о свойствах чая, так что у обоих поэтов были близкие интересы и помимо поэтических. Указание в стихотворении на хризантемы возвращает нас к «начальнику Тао», оставшемуся образцом для танских поэтов.

ЦЗЯОЖАНЬ (VIII в.)

Придя к Лу Хунцзяню, не застаю его дома

Ты хотя переехал
в городское как будто селенье,
Но заглохшие тропы
в конопляник и к тутам уводят.

Посадил ты недавно
у ограды в саду хризантемы.
Вот и осень подходит,
а раскрыться они не успели...

Постучался в ворота,
не услышал собачьего лая
И, тебя не дождавшись,
заглянул я на запад к соседу,

А сосед рассказал мне,
что из дома ты в горы уходишь,
Возвращаясь обратно
лишь на склоне вечернего солнца.

Завершается VIII век, а вслед за ним уходят и последние его поэты — Лу Лунь, Люй Вэнь и другие. В их творчестве отразились и поэзия, и беды века. Лу Лунь полон сострадания к израненному простому воину, Люй Вэнь возмущен теми, кто в осенний холод заставляет бедняков стирать в студеной реке шелковые свои одежды. Судя по тому, какое большое место в жизни занимала поэзия, мы можем сказать, что это была проповедь сочувствия, действовавшая на умы общества.

ЛУ ЛУНЬ (748—800?)

Горная гостиница

Все выше, все выше по горной дороге,
пока, наконец, дошел.

Журчанье, журчанье ключа из ущелья
здесь слышно со всех сторон.

Повеяло ветром, листва расшумелась,
и где-то залаял пес...

Светящейся точкой одно строенье
сквозь темень осенних туч!

Встреча с заболевшим воином

Путь был долог, пока не свалила болезнь
и к концу не пришла еда.

Он домой возвращался за тысячи ли,
только дома он не достиг...

Клочья тусклых волос, несмолкаемый стон
у обломков древней стены:

Как мучительно воздух осенней порой
входит внутрь незаживших ран!

ЛЮЙ ВЭНЬ (771—811)

При стуке вальков

За тысячью врат
хоромы до самых туч,
И в этих местах
богатство шелковых платьев.

С осенней луной
на трижды пятую ночь
По камню вальки
стучат в столице Чанъани...

Отшельник в тиши
в большом возбужденье чувств.
Он шум услыхал,
ручьями хлынули слезы.

Старик возмущен
владетелями одежд:
Неведомо им,
какой в Поднебесной холод!

Великий китайский поэт Бо Цзюйи (Бо Лэтянь) лишь частично может быть отнесен к VIII столетию: его творчество захватило почти половину следующего, IX века. В стихотворениях Бо Цзюйи, особенно в конце жизни, явственнее всего выражено характерное для танской поэзии откровенно личное начало, видна непосредственная связь между собственным жизненным опытом поэта и его лирическим творчеством.

БО ЦЗЮЙИ (772—846)

Мне жаль пионов

Меня во дворе у крыльца печалит
пунцовых пионов куст:

На нем, когда вечер пришел, краснелись
последние два цветка,

А завтра с утра поднимется ветер
и все цветы оборвет...

Я ночью, жалея, что их не станет,
зажег огонь и смотрю!

До чего же разумен Лэтянь

До чего же разумен, ах, как разумен
Бо Лэтянь — Жизнерадостный Бо.
Прослужил на высоких постах в Лояне
до отставки тринадцать лет.

Семь десятков исполнилось только-только,
а чиновничью шапку снял,
Половинного жалованья дать не успели,
а в коляску больше не сел:

То с приехавшим в гости добрым знакомым
на прогулке весенним днем,
То с живущим в горах буддийским монахом
в созерцанье целую ночь.

И два года уже как так же забыта
вся домашних дел суета.
Вход и двор зарастают сплошной травою,
в кухне скупо горит огонь.

Ранним утром приходит с докладом повар —
риса нет, на исходе соль,
Поздно вечером — с жалобою служанка:
износилось платье до дыр.

Недовольные ропщут жена и дети,
у племянников скучный вид,
Я же выпью вина и в хмелю улягусь,
и веселья довольно мне...

А восстал ото сна, и вдвоем с тобою
строим планы, как дальше жить,
Как имуществом скудным распорядиться —
что сначала, а что потом.

Я сначала продам на юге столицы
в десять му мой плодовый сад,
А за ним я продам в восточном предместье
цинов пять полезной земли,

И последним продам, если необходимо,
дом, в котором теперь живем,
И тогда получу, по моим подсчетам,
две-три тысячи связок монет.

Половину из них семье предназначу
на одежду и на еду,
Половину из них я себе оставлю
на закуски и на вино...

Мои годы проходят — я дожил ныне
до семидесяти одного,
Борода побелела, глаза мои слепнут,
да и двигаюсь я с трудом,

И боюсь, что полученных этих денег
я уже не истрачу всех,
Что я вмиг — вслед за утреннею росою —
ворочусь к могильным ручьям.

Если я не вернусь, а пожить останусь,—
никакой и в этом беды:
Голод я утолю, на радости выпью,
не тревожась ничем, посплю...

Мы над смертью и жизнью сами не властны,—
я их обе готов принять...
До чего же разумен, ах, как разумен
Бо Лэтянь — Жизнерадостный Бо!

Танская поэзия не перестала быть живым организмом, с веками не превратилась в литературный памятник, пригодный только для почитания и изучения. В чем секрет ее бессмертия? Почему через тысячу двести лет из дали времен и пространств в наш полный собственных забот XX век все еще тянется рука китайского человека VIII столетия, почему продолжают свою жизнь для нас его встречи и расставания, его повседневные радости и печали, почему сочувствие вызывает в нас поэт, который никак не может поправить, казалось бы, давно ушедшие в небытие дела? Далекие люди в далекой стране приблизились к нам силой не для нас предназначавшегося ими слова, подтвердившего единство человечества, неразрывность вечной связи народов и поколений на земле.

ЭЙДЛИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ (род. в 1910 г.)

Советский литературовед и переводчик; заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, профессор. Автор книг и статей о китайской литературе, китайском театре и художественном переводе. Л. Эйдлину принадлежат переводы китайской и вьетнамской классической и современной поэзии.

А. ШИШКИН

ПЛОДОТВОРНАЯ ТРАДИЦИЯ И БЕСПЛОДНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ

О некоторых явлениях в английской сатирической прозе 80-х годов

Трудно найти в истории английского сатирического романа сколько-нибудь продолжительный период, который не дал бы ярких произведений. Не уходя в глубь веков, и в нашем столетии легко обнаружить плодотворность этой традиции в национальной литературе Великобритании. Произведения Уэллса, Во, Хаксли, Олдингтона по праву вошли в фонд классики XX века.

Не является исключением и последнее десятилетие. Совсем недавно завершился творческий путь классиков английской сатиры Энтони Пауэлла и Дж. Б. Пристли, достигло расцвета дарование Эндрю Синклера и Мюриэл Спарк. В то же время появился целый ряд одаренных и интересных писателей, быть может еще не полностью раскрывших свои возможности, но творчество которых свидетельствует о том, что средний уровень сатирической прозы и сегодня достаточно высок. Традиция живет и развивается. Изобретательные и остроумные сюжетные ходы, точность детали, живой диалог, мастерство портрета — всегдашние «козыри» английской сатиры. Владеют ими и нынешние мастера жанра, такие как Том Шарп, Дэвид Ноббс, Фердинанд Маунт, Дэвид Форрест, Малькольм Брэдбери, Дэвид Лодж. Однако в последние годы появляются произведения — среди них и принадлежащие перу упомянутых авторов,— которым более чем когда бы то ни было свойственна ограниченность сатирического обличения и обобщения, а порой и нечеткость объекта сатиры. Когда речь идет о важных темах современности, это порождает нередко опасную двусмысленность.

Перефразируя известные строки Маяковского, можно сказать: сатира — оружие, огнестрельный метод. Применяя умеючи метод этот. Она плодотворна, остра и бьет точно в цель, когда автор хорошо знает, кого и что он высмеивает, когда у него четкие этические и эстетические критерии добродетели и порока. Если же он берется бичевать социальное зло, не имея столь же ясных социальных, политических и исторических ориентиров, такая попытка, как правило, обречена на творческую неудачу. От нее не застрахованы даже опытные и талантливые литераторы, о которых и пойдет речь.

Том Шарп — один из наиболее значительных представителей сегодняшней сатирической прозы Англии. Он пишет в традиции буффонады и гротеска, восходящей к Свифту и Смоллетту. Первые его романы — «Подрывное сборище» (1971) и

ШИШКИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1951 г.)

Советский литературный критик, кандидат филологических наук. Автор книги «Современный английский роман (Проблемы войны и мира)» (М., 1983) и ряда статей в периодике.

«Оскорбление благопристойности» (1973),— действие которых происходит в ЮАР, где автор прожил несколько лет, полны злой иронии и сарказма. Шарп столь язвительно высмеивает один из самых абсурдных законов ЮАР, так называемый «закон чистоты расы», запрещающий любовные отношения между людьми с разным цветом кожи, что бесчеловечность и гнилость расистского режима в целом становится очевидной без каких бы то ни было комментариев.

Последующие произведения романиста написаны на английском материале. Крайности, нелепости поведения и мышления, извращенные нравы, порождаемые косностью потомственных английских аристократов, цепляющихся за отжившие идеалы, снобизм, корыстолюбие и ханжество среднего класса, тупость судей, коррупция и бюрократизм чиновников, махинации политиков — вот объекты сатиры Шарпа. Но в чем пафос ее? Во имя чего автор взялся за перо? К примеру, сатира Ивлина Во (Шарп близок ему как мастер гротеска), что отмечалось в нашем литературоведении, была критикой «справа». Идеалы, которые писатель хотел противопоставить порокам капиталистического общества, он связывал с уходящим классом аристократии.

В произведениях Шарпа, как верно заметил Г. Анджапаридзе, «нет положительных героев», но есть персонажи, которым автор симпатизирует[1]. Таков, например, Уилт, главное действующее лицо романов «Уилт» (1976) и «Выбор Уилта» (1979), типичный английский интеллигент-либерал, остро чувствующий и собственную никчемность, и фальшь окружающей жизни. Он в равной степени отвергает и махровый консерватизм реакционеров, и сексуальную распущенность воинствующих леваков, и парламентскую демагогию, создающую лишь видимость демократии, но ничего не может противопоставить многоликому злу. Видимо, такова, в сущности, позиция и самого Шарпа — расплывчатый либерализм, вряд ли могущий служить действенным идейно-нравственным противовесом циничной морали общества потребления. Тем более не может он стать четким ориентиром при анализе сложных политических и социальных проблем. Отсутствие же таких ориентиров существенно ослабляет сатирический эффект романов Шарпа, заставляя нередко примиренчески решать конфликт героя с окружающим миром. Порой подобная позиция оборачивается и политической недальновидностью. Подтверждение тому — произведения Шарпа начала 80-х годов «Грехи предков» (1980) и «Старомодный хлам» (1982).

Они принадлежат к тем романам, которые объединяет интерес к важной проблеме сегодняшней Англии — кризису системы образования. Весьма плодотворная литературная традиция, сложившаяся в последние десятилетия, так называемый «университетский роман»,— своеобразная разновидность романа сатирического. К ней английская критика относит в первую очередь произведения таких известных прозаиков, как Малькольм Брэдбери и Дэвид Лодж. К этой жанровой разновидности близки и романы Шарпа середины 70-х — начала 80-х годов. Все три названных автора исследуют близкие темы: ослабление чувства ответственности у значительной части английской интеллигенции, пренебрежение к основной своей обязанности — хранить и приумножать духовные ценности,— аморализм и вседозволенность, грозящие воцариться в ее среде. В романах Брэдбери, Лоджа, Шарпа выведены преподаватели колледжей и университетов, глубокомысленно-невежественные и в подавляющем большинстве безразличные к студентам.

В плане литературной традиции «университетский роман» имеет много общего с так называемым «интеллектуальным» романом, или «романом идей», основателем которого в Англии считается Олдос Хаксли. Главный прием его сатиры — столкновение противоположных систем мышления, полярных представлений о мире. В ранних романах сатирика ирония была убийственным оружием, направленным против идей и мнений (а также их приверженцев), казавшихся автору ничтожными и фальшивыми. Развенчание ложных идей и мнений характерно и для «университетского романа» Брэдбери и Лоджа. Своеобразно осуществляет эту творческую задачу Шарп в романе «Грехи предков». Он одновременно выводит на сцену представителей университетской профессуры и английской аристократии, сталкивая их лицом к лицу. Лорд Петрефакт (фамилия по звучанию напоминает английское слово, означающее гниение, разложение, моральное разложение, и персонаж вполне оправдывает эту ассоциацию) — владелец огромного состояния и глава ряда фирм, жадный, ехидный и злобствующий старик, лишивший наследства своего сына. Чтобы досадить многочисленным родственникам, он решает запятнать их репутацию, предав гласности грехи предков, пикантные подробности их личной жизни. Для этого он предлагает леворадикально настроенному профессору историографии Йеппу за приличное вознаграждение написать хронику семьи Петрефактов. Складывается парадоксальная ситуация: богач, наживающий огромные капиталы чужим трудом, сам отдает порочащие его семью факты в руки человека, считающего себя ниспровергателем основ буржуазного общества. Но Йепп не может воспользоваться даже тем, что само идет в руки.

На страницах английских романов последних лет не раз возникала фигура радикально настроенного интеллигента, в том числе из среды университетских преподавателей. Большой резонанс вызвал роман М. Брэдбери «Социолог» (1975), в котором писатель до предела обнажил и высмеял так называемую «революционность» университетских радикалов в лице Говарда Кирка, проповедующего сексуальную революцию с «чуточкой Маркузе, Маркса и Фрейда», а по сути прикрывающего левыми фразами вполне буржуазный образ мыслей и существования.

Шарп по-своему высмеивает левый радикализм: в отличие от расчетливого и корыстного Кирка, Йепп — тот самый наивный, бескорыстный и остро чувствующий несправедливость интеллигент, которому ав-

[1] См. «Современная художественная литература за рубежом», 1980, № 1.

тор симпатизирует. Он искренне хотел бы что-то изменить, но не знает толком, как это сделать, рассуждает все больше абстрактно. Если циничный профессор Кирк прежде всего «практик» сексуальной революции, преследующий свою выгоду, то Йепп — лишь робкий «теоретик», автор труда... «Сифилис — орудие классовой борьбы в XIX веке». Он вырос под опекой набожной и консервативной тетки и в частной жизни рабски верен тем самым викторианским запретам и условностям, против которых так яростно выступает в книгах и телепередачах.

После долгих колебаний Йепп принимает предложение лорда Петрефакта, усматривая в нем возможность не столько заработать (чего не упустил бы Кирк), сколько фактами подтвердить свои «теории», направленные, как он пытается внушить себе и окружающим, на подрыв буржуазных устоев. Для изучения семейного архива Петрефактов Йепп отправляется в захолустный городок Баскотт, где проживает сестра лорда, Эмилия, с его изгнанным сыном.

«Грехи предков» — роман о том, как не была написана, не «состоялась» история разоблачения аристократической семьи Петрефактов. Лорд полагал, что «маньяк-разрушитель» Йепп уничтожит — не физически, штыком, а морально, пером,— ненавистных ему родственников. Однако укладу жизни провинции — Баскотта, где Петрефакты в почете,— весьма устойчивому, консервативному, не подверженному воздействию каких-либо новомодных идей и веяний, профессор-либерал не опасен. Иронизируя над стремлением Йеппа видеть в каждом банальном житейском эпизоде подтверждение своих теоретических выкладок, своей «ниспровергательской» доктрины, острие сатиры автор, казалось бы, направляет против того мира, с которым сталкивается Йепп. Однако высмеивает частности — провинциальные нравы, предрассудки, в немалой степени порождаемые избитыми пропагандистскими баснями о «красной опасности» (Петрефакты, например, считают, что Йепп — засланный в город агент... КГБ). Недоверие, подозрительность, сплетни, откровенная злоба и даже ревность — все направлено против Йеппа, которому не удается подступиться к архиву Петрефактов. В конце концов профессора арестовывают по обвинению в убийстве всеобщего любимца, карлика Вилли, и сожительстве с его слабоумной женой. Туповатому инспектору Гарнетту, ведущему расследование (Шарп не обошел и полицию своим язвительным вниманием), улики против Йеппа очевидны: он снимал комнату в доме карлика.

Для «незыблемой провинции» приезд «обличителя», правда, тоже проходит не совсем даром. Пуритански воспитанная Эмилия, например, дорожащая незапятнанной, как ей кажется, репутацией семьи, к своему ужасу случайно убеждается, что местная фабрика ее племянника — предприятие «секс-индустрии». В связи с приездом в город профессора Йеппа факт грозит быть разоблаченным в прессе. Вообще, как замечает автор, Йепп мог бы получить достаточно материала, чтобы осветить в печати никому не известные стороны жизни Петрефактов — например, то, как один из них, Персифаль Петрефакт, с большой выгодой для себя продавал оружие во время первой мировой войны союзникам и Англии и Германии. Но этим и подобным, еще более неприглядным тайнам так и не суждено стать достоянием гласности. Разоблачение не получилось ни у Йеппа, ни у Шарпа. Сведя смысл романа к частному, анекдотическому случаю, нарушившему сонное существование недоверчивых, подозрительных и откровенно злобных обывателей провинциального английского городка, писатель выбрал облегченное решение затронутых вопросов, лишенное обобщения, чем существенно сузил социальный диапазон своей сатиры.

Еще явственнее, на наш взгляд, подобная ограниченность сатирического метода Шарпа проявилась в романе «Старомодный хлам». Талантливо написанный роман этот в острогротескной манере развенчивает отжившие, реакционные идеи и порочные методы воспитания, насаждаемые в английских школах, например частных школах полувоенного типа. В одной из них, Гроксборне, и происходят описываемые события. Ученики ее должны были твердо усвоить, что все беды в мире и в их стране, бывшей империи, происходят по одной причине — всему виной большевики, негры-дегенераты и немцы; а чтобы в Англии был порядок, необходимо создать ударную группу молодцов из богатых семей и «насадить на штык» всех политиков левого толка. Сегодня, когда в стране активизируется фашиствующий союз расистов «Национальный фронт», провозгласивший лозунг «Англия для англичан», сатира Шарпа в этой части особенно остра и политически актуальна. Гроксборн — рассадник тех самых идей, которые пытаются реализовать на деле молодчики из «Национального фронта» (многие считают, что именно они спровоцировали избиение в мае этого года итальянских болельщиков во время международного футбольного матча в Брюсселе).

В педагогических целях в школе практикуется порка, к которой учеников за любую провинность приговаривают такие «воспитатели», как Глодстон — одно из главных действующих лиц романа. Глодстон, как говорится, сын своего отца, отставного адмирала, который придерживался столь правых взглядов, что приветствовал в 1940 году бомбардировку Лондона, устроив в честь этого события фейерверк. Маниакальная реакционность передалась по наследству и Глодстону. Свой идеал он нашел в лице героев приключенческой литературы и воображал себя то Д'Артаньяном, то Шерлоком Холмсом, то Бульдогом Драммондом (героем детективных рассказов Х. С. Макнила, популярного автора начала XX века, писавшего под псевдонимом Саппер) — то есть романтическим и храбрым защитником всего, что считал старым, добрым и истинным, и противником того, что ему казалось новым, глупым, фальшивым. К последнему разряду, как ни странно, Глодстон причислил и Джеймса Бонда, естественного, казалось бы, преемника Бульдога Драммонда. Глодстон был столь консервативен в литературных пристрастиях, что не читал книг, написанных после 1930 года. Он не доверял Джеймсу Бонду, иронически замечает Шарп.

Эта мальчишеская страсть принимает весьма опасную форму, когда коллега Глодстона решает зло подшутить над ним и подбрасывает ему поддельные письма некой графини де Монткон, матери одного из учеников, которую банда гангстеров якобы держит в плену в ее замке во Франции. Глодстон и его любимец, умственно отсталый ученик Перегрин, бросаются спасать графиню.

Мастерски строя затейливый сюжет, Шарп создает трагикомическую ситуацию, раскрывающую многие типичные пороки современного западного общества, где насилие стало обыденным явлением. Он показывает мир, охваченный страхом, недоверием и подозрительностью, доходящими до абсурда. Не в последнюю очередь причиной этого является и разгул терроризма. Невинная шутка, сыгранная с Глодстоном, чуть не оборачивается политическим конфликтом. В замке графини, оказывается, проходит международный конгресс футурологов, которых начитавшийся детективов Перегрин принимает за гангстеров. Он убивает американского делегата и ранит советского. Вся полиция Франции поднята на ноги — ищут, естественно, террористов, действующих, как считают блюстители порядка, по указке либо ЦРУ, либо Интеллидженс сервис, либо, наконец, КГБ (?!); итальянский делегат, разумеется, думает, что за ним охотятся «красные бригады», ирландский подозревает ИРА (военная организация ирландского национально-освободительного движения). Причем ни полицейские, ни пострадавшие не видят никакой разницы между всеми этими предполагаемыми виновниками. Не видит, к сожалению, ее и Шарп, чья ирония уравнивает и американского ученого, панически боящегося заговора «красных», и советского, опасающегося происков спецслужб США. Вольно или невольно писатель соглашается с распространяемым западной пропагандой измышлением, что международный терроризм направляет «рука Москвы», что во многих проблемах буржуазного Запада повинен... СССР.

Когда же Шарп походя пытается карикатурно изобразить полемику между представителями разных социальных систем по важным историческим и политическим вопросам (вторая мировая война, борьба с фашизмом, события в Афганистане), когда он хочет встать как бы «над схваткой» в позе ирониста, дар сатирика изменяет ему, голос звучит цинично и кощунственно. Посмеиваясь над «препирательствами» советского и американского делегатов, Шарп разделяет распространенное среди морализирующих западных интеллигентов убеждение в том, что политика-де «грязное дело» и в ней «все равны»: и тот, кто боролся с фашизмом, и тот, кто бомбил Вьетнам. «Чума на оба ваши дома» — не лучшая позиция для писателя. Тем более когда он взялся за «больные» вопросы своего времени.

Сказанное в полной мере подтверждает и новый роман Малькольма Брэдбери «Курсы обмена» (1983) (особенно если рассматривать его в связи с его же романом «Социолог»), в котором автор попытался придать излюбленной им «университетской» теме политический акцент. Предыдущие произведения М. Брэдбери получили справедливо положительную оценку советской критики[1] — в них талантливо показано, как в течение трех последних десятилетий все более явным становится процесс девальвации высшего образования в Англии и США. Название первой книги — «Кушать людей нехорошо» (1959). В ней, как и в романе «Шаг на Запад» (1965), с большой художественной прозорливостью изображено падение в 50-е и 60-е годы университетских нравов, рост индивидуализма, аморализма, нигилизма, во многом определивших лицо молодежного бунта, о котором написан роман «Социолог».

Это произведение подробно анализировалось советскими англистами, и нет нужды лишний раз говорить о его безусловных достоинствах. Но обратим внимание на прозвучавшую уже тогда критическую ноту: «издеваясь над левым радикализмом Кирка... сам Брэдбери едва ли лучше своего антигероя отдает себе отчет в том, что можно противопоставить смешной формуле: «немного Маркса, немного Фрейда и немного социальной истории»[2]. В самом деле, у читателя романа «Социолог» должно возникнуть сомнение: а существует ли какая-либо иная революционность, кроме кирковской? Похоже, для автора все борцы за социальную справедливость сегодня таковы, каким изображен Кирк, по крайней мере в Англии. Не так, например, как для француза Робера Мерля, в известной книге «За стеклом» (1970) исследовавшего тот же социальный феномен. Мерль помимо студенческих вожаков-демагогов вроде Кон-Бендита показал пусть немногочисленных, но искренних, идейно убежденных борцов — студентов-коммунистов. М. Брэдбери не видит альтернативы фальшивому радикализму кирков, объективно сводя к нему понятие революционности вообще.

В интервью еженедельнику «Санди таймс», данном несколько лет назад, когда роман «Социолог» был бестселлером в Англии и США, Брэдбери заявил: «Кирк — моя полная противоположность». Но в каком смысле? На вопрос, вынесенный им в заглавие сборника рассказов: «А вы-то сами кто будете?»—если обратить его к автору, роман «Социолог» ответа не дал. Однако во многом проясняет его новая книга М. Брэдбери «Курсы обмена». Произведения эти представляют собой как бы две стороны одной медали.

По аналогии с ранее упомянутым новый роман писателя можно было бы озаглавить и «Шаг на Восток». Однако он далеко не так удачно написан, как предшествующие произведения, и вряд ли именно география оказала столь пагубное воздействие на талант сатирика. Правда, сам он использует географические ориентиры, стремясь лишний раз напомнить, что понятия «Восток» и «Запад» заключают вполне определенный политический смысл. Он подчеркнут уже в эпиграфе: «Мне кажется, что, чем дальше на Восток, тем хуже ходят поез-

[1] См. Е. Гениева. Берега Малькольма Брэдбери. «ИЛ», 1980, № 1; В. Ивашева. Что сохраняет время. Литература Великобритании 1945—1977 гг., М., «Советский писатель», 1979.

[2] В. Ивашева. Что сохраняет время. Литература Великобритании 1945—1977 гг. с. 117—118.

да» (Брэм Стокер, «Дракула»). Безобидный сам по себе, эпиграф этот в контексте романа должен дать понять читателю, например привыкшему к пунктуальности англичанину, что в том мире, который описывает Брэдбери, все как-то странно и ненормально, то есть не так, как на Западе,— поезда вот ходят плохо. А описывать Брэдбери взялся некое социалистическое государство на юго-востоке Европы, абсолютно вымышленное, как он уверяет, но уточняет, что оно «в советской орбите», член СЭВ и участник Варшавского договора. Именно туда и направляется герой, профессор Петуорт, читать лекции по английскому языку в порядке культурного обмена.

Что толкнуло Брэдбери написать произведение на этом материале — личные (или чьи-то) поверхностные впечатления кратковременного визитера? Или постоянно насаждаемые буржуазной прессой пропагандистские мифы о мире за «железным занавесом»? И то и другое, как не раз показывала практика, бесплодная почва для художественного творчества.

Композиционное построение романа «Курсы обмена» характерно для английской сатирической традиции — наивный герой сталкивается с уродливым и жестоким миром, что порождает всевозможные комические недоразумения, позволяющие автору высмеять и заклеймить порок. Нередко так строил свои романы Ивлин Во. Однако, если классик английской сатиры писал об окружавшем его мире, то есть о том, что знал не понаслышке, то Брэдбери судит о предмете, как видно, с чужого голоса. Это чувствуется с первых же страниц романа.

Петуорт вылетает из аэропорта Хитроу и приземляется в аэропорту столицы того самого вымышленного государства. Картина символическая, словно бы иллюстрирующая слова Киплинга: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток...» Там — забастовка авиадиспетчеров и, как следствие этого, скопление людей всех наций и народов, современный Вавилон, в котором каждый волен говорить и делать что хочет — есть, спать, читать, в том числе и «Социолога» (автор «скромно» напомнил о своей популярности). Здесь — тишина и порядок, «словно в концлагере», на каждом шагу — вооруженные солдаты и милиция, все совершается только по команде. Наивный англичанин сразу же попадает впросак, когда после приземления, как обычно, встает, чтобы выйти из самолета. Его резко одергивают — команды вставать не было. Вся жизнь в том государстве, как ее изображает Брэдбери, протекает под дулом автомата и неусыпным оком агентов секретной полиции, от которого не укрыться даже... в туалете. Кстати, роман изобилует описаниями туалетных и прочих бытовых неудобств, окружающих героя, хотя подобная «туалетно-бытовая» тематика скорее в духе пошлого анекдота, чем в традиции английской литературы.

Мир, в который попадает профессор Петуорт, полон противоречий и загадок, непостижимых для «представителя исторически обреченного буржуазного общества», как постоянно называют его персонажи — граждане этой страны, упрекая, что он не понимает истории. Но авторская ирония направлена здесь, да и в романе в целом, не на героя — что ж взять с него, буржуазного ученого, «не понимающего исторических перемен» в той социалистической стране, куда он попал. Иронизирует Брэдбери (и это мягко сказано) над окружающей героя действительностью, какой он, автор, себе ее представляет. А представление его весьма далеко от жизненной правды.

Суть исторического развития этого государства растолковывают Петуорту многие, каждый по-своему. Второй секретарь английского посольства Стэдимен говорит, что в стране твердый просоветский режим, в экономике царит хаос, о чем свидетельствуют пять курсов обмена валюты (дипломатический, туристский, торговый и т. д.). От него же Петуорт узнает о ведущейся в верхах борьбе за власть с использованием интересной особенности данной страны: ее язык время от времени меняется, что оказывается на руку той или иной группировке. «Изменив язык, можно изменить почти все?» — удивленно вопрошает Петуорт. Здесь самое время вспомнить еще один эпиграф, предпосланный Брэдбери роману, взят он из утопии Свифта «Путешествия Лемюэля Гулливера» и гласит: «Язык этой страны постоянно изменяется. Струльдбруги, родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом. Прожив лет двести, они с большим трудом могут произнести несколько самых простых фраз. С этого времени им суждено чувствовать себя иностранцами в своем отечестве».

Мысль не нова и весьма распространена на Западе. Брэдбери пытается приписать социализму те самые пороки, в которых задолго до него обвиняли всякое общество вообще западные политологи, футурологи и писатели-утописты, особенно те, кто стремился уравнять социализм и капитализм в «тоталитарных грехах», игнорируя социальную природу власти. Как осуществляется контроль над историей, над памятью в таком сконструированном обществе, уже весьма подробно изображалось в мрачных антиутопиях Олдоса Хаксли «Прекрасный новый мир» (1932) и Джорджа Оруэлла «1984» (1949). Хотел того Брэдбери или нет, но иных ассоциаций его роман на фоне предшествующей литературы не вызывает, хотя написан много позже и, кажется, совсем по другому поводу. Правда, дата его написания по-своему симптоматична — это 1983 год, канун «года Оруэлла», как его окрестили на Западе, того года, когда во всем мире должен был бы наступить тоталитарный кошмар, предсказанный в антиутопии.

Что же пытался сказать своим романом Брэдбери в преддверии пресловутого «года Оруэлла»? Что предсказания Оруэлла сбылись в антиутопическом мире социализма, куда по культурному обмену «занесло» новоявленного Гулливера — Петуорта? Интересно, как ответил бы на этот прямой вопрос сам Брэдбери, заявивший в том же интервью «Санди таймс», что он понимает историю в марксистском плане? Ведь по сути он создал лишь свой литературный вариант тоталитарного государства, ужасы которого рисовал в свое время Оруэлл. Тот тоже, между прочим, именовал себя на

словах социалистом, а на деле написал роман, ставший оружием антикоммунистической пропаганды.

Как же протекает жизнь в «прекрасном новом мире» Брэдбери? Переводчица Петуорта Мэри (ее имя проще всего передать в английском варианте, ибо в оригинале это нечто среднее между «Мария» и «Марыся») неустанно обращает внимание гостя на доказательства исторического прогресса в ее стране. Выглядит это весьма карикатурно, как пародия на дурные экскурсии для иностранных туристов, которых пытаются ослепить внешними впечатлениями и оглушить потоком заученных фраз. Однако ей не удается скрыть от Петуорта те суровые порядки, ограничения прав и свобод, которые являются, видимо, по мысли Брэдбери, сутью социализма. Например, запрет для граждан... на передвижение по собственной стране — чтобы выехать в другой город, нужно, оказывается, специальное разрешение властей. Соответствующим образом обрисован и представитель этих властей, высокопоставленный чиновник Танкич, любезно принимающий Петуорта в своем кабинете. Вот что говорит о нем Стэдимен: «Безжалостен, как дьявол, родную мать продаст мяснику, чтобы увеличить производство мяса». Правда, эти слова вложены в уста английского дипломата, а его трудно заподозрить в симпатиях к социализму, но его мнение подтверждают другие персонажи романа. Кто они? Кто рассказывает Петуорту «всю правду»?

Естественно, диссиденты, явные и тайные (разве мог столь «глубоко» постигший ход истории писатель пройти мимо такой «исторической для Запада темы?). Это знакомый Петуорту еще по Кембриджу университетский преподаватель Плитплов, тщательно скрывающий и свои симпатии к Западу, и свое знакомство с Петуортом, ибо «это небезопасно». Его трусливое диссидентство проявляется в язвительных комментариях к пояснениям переводчицы и анекдотах. Расчетливый и ловкий приспособленец, он прекрасно устроился в суровой обстановке тоталитаризма. Плитплов, в сущности, кровный брат Кирка, его зеркальное отражение, авторская проекция в иную социальную действительность. У каждого свой курс обмена с обществом, оба в оппозиции к нему, явной или скрытой, и оба за счет этого же общества процветают.

Весьма расчетлива и модная романистка Катя Принцип, пишущая «не в духе соцреализма». У Петуорта с ней завязывается легкий флирт, и в минуту откровения она рассказывает, как трудно ей живется. Презирая таких, как Танкич, «аппаратчиков» из верхов, она не брезгует их покровительством, «чтобы иметь возможность печататься».

Все это весьма непривлекательные персонажи, но иных в романе Брэдбери нет, иных его «зоркий» глаз не усмотрел в мире за «железным занавесом». Автор отождествил мораль общества потребления и социалистическую мораль. Везде, дескать, процветают юркие демагоги и приспособленцы: одни спекулируют своей «революционностью», другие — «преданностью» заветам революции. У каждого свой курс обмена.

Определен курс обмена и для наивного, ничего не подозревающего Петуорта, на которого делают ставку ведущие двойную игру «либералы и диссиденты». Когда профессор приходит на очередное свидание с Катей, его встречает Плитплов, следящий, оказывается, за каждым шагом своего английского друга, чтобы предостеречь от непродуманных поступков. Один опасный шаг тот уже совершил — его роман с Катей может кое-кому не понравиться, и тогда пострадают оба, им лучше не встречаться, намекает (или, точнее, шантажирует гостя) Плитплов. В благодарность за теплый прием и заботу Петуорт должен помочь своей пассии вывезти рукопись ее очередного романа в Париж и передать соответствующему издателю. Гонорар же он привезет ей во время следующего визита, который Плитплов берется организовать. Эти деньги очень помогут бездомной романистке, которая, как выясняется, встречалась с Петуортом в доме Плитплова: чтобы получить хорошую квартиру, нужно дать взятку в твердой валюте (еще один курс обмена, по Брэдбери). Тайком Плитплов передает Петуорту пакет с рукописью и подробно инструктирует его, как обмануть бдительных таможенников.

Все эти махинации происходят в напряженной обстановке. В газетах глухо упоминается о каких-то волнениях. Режим ужесточается, и Петуорт, не прочитав всех намеченных лекций, улетает домой. Уже в самолете он узнает, что в стране, которую он покинул весьма вовремя, введено военное положение.

Так роман известного писателя М. Брэдбери смыкается с передачами Би-би-си «Глядя из Лондона», в которых «домашние» домыслы о политической ситуации в других странах соседствуют с диссидентскими сплетнями. Глядя из Лондона на Восток, автор не заметил, как вышел за пределы того, что доступно ему как сатирику-реалисту. Искусство этого не прощает. В упомянутом уже интервью еженедельнику «Санди таймс» Брэдбери сказал, что считает себя писателем комического плана, пишущим в традиции Ивлина Во. Он определил тогда комизм как «умение видеть людей и весь окружающий мир определенным образом», как «способ разрушения привычных представлений, штампов». Говоря о романе «Курсы обмена», в умении «определенным образом» изображать иную социальную действительность автору и в самом деле не откажешь. Что же касается разрушения штампов, то здесь Брэдбери пошел иным путем, словно бы «подгоняя» сатирическую традицию под привычные штампы и представления о социализме, десятилетиями насаждаемые в умах обывателей Запада буржуазной пропагандой. Она особенно активизировалась в конце 70-х годов, когда возродился дух «холодной войны» и громко заявили о себе реакционные, консервативные силы, определяющие сегодня духовную жизнь капиталистических стран. Весьма жаль, что роман уважаемого писателя объективно стал вкладом в эту пропаганду.

В предшествующих книгах М. Брэдбери карикатурные, тяготеющие к гротеску образы были полны глубокого смысла, во-

площали пороки той среды, которую автор досконально изучил. Теперь же, на ином материале, точнее, на скудной почве пропагандистских домыслов диссидентских россказней и околодипломатических сплетен сатира Брэдбери зачахла, комизм превратился в ходульность, гротеск свелся к назойливому, лишенному чувства меры выпячиванию детали.

В предшествующих романах Брэдбери достиг мастерства в сатирическом изображении «анархического, безалаберного мира, в котором очень трудно что-либо понять, в котором герои скорее одномерны, нежели многомерны, а все предстает как хаос». Это сказано самим писателем в том же интервью о мире буржуазном. В дальнейшем, видимо, Брэдбери стал трактовать собственные слова в глобальном смысле. Этим, вероятно, объясняется и его неуклюжая ирония по поводу исторического прогресса и преодоления буржуазных пережитков в той стране, куда попадает Петуорт. «У нас никто не ворует, но вещи иногда исчезают сами собой»,— предупреждает героя переводчица в связи с пропажей серебряной шариковой авторучки. И персонажи его романа «одномерны» до примитива, и окружающий их мир «предстает как хаос, в котором трудно что-либо понять».

В попытке уравнять трудности, встречающиеся на пути развития социализма, с кризисом, переживаемым западным миром, Брэдбери не столь уж оригинален. Идея о том, что «упадок и крах», охватившие капиталистический мир, носят всеобщий характер, в разных вариантах высказывается на Западе давно. В литературе эту идею одним из первых в наиболее резкой форме выразил все тот же Оруэлл в романе «1984», где тоже использовал в полной мере прием игнорирования социальной природы власти, придав ей абстрактное, самодовлеющее значение. Нечто подобное хочет, видимо, сделать и Брэдбэри, претендуя на универсальность изображенной им картины, абстрактно, внеисторически отождествляя Восток и Запад. Попытка его написать сатиру на социализм потерпела, однако, неудачу. Видимо, это неизбежно случается, когда писатель перестает ощущать границу, отделяющую плодотворную традицию от бесплодных спекуляций на ней.

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА «Межа». Издательство «Отечествен фронт».
Книга ГЕОРГИЯ БЕРДНИКОВА «Чехов». Издательство «Народна младеж».
«Книга об Отце» ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ. Издательство «Христо Г. Данов».
Документальная повесть ПЕТРА ВЕРШИГОРЫ «Люди с чистой совестью». То же издательство.
Избранные произведения АЛЕКСАНДРА ГРИНА. Издательство «Отечество».
Роман ИВАНА ЕФРЕМОВА «Туманность Андромеды». Издательство «Народна младеж».
Повесть ВЛАДИМИРА ЖЕЛЕЗНИКОВА «Чучело». Издательство «Отечество».
Лирика ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. Издательство «Народна култура».
Роман ГЕОРГИЯ МАРКОВА «Грядущему веку». «Партиздат».
Избранные стихи ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА. Издательство «Народна култура».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Христо Г. Данов».
Избранные произведения МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Народна култура».

ВЕНГРИЯ

Философская сказка ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Джамхух — сын оленя». Издательство «Европа».
Книга ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Алмазный мой венец». Издательство «Аркадия».
Повесть НАДЕЖДЫ КОЖЕВНИКОВОЙ «Елена Прекрасная». Издательство «Магветё».
Повесть АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Голгофа». Издательство «Европа».
Роман ВЕРЫ ПАНОВОЙ «Который час?». Издательство «Магветё».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Живи и помни». Издательство «Европа».
Роман ОТАРА ЧИЛАДЗЕ «И всякий, кто встретится со мной...». Издательство «Магветё».

ГДР

Роман ЙОНАСА АВИЖЮСА «Хамелеоновы цвета». Издательство «Фольк унд вельт».
«Поэма без героя» АННЫ АХМАТОВОЙ. Издательство «Филипп Реклам».
Избранная проза АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. Издательство «Ауфбау».
Повесть ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Морской скорпион». Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть ВЛАДИМИРА КРУПИНА «Живая вода». Издательство «Ауфбау».
Сборник рассказов ЮРИЯ НАГИБИНА. Издательство «Киндербухферлаг».
Стихи БОРИСА ПАСТЕРНАКА. Издательство «Фольк унд вельт».
Рассказы ВАСИЛИЯ ШУКШИНА. То же издательство.

Л. ДЕЛЮСИН

ДОБРО И ЗЛО В ОЧЕРКАХ ЛЮ БИНЬЯНЯ

Процесс обновления китайского общества, начатый в конце 70-х годов, естественно, затронул и литературу.

Страх, внушенный феодально-фашистскими порядками, царившими, как пишет китайская печать, более десяти лет, проходил не сразу, но жизнь брала свое, инерция шаблонов и схем постепенно ослабевала, и «мыслей образ новый» овладевал умами многих китайских писателей. Им было о чем поведать и рассказать читателю, чье сознание долгое время было парализовано или оболванено псевдореволюционной трескотней. Перед китайскими писателями, сохранившими ясность мысли и остроту чувств даже в годы всеобщего столбняка, стояла непростая задача — помочь обществу поскорее выбраться на широкую дорогу, ведущую к новой жизни. Но для этого надо было разобраться и в прошлом, исследовать и понять, как могло случиться, что китайский народ, мирный и трудолюбивый, попал под власть невежественных авантюристов, как могло случиться, что страна была превращена в огромную тюрьму, стены которой начали рушиться лишь осенью 1976 года.

Возобновилось издание литературно-художественных журналов, их стало намного больше, чем до «культурной революции». На их страницах появились забытые, казалось, канувшие в вечность имена писателей, осужденных в годы «культурной революции» за честность, за неукротимое стремление выражать истинные думы и настроения народа. Популярными стали и имена молодых литераторов, которые смело включились в работу и взялись за сюжеты и темы, еще недавно огражденные от писателей и читателей предупредительными надписями: «Опасно для жизни!» Китайская литература распахнула перед читателем двери в реальную жизнь. В рассказах, повестях, пьесах и очерках снова заговорил онемевший за долгие годы народ. Понятия о правде и справедливости, о добре и зле, о нравственном стали наполняться истинным содержанием. Наступило «выправление имен»: то, что возвеличивалось как социализм, оказалось примитивным феодализмом, или того хуже — то, что подавалось как «служение народу», стало квалифицироваться как ограбление рабочих, крестьян и интеллигентов, сопровождаемое глумлением над ними. Рекламировавшиеся как новые, высшие нормы демократии, о которых бесстыдно трубила официальная пропаганда, ныне именуются феодально-фашистским деспотизмом.

Китайским писателям, и прежде всего писателям-очеркистам, по праву принадлежит важная заслуга в начавшемся процессе морального и духовного очищения общества. Правдивое изображение действительности с ее сложными проблемами, с ее трудностями и недостатками, критика зла и порока породили в читателе надежды на возмож-

ДЕЛЮСИН ЛЕВ ПЕТРОВИЧ (род. в 1923 г.)

Доктор исторических наук, профессор. Автор книг и статей по истории Китая: «Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК», «Спор о социализме в Китае» и др.

ность излечения общества от затяжного недуга, вселили веру в победу добра над злом. Среди этих литераторов своей политической остротой, принципиальной позицией, социальной заинтересованностью, неподдельной страстью выделяется Лю Биньянь. Его очерки публикуются на страницах «Жэньминь жибао», перепечатываются в журналах, выходят отдельными сборниками и неизменно вызывают большой отклик. Широкая популярность их объясняется не только тем, что писатель вскрывает разного рода трудности и недостатки, мешающие движению китайского народа вперед, по пути к социализму, но и показывает причины, их порождающие.

Очерки Лю Биньяня отличаются строгой документальностью и в то же время стремлением проникнуть в суть описываемых явлений, показать сложный и трудный характер процессов, протекающих в сегодняшнем Китае. Для них типичен боевой дух непримиримого отношения к бюрократам, стяжателям, лихоимцам, в годы «культурной революции» пробравшимся в государственный и партийный аппарат КНР и сегодня по-прежнему пытающимся творить черные дела. Очерки Лю Биньяня помогают лучше понять непростую обстановку, в которой проходит в Китае борьба за преодоление последствий «культурной революции».

■

В 50-х годах Лю Биньянь работал в молодежной газете. Во время поездки группы советских журналистов в Китай он познакомился с Валентином Овечкиным. Тогда очерки В. Овечкина перепечатывались многими китайскими газетами. Сблизившись с советским писателем, китайский журналист стал его другом и учеником. Они много беседовали о назначении и смысле литературной работы, и в известной степени под влиянием В. Овечкина состоялся литературный дебют китайского журналиста, который принес ему всеобщую известность.

Это произошло в апреле 1956 года, когда в журнале «Жэньминь вэньсюэ» появилась его документальная повесть «На стройке моста». Эта вещь (кстати, недавно переизданная) сразу же стала заметным явлением в китайской литературе, открыв в ней «овечкинское направление». Она и сейчас привлекает к себе внимание читателей изображением конфликта, не сконструированного, а взятого из самой жизни.

Герой повести, молодой инженер Цзэн Ган, человек нового типа, хорошо знает технику, быстро решает вопросы, возникающие в ходе строительства, не робеет перед трудностями. В то время как для некоторых руководителей стройки лозунг «Теснее крепить связи с массами» означает играть с рабочими в карты и называть их «старина», Цзэн Ган проявляет подлинное, а не показное уважение к рабочим, и строители любят его как умного и сердечного руководителя, действующего со знанием дела. Всю ответственность за решение новых технических задач он берет на себя. Подобная смелость у одних вызывает восхищение, а у других — сомнения в его зрелости. По мнению последних, смелость — хорошее дело, но до известных пределов, а «излишняя смелость — это по меньшей мере недисциплинированность, переходящая в авантюризм».

Автор, приехав на стройку, видит, что у ее начальника, Ло Личжэна, инициативный инженер на плохом счету. Цзэн Ган не угодничает перед начальником, не выслушивает его приказов, стоя по стойке «смирно», а вступает с ним в споры и не обращается к нему за указаниями, когда не видит в этом надобности. Начальник, осторожный, консервативный и не очень грамотный, пользуется доброй славой в Управлении мостостроительства как дисциплинированный, ибо чаще других обращается туда за инструкциями и ничего не предпринимает, не получив предварительно согласия и разрешения свыше.

Конфликт разгорелся вокруг вопроса о сроках строительства. Начальнику выгодно представить в Управление такой график, который был бы легко выполним и позволил бы без особого напряжения сил завершить строительство досрочно. Это сулило ему и премию и славу. Рабочие выступили с предложением сократить плановые сроки строительства. Их поддержал Цзэн Ган, технически обосновавший возможность пересмотра плана. Доказывая рациональность инициативы рабочих, он ссылается при этом на советский опыт. И здесь следует примечательная тирада, характерная для китайского бюрократа тех лет. Ло Личжэн заявляет: «Нельзя все советские штучки механически переносить в Китай. У Китая — свои национальные особенности. Например, в Советском Союзе можно критиковать руководство, а в Китае нельзя. Когда шла великая кампания борьбы против трех и пяти зол, тогда на этот счет имелось указание ЦК и можно было критиковать. А в обычное время, не получив указаний, мы не имеем права критиковать Управление. Если же мы хотим выступить с критикой, надо получить соответствующее разрешение».

Цзэн Ган не согласен с таким пониманием национальной специфики. По его убеждению, ничем нельзя оправдать некомпетентность технического руководства, бессмысленное разбазаривание народных средств и ненужную трату человеческих сил.

Действия Цзэн Гана, думающего об интересах стройки, начальник расценивает как «антинародное выступление». «Несмотря на то что недостатков у нас много,— говорит Ло Личжэн,— успехи все же остаются самым главным. И тот, кто забывает об этом, совершает ошибку. Моста не было, а теперь он есть, вот и успех. Правда, деньги мы перерасходовали, но мост все же построили».

Цзэн Гана подобная логика не устраивает, но и начальнику не по душе настойчивость инженера, и, несмотря на мужество и эффективные действия Цзэн Гана, благодаря которым во время наводнения была предотвращена авария на стройке, инженера переводят на другое, маловажное место.

В повести «На стройке моста» Лю Биньянь не только описал конфликтный случай, но вскрыл причины конфликта, характер противоречий, возникавших в процессе строительства нового Китая. В ней было четко показано, что трудности и недостат-

ки нельзя объяснить лишь объективными условиями, отнести за счет пережитков прошлого — они порождены нередко некомпетентностью, невежеством, бюрократизмом, карьеризмом работников, занимающих ответственные посты. В этой яркой повести Лю Биньяня честный, знающий инженер, ревностно думающий, как принести больше пользы отечеству, терпит поражение в столкновении с равнодушным консерватором, который быстро подхватывает и по-своему переиначивает лозунг о развертывании борьбы с консерватизмом. Он уверен, что очередная кампания его не затронет. Если бы Лю Биньянь придумал благополучный конец, его произведение утратило бы свою действенность.

Схожую картину рисует писатель в повести «Внутриредакционные новости»[1]. Главный редактор газеты создал удобную, спокойную атмосферу в редакции. Никаких острых вопросов, а если есть все же необходимость их поднять, то стоит лишь узнать мнение верхов, и все будет в порядке, не страшно и смелость проявить. При этом он без устали призывает сотрудников смелее вторгаться в жизнь, не оставаться сторонними наблюдателями событий, их равнодушными регистраторами, проявлять активность и не уклоняться от прямого участия в разборе дел. Но вот молодая журналистка Хуан Цзяин, собиравшая материал на руднике, столкнулась с конфликтной ситуацией и вступилась за права молодого рабочего, несправедливо обиженного дирекцией. После этого она на себе испытала, что теория — одно, а практика — другое, что честное исполнение призывов ничего хорошего не сулит. Ее обвиняют в нарушении норм поведения журналиста. Главный редактор пытается помешать ей вступить в партию.

Описывая разбор дела Хуан Цзяин, Лю Биньянь заостряет внимание читателя на нравственном облике сотрудников редакции: отношение их к поступку молодой журналистки порой определяется не интересами газеты, а личными, карьеристскими соображениями. Одни еще сохраняют совесть, другие давно освободились от нее, как от вещи, мешающей спокойно жить. Яркими красками изобразил Лю Биньянь в лице главного редактора тип бюрократа — властного администратора, который никому не доверяет, постоянно учит подчиненных быть принципиальными, но при этом не позволяет выходить из-под жесткого контроля. Сотрудникам редакции он старается показать, что, поскольку он — самый осведомленный, дух ответственности у него выше, чем у других. Он любит заявлять, что для него интересы партии превыше всего. Окно в его кабинете светится по ночам, ибо все должны знать, что он неусыпно «бдит». Но главная его забота — в том, чтобы «наверху» поддерживать мысль о собственной незаменимости.

«Если у коммуниста нет мозгов, можно ли его считать коммунистом?» — спрашивает один из персонажей повести, открыто выступивший за принятие «провинившейся» журналистки в партию.

Лю Биньянь в эту пору вел себя так же, как и его герои — Цзэн Ган и Хуан Цзяин, то есть, по мнению опытных стреляных воробьев, «слишком смело» и опрометчиво. Но партия звала тогда к открытому и смелому выявлению недостатков и трудностей. И было закономерным и естественным, что Лю Биньянь горячо и искренне откликнулся на этот призыв. Однако, вопреки ожиданиям и надеждам, у кампании по исправлению стиля партийной работы оказался короткий век, началась борьба против «правых элементов», в число которых в 1957 году угодил и он, подобно многим честным китайским писателям.

Сегодня, когда на повестке дня общественно-политической жизни Китая стоят хотя и в другой форме, но те же вопросы борьбы со злом, мешающим китайскому народу двигаться по пути социального прогресса и экономического роста, небезынтересно вспомнить, в чем обвиняли в 1957 году Лю Биньяня и за что он попал в черный список «правых». Газета «Чжунго цинняньбао», где работал тогда Лю Биньянь, обозвала его «антипартийным элементом». Сейчас официально признано, что в ходе борьбы с правыми были необоснованно расширены ее рамки и неоправданным репрессиям подверглись многие хорошие люди, искренне желавшие помочь партии в улучшении стиля и методов работы. Если внимательно и беспристрастно посмотреть, в чем именно состояла антипартийность высказываний и выступлений Лю Биньяня, легко обнаруживается, что все они совпадают с тезисами, которые тогда содержались в решениях ЦК КПК об исправлении стиля и методов работы партийных организаций и отдельных коммунистов. Он осуждал бюрократизм, заявляя, что чиновные замашки кадровых работников ведут к отрыву партии от масс и разлагают ее. Он говорил о порочной практике пожизненных постов. В заметках, не предназначенных для открытой публикации, он писал, что надо избавляться от руководителей, которые совершенно не интересуются делами, не вникают в их существо и безмятежно сидят в своих кабинетах, как в покоях императорского дворца. Лю Биньянь предлагал очистить партию от работников, гордящихся своим невежеством, откровенно говорил о необходимости покончить с непомерным хвастовством, протестовал против увлечения пустыми лозунгами и считал более полезным сосредоточить внимание на выявлении недостатков и их искоренении.

Перечисляя эти и другие «преступления» Лю Биньяня, газета «Чжунго цинняньбао» назвала его «ядовитой змеей» (18/VII 1957), признав при этом, что «формально Лю Биньянь не выступал против партийного руководства».

Читая сегодня эти смехотворные обвинения в адрес писателя, убеждаешься, что им двигали самые чистые побуждения, продиктованные верой в искренность намерений руководителей КПК улучшить методы партийной работы и преодолеть трудности, мешающие успешно идти по пути социализма. В итоге Лю Биньянь на долгие годы был обречен на молчание. Но даже очень длительные трагедии имеют конец. В 1976 году на страницах журналов и газет вновь

[1] «Жэньминь вэньсюэ», 1956, № 6, 1-10. *(Здесь и далее прим. авт. статьи.)*

появилось его имя, и читатели убедились, что годы заточения, насильственного молчания не сломили характера Лю Биньяня, не ослабили его энергии и неукротимого стремления бороться против зла, за светлые и высокие идеалы. Его первым выступлением в печати стала опубликованная в октябре 1979 года документальная повесть «Люди и оборотни»[1], которая вызвала бурные отклики по всей стране.

В центре повести — управляющая и секретарь парткома уездной топливной базы Ван Шоусинь. Малограмотная, неотесаная баба, она сумела тем не менее за несколько лет ограбить государственную казну на полмиллиона юаней. Казалось бы, обычное, хотя и крупное по размерам, уголовное дело. В конце концов ее разоблачили, судили, казнили. Коррупция стала нормальным явлением во времена «культурной революции», мошенники по воле вдохновителя левацкого курса обрели и на местах и в центре власть, не ограниченную никаким законом. Для Лю Биньяня мошеннические операции Ван Шоусинь — не просто уголовное дело, а социальное явление. Почему, задается вопросом писатель, наглая и преступная деятельность многие годы оставалась нераскрытой? «Если рассматривать дело Ван Шоусинь изолированно от экономической, политической и общественной жизни уезда Биньсянь, оно действительно покажется из ряда вон выходящим»,— пишет он и внимательно исследует тяжелые условия жизни в уезде в 60-е годы (а «в голодном уезде честных чиновников не бывает», как гласит китайская мудрость). Автор показывает, что Ван Шоусинь и ее покровители — порождение «культурной революции», когда царили беззаконие и произвол, освящаемые брошенным сверху лозунгом: «Бунт — дело правое».

«На земле бедной и отсталой цветы власти распускаются пышно, их аромат особенно соблазнителен»,— иронизирует писатель. Именно «культурная революция» выплеснула на поверхность общественной жизни мошенников типа Ван Шоусинь.

В уезде, где плела свои сети Ван Шоусинь, «ежегодно проводилась какая-нибудь политическая кампания, но любая попытка усиления классовой борьбы не задевала негодяев, и чаще всего страдали невинные». Жители уезда с горечью говорили: «У нас хороших людей давят, а дурных оберегают». И такая обстановка в уезде сохранилась даже три года спустя после свержения в октябре 1976 года «банды четырех».

Разъясняя причины этого, писатель показывает, что в ходе «культурной революции» образовался сложный, прочный переплет связей между людьми, произносившими дежурные речи об интересах революции, о борьбе с теми, «кто идет по капиталистическому пути», а на деле преследовавшими лишь шкурнические интересы.

Если многие читатели, ознакомившись с повестью Лю Биньяня, вместе с ним разделили законное возмущение делами мошенницы и ее покровителей, то нашлись и такие, кто обрушился с нападками на автора, обвинив его в злостном намерении подорвать авторитет партийного руководства. Автора осудили и за то, что он не ограничился критикой «банды четырех», а занялся анализом «социальных условий». Работники укома обвинили Лю Биньяня в нападках на социалистический строй, заявив, что «как в прошлом он был правым элементом, так и сейчас им остался». По странной логике «защитников социализма», авторитет социализма подрывают не Ван Шоусинь и ей подобные мошенники, а те, кто смело вскрывает корни их преступной деятельности. Все их обвинения Лю Биньянь привел в приложении к своей повести, добавив от себя, что они не лишают его оптимизма, ибо «никто уже не в состоянии помешать историческому прогрессу», тем более что в письмах многочисленные читатели подтверждают его правоту и одобряют его выступление.

Споры, развернувшиеся вокруг повести «Люди и оборотни», отражали напряженную, временами весьма острую борьбу, которая и по сей день не прекращается в КНР и где на одной стороне выступают адвокаты «культурной революции», а на другой — те, кто стремится преодолеть ее пагубные последствия.

В очерке «Долог путь»[1] Лю Биньянь убедительно показывает, почему люди, получившие власть в ходе «культурной революции», отчаянно сопротивляются политике радикального отхода от левацких установок. Они надеются, что эта политика окажется кратковременной.

Уезд Инань, где происходят события, описанные в очерке,— благодатный край, земли здесь плодородные, а люди живут бедно. За труд на полях коммуны крестьяне в лучшем случае получают жалкие крохи. Урожаи зерна падают, и жизнь людей ухудшается, а руководители уезда, бывшие хулиганы, люмпенский сброд, воры, напротив, не знают ни хлопот, ни забот, пользуются по существу бесконтрольной властью. Возвысившись в ходе «культурной революции», они с большим усердием охотились за «врагами», пытали их, доводили до смерти. Сейчас произошла реабилитация пострадавших. Но если жертвы были осуждены невинно, то надо судить палачей, а они по-прежнему сидят на руководящих постах. «Этих людей,— замечает Лю Биньянь,— учитывая их моральные качества и некомпетентность, а также принимая во внимание недовольство и возмущение народных масс, давно уже надо было выбросить на общественную свалку. А они не только благоденствуют, но и продвигаются вверх по служебной лестнице, продолжая творить беззакония, причиняя людям зло, ничего не боясь». Жители уезда разуверились в возможности избавиться от этих мошенников. Стоило им на кого-либо пожаловаться, как того повышали в должности. Жалоба снизу становилась словно бы свидетельством политической благонадежности работника, на которого она подана. У них были заступники и единомышленники в провинциальном центре, и они открыто саботировали новую политику или старались дискредитировать ее.

[1] Вошла в сборник рассказов китайских писателей «Люди и оборотни». М., «Прогресс», 1982.

[1] «Синь гуаньча», 1980, № 12.

Из картины, нарисованной в очерке, хорошо видно, какие преграды стоят на пути преодоления левацкой политики и идеологии. Новый курс прокладывал себе дорогу с большим трудом, за него приходилось платить дорогой ценой. Писатель задумывается над вопросом: в чем причина живучести леваков? Ведь их взгляды осуждают, против них ведется широкая пропаганда и в газетах, и по радио, а они не сдаются. В очерке показано, что социальной почвой их деятельности была нищета, культурная отсталость масс, легко поддающихся обману, разобщенность народа, его политическая неопытность. Писатель доказывает, что выдвиженцы «культурной революции» были материально заинтересованы в сохранении старых порядков.

Можно с уверенностью сказать, что китайские функционеры не читали пушкинской «Истории села Горюхина», но в своей политике следовали системе, введенной горюхинским приказчиком. «Главным основанием оной была следующая аксиома: чем мужик богаче, тем он избалованнее — чем беднее, тем смирнее». Известно, чем обернулось дело для крестьян: «В три года Горюхино совершенно обнищало»...

Лишь отдельные смельчаки в Китае находили в себе мужество выступить против произвола местных чиновников, но их за это беспощадно избивали. Устрашая недовольных, леваки не стеснялись в средствах: от клеветнических слухов до ареста или убийства. Они и сейчас пытаются сорвать борьбу за преодоление последствий «культурной революции», как свидетельствует китайская печать.

Писатель выражал надежду, что в конце концов органы власти в уезде будут очищены от нечистоплотных элементов и последними будут смеяться не они, а притесняемые ими честные труженики.

Когда очерк был напечатан, в Пекин понеслись из уезда Инань письма с доносами. Уездные начальники сообщали, что якобы все население «боевого, славного своими революционными традициями» уезда возмущено Лю Биньянем, который в своем очерке позорит и чернит уезд. Журнал, напечатавший очерк, называли грязным, а авторов очерка (Лю Биньянь написал его вместе с Ли Чуньгуаном) «бесстыдными клеветниками». Какой только напраслины не возводили руководители уезда на писателей, посмевших нарушить их покой! Лю Биньянь дал достойный ответ клеветникам, опубликовав доносы руководителей уезда в качестве приложения к очерку «Долог путь». Пусть разберется читатель! [1]

Внимание китайских читателей привлек очерк «Что скрывается за преступлением», написанный Лю Биньянем совместно с другими журналистами [2].

Преступление было необычным. Молодая девушка, уволенная с фабрики химических удобрений, устроила взрыв у дома директора фабрики, осталась на месте преступления и, когда ее арестовали, тут же созналась в содеянном. Посаженная в тюрьму, Ван Гуансян вызвала горячие симпатии жителей, а пострадавший директор Нин Гуан — всеобщие проклятия. Идя по следам преступления, Лю Биньянь со своими коллегами выяснил, что молодая работница была несправедливо уволена по доносу начальника охраны, домогательствам которого не уступила. Ван Гуансян не только лишили заработка, но и опозорили. Ее многократные жалобы в уездный комитет КПК и выше результатов не дали. В органах власти следовали традиции: «Чиновник чиновника в обиду не даст». И тогда в полном отчаянии Ван Гуансян решила подать такой сигнал, который обязательно услышат наверху. Действительно, о ее поступке заговорил весь уезд от мала до велика — люди с пониманием отнеслись к «преступлению» Ван Гуансян, ей выражали сочувствие. Одни кадровые работники были возмущены и не жалели усилий, чтобы поддержать авторитет директора фабрики, а когда тот был все же осужден, недоуменно спрашивали: «Как же мы будем работать дальше?» Авторы отвечают: «Вам надо работать иначе, чем Нин Гуан. Допустили ошибку, так исправляйте ее, а не настаивайте на своей «правоте», оберегая честь мундира,— тогда не дойдет до взрыва».

Лю Биньяня нередко упрекали в том, что он выискивает среди кадровых работников лишь отрицательные типы и тем самым бросает тень на все руководство. Неужели нельзя найти хороших, честных людей? Эти упреки необоснованны. Писатель встречается и с морально чистыми, честными руководителями, в его очерках и повестях выведены светлые, привлекательные образы добрых и бескорыстных людей. Таков герой очерка «Трудный взлет» [1]. В нем Лю Биньянь знакомит нас с судьбой Ли Жишэна, талантливого и умного инженера, в каких остро нуждается сегодня страна. В Ли Жишэне воплощены лучшие качества китайского народа: трудолюбие, стойкость, выдержка, упорство. Он не боится высказывать свое мнение перед начальством, за что сильно пострадал, но это не изменило его характера. В городе Даньдун он с 1963 года работал заместителем директора на заводе приборов. Дни и ночи проводил в цехах, вместе с рабочими налаживал машины, согреваемый мечтой сделать Даньдун «восточной Швейцарией». Под его началом было освоено производство точных приборов, которые раньше импортировались в КНР из-за границы.

Ли Жишэн пользовался уже известностью в инженерно-технических кругах страны, у него была завидная репутация новатора, когда грянула «великая культурная революция». Как специалиста Ли Жишэна зачислили в разряд «идущих по капиталистическому пути». Его 200 раз выволакивали на позорное судилище. Он держался стойко, не склоняя головы перед палачами, пытался писать жалобы в Пекин — тогда ему сломали руку.

[1] Очерк был опубликован в конце 1980 г., и только в мае 1984 г. «Жэньминь жибао» в корреспонденции из Шаньдуна сообщила, что девять ответственных работников уездного комитета КПК, выходцев из «бунтарей», сняты со своих постов, а один из них арестован, и теперь жители уезда восклицают: «Наконец-то над Инанью небо стало чистым». Но сколько же потребовалось времени, чтобы правда восторжествовала!

[2] «Жэньминь жибао», 25/X 1980.

[1] «Жэньминь жибао», 3/1 1981.

В 1978 году, когда повеяли новые ветры, Ли Жишэн был реабилитирован. Но ему не дали заниматься любимым делом, организацией производства точных, как швейцарские часы, приборов. В горкоме сидели представители «бунтарей». Ему доверили ведать изготовлением ножей, ложек и вилок, производство которых за годы «великой десятилетней смуты» резко упало. Изучая причины этого, Ли Жишэн думает о том, какой урон принесла народному хозяйству политика «большого скачка», вызвавшая безрассудную погоню за высокими показателями и приведшая к неслыханной растрате сил народа. Он начинает борьбу за пересмотр завышенного плана, считая, что главное не количество, а качество продукции. Он не согласен с теми, кто находит возможным «одним рывком взлететь в коммунизм». Ли Жишэн считает, что творцы политики «большого скачка» (а в 1978 году некоторые руководители КПК намеревались совершить новый «большой скачок») в огромном долгу перед народом, ибо их оторванные от жизни проекты привели к лишениям и нужде трудящихся.

Смелые предложения Ли Жишэна о пересмотре нереальных, пустых планов вызывают раздражение в горкоме, ведь двадцать лет в почете был тот, кто «повышал», и позором покрывали того, кто «понижал». Так же холодно были встречены и его призывы покончить с уравниловкой. И все же Ли Жишэн добился своего. Предложения Ли Жишэна осуществились на практике не только благодаря его упорству и настойчивости, но и благодаря тому, что в это время ЦК КПК принял решение о реорганизации экономической системы с целью повышения ее эффективности.

В очерке Лю Биньяня перед читателем предстает тип человека, все помыслы которого пронизаны одним: как сделать жизнь людей краше и богаче духовно. В этом он видит назначение коммуниста. Не желая мириться, например, с тем, что жители его города ходят в плохой одежде, он пересматривает работу швейной фабрики, добиваясь, чтобы она выпускала красивые, модные костюмы, не хуже, чем в Шанхае. На замечания чиновника, что это не отвечает нормам социализма, он отвечает: «Узкие юбки и узкие брюки не могут свергнуть социализм». В конце концов жители города, не желавшие раньше носить одежду, изготовленную на местной швейной фабрике, стали предпочитать ее привозной.

Хотя Ли Жишэн сумел улучшить работу на фабриках города, его хождения по мукам не закончились. На него по-прежнему смотрели как на чуждый элемент. Но Ли Жишэн не унывал, заявляя: «Я отсидел на запасных путях больше десяти лет, готов отсидеть еще раз, мне уже ничего не страшно». Какие только планы ни строили бюрократы, чтобы «подавить» Ли Жишэна, изобразить его очковтирателем, доказать, что успехи его ложные. Но Ли Жишэн, как говорит писатель, уже зажег факел новой жизни, за ним устремились люди, которые надежды на улучшение жизни связывали с деятельностью смелого и способного инженера, умелого и рачительного хозяйственника. На собраниях, совещаниях все большее число людей выступало за то, чтобы Ли Жишэну доверили руководство промышленностью города. И в этом писатель видел признак перемен в стране. «В конце концов, последние двадцать лет прошли для Китая не даром. Народ уже избрал верную дорогу и знает сам, какие люди ему нужны».

Но перемены совершаются нелегко. Сохраняются силы, которые не хотят мириться с тем, что на сцену выступают герои иного типа, чем в дни «культурной революции». После того как Ли Жишэн добился очевидных успехов, городские власти стали донимать возглавляемое им управление, посылая комиссию за комиссией, устраивая бесконечные проверки, стараясь выискать материал, чтобы очернить Ли Жишэна. Занимался всем этим «некий секретарь». Это — человек-«флюгер», легко приспосабливается к любой политической ситуации, злобен, мстителен. Он умеет подхватывать быстро меняющиеся лозунги, но при этом гнет свою линию — левацкую. Но она уже не столь всесильна, как в былые времена, с ней можно бороться, и читатель не сомневается, что уверенность Ли Жишэна имеет под собой объективную почву.

Полный жизни и оптимизма характер подвижника рисует Лю Биньянь в очерке «Ветер, дождь, ясная погода». Цзинь Синь, работавший учителем китайского языка в городской школе, жил спокойно, безмятежно, пока случай не заставил его задуматься над тем, почему крестьяне вынуждены уходить далеко от своих родных мест, чтобы достать для посадки высокоурожайный картофель. И тогда Цзинь Синь бросил спокойную профессию и вступил на полный трудностей путь селекционера. На этом пути он встречает и поддержку крестьян, и препятствия со стороны тупых, консервативных бюрократов. У него отнимали опытное поле, уничтожали собранный семенной картофель, гоняли на бессмысленные трудовые работы. Он болел, голодал, терпел невзгоды. Во время «культурной революции» хулиганы сожгли его уникальную библиотеку, уничтожили его заметки. Под улюлюканье бесчинствующей толпы он должен был называть себя «чертовским отродьем».

Лю Биньянь восхищается моральной стойкостью этого неутомимого труженика, его нечеловеческой выносливостью. Как Цзинь Синь сумел уцелеть и выжить — это кажется поистине тайной. Но объясняется она просто: его поддерживали, ему помогали простые сельские труженики. Горе давило его, улыбка редко появлялась на его лице, путь казался ему бесконечным, но встречи с тружениками, смотревшими на него с надеждой, вселяли бодрость.

В конце концов в новой обстановке Цзинь Синь и его работа были оценены как нужные и полезные для китайских крестьян. «Цзинь Синь обрел счастье,— пишет Лю Биньянь. — Ему не потребовалось, как Менделю, тридцать пять лет ждать общественного признания». «Конечно,— продолжает он,— впереди у него еще будут трудности. Но положение улучшается. В марте 1981 года я познакомился с этим человеком, одежда на нем была с чу-

жого плеча, взятая в долг... Но мне думается, что китайский народ не будет дальше столь скупым по отношению к своему сыну и не пройдет и месяца, как его положение изменится к лучшему». Мы не знаем, как дальше сложилась судьба Цзинь Синя, но не сомневаемся, что очерк Лю Биньяня помог ему утвердить свою правоту.

■

Лю Биньянь работает много и напряженно. Его очерки, статьи, корреспонденции часто появляются на страницах «Жэньминь жибао» и других газет и журналов. Будучи непримиримым к стяжателям и мошенникам, до сих пор отравляющим жизнь людей, он воспевает добрые дела честных людей. Таков его очерк о Чжу Божу, человеке, готовом бескорыстно помогать людям, совершать добрые дела. Таков очерк «Вызов судьбе», посвященный девушке Чжан Хайди, которую поразила неизлечимая болезнь, отнявшая у нее возможность двигаться. Она сумела побороть боль, сама стала врачом и нашла счастье в лечении больных. Встретившись с ней, писатель был поражен твердостью характера девушки, ее целеустремленностью, способностью терпеть, казалось бы, невыносимую боль и при этом улыбаться и радоваться жизни.

Повести, очерки и заметки Лю Биньяня — это история современности, история трудностей и успехов китайского народа, история конкретная, живая, поучительная. Секрет их популярности не только в достоверности, правдивом и точном анализе событий и фактов. Их сила и в гражданской позиции автора, в том, что он отражает и выражает чувства, настроения и мысли честных тружеников своей страны. Во всех публикациях он выступает как непримиримый борец за высокие идеалы социализма, как патриот, кому дороги интересы родины, своего народа, улучшению жизни которого он посвящает свой труд писателя-публициста.

◆

Советская литература за рубежом

ПОЛЬША

Роман САВВЫ ДАНГУЛОВА «Кузнецкий мост». Издательство «Выдавнитство лодзске».
Роман КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Живые и мертвые». Издательство «МОН».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «За миллиард лет до конца света». Издательство «Искры».
Сказки КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО. Издательство «Наша ксенгарня».

США

Роман ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ягодные места». Издательство «Морроу».

Избранные статьи и речи АЛЕКСАНДРЫ КОЛЛОНТАЙ. Издательство «Интернэшнл паблишерз».

Повести ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Другая жизнь» и «Дом на набережной». Издательство «Саймон энд Шустер».

ФИНЛЯНДИЯ

Роман ЛАЗАРЯ КАРЕЛИНА «Змеелов». Издательство «Кансанкульттуури».
Книга ВЛАДИМИРА ЛАКШИНА «Толстой и Чехов». Издательство «Отава».
Роман ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Приказано выжить». Издательство «Кансанкульттуури».

ФРГ

Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Двое». Издательство «Пипер».
Поэма ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Мама и нейтронная бомба». Издательство «Цзольнай».
Повесть КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Бросок на юг». Издательство «Фишер».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Далекая Радуга». Издательство «Зуркамп».
Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Шестьдесят свечей». То же издательство.

ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР В БРАТИСЛАВЕ

Вступление К. Чугунова

В апреле нынешнего года в словацкой столице Братиславе состоялась встреча редакторов журналов социалистических стран, специализирующихся на публикации зарубежной литературы. Встреча, в которой довелось участвовать и мне, была организована по инициативе словацкого журнала «Ревю световей литературы» (главный редактор Владимир Лукан).

Среди участников совещания — представители журнала «Надьвилаг» (Венгрия), «Литература на свете» (Польша), «Всесвит» (Украина), «Зинн унд форм» (ГДР), «Панорама» (Болгария), «Секолул XX» (Румыния) и чешского журнала «Светова литература».

Эта встреча — четвертая по счету. Первые две проходили в Варшаве, а третья, в 1980 году, в Москве. Если в центре московской встречи была проблема отбора и перевода литературы капиталистических стран, то тему братиславской наши словацкие коллеги сформулировали так: «Вклад литературы развивающихся стран в сокровищницу культуры других народов». Основной доклад, текст которого с некоторыми сокращениями публикуется ниже, был сделан доктором филологических наук Владимиром Олерини.

Выбор темы совещания представляется закономерным, поскольку литературы развивающихся стран, как это доказано практикой, не могут рассматриваться вне рамок мировой культуры. Однако как в основном докладе, так и в выступлениях участников разговор шел не только о писателях развивающихся стран в общепринятом понимании этого термина, но и о писателях таких индустриально развитых стран, как Япония и ряд государств Латинской Америки. В истекшем тридцатилетии эти страны выдвинули немало выдающихся мастеров, которые играют активную и все возрастающую роль в пробуждении национального самосознания своих народов, воспитывают в них чувство непримиримости к социальной несправедливости и понимание важности участия во всеобщей борьбе народов за предотвращение третьей мировой войны.

За последние годы братские журналы социалистических государств опубликовали на своих страницах сотни произведений прозы, поэзии, публицистики из стран «третьего мира». Немало было напечатано и литературно-критических и обзорных статей. Разумеется, не составляют исключения и советские журналы «Иностранная литература» и «Всесвит».

Усилия наших журналов, как о том свидетельствуют выступления участников совещания, не пропали даром. Благодаря им читатели значительно расширили круг своих представлений о достижениях этих литератур. Такие признанные писатели, как Кобо Абэ, Габриэль Гарсиа Маркес, Алехо Карпентьер, Карлос Фуэнтес, Ананта Мурти, Айи Квеи Арма, Воле Шойинка, Чинуа Ачебе (все они были «открыты» советским читателям журналом «Иностранная литература»), создали произведения, занявшие достойное место в ряду лучших образцов мировой литературы двадцатого века.

Выступая в дискуссии по основному докладу, Вацлав Садковский, главный редактор журнала «Литература на свете», признал, что он извлек для себя много полезной информации, в частности о творчестве современных турецких писателей. Политизация общественной жизни Польши, сказал он, требует внимательного подхода к отбо-

ру произведений иностранных авторов. Журнал «Литература на свете», отметил далее В. Садковский, призван противостоять антипольской пропаганде Запада. В связи с этим литература Азии, Африки и Латинской Америки не только вооружает знанием реалий «третьего мира», она содержит «идейный заряд». В качестве положительного примера в этом смысле В. Садковский привел роман нигерийского писателя Воле Шойинки под названием «Интерпретаторы» (читатели «Иностранной литературы» с ним также знакомы). Он считает, что нравственная атмосфера, в которой оказалась интеллигенция Нигерии 60-х годов, во многом напоминает атмосферу Польши в недавние кризисные годы. Особое значение В. Садковский придает латиноамериканской литературе (и, в частности, творчеству никарагуанского поэта Эрнесто Карденаля), которая помогает преодолевать «догматизм мышления» тех, для кого капитализм «лучше всех других общественных систем».

Ласло Кери, главный редактор «Надьвилаг», уделяющего в последние годы много внимания творчеству писателей трех регионов, считает «наиболее сложным и интересным явлением» литературу Латинской Америки. Хотя виднейшие ее представители и обращаются к мифологическим темам и образам, их произведения вполне можно назвать реалистическими. Ласло Кери подробно остановился на повести Г. Гарсиа Маркеса «Хроника объявленного убийства» (опубликованной в свое время в «Иностранной литературе») и привел высказывание известного английского писателя Джона Фаулза: «Автор повести хочет сказать, что в этом мире трагедия — неизбежное явление. И герой, и жертва стоят перед лицом фатальной неизбежности. Как и человечество в целом». Утверждение спорное, отметил Л. Кери, но оно имеет довольно широкое распространение.

Многие ораторы (в их числе Хайда Липецки, сотрудница журнала «Зинн унд форм») жаловались на нехватку квалифицированных переводчиков с восточных языков; некоторые отмечали и то обстоятельство, что далеко не все читатели их журналов сумели должным образом оценить достоинства литературы Азии и Африки.

Мое выступление касалось характеристики основных направлений развития современной азиатской и африканской прозы и анализа произведений, опубликованных в журнале «Иностранная литература».

На заключительном заседании участники встречи пришли к выводу о необходимости продолжения творческого сотрудничества между журналами, договорились о более активном обмене информацией и редакционными планами.

ВЛАДИМИР ОЛЕРИНИ

ВКЛАД В СОКРОВИЩНИЦУ КУЛЬТУРЫ ДРУГИХ НАРОДОВ

С 1975 года по настоящее время журнал «Ревю световей литературы» опубликовал 20 произведений, представляющих национальные литературы африканского континента, 15 — литературы арабских стран, 22 — литературы азиатских стран и почти 50 — литературы стран Латинской Америки.

Чтобы составить некоторое представление о том, как мы, читатели, воспринимаем национальные литературы развивающихся стран, попробую для наглядности расчленить главный вопрос, предложенный для обсуждения, на несколько подвопросов.

Социалистическая культура с ее революционными традициями имеет ярко выраженный интернационалистический характер, в ней заложено диалектическое единство национального и интернационального, и это единство являет собой платформу социалистической идеологии и практической политики, в том числе политики в области культуры. В условиях классового общества, в условиях борьбы между двумя идеологиями ленинский тезис о двух культурах в буржуазном обществе не утратил своего значения и поныне. На нем зиждется и основное положение марксистской теории искусства и эстетики — тезис о социалистическом реализме как исторически обусловленной и относительно открытой системе, способной интегрировать веками накопленные достижения мирового искусства и литературы. Этим теоретическим положением мы в полной мере руководствуемся и тогда, когда ведем речь о национальных литературах развивающихся стран и о нашем отношении к ним.

Национальные литературы Латинской Америки, Азии и Африки прошли за столетия своего развития многие этапы.

Нарастание в начале XX века классовых и социальных противоречий, победа Великой Октябрьской социалистической революции в России и образование во многих странах коммунистических партий, вокруг которых группировались прогрессивные писатели,— все это ощутимо повлияло на мировой литературный процесс, в частности и на творчество писателей «третьего мира». Создатели революционных литературных направлений, отвергая модернистские и эстетские тенденции, творчески использовали традиции отечественной культуры доколониальной и колониальной эпох и опирались на новаторство молодой советской литературы, стараясь воплощать в своем творчестве принципы передовой литературы XX века, социалистической по содержанию, национальной по форме. Од-

ним из важных принципов нового искусства и литературы было стремление к синтезу. Кубинский революционер, мыслитель, поэт и литературный критик Хосе Марти уже в конце минувшего века выдвинул и последовательно отстаивал его применительно не только к искусству Кубы и Латинской Америки, но и всего колониального и постколониального мира.

Тогда же начался процесс вывода национальных литератур развивающихся стран на мировую арену. Этому в немалой мере способствовало и то, что представители творческой интеллигенции этих стран получали образование в странах-метрополиях, таких как Англия, Франция, а затем США, где не только приобретали профессиональные навыки, но и испытывали влияние прогрессивно настроенной молодежи, преподавателей, художников, писателей. Немало было и таких, кто приезжал и в Советский Союз, где знакомился с советской литературой и искусством. Все это, безусловно, повлияло на становление национальных литератур развивающихся стран.

Произведения, опубликованные за последнее десятилетие в журнале «Ревю световей литературы», отмечены стремлением авторов к синтезу национального и интернационального, традиционного и современного. Это относится к книгам Рабиндраната Тагора и Алехо Карпентьера, Габриэля Гарсиа Маркеса и Эрнесто Карденаля, представителей многоликой африканской прозы, палестинской и чилийской поэзии Сопротивления, современной китайской прозы.

Итак, мы подошли к одному из основных аспектов темы «интернациональный фактор в национальных литературах развивающихся стран» — к вопросу об их месте в мировой литературе, об их вкладе в развитие прогрессивного художественного творчества. В настоящее время, когда идет борьба за реалистическое искусство высоких идейно-художественных достоинств, социалистическое и гуманистическое по содержанию, перед литературами развивающихся стран, участвующих в национально-освободительной антиимпериалистической борьбе и в борьбе за предотвращение термоядерной войны, стоят серьезные задачи.

«Ревю световей литературы» много внимания уделяет кубинской литературе. Не было такого года, да, пожалуй, и номера, в котором не публиковались бы произведения кубинской поэзии, прозы, драматургии. Нет, по-видимому, надобности подчеркивать, что это внимание соразмерно значению, какое придают кубинской литературе не только в Латинской Америке, но и во многих других развивающихся странах. В настоящее время она выполняет роль революционного авангарда национальных литератур стран Карибского бассейна, вступает во все более тесный контакт с литературами Азии и Африки. Достаточно тесные, многообразные литературные связи существуют между Кубой и другими странами социалистического содружества. В нашей издательской политике и практике оценки кубинских критиков и издателей принято считать серьезными ориентирами при отборе книг латиноамериканских авторов.

Анализируя литературный процесс в развивающихся странах, было бы ошибкой и упрощением считать, будто в этих странах существует только прогрессивная литература и что там не идет идеологическая борьба. Если говорить о сфере идейно-художественной, то борьба эта идет между реалистическим и модернистским искусством, между художниками, черпающими вдохновение из народной жизни, и теми, кто занимается бесплодными формалистическими поисками. Творческий метод реалистического освоения действительности в этих литературах предполагает и обращение к мифологии, сказкам, легендам; в арсенале художественных средств писателей-реалистов мы видим фантастику, аллегорию, символику. И все это, разумеется, имеет сугубо национальный колорит.

Для нашего восприятия и вкуса, исторически сложившегося в условиях развития европейской культуры, верное понимание подобных литературных приемов — дело порой нелегкое, и не всегда просто определить, действительно ли они обогащают реалистический художественный метод.

Мы говорим о таких ценностных принципах: идейно-эстетическая целостность литературного произведения, единство содержания и способа выражения, включенность произведения в конкретный общественно-экономический, общественно-исторический и культурно-исторический контекст. Когда эти принципы не принимаются во внимание, искажается взгляд на то или иное произведение литературы; его эстетическим качествам отдается предпочтение перед идейно-тематическими достоинствами, значение которых порой просто отрицается. Такая позиция свойственна той части буржуазной критики, которая намеренно обходит вниманием идейную сторону «вершинных» произведений в литературе развивающихся стран. Когда речь идет о книгах, художественная ценность которых неоспорима, эта критика, отрицая их оригинальность, навязывает читателю западноевропейские модели восприятия творчества отдельных авторов и целых литературных течений. К примеру, встречаются попытки отыскать связи между ведущими представителями современного романа в Латинской Америке и творчеством Ф. Кафки, экзистенциализмом, французским «новым романом» и т. п. Образцом такой искажающей интерпретации может служить обширный труд западногерманского автора Л. Польмана «Новый роман» во Франции и в Латинской Америке» (Штутгарт, 1968).

Исследование поэтики произведений национальных литератур развивающихся стран имеет, таким образом, немаловажное значение при определении реалистического метода в искусстве. На материале латиноамериканской литературы подобные проблемы исследовала рабочая группа испанистов из социалистических стран, сотрудничающих в рамках международной комиссии по вопросу «Реалистическая литература и революционные движения в Латинской Америке и Карибском регионе в 60—70-е годы». Результаты этих исследований убедительно подтверждают тезис о

функциональности используемых творческих приемов и об их тесной связи с контекстом, в котором они возникли. Прием, эффективно воздействующий в одном контексте, может в другом приобретать характер самоцельности или формалистического изыска. Пожалуй, нет нужды особо подчеркивать значение этих выводов при знакомстве с литературным творчеством писателей развивающихся стран. В этой связи нельзя не сказать о необходимости предисловий, комментариев, статей, которые облегчают нашему читателю восприятие идейно-художественных достоинств произведений. Не последнее место занимают такие материалы в журналах, посвященных иностранным литературам, на которые возложена также задача быть «первопроходцами» в поиске книг, доселе мало известных нашим читателям авторов.

Национально-освободительная и антиимпериалистическая борьба в развивающихся странах создает качественно новые условия для развития национальных культур. Говорить о бедности их литературными «явлениями» было бы несправедливо. И неправы те зарубежные критики, которые обходят их вниманием или просто не принимают всерьез. А если и отмечают, то относятся к ним как к каким-то конъюнктурным порождениям, недооценивая их вклад в прогрессивную мировую литературу. Взять, к примеру, Центральную Америку (африканисты, арабисты могли бы привести в данном случае свои примечательные примеры), которая сегодня переживает процесс бурного развития, в ходе которого возникают качественно новые словесные художественные формы.

На одной из международных встреч испанистов в Гаване сообщалось, например, о том, как неграмотные индейцы и метисы, участники партизанских боев в Сальвадоре и Гватемале, создают интереснейшую поэзию, распространяемую изустно и воспевающую героические деяния в форме средневековых эпических баллад, персонажами которых, лирическими повествователями — по большей части очевидцами происходящего — являются их боевые друзья, такие же неграмотные индейцы и метисы.

Возьмем другой факт. На периферии самого могущественного империалистического государства, в юго-западных областях Соединенных Штатов, граничащих с развитым латиноамериканским «субконтинентом», в последние два десятилетия возникла и относительно сложилась литература национального мексиканского меньшинства чиканос. Ее расцвет тесно связан с национальным движением чиканос, которое началось в шестидесятых годах. Поэзия, проза и драматургия чиканос умножают возможности реалистического изображения действительности — прежде всего стремлением соединить мифологические, «магические» и фантастические элементы, глубоко укорененные в сознании широких народных слоев, с критическим взглядом на окружающую их действительность: социальную несправедливость, расовую дискриминацию, принижение человеческого достоинства. Подборка произведений чиканос — в ближайших планах журнала «Ревю световей литературы».

В этих заметках затронуты лишь отдельные проблемы литератур развивающихся стран, с которыми мы знакомим читателей и которые воспринимаем и рассматриваем применительно к практике наших издательств и практике редакции журнала «Ревю световей литературы». Наиболее значительные явления и тенденции в литературах развивающихся стран обогащают современный мировой литературный процесс, существенно помогают борьбе за реалистический метод изображения действительности. Достойные внимания успехи литератур развивающихся стран опровергают утверждения буржуазной критики об односторонности, схематизме, однообразии, «однодневности агитки» и малой художественной убедительности, присущих якобы социалистическому и всему прогрессивному искусству и литературе. Хочется еще раз подчеркнуть, что для дальнейшего развития этих литератур сегодня открыты невиданные ранее перспективы. От нас требуется соответствующая теоретическая и профессиональная готовность к тому, чтобы эти достижения изучать и обогащать ими нашу социалистическую культуру.

Перевод со словацкого

◆

Публицистика

СТАДС ТЕРКЕЛ

«ХОРОШАЯ ВОЙНА»

Устная история второй мировой войны

Фрагменты книги

Из главы
«День вторжения и тому подобное» [1]

Фрида Вольф

Школьная учительница на пенсии. Когда-то, очень недолго, была эстрадной певицей. «Отец у меня испанец, был великолепным педагогом. Дядя, инженер, бежал из франкистской Испании и умер в лагере на побережье Франции. До этого времени я была политически очень наивной».

У меня такое ощущение, что начала второй мировой войны как бы не было. Но, пожалуй, началась она все-таки в Испании, по крайней мере, для нашей семьи.

В 1939 году я работала в школе в Сакраменто-Вэли. Дети сезонных рабочих учились в одной школе вместе с детьми местных фермеров. У меня был превосходный класс, занятия строила, можно сказать, по своему усмотрению. Как раз тогда произошло вторжение в Польшу. Объясняя его причины, я заинтересовала ребят историей различных стран не только Европы, но и Латинской Америки. Им все это показалось настолько увлекательным что даже те, кто не умел читать, недели через две уже читали.

В 1941 году я преподавала в Петалуме — знаете, городок на берегу сан-францисской бухты. Там было нелегко, ребята, входя в класс, частенько говорили: «Вот теперь русским всыплют!» — наслушались от директора и прочих. И я поняла, что надо подыскивать для себя другое место. Както директор вошел в класс и спросил: «Какие учебники вам понадобятся на будущий год?» А я вдруг ответила: «На будущий год меня здесь не будет». Сама даже не знаю, как это вырвалось. Будто кто другой сказал за меня.

Стала работать в информационном центре военно-морского флота. Записывала беседы с теми, кто вернулся с тихоокеанского фронта — обожженные, искалеченные, без рук, без ног. Вот тут я увидела настоящие ужасы войны и сначала подумала, что вытаскивать этих калек на обозрение публики было бы жестокостью. А потом поняла, что преступлением было бы прятать их. Люди должны знать, что такое война.

Пошла работать в Красный Крест, хотела скорее попасть за океан. В Англии мы ездили из лагеря в лагерь, из госпиталя в госпиталь — делали что могли, чтобы поднять дух всех наших солдат накануне высадки в Нормандию. Через два дня после высадки меня тайком взяли в самолет — посмотреть на битву с воздуха. Это был невообразимый ужас: молодых ребят разрывало на куски. Потом я отправилась туда с группой Красного Креста. Стала водить санитарную машину.

Перед отплытием, ночью конечно,— мы уже загнали наши машины на десантный корабль — брожу в темноте по палубе и вдруг слышу испанскую речь. Вот уж чего никак не ожидала! Оказывается, через пролив перебрасывали танковую часть Свободной Франции. А этих испанцев когда-то отправили на принудительные работы в Северную Африку, но им удалось бежать. Они присоединились к войскам Свободной Франции, добрались до Англии, а теперь переправлялись в Нормандию.

Смотрю, стоит одиноко солдатик, за поручни держится. Заговорила с ним по-испански — и попала в точку, это был испанец. Восемнадцатилетний мальчишка. Загнали его в испанское Марокко, когда ему всего тринадцать лет было. Близкие погибли: брат и две сестры бежали во Францию, были интернированы в лагере на побережье и все трое умерли — не выдержали жутких условий тамошних... Из всей семьи один он уцелел. Всего раз

© 1984 by Studs Terkel. This translation published by arrangement with Pantheon Books, a division of Random House, Inc.

Окончание. Начало см. в № 5, 1985.

[1] Три предыдущих интервью из этой главы были опубликованы в № 5.

улыбнулся мне — когда назвала его Дэнни (его звали Даниэль). «Дэнни, как же ты здесь-то очутился? Это ведь не твоя война?» — спрашиваю. Он так долго молча смотрел на меня. И наконец произнес — с убийственно серьезным видом: «Сеньорита, как-то странно говорить испанцу, что ему незачем сражаться против фашизма». Это меня ошеломило, словно повзрослела сразу.

Три дня спустя, когда мы работали в полевом госпитале под Шербуром, туда привезли мешки с кусками того, что осталось от людей. Дэнни был танкистом, и его танк взорвался. И вдруг я поняла, что вот эти куски в мешке — останки Дэнни: там был значок Красного Креста, я подарила ему этот значок на счастье. Я всегда чувствовала, что Дэнни знал больше, чем знала тогда я. Он многое для меня открыл. Мой убийственно серьезный испанский мальчик был теперь просто убитым серьезным испанским мальчиком.

Какое-то время я работала на фронтовой кинопередвижке. Наши грузовики были оборудованы киноаппаратурой и могли, если нужно, превращаться в сцену. Иногда мы выезжали прямо на передовую. Иногда я пела. Знаете, бывают такие страшно важные минуты в жизни солдат, когда им вдруг выпадет минута затосковать по дому, представить, что их ждет впереди. Время для страха. И конечно, им бывало страшно — что уж там говорить. Еще на десантных базах перед отплытием во Францию у некоторых молоденьких солдат отбирали ремни и галстуки. Они ведь были совсем-совсем юными. Могли не выдержать страха ожидания и что-нибудь сделать с собой.

Однажды я слышала обращение генерала Паттона к этим тысячам и тысячам молодых американцев: некоторые из них ничего еще в жизни не видели, кроме стен своей школы. И не знали напитка крепче молочного коктейля. И вот этим мальчишкам он сказал: «Вашей кровью и моей волей...» До самой смерти не забуду. Вашей кровью и моей волей.

Потом я попросила перевести меня в санитарные части. Работала и в эвакогоспиталях, и в госпиталях общего типа.

Да, помню еще, как мы пересекали океан на «Куин Элизабет». Тридцать тысяч солдат и офицеров на борту. Чтобы не было толкотни, всех разделили на красных, белых и голубых — солдаты спали на палубах в три смены. Офицеры получали великолепную еду, рядовые питались рыбьими головами...

Погода была мерзкая, укачало меня чуть не до смерти. Кое-как выбралась на одну из солдатских палуб. Ребята мне помогли дотащиться до поручней. Потом мы стали петь все вместе. Некоторые так прекрасно пели, я просто изумилась — оказалось, это были музыканты из разных знаменитых оркестров.

Время от времени включался громкоговоритель: «Просьба к персоналу Красного Креста покинуть палубы рядовых и перейти на верхнюю палубу». Я не перешла. Они меня спрятали. Мне вдруг пришла в голову прекрасная мысль. Я пошла к офицеру спецслужбы и сказала, что могу устроить великолепный концерт. Он сказал: «Устройте его для офицеров». Я отвечаю: «Нет, сначала мы дадим один концерт для «красных», один для «белых» и один для «голубых». А если после этого еще будем в океане, дадим один концерт и для офицеров». Устроили совершенно потрясающее представление.

Красный Крест просил нас приобрести длинные платья на всякий случай. Я купила себе сногсшибательное красное платье — потом ни разу его не надевала. Не знаю, каким образом солдаты узнали, что я собираюсь выступать в этом красном платье. Когда я вышла на сцену, оркестр заиграл «Леди в красном». И все запели. Это было просто чудо...

Когда мы высаживались на берег в Шотландии, на всех нас была форма Красного Креста с личным номером на касках. Мой номер был 22. Я сижу уже в катере, а солдаты еще на корабле. И вдруг они как заорут: «Эй, двадцать вторая, спой нам песенку». Потом как-то в одном из госпиталей встречаю солдата — я его не узнала, ему ампутировали обе ноги. Прохожу мимо, а он вдруг обращается ко мне: «Эй, двадцать вторая, спой мне песенку».

После я еще не раз встречала этих ребят и в Англии и во Франции...

Я работала в эвакогоспитале, который часто посещал генерал Паттон. Каждый раз он напоминал врачам, чтобы так называемых «самострелов» — тех, кто сам себя ранил,— содержали отдельно от других раненых. Но это еще не значило, что все они нарочно стреляли в себя. У кого-то просто оказывалось неисправным оружие и неожиданным выстрелом ранило руку или ногу. Таких случаев было много. И всех, если возникало хотя бы малейшее подозрение, что выстрел был преднамеренным, зачисляли в «самострелы». Иной раз они по полгода ждали военно-полевого суда. Ну а как карался сознательное нанесение себе раны, вы сами знаете. И можете представить, в каком состоянии были эти солдатики!

Встречала я ребят, которые не раз участвовали в форсировании рек. Один парень трижды спускался с парашютным десантом, его прислали к нам на сутки отдохнуть перед следующей операцией. Он все время потел. И все вытирал, вытирал, вытирал губы. Я спросила, в чем дело. Это был молодой герой, участвозал в трех боях. А сейчас просто умирал от страха. Говорит мне: «Не знаю, что делать. Так страшно! Что это со мной? Неужели я трус?»

Очень многие боялись прослыть трусами, даже те, кто по две недели не вылезали из окопов. Не могли снять сапоги. У них, конечно, были уже «окопные ноги» [1] и все такое прочее. И они еще боялись прослыть трусами.

В Вердене я работала в госпитале общего типа. На здании еще были видны шрамы первой мировой войны. Тысячи две раненых было в этом госпитале и около трети числились «самострелами». У одного правая нога была совсем изувечена. Он ждал военно-полевого суда. Врачи не могли решить, то ли ампутировать ногу, то ли

[1] Заболевание ног от холода и сырости. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим. ред.)*

подождать еще. Я предложила ему курс лечения — просто чтобы хоть чем-то его занять. Он был женат, и у них был ребенок. Но жена нашла себе другого, и он добивался, чтобы ребенка отдали на попечение его родителям. Вот так и жил — в ожидании суда, ампутации и потери ребенка. Четыре месяца я навещала его, не пропустив ни дня.

Но в конце концов все уладилось. Нам удалось отстоять ребенка. Ногу не ампутировали. А суд его оправдал, признав, что автомат был неисправен. В последний раз я видела этого парня на танцах, которые сама организовала. Приковылял он туда, опираясь на костыль, и говорит: «Красный Крест, Красный Крест, может, потанцуем?» Мы вышли на середину — и он станцевал, как мог...

Я всегда нарушала правила. Никогда не ела в офицерской столовой, всегда с солдатами. Никто не мог отправить меня под трибунал. Я не была армейским офицером.

В палату приходила, не предупреждая заранее. Но они меня высматривали. И иногда притворялись, что спят. Потом кто-нибудь, не выдержав, хихикал, и в меня летели шарики жеваной бумаги. И становилось особенно ясно, как же молоды эти солдаты. Совсем мальчишки.

В День победы я все еще работала в Верденском госпитале. Ну, после вернулась домой, работала в Красном Кресте, много ездила по стране. А потом началась «холодная война»...

Но для меня война все не кончалась: Франко еще был у власти на родине моего отца. Я помогала беженцам. А теперь я просто противница войны, вот и все.

Из главы
«Неожиданные деньги».
Бум в тихом городке

Элси Россио

Сенека, штат Иллинойс, находится милях в семидесяти к юго-западу от Чикаго на берегах реки Иллинойс, приток Миссисипи. Это маленький сонный городок в «хлебном поясе» США, ожившая литография прошлого века.

С июня 1942 г. до июня 1945 г. здесь строились ЛСТ-157[1].

Элси живет в маленьком пряничном домике. Называет его своей «лавкой древностей». Внешностью и манерами она напоминает Спринг Байингтон[2]. *Садимся за прекрасный деревенский завтрак. Элси вдова и всю жизнь прожила в этих местах. «Я еще помню узкие деревянные тротуары, коновязи. И все тогда знали друг друга».*

В конце сорокового года пошли слухи, что правительство собирается открыть тут у нас судостроительный завод. Те, кто сидел без работы, очень обрадовались. Мы ведь еще не оправились от последствий депрессии. Грузовики начали привозить всякие материалы. На моей памяти такого движения в Сенеке еще не было. Потом появились новые люди и автомобили, автомобили, автомобили...

Всю ночь напролет гремели молотки. А грузовики все подъезжали и подъезжали. Даже собаки и те попрятались — и уж через улицу не бегали. Люди больше не останавливались на углу поболтать, не ходили друг к другу в гости, как раньше.

Жителей в Сенеке тогда было всего около тысячи. Один ресторан, старая гостиница — и все. А тут вдруг в Сенеку и в окрестности нахлынуло двадцать семь тысяч человек. Проснешься утром, а на крыльце кто-то спит, завернувшись в одеяло. Все пускали к себе жильцов. Потом для рабочих построили бараки и новые дома.

У лавочников дела шли прекрасно. Народу было столько, что приходилось часами стоять в очереди со своими талонами. А мы к такому не привыкли. Но в целом отношение к новым людям было хорошим, хотя кое-кто и возмущался. Многие приехали с Юга, да и вообще каких только диковинных акцентов мы тогда не наслушались! Мне лично все это нравилось...

Лавочники держались старых привычек. Доходы у них подскочили, но они не хвастались, не пускали пыль в глаза. Не стали разъезжать на «линкольнах» и так далее, а жили как прежде. Они здорово наживались, но никому этого не показывали.

Но кто уж по-настоящему процветал, так это хозяева кабачков. По вечерам в пятницу и в субботу жизнь там била ключом. И как ни странно, драк почти не было. Ведь рабочие были люди все больше пожилые, молодежь-то ушла в армию...

Да, война изменила мою жизнь. Я устроилась работать — в приемной врача. А так бы всю жизнь проторчала дома за стиркой-уборкой. Работать у доктора мне очень нравилось.

Когда война кончилась, судостроительные рабочие разъехались по домам, и жизнь у нас пошла по-прежнему.

Ли Оримонт

Когда-то он был бухгалтером-ревизором на государственной службе, жил в Лос-Анджелесе. «Как-то постепенно я втянулся в бизнес супермаркетов. У меня был клиент, владелец небольшой цепочки таких магазинов. В 1938 году я поступил к нему ревизором, а в 1942 году стал его партнером».

Депрессия кончилась, как только началась война в Европе. В торговле сразу исчезла конкуренция. Чтобы делать деньги, не надо было ломать голову, это происходило автоматически. Главной заботой стало — как увернуться от налогов. Ведь неожиданно появилась сверхприбыль, а значит, и соответствующий налог. Чтобы не платить этот налог, поднимали зарплату служащим, раздували статьи расходов, платили большие премии. В общем, не жалели

[1] LST — Landing Ship Tank — десантное судно.
[2] Голливудская актриса, игравшая любящих мамочек, хлопотливых жен, добропорядочных матрон.

затрат — это же были деньги правительства [1]...

Когда мы начинали, собственный капитал нашего предприятия составлял 65 000 долларов. Я сказал своему партнеру: сможем продержаться на этом уровне до конца войны при всех трудностях — карточки, дефицит товаров, рабочей силы,— считай, что мы хорошо поработали. И вдруг дела круто пошли в гору: продать можно было все что угодно, не успевали раскладывать по полкам...

Трудно было с тарой. Не хватало, например, бумажных пакетов. Стали обходиться без них, покупатели приходили со своими сумками. Каждый дефицит давал дополнительную прибыль. Не хватало рабочей силы — справлялись с наличным персоналом. Нельзя было достать новое оборудование — работали со старым. А в результате — солидная прибавка к прибыли: в первый же год из 65 000 сделали 100 000 долларов.

У людей была работа на оборонных заводах, были деньги. А так как с автомашинами и с бензином стало туго, дали себе волю в еде. Был установлен контроль над ценами, поэтому спиртного продавалось очень мало. Как-то раз нам удалось получить от одного спиртоочистительного завода пятьсот ящиков «Старого века» в пинтовом разливе,— очевидно, в награду за то, что мы когда-то купили у них партию дрянного аргентинского рома. Мы продавали по одной бутылке в руки — очередь выстроилась на два квартала. То же самое было с сигаретами, чулками. Все, что мы доставали, раскупалось тут же.

Однажды мы заказали у какого-то оптовика в Филли[2] пятьсот ящиков консервированных груш. Тогда еще карточная система на фруктовые консервы не распространялась. Страшная гадость были эти груши. Этикетка предупреждала о стольких опасностях, что не хватало только надписи: негодно к употреблению. И вот, когда нам их доставили, правительство объявило, что со следующей недели продажа фруктовых консервов тоже будет нормирована. Мы избавились от этих ужасных груш за один день. Банки будто сами соскакивали с полок.

Хуже всего было с мясом. Добыть его, конечно, можно было, но для этого требовались свободные деньги. И тут дело стопорилось. Во-первых, с моим воспитанием мне это было не по нутру. Во-вторых, мы и так хорошо справлялись. Не было никакой нужды лезть к черту в пекло и нарываться на тюрьму, чтобы хорошее сделать чуть получше. В-третьих, я сам был бухгалтером-ревизором и понимал, что невозможно добыть деньги — большие деньги — на оплату «под прилавком», если не скрыть выручку. Поэтому мясом мы почти не торговали. И тем не менее дела шли отлично.

Вообще торговлей мясом занимались в основном небольшие местные компании. Многие независимые мелкие лавочники обходились без кассовых аппаратов, покупали и продавали за наличные и поэтому могли пользоваться черным рынком. Совесть и страх помогли нам преуспеть и без услуг черного рынка. Мы начали с двух магазинов, а к 1945 году их было уже двенадцать.

Во время войны не надо быть финансовым гением, чтобы делать деньги. Я знаю людей, которые до сих пор воображают, будто добились успеха благодаря своим блестящим способностям. Встают в позу проповедника и поучают: вот как они самоотверженно трудились, какие были энергичные, толковые и изобретательные. Брехня! Просто они оказались в нужном месте в нужное время. Все, что от тебя тогда требовалось, это открыть лавку и не надираться до потери сознания. А покупатели уж тут как тут — готовы купить все, что ты ухитришься для них достать. Не нужно ни мозгов, ни особого труда. Если дело обстояло так с маленькими фирмами, можете себе представить, как все это работало на большие фирмы.

Раз нам представился случай вложить капитал в строительство жилищного комплекса. Наши магазины находились в самом сердце авиационной промышленности. Мы вложили 15 000 долларов. Через шесть месяцев наш капитал удвоился. А ведь мы были рядовыми мелкими акционерами. Строителей финансировало правительство. Участки застраивали за девяносто дней. Начальная цена дома была 4000 долларов. Готовые дома можно было продать уже за 6000. Разница составляла чистую прибыль. А сейчас за эти дома спокойно дают 60 000 долларов.

Неожиданно для себя я тоже стал бизнесменом. Никогда не думал, что способен копить деньги. Я пережил депрессию и считал их бумажками: как появились, так и исчезнут.

Мне кажется, война для нас здесь, дома, была чем-то нереальным. Для тех, кто никого не потерял на фронте, это был весьма недурной отрезок времени. По-настоящему войну — как войну — мы не воспринимали. Вот даже я — человек вроде бы политически мыслящий,— я никогда лично не испытывал ощущения реальной опасности. К тому же, оказалось, мы еще и разбогатели. И действительно не страдали.

[1] В 1944—1945 годах я работал на радио диск-жокеем коммерческой рекламной программы, которую оплачивала контролируемая гангстерами фирма по производству пива. Мне предлагали покупать сколько угодно пластинок и какие угодно, не считаясь с ценой. Помню, однажды я потратил в своем любимом музыкальном магазине целых 500 долларов. А когда с некоторым чувством вины стал отчитываться перед заказчиком, тот расхохотался: «Ну, парень, ты дешевка. Вернул нам только семьдесят пять зелененьких. Об остальных позаботится Дядя Сэм». *(Прим. авт.)*

[2] Филадельфия.

Из главы
«На фронте — с вечной ручкой, камерой и микрофоном»

Эл Даккет

В первые годы войны был журналистом. Его статьи печатались в разных газетах, издававшихся черными для черных — «Балтимор Афро-Американ», «Питтсбург курь-

ер», «Чикаго дифендер». Сейчас Даккет — уполномоченный по связям с общественностью.

В 369-м саперном полку были одни черные, большинство из Бруклина. Я там родился, поэтому многих знал. Во время второй мировой войны черных на передовую не брали, предпочитали использовать на подсобных работах,— только называли поинтереснее — саперы, интенданты и так далее. После Пёрл-Харбора 369-й полк перевели в Джорджию, в лагерь Стюарт под Саванной.

Власти никак не могли решить, что с ними делать — то ли отправить в Европу, то ли еще куда, держали в состоянии готовности и — ни тебе отпусков, ни увольнительных.

Пишут они домой о своих трудностях: об офицерах — белых расистах, о клубах — хороших для белых, похуже для черных, и в Саванне — туда нельзя, сюда нельзя. Но это еще ладно. Главное же — как обращаются с матерями, женами, невестами, которые приезжают повидаться. На улицах у черных женщин требуют пропуска. Мы что, в Южной Африке? Городские власти объясняют: следует установить, что они не проститутки. Но для белых женщин таких правил нет. Многие ребята из-за этого лезли в драку, таких случаев полно было.

Солдаты 369-го полка стали писать друзьям, конгрессменам, требовать расследований. Только никто на их жалобы внимания не обращал — месяцами не могли ответов дождаться. Поскольку я некоторых солдат знал лично, то попросил Карла Мэрфи, издателя «Афро-Американ» направить меня в лагерь Стюарт.

В те дни негритянские лидеры и некоторые белые либералы начали большую кампанию: на нас всех свалилась война, так неужели мы не можем добиться у себя дома того, за что воюем в этой войне? Черные должны иметь право служить в действующей армии не только в качестве прислуги. Особенно горячо выступал за равные возможности А. Филип Рэндольф [1].

Франклин Рузвельт встретился с представителями негритянских газет — его встревожили многие статьи на первых полосах этих газет. В беседе он употребил фразу, которая была тогда в ходу: «Я не хочу устанавливать цензуру, но идет война, и мы должны быть патриотами. Я был бы вам признателен вот за что: если вы печатаете статьи, способные вызвать бурную реакцию, дайте нам их посмотреть». Черные издатели были, конечно, обеспокоены такого рода просьбой. И видимо, последовала длинная пауза. И тут Карл Мэрфи сказал: «Мы понимаем, господин президент». Ему потом за это здорово досталось.

Когда я попросил Мэрфи послать меня в лагерь Стюарт, ему пришлось обратиться за разрешением в министерство обороны. А там не торопились с ответом. Сначала в лагерь послали генерала Бенджамина Дэвиса для выяснения обстановки. Он был первым черным генералом в США. А знаете, как он получил этот чин? Однажды накануне выборов Франклин Рузвельт приехал в Нью-Йорк. С ним был Стив Эрли, его пресс-секретарь. Охраняли поезд самым строгим образом. Эрли, никого не предупредив, отправился на вокзал купить газету. Когда он возвращался к поезду президента, черный полицейский, выполняя свои обязанности, остановил его. Вместо того чтобы объяснить, кто он, Эрли возмутился и ударил полицейского ногой в пах. Черные газеты подняли страшный шум. Но Рузвельт, как никто, умел воздействовать на общественное мнение: он тут же впервые в истории Соединенных Штатов дал негру чин генерала.

После поездки Дэвиса мне наконец разрешили побывать в лагере. Встретил меня предельно вежливый белый лейтенант, которому было поручено меня сопровождать. Вещи я оставил в клубе (естественно, в клубе Джима Кроу [1]), и лейтенант повез меня в джипе к командиру полка Оксу. Вместо приветствия полковник Окс произнес (с южным акцентом): «Мистер Даккет, мы рады приветствовать вас в лагере Стюарт. Надеюсь, вы не из тех смутьянов-негров, которые подстрекают к беспорядкам и устраивают газетную шумиху». Тут я понял, что, если хочу получить какую-нибудь информацию, мне придется ходить по канату. Я заверил полковника, что он может быть спокоен, я просто репортер, и все.

Отвезли меня назад, в клуб, и я тут же обнаружил, что в чемоданах моих рылись. Не пытаясь даже это скрыть. Не столько возмутил меня сам обыск, сколько такая бесцеремонность — запихали мои вещи в чемодан как попало, вроде бы давали понять.

В лагере я пробыл четыре дня. По утрам белый лейтенант заезжал за мной после завтрака (где и как завтракал он, не знаю, а я — в клубе Джима Кроу) и отвозил к солдатам в казармы. Потом увозил в клуб на второй завтрак, а затем на обед, после чего я шел гулять и встречался с джентльменами из 369-го полка.

Наши встречи были тайными, и меня восхищало их мужество: ведь они могли попасть под суд за то, что снабжали меня информацией. Офицеры и рядовые подробно описывали, в каких условиях им приходится служить. Рассказали, между прочим, как генерал Дэвис инспектировал лагерь: явился к полковнику Оксу с извинениями — дескать, вынужден тревожить его по столь неприятному поводу. И это генерал, приехавший с инспекцией! Затем приказал выстроить всех солдат-жалобщиков перед офицерами, которых они обвиняли, и обратился к этим солдатам со следующей речью: «Я намерен сказать вам всего лишь три вещи. Первое: я того же

[1] Президент «Братства проводников спальных вагонов» — главной силы, стоящей за «Комитетом марша негров на Вашингтон» в 1941 г. Лозунг комитета: «Мы, американские граждане-патриоты, требуем права работать и сражаться за нашу страну» Распоряжение исполнительной власти за номером 8802 одобренное Рузвельтом, убедило негритянских лидеров отменить поход. В известной мере оно определило курс официальной внутренней политики: никакой дискриминации в приеме на работу на оборонные заводы. Был создан «Комитет по контролю за справедливой практикой найма рабочей силы». Армия же оставалась по-прежнему сегрегированной. *(Прим. авт.)*

[1] Для черных.

цвета, что и вы, но не вашей породы. Второе: если вы жалуетесь на дискриминацию и сегрегацию в армии Соединенных Штатов, советую вам забыть об этом. Третье: то, что произошло с вашими женами, которые сюда приезжали, к армии Соединенных Штатов никакого отношения не имеет. Это ваши личные проблемы. Армия вас жениться не заставляла». Вернувшись в Вашингтон, он снял с лагерного начальства все обвинения.

Я собрал дополнительный материал по жалобам, возвратился в Нью-Йорк и написал статью. Послал ее в Балтимор, в «Афро-Американ». Карл Мэрфи отправил копии в министерство обороны. Через несколько часов ему позвонили: высокопоставленные лица в министерстве и в правительстве говорят, что печатать это нельзя. Мэрфи ответил: «Это недоразумение. У нас была встреча с президентом, и он сказал, что хотел бы посмотреть, что мы публикуем. Так что материалы уже печатаются». Мэрфи знал, что делал. Он поймал Рузвельта на слове. *(Смеется.)*

А вы слышали что-нибудь про Лину Хорн? Ее послали в один лагерь на юге выступать перед солдатами. Сначала — перед белыми и отдельно — перед черными вместе с немецкими военнопленными. Когда я служил в Форт-Диксе, там тоже немцы питались с черными, а белые отдельно. И вот Лина выступила перед неграми и военнопленными, а потом взяла да уехала.

Тогда черных старались на медицинских комиссиях признавать только ограниченно годными. Чтобы использовать в стройбатальонах. Вот и у меня обнаружили шумы в сердце. Я не особенно рвался воевать, но писать мне хотелось. Пошел к своему врачу, и он никаких шумов не услышал. А когда «Афро-Американ» все же напечатала мой материал, сердце у меня вдруг оказалось совершенно здоровым, и я тут же получил повестку.

Мне хотелось быть военным корреспондентом, хотелось попасть на фронт. Запрос обо мне пошел в штаб к Эйзенхауэру, потом в Пентагон. Ответ пришел положительный. Наш полковник получил его и спрятал в ящик стола — я узнал об этом только через месяц. Полковник хотел помешать мне получить эту работу.

Во Франции нас направили в лагерь Лаки Страйк — огромный лагерь, целый город. Там держали немцев, взятых в плен на передовой, они работали под нашей охраной.

Белое начальство страшно боялось, что мы начнем заводить знакомства с белыми женщинами. Полковой священник дошел до того, что заранее приезжал туда, куда нас направляли, и предупреждал местных жителей, что в Америке белые с нами не знаются и что у нас (я не шучу) есть хвосты. И что зарезать человека без причины нам ничего не стоит. А еще служитель божий! Начальник лагеря официально запретил черным солдатам вступать в контакты с французскими гражданскими лицами. Конечно, речь шла о женщинах.

Как-то вечером в палатке Красного Креста мой однополчанин Аллен Лефтридж болтал с француженкой, которая разносила пончики и кофе. Военный полицейский (белый) приказал ему прекратить разговор, но Аллен просто повернулся к нему спиной. И был убит выстрелом в спину. Этим дело не кончилось. в перестрелке погиб и другой негр, Фрэнк Гленн.

Весть об этом с быстротой молнии разнеслась по черным полкам лагеря. Так как мы были не на передовой, оружие у нас каждый день отбирали и выдавали только на учения. Но тут ребята из нашего подразделения ворвались в склад, схватили свои автоматы и двинулись к палатке. Они были готовы погибнуть, лишь бы отомстить. К счастью, там оказались два белых офицера, которых все уважали. «Вы ничего не добьетесь,— сказали те.— Все шансы против вас». На следующий день наше подразделение перевели в другое место.

Свою корреспонденцию в черные газеты я посылал в виде писем с фронта. Все они доходили и печатались. Написал и о том, как были убиты Лефтридж и Гленн. Аллену оставалось около двух недель до очередного отпуска, он собирался домой, чтобы увидеть свою новорожденную дочку.

После войны я встретил одного из ребят того подразделения. «Помнишь Аллена Лефтриджа?» Как я мог его забыть! «Помнишь, он звал жену, когда умирал? Ну так я с ней познакомился. Ты не поверишь — ей отказали в пенсии, поскольку-де он был убит по собственной вине, из-за нарушения распорядка. Она пыталась выяснить обстоятельства его смерти, но ничего ей толком не ответили. Она читала твою статью и хочет поговорить с тобой, может быть, ты сможешь что-нибудь узнать». Статья была напечатана под другим именем, но масса людей знала, что это моя статья.

Я поехал к ней, мы долго говорили, а рядом бегала и баловалась ее прелестная дочурка. Когда по радио заиграли «Звездное знамя», вдова встала и выключила радио. Она очень ожесточилась после того, что сделали с ее мужем, с ней самой и с ее дочкой. *(Помолчав, улыбается.)* Мы с ней поженились, и малышка стала моей дочерью. Теперь мы, правда, развелись, но сохраняем прекрасные отношения.

Я связался с ребятами из нашего подразделения, они разъехались по всей стране. Мы организовали «Комитет ветеранов за восстановление справедливости». Миссис Рузвельт проявила к нам интерес. Мы требовали, чтобы министерство обороны открыло нам доступ в архивы. Военные власти поняли, что, уступи они нам, последуют тысячи других жалоб. И нам отказали.

В общем, кое-какие перемены к лучшему война принесла: черные начали работать в оборонной промышленности, получили техническую подготовку, о которой прежде не могли мечтать. Да и в социальном плане мы кое-чего добились, с прошлым и не сравнить. Но расизм по-прежнему живуч и стал, пожалуй, еще свирепее. Эта война должна была покончить с фашизмом, так? А подавляющее большинство черных, представьте себе, не верит, что атомную бомбу сбросили бы на Хиросиму, будь это город белых.

Гарсон Кейнин

Режиссер, сценарист, автор мемуаров

Я находился на военно-воздушной базе в Форт-Уорте, когда меня тайно посадили на истребитель и будто по мановению волшебной палочки перенесли в Вашингтон. Я очутился в кабинете генерала Уильяма Донована — Дикого Билла, главы ОСС[1].

Выяснилось, что от англичан поступила просьба прислать человека для работы с их бригадой кинооператоров, которые должны были заснять предстоящую операцию вторжения, или, как ее называли, «Операцию Оверлорд». Дело требовало уйму времени на подготовку и огромного штата, чуть не в тысячу человек.— фильм собирались широко демонстрировать в США и Великобритании.

Это было в начале 1943-го. Вторжение произошло 6 июня 1944-го. Значит, они тогда уже знали о нем. В Лондоне я приступил к осуществлению задания вместе с английским режиссером Кэролом Ридом. Мы были соавторами. В целом работа над фильмом заняла почти два года, назвали его «Подлинная слава».

Правда, приступил я к своему делу не сразу, меня все еще проверяли по разным линиям, как того требовала секретность: прошлая деятельность, связи, картотека ФБР и прочее. А пока получил назначение в военную цензуру. В течение шести недель сидел и читал солдатские письма домой. Задача была — не пропустить и намека на информацию о том, где, что и когда мы собираемся сделать, чтобы даже никакие слухи не просочились. Готовилось вторжение, может быть, вчера им выдали новый вид оружия. Ни одно письмо не отсылали без проверки. У нас были узенькие бритвенные лезвия, и мы вырезали отдельные слова или целые строчки, которые можно было хоть как-то связать с предстоящей операцией.

В моей жизни это осталось одним из самых ярких литературных впечатлений. Писали родителям, женам, любимым девушкам, друзьям. Я читал куски высочайшей английской прозы, написанной восемнадцатилетними мальчишками. Писали они безграмотно, но это не имело никакого значения. Главное было — их чувства.

Как-то один французский офицер сказал мне: «Зачем вы тратите столько сил на просмотр почты? Почему бы вам не воспользоваться нашей системой? Мы никогда не читаем никаких писем. И ничего с ними не делаем. Просто складываем всю почту в большие мешки и тридцать дней храним на складе. А потом отсылаем дальше». Во время войны любая информация через тридцать дней уже не представляет никакой ценности. Все равно что газета месячной давности.

Когда наконец я прошел все проверки, я попал в самые что ни на есть высшие сферы армейской разведки — британской, американской. ОСС, всякого рода шпионаж, операции с секретным оружием. Между прочим, в ОСС попадали не только отчаюги. Там были ученые, социологи, химики, бактериологи, которые носились со всякими сумасшедшими идеями и придумывали невероятные вещи...

Для нашего фильма мы подготовили много людей, которые до этого никогда вообще не снимали или не были профессиональными кинооператорами. Нам нужно было, чтобы в каждый батальон попал хотя бы один наш человек. Мы им говорили: снимайте все подряд. Кэрол Рид требовал только одного: никаких инсценировок, каждый кадр должен быть подлинно документальным. Как потом выяснилось, засняли что-то около десяти миллионов футов пленки.

Мы открыли забавную вещь: люди, непосредственно участвовавшие в битве, знают о ней меньше, чем те, кто сидел в штабе, но видел отснятые кадры.

Нашим продюсером был Эйзенхауэр. В одной операции целый полк был спасен благодаря воздушному прикрытию, при этом авиация понесла большие потери. А пехотинец, у которого брали интервью, возмущался: «Весь бой мы вели в одиночку, ни одного вонючего самолета для прикрытия». Он не видел их с поля боя. А мы на пленке— видели.

Наконец фильм смонтировали. В нем была показана вся операция — от вторжения до Дня победы в Европе. С позиции рядового солдата.

Но как мы ни старались, все равно многие остались недовольными. Англичане считали, что недостаточно отражен их вклад в общее дело. Морская пехота жаловалась, что ее мало показали. Моряки говорили: а где же остальные суда? Каждый хочет чувствовать, что именно он выиграл войну, его батальон, его полк.

Подготовка к высадке вызывала почти столько же волнений как сама операция. Речь шла о сотнях, тысячах людей. Питание, вода, горючее, санитария, постельные принадлежности. Все надо было предусмотреть до последней пуговицы.

Целый отдел из шестидесяти человек был занят только туалетной бумагой. Однажды в английском секторе мы с Кэролом Ридом захотели облегчиться. Туалет представлял собой длинный высокий ящик шириной в четырнадцать дюймов. У одного конца за столом сидел капрал. Перед ним — стопка туалетной бумаги. Когда мы подошли, он послюнявил палец и стал отсчитывать квадратные листики: один, два, три. Высокий элегантный Рид попросил: «Можно мне еще один?» Капрал не понял: «Простите, сэр?» Рид сказал: «Я снимаю фильм для генерала Эйзенхауэра. Можно мне еще один листок туалетной бумаги?» Капрал ему: «Нет, сэр, никак нельзя. У меня приказ».— «Но мне очень нужно».— «Нет, сэр. Три листка — вы увидите, сэр, вполне достаточно. Один сверху, один снизу и один начисто». *(Смеется.)*

Частью нашей работы было и добывание немецкой и итальянской кинохроники. Приходилось посылать агентов ОСС в Лиссабон с заданием раздобыть ее любым способом — воровать, покупать на черном рын-

[1] Управление стратегической службы — предшественник ЦРУ. *(Прим. авт.)*

ке или просто отбирать. Позже наши собственные кинооператоры снимали кадры в концлагерях: мы входили в состав группы войск, освобождавших Бухенвальд и Освенцим [1].

В конце сороковых — или в начале пятидесятых годов — после просмотра «Подлинной славы» ко мне подошел какой-то человек и сказал: «А вы знаете, вот эти кадры, когда парень падает, встает, снова падает, поднимается и валится назад,— это я снял». Для него это был момент личной причастности к общей славе. Для меня тоже. Так же важно, как все другое, к чему я приложил руку. На войне было столько всего, что вызывало у меня и отвращение, но я понимал — она была необходима. И я и все, кто имел отношение к этому фильму, чувствуем, что были частью чего-то великого.

Ричард Ликок

Кинодокументалист

«Я вырос на банановой плантации моего отца на Канарских островах. Приехал в Америку, чтобы поступить в Гарвард. Когда началась война, работал на донорском пункте, брал кровь для армии у несчастных гарвардских студентов. Чувствовал себя Дракулой.

Так как я не был гражданином США, то не мог пойти добровольцем, только по призыву. Я пригрозил, что покину страну, если меня не призовут. И когда наконец получил повестку — уже на последнем курсе,— был вне себя от радости. Потом, правда, я должен был еще предстать перед судьей и поклясться в верности какому-то то ли принцу, то ли великому князю. Никогда о них до этого не слышал.

Между прочим, я ожидал, что Америка мне не понравится. Большинство англичан из высших слоев общества не любят Америку. Я в нее влюбился. Впервые в жизни чувствовал, что делаю что-то полезное. Процедуру поступления в Гарвард я не назвал бы демократическим процессом, вступление в армию — другое дело».

Это было в 42-м. Оказалось, всем наплевать, кто я и откуда. Это было чудесно. А потом случилось нечто ужасное. В армии решили, что я должен печатать на машинке. Ротный писарь в войсках связи. Кем ты был на войне, папочка? Машинисткой. Кстати, это мне напоминает: когда я много лет спустя попал в Белый дом, там играл оркестр морской пехоты. Все, конечно, были в форме, даже арфист. *(Смеется.)* Что ты делал в морской пехоте, папочка? Играл на арфе. Итак, я пишу неграмотно. Я не умею печатать. За семь недель добился скорости семь слов в минуту. Они сдались. Какой-то начальник побеседовал со мной, и вот я фронтовой кинорепортер в звании солдата. Мне в самом деле нравилось быть рядовым. Это было именно то, чего я хотел.

Сначала меня направили на Юкон, оттуда в Индию, а потом в Бирму. И вот надо же так случиться — нашу команду прикрепили к 36-й британской дивизии. Как в пинг-понге — меня отбили опять на эту сторону поля. С большой, правда, разницей: теперь я был американцем и меня называли «янки».

Мы двинулись на север Бирмы к Мандалаю. Этот поход занял больше года — война велась по старинке. Японские линии коммуникаций были уже перерезаны, у них осталось очень мало продовольствия, очень мало боеприпасов, мало людей. У нас же там были огромные силы. Мы вели абсолютно неравный бой.

Это была война в джунглях — война нервов, война снайперов, минных ловушек, война врукопашную. Нас снабжали с воздуха, и вообще наше воздушное превосходство было подавляющим. Тогда впервые мы применили напалм: японцы просто уходили, оставляя лес гореть. Так что особых военных задач это не решало.

На какое-то время меня прикомандировали к ОСС — потом оно превратилось в ЦРУ. А тогда мне это представлялось чем-то вроде организации бойскаутов. Мы обучали этих горцев из племени качинов. Жестокие, надо сказать, молодчики, все как один наркоманы. Они принимали свою ежедневную норму опиума, как мы — свою норму джина и рома. Мы совершали с ними лихие рейды за линию фронта — захватывали деревню, допрашивали жителей, часто выбивали при этом зубы. Скорый суд, жестокая казнь. Расстреливали их из пулеметов или еще хуже.

Кого их?

Бирманцев. В любой деревне находилась какая-нибудь непопулярная личность, и все спешили о ней рассказать. Иногда это был коллаборационист, иногда человека просто не любили. Обвиняли в изнасиловании женщин или еще в чем-нибудь. Отправляется отряд — американские офицеры, несколько унтеров и эти воинственные качины,— и деревни пылают. Не думаю, что в этом была острая необходимость. Мы просто поджигали их, если они считались — цитирую — «недружественными», что бы под этим ни подразумевалось.

Мне кажется, здесь было, так сказать, начало Вьетнама. Многое из того, что я видел, приводило меня просто в шоковое состояние, но я был рядовым, и моего мнения никто не спрашивал, никого оно не интересовало. И я решил: единственное, что я могу сделать, это заснять что удастся, отослать и надеяться на бога, может, кто-нибудь это увидит. В особенности допросы с выбиванием зубов. Мои пленки отправляли куда-то в Вашингтон. Куда — не имею понятия.

Я не питал особого зла к японцам и не горел энтузиазмом отвоевывать Бирму для Великобритании. В то же время я узнал, что действительно существует такая порода людей — герои. Люди, невероятно храбрые в бою. До сих пор мне трудно понять, почему они совершают те или иные безумные, с моей точки зрения, поступки, но они их совершают. Как будто получают от этого огромное наслаждение.

[1] Здесь Г. Кейнина подвела память. Освенцим был освобожден советскими войсками.

Существуют также люди, обладающие блестящими тактическими способностями, обычно на уровне полковника. Генералы сидят где-то там над картами и составляют важные планы. А батальонный командир... огромная, черт возьми, разница, толковый он у вас или тупица!

Мне хорошо запомнился полковник Гвида Джонс с его несколько театральными манерами. Он знал, что надо делать в любой ситуации. И об этом знали его солдаты и готовы были на все для него. Знаете, один из этих чудаковатых британских типов, из самого высшего общества, с таким... как бы утрированным акцентом. Обращался к подчиненным: «Да'агуша». «Что вы здесь делаете, да'агуша?» Всегда в руках стэк. Однажды я стоял рядом с ним, когда мимо нас — фьють — просвистела пуля. Он, не прерывая разговора, заметил: «Криво писает». *(Смеется.)*

Убивали друзей, иногда на моих глазах. Прямой контакт со смертью — тоже жизненный опыт, я стал меньше ее бояться. Она гораздо понятнее, когда у тебя на руках умирает не самый лучший друг, а просто один из боевых товарищей. Вы выкапываете могилу и с почетом его хороните.

Сам я лично так ни разу и не выстрелил. Хотя были моменты, когда мог бы, в порядке самообороны. Приходилось выбирать между пистолетом и камерой. Я всегда выбирал камеру. Кстати, не так уж много можно было увидеть — больше услышать, особенно в джунглях, грохот там стоит невероятный. О господи, звон в ушах не прекращается часами. Если открывает огонь 50-калиберный пулемет, да еще где-нибудь рядом — затыкай уши. Ну а если поблизости старая 115-миллиметровая гаубица — держись крепче на ногах. Вот вы, например, сидите в абсолютной тишине. И вдруг рядом что-то падает — бряк! Вы валитесь со стула.

Смотрю я сейчас на этих ребятишек моего тогдашнего возраста и думаю... Когда мы взяли Рангун, у меня было две ручные гранаты, автомат Томпсона, полицейский пистолет 38-го калибра и мои кинокамеры. Очень интересное чувство. Хочешь машину — бери, у тебя ведь автомат. И не забывайте, мы дружественная, освободительная армия. Хочешь дом? Какой нас больше устроит? Займем вот этот. Хозяева куда-то убираются или переходят в помещение для прислуги и сами становятся вашими слугами. Они очень дружелюбны, и вам начинает нравиться ходить с автоматом Томпсона. И с парой ручных гранат.

Почему мы воюем? Зачем люди дерутся? Вот мы оказываемся втянутыми в драку и начинаем творить всяческие безумства. Зачем? Не знаю. Конечно, мы больше всего боимся сойти за трусов. Этого особенно боятся мальчики, воспитанные в презрении к «слабакам». Отсюда все остальное. Вот так и молодые солдаты. Ну какого черта они то и дело дубасят друг друга?

Теперь об этих голливудских фильмах, где люди сидят в окопах и ведут идеологические дискуссии о прелестях американской демократии. Ну что за дерьмо! Я помню эти фильмы. Они просто глупые. Во время боя не до разговоров. На войне между людьми возникает какая-то необъяснимая близость. Бывает несколько суток без сна — под проливным дождем или под непрерывным обстрелом. Чуть кончилось, сразу засыпают, привалившись друг к другу, в куче. Странное это зрелище. Мужчины спят в обнимку, такое увидишь только на войне.

Я очень легко мог стать офицером. Однако именно этого я очень не хотел. Отчасти потому, что в качестве рядового имел возможность встречаться с самыми разными людьми, и мне это всегда доставляло удовольствие. Но главное — я не хотел распоряжаться чужой жизнью. Лучше уж быть на том конце, где получают приказы, чем там, где их отдают. Командовать людьми не в моей натуре. К такого рода власти я никогда не стремился.

Возможно, поэтому я часто ею восхищался. Но видел и примеры чудовищного использования власти. Встречал таких командиров, что если они и не получили пулю в спину, то уж точно ее заслуживали. У них была власть, но никаких мозгов. А это может быть очень опасно.

А в общем я любил этот балаган. И никакого зла на него не держу. Кроме, пожалуй, просветительских фильмов о венерических болезнях, которые нам показывали. Боже мой! По-моему, они просто отравили всем половую жизнь.

Уолтер Роузенблум

Был когда-то фотографом в Управлении сельскохозяйственного регулирования министерства сельского хозяйства. Это управление было детищем «Нового курса»[1].

Для меня война началась в день высадки в Нормандии, 6 июня 1944-го. Я был военным фотокорреспондентом на борту судна, пересекавшего Ла-Манш. Немцы хорошо окопались на побережье, их доты были утоплены прямо в склоны холмов. Пушки направлены стволами к берегу.

Когда я очень нервничаю и хочу расслабиться, я ложусь спать. Поэтому перед тем, как нам садиться в десантные лодки, я успел вздремнуть, проснулся в самый раз к выгрузке. Мы оказались среди первых частей, добравшихся до берега. Я был приписан к саперному батальону: наша задача была уничтожить бетонные заграждения в воде, блокирующие подход десантным лодкам. Пока мы высаживались, нас обстреливали из пушек. Тогда я впервые увидел убитого человека. Вокруг меня в воде лежали мертвые американцы.

Одним из первых моих кадров был снимок юного лейтенанта, который, плавая среди трупов, вылавливал раненых. Я все это снял «Спид-графиком» 4×5. Я не считаю себя храбрецом. Никогда не ввязываюсь в драку, даже от споров уклоняюсь. Но когда происходит нечто подобное, становлюсь очень спокойным и хладнокровным, в один момент нервозность куда-то исчезает. Я снимал то, что видел. Это была моя работа.

[1] Экономическая программа Ф. Д. Рузвельта в 1933—1938 гг.

Лейтенант, командовавший нашим подразделением, с самого начала прыгнул в ближайший окоп, и мы его три дня не видели. Спрятался от страха. Остальные продолжали свое дело. Я работал рядом с кинооператором Вэлом Поупом. Замечательный был парень. По правде говоря, страшновато было: днем немцы начали бомбить с воздуха, побережье превратилось в ад кромешный...

Фотографы имели большие привилегии — у нас были пропуска, подписанные генералом Эйзенхауэром, там было сказано, что мы имеем право проходить всюду, куда захотим, и делать все, что сочтем нужным. Когда какой-нибудь патруль преграждал нам дорогу в запретную зону, мы козыряли своим пропуском.

Наши части прорвались на шербурском направлении и захватили Сен-Ло, где немцы создали сильный оборонительный рубеж. Среди пленных было очень много совсем желторотых птенцов — одетых в военную форму. Очевидно, основной костяк немецкой армии был разгромлен под Сталинградом, и теперь призывали чуть ли не детей. Их засадили в эти доты, которые было очень трудно взять. И теперь они стояли перед нами — в глазах растерянность, отчаяние, страх. Четырнадцати-пятнадцати-шестнадцатилетние. Выглядели они ужасно. Скрючились от холода, стоят жалкие, несчастные, в полной неизвестности, что с ними будет. Мы собрали их, сдали конвою и занялись своими делами. Я их, конечно, сфотографировал.

Были пленные и другого рода — эсэсовцы. Эти — нечто неслыханное. Даже после того, как мы их взяли в плен, они были убеждены, что выиграли войну. Уму непостижимо. А обычный немецкий солдат — просто молодой парень, мобилизованный в армию.

В окрестностях Сен-Ло мы обнаружили подземные бункеры, которые совершенно не пострадали при нашем наступлении — настолько глубоко были врыты в землю. Внутреннее оборудование — как в самых роскошных отелях Хилтона. Винные запасы... это надо было видеть! Я раздобыл легкий грузовичок и, размахивая своим пропуском, проехал через пост военной полиции. Мы доверху заполнили грузовичок шампанским, винами, коньяком. Накрыли брезентом. Поехали в Шербур. Ну и повеселились, конечно. *(Смеется.)*

В Шербуре я впервые пережил личное горе — рядом со мной погиб близкий мне человек. Мы с Вэлом Поупом фотографировали. Ситуация была какая-то расплывчатая. Здесь — целая армия, там — один солдат. Ходишь вокруг квартала и не понимаешь, что происходит. Мы идем с Вэлом вдоль дома. Нам сказали, там находится подразделение Красного Креста, которое мы хотели сфотографировать. И вдруг снайпер. Автоматная очередь. Попали в Вэла. Пуля прошла сквозь каску, словно она была бумажной. Я успел отскочить за угол дома и еще не знал, что в него попало. Ведь как что услышишь, сразу беги или падай на землю. Выглядываю из-за угла, а он лежит. Я помчался, нашел несколько солдат, и под их огневым прикрытием мы оттащили его назад. Он был еще жив. По дороге в медпункт умер. Очень красивый молодой парень. Я взял на себя его работу кинооператора.

Во время наших бомбежек перед вторжением погибло много французов. Наши бомбардировщики стерли с лица земли половину прибрежной деревушки Кольвиль-сюр-Мер. Я снимал похороны погибших, братские могилы. Французы не говорили: «Что вы здесь натворили? Вы же нас убивали». Они понимали: мы были освободителями. Это одна из печальных сторон войны.

После того как мы закрепились на побережье, меня вызвали на главный плацдарм, в Нормандию. Это было первое появление Эйзенхауэра и Брэдли после высадки. Прибыли все генералы. Я должен был все это заснять. Зрелище было впечатляющим. Но и забавным. Они разговаривали между собой, как разговаривают мальчишки, собравшись на углу. «Да-а, за это надо дать ему еще одну звезду. Ну а что такому-то и такому-то?.. Что вы, ни в коем случае!» Раздавали награды так, будто находились на вечеринке. И предупреждали, с какой стороны выглядят лучше, чтобы только с этой их и снимать.

И вот однажды к вечеру мы двинулись в направлении Парижа. Становилось все темнее, а дорожные указатели сняты, так что и не знаешь, где же ты на самом деле находишься. Впереди нас вдоль обочины дороги шагал парень лет шестнадцати, изможденный, в синяках и ссадинах. Оказался бельгийцем, был угнан на принудительные работы, сейчас пытался с попутными машинами добраться до дому, в Бельгию. Мы взяли его к себе в машину.

Зрелище, которого я никогда не забуду,— Эйфелева башня на горизонте. Темная ночь, светит луна — дух захватывает! Особенно если вы никогда не видели Парижа. Так всю дорогу она и служила нам ориентиром. Мы были среди первых, кто вошел в Париж.

Хотя нас включили в состав Третьей армии Паттона, жили мы отдельно. Подъезжал я к какому-нибудь дому, стучал в дверь и говорил: «Мне нужно разместиться». Для фермерской семьи мое пребывание в доме было выгодным — я имел доступ к армейскому провианту. Подгонял свой джип к продовольственному складу, нагружал его разными продуктами и привозил хозяевам. Это делало меня весьма желанным гостем, так как с продуктами было довольно туго. Мы всегда останавливались в частных домах, у гражданских лиц. Помимо всего прочего это давало мне возможность освежить мой школьный французский.

С армией Паттона мы вошли в Мюнхен. На какой-то площади шел бой между американцами и отрядами эсэсовцев. Выглядело это так, будто снимался третьеразрядный вестерн. Только бой был настоящий. Я в тот момент оказался в 42-й дивизии. Американцы несли огромные потери. Но они уже были закаленными в битвах солдатами, потеря друзей придавала им ярости — шутки с ними были плохи. Эсэсовцы сдались.

И вот я сижу в дальнем конце какого-то двора на длинной скамье у стены. Вроде

как зритель в театре. Немцев поставили к другой стене. Я навел свой киноаппарат. Три или четыре американца с автоматами встали напротив немцев. И поубивали их всех. Расстреляли всех до одного. Я заснял всю эту сцену. Я и тогда еще по-настоящему не понимал, что к чему, поэтому решил, что они поступили неправильно. Немцы все-таки держались храбро. Понимали, что происходит, и просто стояли у стены.

Я подумал, что же мне теперь делать с этой пленкой? Выбросить? Мне было от нее как-то не по себе. Может быть, я иначе бы к этому отнесся, если бы знал тогда то, что увидел потом. Все-таки я послал пленку в штаб армии и получил обычную в таких случаях оценку своей работы: пленку нельзя показать из-за плохого качества лабораторной работы. *(Смеется.)*

Когда ты убиваешь и тебя убивают, что-то такое происходит. Теряешь перспективу — где жизнь, где смерть. Люди, стрелявшие в тебя и в твоих лучших друзей, могли ведь тоже быть убиты. А эсэсовцы вели себя так нагло, будто все им нипочем. Смотрели на вас с презрительной ухмылкой. Как высшая раса на низшую. А через некоторое время я увидел такое, что сам готов был кого-нибудь расстрелять.

Первым таким зрелищем были сорок товарных вагонов, стоящих на запасном пути у железнодорожной станции Дахау. Я знал, что здесь, в Дахау, что-то есть, но что именно, не знал. Немцы об этом не хотели рассказывать. Вообще все отрицали. Я заглянул в вагоны — они были доверху набиты трупами. Сорок вагонов скелетов, обтянутых кожей. Я человек очень кроткий по натуре...

Незадолго до этого мы захватили какое-то здание, и солдаты его обыскивали. Я шел за ними по пятам. Вдруг где-то в глубине дома раздался выстрел. Стреляли явно не в нас. Я сбежал вниз, в подвал. Какой-то немец там застрелился.

Мы подъехали к лагерю и проломили ворота. Несколько немецких охранников были убиты в перестрелке. Мы открывали двери бараков, врывались в бункеры. Что творилось! Это надо было видеть. Навстречу американцам бегут узники, плачут, смеются, обезумели от радости. Так освободили Дахау. Я старался снять как можно больше. И понимал, что это нужно немедленно пустить в работу. Мне здесь уже нечего было делать. Я хотел, чтобы этот фильм поскорее вернулся на фронт, чтобы его увидели сейчас. Пленку надо было доставить в 163-й фотобатальон. Я сделал это сам. Никому не мог доверить.

Где-то поблизости разыскал двухместный самолет, и летчик согласился переправить меня в мой фотобатальон. Поднялись на этой маленькой птичке в воздух, летим, и вдруг началась гроза, сразу все вокруг потемнело. Ни черта не видно. Этот несчастный мальчик-пилот не знает, где мы находимся. А еще до грозы, когда мы летели над Мюнхеном, я увидел зрелище, которое меня потрясло. Вы летите над домом, а внутри ничего нет. Одни наружные стены стоят. Вид какой-то сюрреалистический. Сели мы благополучно, я сдал пленку, но она пострадала и от дождя, и от грозы, и от болтанки в этом игрушечном самолетике.

Вернулся в свою часть. Вот тогда я увидел крематории. И трупы в печах. Оставшиеся в живых хватались за нас, вцеплялись в нашу одежду и не отпускали. В тот момент мы страшно мало чем могли им помочь. Не хватало продовольствия, пайки были мизерные.

Это может показаться странным, но я стал оптимистом благодаря многим мелочам, которые сыграли большую роль в моей жизни. Как-то, например, мы с одним фотографом оказались к ночи в маленьком городке. Он говорит: «Давай-ка выбираться отсюда». А я говорю: «Да нет, я останусь, здесь безопасно». Не сообразил сразу: раз американская армия ушла, я тут буду один. И вдруг до меня дошло. О боже, ведь сюда сейчас могут прийти немцы — все тогда было настолько неустойчивым. Так этот парень, фотограф, примчался назад на джипе, разыскал меня и усадил в машину. А мы не были ни друзьями, ни приятелями. Это как раз тот вид личного героизма, который я считаю совершенно выдающимся.

Вышли мы на разведку дальше по дороге, и вдруг я вижу, как из оврага вылезает немец в гражданской одежде и направляется прямо к нам. Подходит и говорит, что он антифашист и хочет провести нас в обход группы немецких солдат, чтобы мы могли зайти им с тыла и взять в плен.

Я и еще двое наших пошли за ним проверить сначала, правду ли он говорит.

В Германии начали действовать антифашистские группы. Но по отношению к ним мы вели себя преступно. Захватываем, например, какой-нибудь городок, сразу сажаем под арест мэра и других крупных шишек, а во главе города ставим антифашиста. Через несколько дней возвращаемся в тот же город — американцы освободили всех старых начальников и снова отдали им власть. А того парня вышвырнули. Так неизменно происходило повсюду. Дело в том, что мы-то шли дальше, а после нас всем начинала распоряжаться военная администрация.

Так, значит, идем мы за этим немцем, рассредоточились — кто его знает, вдруг начнут обстреливать. Еще один немец выходит из леса. Говорит: «Тут вот кое-кто из нас хочет сдаться. Пойдете к нам?» Я говорю своим ребятам: «Стойте здесь, я схожу посмотрю». Ведь это могла быть ловушка. А я уж столько раз попадался из-за своей доверчивости. Иду — действительно, собралось в лесу сотни две немцев. Начали переговоры. Спорим, обсуждаем. Многие не хотят сдаваться. Некоторые хотят. Говорю: «Дело ваше безнадежное, чего там спорить, пошли». Я один американец среди них. Помню какие-то крохи немецкого, какие-то обрывки идиша. Стою окруженный двумя сотнями немцев и веду с ними философские дебаты.

И вдруг в разгар этой беседы над нами проносятся два самолета и обстреливают нас. Все бросились врассыпную. Я так и не знаю, чьи это были самолеты, немецкие или американские. Они пролетели очень низко и очень быстро. Это доконало немцев. Когда они снова собрались и продол-

жили дискуссию *(смеется)*— решили сдаваться.

Я люблю разыгрывать спектакли. Отобрав у немцев пистолеты, я прицепил их за пояс и вокруг бедер. Наверное, штук двадцать «люгеров». Забрал все бинокли, повесил себе на шею. Сижу в таком виде на крыше джипа, а сзади — две сотни немцев. Приехал в расположение нашего батальона и сдал их полковнику. *(Смеется.)* Очень было смешно. Чистой воды спектакль.

Потом по дороге мы освободили еще несколько концлагерей.

В конце войны я был в Зальцбурге. Мы пришли туда в числе первых. Я реквизировал гостиницу для себя, водителя и фотографа. Этот маленький отельчик был полностью в нашем распоряжении. Вместе с горничными, за которыми мы гонялись по комнатам. Владельцем гостиницы был местный мясник. Чтобы выслужиться перед американцами, он нас очень хорошо кормил.

Война кончилась. Я демобилизовался с пятью боевыми звездочками и набрал достаточное количество очков как профессионал.

Домой вернулся в состоянии эйфории. Цель, которую мы поставили перед собой, была достигнута. Фотографы, между прочим, всегда сидят в первом ряду. Конечно, можно за это поплатиться, но зато ты в привилегированном положении. Ты и участник, и свидетель. Увидеть лично поражение фашизма — с этим счастьем в жизни человека ничто не может сравниться.

Из главы
«Преступление и наказание»

Элвин (Томми) Бриджес

Бей-Сити в штате Мичиган, один из трех слившихся воедино городов; два других — Сагино и Мидленд. Это промышленный район, сильно пострадавший от экономического спада. Бриджес тридцать один год был полицейским в Бей-Сити, а последние четыре года до своей отставки в 1968 году — начальником полиции.

Эта война была бесполезной, как и любая война.

В армии мне за такие высказывания ох как попадало! На учебно-воспитательных занятиях эти сопляки лейтенанты, вчера только из колледжа, все внушали нам, как эта война необходима. Целая рота сидит слушает, и офицеры тоже. Ну я не выдержал и брякнул: «И каждая война необходима?» Да нет, я не из этих «антивоенных парней»: начнется война — пойду воевать. Только нашему миру скоро будет крышка со всеми этими ядерными штучками.

Я завербовался двадцатого февраля сорок второго года. Чтобы не умереть с голоду. *(Смеется.)* Не понимаю, как мы вообще выиграли войну — уж очень странно выбирали, кому где служить. Ну, скажем, в военной полиции. Когда я попал в Форт-Кастер, троих ребят передо мной записали в авиацию — непонятно почему, — двоих в пехоту, а мне сказали: «В военную полицию». Это похоже, как новый шериф подбирает себе новых помощников, наугад, где в точку, а где и пальцем в небо.

А наше обучение! Ничего общего с профессиональной полицейской подготовкой. Первое наше назначение было в Лондон, уж и не знаю, как мы справлялись. *(Смеется.)* Офицеры оставались в дураках даже чаще нас. В Париже первым послали в патруль меня. Считалось почему-то, что я все знаю о Париже. А знаний-то моих кот наплакал.

В Лондон мы прибыли утром нового, сорок третьего года и оставались там полтора месяца после высадки наших войск во Францию. Когда попали в Париж, там еще находились американские войска. Мы стали как бы новым полицейским отделом, ведающим солдатскими делами.

Больше всего неприятностей происходило из-за торговли продовольствием. Люди там умирали с голоду, и наши сбывали продовольствие целыми грузовиками. Большие грузовики. В них все можно было перевозить. Продавали их чохом. У французов уже были наготове деньги, грузовик покупали вместе с грузом, что бы там ни было. Платили и уезжали. А шофер бежал на ближайший пост военной полиции и заявлял: «У меня грузовик угнали». Грузовик-то мы потом находили, только пустой, никаких следов груза. И как тут разобраться, вправду его угнали или солдат сам его продал. К тому времени, когда грузовик обнаруживали, шофер со своим подразделением был уже в Бельгии. Следствия, конечно, никакого не вели: слишком уж много было народу и много чего случалось.

Многие солдаты, конечно, уважали MP[1], а многие ненавидели нашу строгость. В общем, относились так же, как к обычной полиции. Нет, пожалуй, хуже — мы ведь были единственные, кто их беспокоил. Полицейские в Париже и пальцем не трогали наших солдат. Если уж видели, что сейчас все разнесут на куски, тогда вызывали нас. В нашем ведении были все их преступления, начиная с убийства другого солдата или гражданского и кончая продажей этих грузовиков.

В Лондоне нам прислали тринадцать цветных. Тогда впервые в военной полиции появились смешанные отряды, с белыми служили цветные. А единственной причиной было то, что вокруг доков в Лаймхаузе стояли сплошь цветные части и мы с ними ничего не могли поделать. Вот в таком точно месте мы потеряли одного нашего человека. В Личфилде, где был штаб девятого авиаполка. Как раз там служили цветные — во вспомогательных частях. Строили мосты, строили аэродром. Брали металлическую арматуру и укладывали ее прямо на болото. На фронт их не брали — хоть в армии, хоть где, все оставались гражданами второго сорта. У них было только две-три боевые части, одна из них — авиационная, там служили выпускники летной школы в Таскеги, Алабама. Они воевали в Италии, и у них была самая

[1]Military police — военная полиция.

лучшая боевая репутация. Просто чудеса творили.

Среди цветных в военной полиции было много симпатичных ребят. Ну вот Мортон из Алабамы. Он все время переругивался со своим белым сержантом — здоровенным детиной, тоже алабамцем. Этот сержант говорит: «Смотрите-ка, вчера только из джунглей вылезли, а им уж права подавай!» — или что-нибудь еще в этом роде. Так Мортон ему в ответ: «А вам точно известно, что ваши предки не в джунглях жили?»

У нас служили ребята из Индианы, Огайо, Мичигана. И с Юга — из Теннесси, Джорджии и Алабамы. Ну и поднялся шум-гам: кто пойдет дежурить с цветными? Что делать? Обращаются ко мне: «Сегодня вы старший. С кем их пошлете?» В тот вечер на дежурство должны были выйти шестеро цветных. И я послал с ними эту белую деревенщину из Джорджии. Те прежде ничего, кроме своей глуши, не видели. И сразу сказали: «Идти с черномазыми? Да за милую душу». Так попросту и сказали: «с черномазыми». Не с «цветными» там или с «неграми». «Раз,— говорят,— их сюда взяли, значит, стоящие парни». И они потом отлично ладили, эти ребята из Джорджии и цветные. И никто ни разу не отказался. А были у меня двое из Каламазу, Мичиган. Я им говорю: «Пойдете дежурить с цветными?» А они: «Побойтесь бога, за что?» Те, из Джорджии,— они ведь мальчишками играли вместе. И больше о них знали, чем ребята с Севера.

В Париже мы обходили эти самые «отели» — ловили солдат без увольнительных. Четырех-пятиэтажные дома, битком набитые женщинами. Лестница в центре. И номера. Надо было только посветить фонариком под дверью. Если стоят солдатские ботинки, значит, там и солдатик. *(Смеется.)* Открываешь дверь, и в девяти случаях из десяти французская красотка прячется под одеяло. *(Смеется.)* И чаще всего у нее в гостях цветной солдат из вспомогательных частей. В самоволке.

В Париже цветных было больше, чем белых. Французские женщины одинаково уважали и цветных и белых. И естественно, цветные рвались в самоволку — еще бы: получить француженку, белую женщину, да еще если там, откуда он родом, это запрещено!..

К концу войны во всех наших воинских частях — и белых и черных — не было ни одного парня, который не бегал бы в самоволку. Удержать этих парней на фронте было так же чертовски трудно, как выиграть войну. Они ведь, сволочи, стреляют в тебя, убивают военного полицейского, который стоит у них на пути. Было одно такое подразделение, так к концу войны их чуть ли не в смирительные рубашки одевали, чтобы удержать на передовой. Я за ними ездил аж в Северную Африку, привозил этих дезертиров назад. Как-то наше подразделение прибыло в Форт-Шанкс — это в горах, к северу от Нью-Йорка, вверх по Гудзону. Выглянул в окно и вижу: вокруг ходят часовые с винтовками или с автоматами. Спрашиваю: «Какого дьявола эти парни там ходят?» А мне отвечают: «Они охраняют пехотную часть, готовую к отправке за океан». Оказывается, были случаи, уходили солдаты в лес — и поминай как звали.

Я взбесился. Говорю лейтенанту: «Что же они, гады, нас-то караулят, военную полицию,— половина из нас уже побывала и там и здесь». Тогда он мне объясняет: «Они караулят всех, кто сюда попадает». Слишком много «самовольных отлучек». Это был сорок второй год.

Тех, кого мы ловили в Париже, отправляли в наш штаб, в Англию. Там их судил трибунал. Эти «самовольщики» бегали в самых разных направлениях. Судили чаще всего негров. Трибунал — пять-семь человек, обязательно полковник, майор и капитан. По ним было сразу видно, что в армии они людям житья не давали. Когда меня в первый раз вызвали свидетелем, председателем был полковник. По ходу дела я сказал, что другой-то парень ни при чем, он ничего не продавал, а потому невиновен. Просто рядом стоял, вот его и забрали. Полковник спрашивает: «Он был черномазый?» Не «негр», а «черномазый». Я говорю: «Он был цветной». А полковник: «Ну, раз черномазый, значит, тоже виновен». Не знаю, к чему их там приговаривали,— мы никогда приговора не дожидались. Разбирательство было долгим. За кражу казенного имущества могли и расстрелять.

Вам известны случаи, когда за это расстреливали?

Еще бы! Расстреляли, например, этих ребят, которые... в общем, их дело в муниципальном суде и рассматривать бы не стали. Тут многое зависело от командира. А расстреливали и вешали их в Шептон-Маллете — это там, где Генрих Пятый или какой-то отрезал головы своим бабам. Обычно мы привозили этих парней где-то уже ближе к вечеру: такое было расписание поездов из Лондона.

Так вот, те цветные, например, из Личфилда, стащили какое-то солдатское барахло из грузовика, который обслуживали. В общем, расстреливали за то, что в гражданском суде посчитали бы пустяком. Господи, да весь военный кодекс своими карами похож на Ветхий завет. На войне могли расстрелять просто за здорово живешь. За серьезное — убийство там или изнасилование,— по-моему, вешали. Приговор приводили в исполнение на другой день в шесть утра. Бывало, казнили по пять-шесть человек за одно утро. А иногда давали пять лет тюрьмы. Не знаю, к чему приговаривали тех, кого я туда отвозил. Не знаю, в какой ад и к каким чертям их отправляли.

Начиналось с того, что я забирал их с Гуди-стрит. Там было нечто вроде сборного пункта для преступников. Мы их получали и увозили из Лондона. Если их отправляли в Шептон-Маллет, полагалось два сопровождающих от МР. Однажды получилось так, что я оказался один. Сержант мне говорит: «Этого парня поставят к стенке». И наручниками прикрепляет его к моей левой руке. С правой стороны у меня пистолет. А парень с виду какой-то чокнутый. Черт его знает, что он там натворил, но его отправляли на расстрел. Кажется, убил другого солдата. Какой-то он

был не от мира сего. Может, и убил-то не нарочно. Не знаю.

Проводник сказал, когда мы вышли на платформу: «Здесь совсем близко до Шептон-Маллета». А я смотрю — это где-то там, за темной чащобой. А у меня к левой руке прикован приговоренный к смерти человек, которого завтра расстреляют. Арестант мой еще более встревожен, чем я. И вот я не знаю, то ли пристрелить его тут же на месте, то ли подождать, пока он что-нибудь не выкинет. *(Смеется.)* И кто его знает, как может тогда дело-то обернуться. Да-а, был у меня пару раз соблазн пристрелить его. Но я сел вместе с ним на платформе, а дело шло о жизни или смерти. У него мог оказаться нож. Я ведь его не обыскивал, это сделал сержант. Конечно, я боялся, честно говорю.

Почему меня послали одного, не знаю. Война все шла, а я как вспомню об этом, так и закипаю от злости. Наверное, по полсотни МР направляли в казармы болтаться вокруг и ни черта не делать, а я тут торчал один, в потемках, с прикованным смертником. Ладно, думаю, может, вытащить сигареты из кармана. Жена у меня тогда держала табачный киоск и недавно прислала коробку «лаки страйк». И я отдал пачку сигарет этому парню. Это уж потом, когда за нами на конной повозке приехал сержант и я сдал ему арестанта. Сержант спросил меня, не хочу ли я прийти завтра в шесть утра — парня будут расстреливать. А парень стоит рядом. Я сказал: нет, не хочу видеть ничей расстрел. Он говорит: «Как знаешь, а то некоторые ваши ребята любят остаться и посмотреть».

Откуда-то я взял, что, когда, например, тебе приходится участвовать в расстреле, они набирают пять-шесть солдат, и только у одного ружье заряжено боевым патроном. И человек надеется, что он никого не убил. Сержант сказал: «Это тебе кто-то мозги закапал. Все ружья заряжены как надо. Ты стреляешь, и никаких тебе холостых».

Я никогда не оставался смотреть казнь. Тридцать один год я в полиции. Повидал достаточно самоубийств, хватало и убийств. До чего же по-дурацки просто — отнять у человека жизнь. Бах — и все. А назад пулю не вернешь, не скажешь ей: погоди. Нет уж, даже если бы мне заплатили, я не стал бы смотреть на расстрел или повешение.

Я видел палача в Париже. Чудно он както выглядел. Шляпа с широкими полями — такие были в старой форме, их еще называли военно-полевыми — и парадный мундир. Старший сержант по званию. Американец. Понадобился собственный палач-вешатель. Это был профессионал, из Техаса. Он даже привез с собой собственную веревку. Ни с кем не разговаривал. Вообще молчал. Лично мне он показался привидением. Его привезли в Париж, чтобы, как я понимаю, повесить двух каких-то парней.

Не знаю, был ли Словик [1] среди тех, кого я арестовывал. Ну, тот паренек, которого расстреляли за дезертирство. Эйзенхауэр говорил, что он был единственный, кого за это казнили. Вот что меня бесит. А десятки случаев, которые я лично знаю, когда казнили, может быть, даже и вовсе за пустяк. Один, видишь ли, был такой! Дескать, урок надо было дать! Сукины дети.

Нет, война — будь она проклята — это глупость, и ничего больше. Не бывало еще войны, которую стоило бы затевать. Неважно где. И вы меня не переубедите. Деньги, деньги — вот причина всему. И я ни капельки не удивляюсь, если окажется, что войны затевают и подогревают люди, которые наживают деньги, изготовляя оружие, боеприпасы, военную форму. Вы только подумайте — в Азии или где-нибудь еще дети умирают от голода, а всех их можно накормить на деньги, которые тратятся на одну-единственную большую бомбу.

Война в Европе была жестокой, ничего не скажешь. Но вот теперь — реактивные самолеты, ядерное оружие... Нам в этом мире жить остается недолго.

[1] Дело сержанта Словика — самый знаменитый случай казни американского солдата во второй мировой войне. *(Прим. авт.)*

Жак Рабу

Был приходским священником во Франции и в США с 1951 по 1964 год. Потом отказался от сана: «Мне не нравились новшества в литургии. В религии я консерватор, а в политике либерал». Через месяц Рабу вновь примет духовное звание.

В сороковом году мы поняли, что потерпели поражение. Немцы приближаются к Парижу. Моя мать собирает вещи: мы должны отправиться в Брест, где у ее родственников кафе. Отец в армии. Мне шестнадцать лет.

Из Парижа в Брест мы добирались три дня. В пути немецкие самолеты не раз пикировали на поезд и били по нему из пулеметов. Мы прятались под вагонами. Через три дня после перемирия [1] итальянцы продолжали расстреливать беженцев на дорогах. Было много убитых, раненых. Женщины прикрывали телом детей, чтобы спасти их.

Отец остался в Париже, потому что поезд был переполнен. А я напрасно отправился в Брест — немцы добрались туда одновременно с нами. Я вернулся в Париж. У власти уже был Петен. Отец тоже вернулся. Он попал в немецкий плен, но ему было сорок пять... Слабые легкие... Так что с помощью Красного Креста ему удалось вернуться. Мать была манекенщицей у Жана Ланвена.

Отец покупал продукты на черном рынке, потому что до войны работал на заводе «Пежо» и неплохо зарабатывал. Соседи у нас были как везде. Процентов пятьдесят готовы были бороться за свободу, процентов тридцать пять считали: «Раз уж немцы здесь, надо как-то выкручиваться». Но были и такие, кто прямо сотрудничал с нацистами.

[1] Вскоре после того, как немцы прорвали линию Мажино и закончилась так называемая «странная война», в Компьене было подписано перемирие — в том же самом Компьене, где немцы подписали акт о капитуляции в первую мировую войну *(Прим. авт.)*

Отец встречался с друзьями, они говорили, что надо организовать сопротивление. Ходили друг к другу, обсуждали, что мы можем предпринять, чтобы вышвырнуть немцев вон. Мы же знали всех коллаборационистов в округе. *(Смеется.)* И знали, кому можно доверять. Я сказал, что и от меня будет польза. Мне шел семнадцатый год. Я поговорил со школьными друзьями. И мы начали помогать отцам.

У одного участника Сопротивления была ферма километрах в двадцати от Парижа. Как-то в дверь постучал англичанин, который оказался в немецком тылу. Мы разыскивали таких людей, прятали их, снабжали гражданской одеждой. Потом переправляли в Испанию, Португалию, Англию или в отряды Свободной Франции.

У меня был велосипед, и *(шепчет)* документы я прятал в насос. Это было опасно. Через дорогу жили наши друзья — евреи. Отца арестовали, а дочь с мужем никак не могли выбраться из Парижа. Мы отправили их в Тулузу, а оттуда — к испанской границе. С сорок первого по сорок третий мы переправили таким образом тридцать пять семей.

Одного моего товарища арестовали. Самым глупым образом. Он заспорил с каким-то немецким парнем и подрался с ним. Его арестовали, нашли у него документы. Отправили в гестапо и подвергли пыткам. Он назвал несколько имен. Однажды, когда отца не было дома, к нам в дверь позвонили. Ночью. Трое в кожаных пальто. Я с первого взгляда понял, кто они такие.

Они сказали, чтобы я позвал отца. Я ответил, что он в отъезде. Они говорят: «Ты знаешь Анри Дюваля?» Я сказал, что это мой друг. «Ты знаешь, где он?» — «Нет». Тут они перечислили мне всех моих друзей и сказали: «Пойдешь с нами». Потащили меня к двери. Я говорю: «Дайте хоть куртку надеть». А они: «Иди как есть». Один принялся выкидывать вещи из всех ящиков. Мать кричала. Они ничего не нашли, потому что все документы были у отца. Он как раз переправлял одну еврейскую семью.

Я провел в тюрьме четыре дня и четыре ночи. Допрос за допросом. Меня били резиновым шлангом. Я весь был в синяках. В камере сидело шестеро. Один сказал мне *(шепчет)*: «Помалкивай. Вон тот эльзасец в углу — доносчик».

Меня отправили в Германию, в лагерь под Дельменхорстом. Шел сорок третий год. Мать я увидел только в сорок пятом после освобождения.

После налетов союзной авиации мы разбирали развалины, выносили трупы. Однажды работали в траншее, восстанавливали водопровод. Эсэсовец-охранник ходил взад-вперед. Около витрины фотомагазина рядом с нами остановился немец средних лет. У него в руках был большой сверток. Не глядя на нас, он заговорил по-французски: «Ребята, мне стыдно, что с вами так обращаются. В первую мировую войну я был в плену у французов. Жил на ферме, со мной обходились хорошо. Кормили сытно, и я этого не забыл. Буду приносить вам еду каждый день». Когда эсэсовец повернулся спиной, сверток полетел вниз. Он приходил еще три раза. Мы были страшно голодны. Я никогда не забуду этого человека.

Нас перебрасывали туда, где требовалась рабочая сила. Меня отправили в Силезию, к польской границе. На соляные копи. Работали с половины шестого утра до семи вечера. На еду — пятнадцать минут. Хлеб из муки пополам с опилками. Словно кору ели. Я был очень болен. А вокруг люди все время умирали. После освобождения врач сказал, что я бы не выжил, если бы прежде не питался как следует.

В июне сорок четвертого нас эвакуировали, потому что русская армия была уже близко. Мы попали в Рур. Союзники его бомбили, и у нас в лагере водопровод не работал, так что всю зиму ходили за водой на колонку. Когда «спитфайры» пикировали, мы успевали рассмотреть лица летчиков, стрелявших из пулеметов.

Нас все время избивали. В камере жило двенадцать человек. В углу стоял этот вонючий бак. Когда дают только жиденькую похлебку, желудок работает быстрее. В пять утра эсэсовец открывал дверь и кричал *(громко)*: «Шнель, шнель, шнель! Раус!»[1] Оправиться давали три минуты на всех. И бак мы должны были брать с собой. Он был очень тяжелый, а они кричали: «Бегом, бегом, бегом!» Последнего били по спине резиновым шлангом. Мы договаривались, кто в какой день будет последним.

Наступила моя очередь. Господи, что бы такое придумать, чтобы мне поменьше досталось. И я придумал. Вместо того чтобы держать бак перед собой, я взял так, что он оказался сзади. Эсэсовец размахнулся шлангом и ударил по баку. А он был такой тяжелый, что упал и вылился прямо на него. *(Смеется.)*

Меня так избили, что я четыре дня не мог работать. Вспомнить страшно. А меня заставляли работать. Не знаю, как я жив остался. Мы возвращались с работы, еле передвигая ноги, а эсэсовцы требовали, чтобы мы бегали и прыгали раздетыми. Шел снег, было очень холодно. Когда эсэсовец свистел в свисток, мы должны были перекувырнуться в снегу.

У одного моего товарища была астма. Пробежав двенадцать-тринадцать раз вокруг лагеря, он стал задыхаться и остановился. Эсэсовцы набросились на него: «Бегом, бегом!» А он не мог. Сел на снег, а эсэсовцы били его, били... Когда они замерзли, то ушли, а его оставили умирать на снегу. Всю ночь мы слышали, как он стонет. Не могу забыть! *(Голос у него прерывается.)* Словно я и теперь его слышу. Если бы мы могли, поубивали бы всех эсэсовцев. Мы знали, что он умирает, но ничем не могли ему помочь. *(Рыдает.)*

Мы думали только о еде. Немцы были расчетливы. Они делали все, чтобы мы испытывали как можно больше страданий. Но не настолько, чтобы мы умерли от истощения. Кормили нас так, что голод утолить мы не могли, но жизнь сохраняли. Я до того ослабел, что уроню какую-нибудь вещь — минут пять поднимаю ее с пола.

В камере у нас не было другого занятия, кроме разговоров. А говорили мы только о еде, о еде, о еде, о еде: «Вот вернусь во

[1] Быстро! Выходи! *(нем.)*

Францию, попрошу мать нажарить отбивных». Мы почти чувствовали запах свинины.

Те, кто отчаивался, кто говорил: «Это конец»,— те погибали. Они переставали держаться за жизнь. А кто говорил: «Я вернусь!» — вернулись.

В лагере были итальянские солдаты, хотя это противоречило правилам Красного Креста. Они были очень религиозны, носили изображения святых, четки. Во время налета союзников молились. А бомбежки были страшные. Земля летела в воздух, сыпалась на нас, впивалась в кожу. *(Показывает шрамы.)* Когда я вернулся, меня оперировали, чтобы извлечь песчинки.

Бомбы всегда бросали по семь штук. В канаве я упал на итальянца. *(Смеется.)* Шинель у него была очень толстая. Каждый раз, когда свистела бомба, я вцеплялся в эту шинель зубами. Она вся была изжевана. Когда боишься, откуда только силы берутся.

Всякие национальности были в нашем лагере. Люди из Бельгии, Голландии, Норвегии, Дании. Единственно, кого мы боялись или, лучше сказать, кому не доверяли,— это некоторым полякам, эстонцам, литовцам. Когда русские вошли в Польшу, немцы дали этим людям немецкую форму, а кое-кого взяли даже в СС.

К этому времени бóльшая часть Германии была уже занята войсками союзников. А мы оказались в одном из очагов Сопротивления. С одной стороны наступали американские войска, с другой — русские. Нас освободили пятого мая 1945 года. За три дня до капитуляции.

Я весил сорок килограммов. Во время бомбежки убило корову. Всю зиму она лежала под снегом. В марте, когда снег начал таять, мы нашли ее и съели. У меня началась дизентерия.

Пятого мая американцы окружили лагерь, и охранники не смогли сбежать. Я был в бараке. Ходить не мог, но чувствовал себя страшно счастливым. Только сил не нашлось даже подняться, чтобы приветствовать американцев.

Один капитан вошел к нам и увидел все это. А я глядел ему в лицо. *(Плачет.)* Он сказал: «Как же это? Что они с вами сделали?!» Так выглядели и другие узники концлагерей. У меня все кости можно было пересчитать. Капитан просто окаменел от ужаса.

Охранники-эсэсовцы стояли, держа руки за головой. И капитан сказал нам: «Я уйду, делайте с ними что хотите. Я на все закрою глаза».

Я человек мирный. И никому никогда не хотел причинять боли. Но в тот день вся накопившаяся ненависть вырвалась наружу. Я словно заново пережил эти три жутких года. Я сказал одному эсэсовцу: «Ты меня мучил. Теперь ты помучаешься. У меня на это только два часа, но ты получишь свое сполна». Вот только сил у меня совсем не было. *(Смеется.)* Я взял камень, рубанул по его уху, и оно повисло. На это у меня хватило сил. Остальные делали кое-что и похуже.

Начальника лагеря, подполковника, загнали в уборную. Он стоял по пояс в экскрементах. Потом дали ему стакан и заставили все это вычерпывать. Под конец их всех забросали камнями. Кровь так и хлестала. Если они живы, так шрамы должны сохраниться и по сей день.

Я лежал без сознания на носилках — уже в Париже, в военном госпитале. Мне делали внутривенные вливания. Ко мне приходили мама и тетя, они уже готовились похоронить меня. Тетя спрашивала маму: «В каком саване ты думаешь его хоронить?» Через три месяца я начал поправляться. И дал клятву, что, если останусь жив, делом выражу свою благодарность богу за спасение. Я был свободен. Я был жив и приехал в Лурд [1]. Здесь я решил стать священником.

Когда я думаю о войне, то теряюсь. Если отвечать ненавистью на ненависть, войне не будет конца. Но моему поколению трудно перечеркнуть то, что было.

Очень часто приходится слышать, как некоторые немцы говорят: «Мы ничего не знали». Но кто допустил, чтобы нацисты пришли к власти? Они очень-очень радовались, когда Гитлер захватил Францию, захватил всю Европу. У охранников Дельменхорста были жены, дети. Не поверю, что, возвращаясь домой, они не рассказывали за семейным столом о своей службе. По воскресеньям жители Дельменхорста отправлялись для развлечений к лагерю. Они глазели на нас, как на зверей в зоопарке.

Это свойственно только немцам?

Это свойственно людям вообще. Так бывало и раньше. Испанцы во времена инквизиции истребляли во имя божье целые народы. Ну а альбигойцы? [2] Это может повториться. Мы все хорошие люди, но стоит зайти чуть дальше — и человек начинает верить всему, что ему твердят. Мы просто люди — значит, и мы можем стать орудием в руках гитлеров, замышляющих зло.

Эрих Лут

Гамбург. Мы сидим на берегу реки Альстер. «Другая Германия, Германия Гёте, Гейне, Манна, Германия Веймарской республики, всегда вынуждена была бороться с псевдоромантичной, надменной». В догитлеровские времена Лут был Вениамином [3], самым молодым членом гамбургского парламента. «Я прочел «Майн кампф» одним из первых. Когда читал отрывки коллегам, все смеялись. А потом удивлялись — как могли случиться все эти ужасы? Чему же удивляться? Гитлер провозглашал их с самого начала».

Наш разговор происходил в 1967 году.

При Гитлере я был трусом. Трусость при диктатуре — вполне законна: невозможно оставаться при ней мужественным изо дня в день. Я старался сохранять мужество, но в полном одиночестве это очень трудно

[1] Город на юго-западе Франции, где в XIX в. нашли якобы чудотворный источник.

[2] Участники еретического движения на юге Франции в XII—XIII вв. Были почти полностью истреблены в крестовых походах, предпринятых по инициативе папства.

[3] Вениамин — библейский персонаж. Самый младший из двенадцати детей патриарха Иакова.

В третьем рейхе работать журналистом я больше не мог. Меня послали мастером на завод швейных машин. Там работали насильственно завербованные и военнопленные, главным образом русские и украинцы. И еще немцы, но почти одни только женщины. Мужчины воевали. Я пытался сохранить совесть чистой. Протестовал как мог, но делал слишком мало.

Меня поражали проявления человечности на этой фабрике. Русских кормили особенно скверно, выдавали им никуда не годную одежду. Нацистская партия запрещала помогать им, давать обувь, одежду, еду. Но некоторые немки тайком приносили им все это, и даже мыло. Замечательное доказательство человеческой солидарности.

Когда наши войска были окружены под Сталинградом, мы про это ничего не знали, но работницы-украинки каким-то образом проведали о нашем поражении. У себя в бараках они танцевали от радости. Это подсмотрела нацистская шпионка и донесла в гестапо. Пришли солдаты в касках, с карабинами и страшно избили, изуродовали этих женщин.

На следующее утро я встретил одну из них. Она показала мне свои раны. Я рассказал про это секретарше управляющего заводом. Она вся побелела. И тут входит эсэсовец. Мы замолчали. Он спрашивает: «Почему вы молчите? О чем вы тут говорили?» И секретарша рассказала ему. Я был поражен. А она — совсем молодая девушка — говорит: «Мне стыдно, что я немка». Но еще поразительнее то, что ничего не случилось. Он промолчал. Не выдал ее.

Дома мы вздрагивали, когда били часы. Я все время боялся, что мои истинные взгляды станут известны. Один из моих братьев уже попал в концлагерь — он был продавцом в книжном магазине. Вы знаете, ведь до того, как нацисты бросили в лагеря миллионы евреев, они отправили туда сотни тысяч немецких демократов, поэтов, священников, студентов, рабочих.

Я не мог скрыть своего прошлого. Меня все время проверяли и допрашивали нацисты. С другой стороны, я бы не выдержал без передач Би-би-си, без «Голоса Америки»[1]. Я слушал выступления Томаса Манна. Многие немцы его слушали. После капитуляции я встретился с Манном в Цюрихе. И сказал ему, что его передачи давали мне силы выдержать.

На время я уехал из Гамбурга и стал подпольщиком.

После войны писал книги и статьи о гитлеровском режиме. Я подвергался нападкам нацистов — и новых и прежних. На одном их собрании я говорил о двойной жизни всех честных немцев во времена третьего рейха. Какой-то морской офицер, уже старый, вскочил и крикнул: «Я старый солдат и только выполнял свой долг. Ни о каких преступлениях ничего не знал». Я перебил его: «Если вы моряк, то проходили медицинские осмотры. Особенно тщательно проверяли ваше зрение. Следовательно, слепы вы не были. Так неужели вы не видели дыма над горящими синагогами? Он ответил: «Да, все знали, что синагоги горят». Тогда я сказал: «Если в ту минуту не началась ваша двойная жизнь, вам должно быть стыдно. А если нет, то за вас стыжусь я».

Я был солдатом. И это оказалось безопаснее, чем быть подозреваемым штатским. Стать офицером отказался. И дал себе клятву — не стрелять в тех, кто сражается против Гитлера. Союзники стреляли в меня, но я не мог отвечать тем же. В этом смысле я, наверное, плохой немец. Мне ни к чему был орден со свастикой.

Когда в Италии я попал в плен к американцам, передо мной открылись чудесные возможности. В нашем лагере было 140 тысяч военнопленных, в том числе гитлеровские солдаты-подростки. Я редактировал лагерную газету и выступал по лагерному радио. Стратегия психологической войны в этот момент заключалась в перевоспитании этих пленных. Но если это делается под нажимом извне, возникает сопротивление. Я испробовал то, что назвал бы самовоспитанием. Видите ли, я принадлежу к народу, имевшему много военных героев, но гражданского мужества нам всегда не хватало. Я говорил об этой Германии — и о той. Сейчас молодежь начинает разбираться, что к чему.

[1] В то время функции радиостанции «Голос Америки» не имели ничего общего с сегодняшним характером ее деятельности.

Из главы
«Поворотный пункт»

Джозеф Половски

Двадцать пятое апреля. Он стоит на мосту Мичиган-авеню в Чикаго. Иногда он держит плакат. Иногда раздает листовки. Он на этом посту по велению сердца. В этот день он приходит сюда каждый год вот уже десять лет, отмечая важное событие не только в личной своей, но и в нашей общей жизни, как он твердо убежден. Двадцать пятого апреля американский патруль встретился на Эльбе с русскими. Половски был в этом патруле.

К концу войны он организовал Общество американских ветеранов Эльбы. Организовал встречи своих товарищей с русскими. Написал тысячи писем президентам, конгрессменам, издателям газет, политическим обозревателям. Выпустил бесчисленное множество листовок. Это человек одержимый.

Ему шестьдесят шесть лет, он бывший таксист. У него рак в последней стадии.

Я был рядовым — третий взвод роты «Джи», двести семьдесят третий полк шестьдесят девятой дивизии Первой армии. После боев мы оказались на спокойном участке фронта, на берегу реки Мульде, притока Эльбы, у города Требзена, милях в двадцати западнее Эльбы. Было это двадцать четвертого апреля.

Меня вызвали в штаб. В нашей роте я один прилично знал немецкий, а там шла проверка документов подозреваемых нацистов и тех, кто предлагал свою кандидатуру на какую-нибудь должность в городском управлении.

Позвонили в штаб батальона: нужно немедленно сформировать патруль из семи

джипов, то есть из двадцати восьми солдат, и отправить его миль на пять за линию фронта посмотреть, где русские. Предположительно они находились в двадцати — тридцати километрах от нас.

Лучшим нашим взводным командиром был, по общему мнению, лейтенант Коцебу. Ему было года двадцать два — очень молодой и спокойный,— а мне двадцать шесть. Он быстро собрал джипы и солдат, взял карту местности. Я сел с ним в головной джип, потому что говорил по-немецки. Нас предупредили, что другие патрули в этом районе подверглись жестокому обстрелу.

Мы находились в семидесяти милях по прямой к югу от Берлина, битва за Берлин шла на севере от нас. Немцы стянули на оборону города всех оставшихся у них солдат, но нам все время попадались навстречу дезертиры, некоторые даже в женском платье. Основную массу беженцев составляли гражданские немцы, убегающие от русских, главным образом женщины, дети, старики. Они постоянно создавали пробки на дорогах.

Чтобы представить, с какой скоростью мы передвигались, достаточно сказать, что до темноты нам удалось продвинуться всего на семь миль, а выехали около полудня. Остановились на ночевку в городке под названием Куэбрен. Коцебу весь вечер сидел над картой. Мы подробно расспрашивали всех, кто имел хоть какое-то понятие, где могли быть русские.

Собственно говоря, мы не должны были встречаться с русскими. И на нас легла бы вся ответственность, если бы при встрече что-нибудь произошло. В штабе Эйзенхауэра разрабатывался подробный план этой встречи. А мы были просто разведкой. Нас предупредили, что посылают нас на пять миль, а дальше мы действуем на свой страх и риск. Случись что-нибудь — и мы, вместо того чтобы стать героями, угодим под трибунал. Когда две армии, даже союзнические, несутся навстречу друг другу, может случиться всякое. И Эйзенхауэр с Жуковым решили, что армии следует остановить, когда между ними останется расстояние миль в двадцать пять. Вот почему мы и остановились на Мульде, а они на Эльбе.

До ночевки мы успели пройти лишь треть этого расстояния. На заре Коцебу принял решение — едем дальше. Все закричали «ура!», попрыгали в джипы, двинулись. Мы не знали, что́ нас ждет впереди. Днем мы увидели длинные колонны освобожденных из концлагерей узников, подневольных рабочих, пленных союзных солдат.

И поверите ли — приблизившись к Эльбе, оказались в зарослях цветущей сирени. Какой это был восторг: упиваться жизнью после всех этих дней в окопах! Кто-то даже пошутил: вот и подошли к Иордану, а за ним земля обетованная. Конечно, грустно было узнать о смерти президента Рузвельта. А еще мы узнали, что в тот самый день, двадцать пятого апреля, в Сан-Франциско родилась Организация Объединенных Наций. Можете себе представить? В тот день, когда мы с русскими встретились на Эльбе.

Удивительное это было чувство, когда мы увидели Эльбу. Было около полдвенадцатого утра. Эльба — быстрая река, шириной чуть поменьше двухсот ярдов. Коцебу пустил две зеленые ракеты. Мы стали кричать, и ветер относил наши голоса на восток. Минут через десять на том берегу появились русские, стали махать нам. Но как переправиться через реку? Отступающие немцы, бомбы союзников и снаряды русских мало что оставили от мостов. Мы находились у Штрелы, милях в шестнадцати южнее Торгау.

На той, русской, стороне Эльбы сохранился пролет моста, и остатки стальных конструкций выступали на пятьдесят ярдов в реку. У нашего берега стояли баржи и две парусные лодки на толстой цепи. Коцебу взорвал цепь гранатой. В лодку нас набилось шестеро. Подобрали что-то взамен весел и кое-как добрались до остатков моста. Когда мы вылезали на берег, к нам навстречу спускалось трое русских. Почему только трое, ведь дальше на дороге мы видели много русских солдат?

А дело было вот в чем. Этот мост взорвали уже по меньшей мере три дня тому назад. Огромная волна беженцев подкатывала к мосту, великое множество немцев убегали от русских на Запад и штабелями ложились у моста, по всему берегу. Пятьдесят ярдов прибрежной полосы по обе стороны моста были сплошь покрыты телами женщин, стариков, детей. Я до сих пор помню среди этой груды тел девочку, сжимающую куклу в одной руке. Ей было не больше пяти-шести лет. Другой рукой она держалась за маму. Так все и лежали, как дрова, на берегу.

Что здесь произошло? Кто знает. Это мог быть огонь отступающих немцев, могли быть самолеты союзников, бомбивших предмостные укрепления. Могла быть и дальнобойная русская артиллерия. Ужасное место, видеть это не было сил. Еще одна трагедия войны. А их было так много!

Вот почему русским трудно оказалось выйти нам навстречу. Не могли они идти по телам. Представьте — наш восторг и вдруг море смерти перед глазами. Коцебу — глубоко верующий человек — был просто раздавлен. Он не знал русского языка, а русские не знали английского. И он мне сказал: «Джо, надо договориться с русскими: пусть наша встреча станет символичным событием в жизни наших стран, ведь столько людей погибло в этой войне! Попробуй поговорить с ними по-немецки». Я переводил нашим с немецкого на английский, а русский, который знал немецкий, переводил для своих остальных товарищей. Все это было совсем неофициально, но очень торжественно. Почти у всех в глазах стояли слезы. Может быть, от предчувствия, что в будущем не все сложится так прекрасно, как нам мечталось. Мы обнялись. И поклялись хранить память об этом дне.

Когда мы выбрались к русским наверх, там уже ждал подполковник Гардед [1]. Он приветствовал нас, и мы повторили свою клятву. Для Коцебу основная задача теперь была связаться с американцами. На-

[1] Так в оригинале — Gardead.

ши рации были в джипах на том берегу Эльбы. Гардед предложил нам переплыть туда и вернуться обратно. Мы пили, обнимались, произносили тосты. Русские принесли немного водки, немецкого вина и пива. Но пьяны мы были не от водки. Гардед сказал: «Вам необходимо сообщить своим. А после этого седлайте свои джипы и переправляйтесь сюда на пароме — мы продолжим наш праздник». Он послал двух русских проводить нас.

Как только мы вернулись на свой берег, Коцебу связался по радио со штабом и успел сообщить наши координаты у Штрелы. Но связь все время прерывалась. Это часто случается, в боевых условиях радиосвязь редко бывает безупречной. Проходит час. Мы начинаем терять терпение. Коцебу хочет установить прочный контакт с американскими войсками — так, чтобы или русские придвинулись к американским линиям, или американцы пошли к русским.

Передав свое сообщение, мы вместе с двумя русскими погрузились в джипы. Проехали три-четыре мили на север к парому с ручной лебедкой и снова переплыли на русскую сторону. Когда съехали на берег, Коцебу бросил мне карту местности: «Ты отлично справился, вот тебе на память». Она у меня до сих пор хранится. По правде говоря, мне за нее предлагали порядочную сумму. Только я-то с ней ни за что не расстанусь. Эта карта не продается.

Как мы позже узнали, наша операция вызвала в американских штабах смешанные чувства. Эта встреча с русскими не была у них запланирована. Конечно, в глубине души они были рады, что все обошлось без потерь с чьей-либо стороны. Они таки выслали вертолет к Штреле, но не нашли никаких семи джипов. Что-то где-то не сработало.

А между тем русские устроили замечательный праздник. Мы пили, танцевали под аккордеоны и балалайки. Они исполняли и американские песни. Кто-то играл на гитаре. Здесь было и несколько русских девушек, угнанных в Германию на работу. Необычайное зрелище! Все это меня покорило, повлияло на дальнейшую мою жизнь. Озарило ее, несмотря на трудности, с которыми я потом столкнулся,— с общим равнодушием. Словно ничего такого и не произошло.

Я всегда чувствовал, что русско-американские отношения с самого начала преследовал какой-то злой рок. Если бы наша клятва на Эльбе получила бы широкую известность, наши тогдашние чувства пустили бы более глубокие корни. Подумайте только — миллионы убитых с русской стороны, неслыханное напряжение сил с американской стороны, а вокруг мертвые женщины и дети, и эта девочка, сжимающая куклу в руке. И ни-че-го.

Он протягивает мне фотографию: американские солдаты в джипе, окруженном русскими. Все улыбаются. В джипе с сигаретой в руке стоит молодой Джо Половски. Усталый шестидесятишестилетний бывший таксист наблюдает за выражением лица своего гостя.

Был еще один патруль. Под командой лейтенанта Робертсона. Они-то и вступили в официальный контакт с русскими в половине пятого в тот же день. Через четыре часа после нас. Так же как и мы, они столкнулись с проблемой беспорядочной перестрелки через линию фронта. Робертсон отправился в Торгау, в тихий городок с двадцатью тысячами населения. Сделал из чего-то американский флаг и влез на колокольню. Русские поняли. И он переправился к ним на парусном ялике.

Там тоже был большой праздник. В совместном коммюнике, подписанном Трумэном, Черчиллем и Сталиным, упомянут был только этот патруль. Робертсон пригласил к себе в джип четырех русских и помчался с ними в Требзен. Там собралось почти четыреста корреспондентов из союзных стран и США. Они просто землю копытами рыли, догадываясь, что произошло. Им не терпелось сообщить миру новость, которую все ждали со времени битвы за Сталинград. И после Нормандии. Все были взволнованы, новость была прекрасной... *(Длинная пауза.)* Но все-таки наша клятва на Эльбе — особенная. И может, все было бы лучше.

Мы все еще находились у русских. Когда вернулись, Коцебу наградили Серебряной звездой, нас — Бронзовыми.

Они разозлились, когда Робертсон тоже вернулся. Но быстро это пережили. На сообщение о встрече все равно было наложено «эмбарго» [1], так как хотелось дождаться, чтобы об этом объявили Трумэн, Черчилль и Сталин. Наверное, так было правильнее. Но когда встречаются солдаты с солдатами, как встретились мы, как встретился Робертсон, это совсем другое, неформальное дело. Так и должны встречаться армии.

Теперь он подает мне номер «Старз энд страйпз»[2] за 28 апреля 1945 года: «Сувенирное издание, тираж — миллион экземпляров. Номер был выпущен в субботу. Мы встретились с русскими двадцать пятого. Двадцать седьмого было совместное сообщение трех союзников. Этот номер вышел на следующий день». Огромные буквы, почти на всю страницу: «Янки встречаются с Красными». Гвоздь номера — корреспонденция собкора газеты Энди Руни. Заголовок: «Встреча бравых солдат. Ярмарка на берегах Эльбы». И текст:

«На восточном и западном берегах Эльбы у Торгау сегодня состоялось неслыханное празднество. Пехотинцы Первой армии генерал-лейтенанта Кортни Х. Ходжиса меняли свои пайки «К» на водку с солдатами Украинской армии маршала Конева, они поздравляли друг друга, не считаясь с языковым барьером, радовались, что наконец-то соединились. Сегодня был теплый, солнечный день, ребята из 69-й дивизии сидели на берегу Эльбы, и не было перед ними противника, не было его и позади. Пили вино, коньяк, водку и смотрели на своих новых русских друзей, слушали, как те играли на аккордеоне и пели русские песни.

Ну, если этот день не был исключительным днем и в жизни большинства русских,

[1] В журналистике — запрет на публикацию новости ранее определенного срока.

[2] Американская газета для военнослужащих.

сидевших на берегу Эльбы у Торгау, то они просто самая никчемная компания бездельников, которая когда-либо служила в армии. Лучше всего, пожалуй, сказать о них, что они радовались точно так же, как американцы, только в два раза сильнее... Чувствуешь какой-то безудержный восторг, открывается величественный новый мир... Говорит Энди Руни».

В Торгау есть мемориал этажа в два высотой. На нем американцы и русские пожимают друг другу руки. С одной стороны американский флаг, с другой — русский. Мемориал стоит на красивой зеленой лужайке над самой Эльбой. Мне уже недолго осталось жить. Я хочу, чтобы меня похоронили в Торгау.

Каждый год я стою двадцать пятого апреля на мосту Мичиган авеню и раздаю листовки: «Остановите ядерную гонку!» Если прохожий спросит, кто я такой, рассказываю про встречу на Эльбе. Ведь все дело в том, чтобы тебя поняли. Обычно слушают очень вежливо. Но я не иду в ногу со временем, я уже в прошлом. И все-таки, бог даст, в следующем году буду двадцать пятого апреля стоять на своем обычном месте. *(Смеется.)* Постараюсь!

Джозеф Половски умер 18 октября 1983 года и 25 ноября был похоронен в Торгау.

Из главы
«Я тебя породил или не я!»

Отец Джордж Забелка

Седобородый, легкий, словно невесомый, но в движениях порывистый — помесь эльфа с аскетическим пророком. На майке надпись: «Вифлеемские пилигримы за мир».

Флинт, штат Мичиган. Здесь живут в основном рабочие — классический район экономического неблагополучия. В 1941 году, когда он впервые прибыл сюда в качестве приходского священника, это был процветающий городок.

«В сорок третьем я пошел в армию и стал военным священником».

Сейчас он уже на пенсии. «Я теперь пилигрим мира». Прошел пешком от Сиэтла до Вашингтона с меняющимися по дороге спутниками — участниками похода. «В этом году мы отправляемся из Ирландии семнадцатого марта и надеемся к рождеству дойти до Вифлеема».

Его ветхий драндулет разукрашен картинками и надписями. Все заднее сиденье завалено литературой.

Примерно за час до нашей беседы он выступал перед местными масонами. Собралось около сотни членов ложи, в основном местных лавочников. И хотя вопросно-ответная часть прошла довольно бурно, отношение аудитории было на редкость дружелюбным. Слушали очень внимательно.

В Гарварде, в школе капелланов, нас учили, как заботиться о пастве, как подавать совет страждущему, как вести церковные службы. Как сделать из мужчин хороших солдат. А что такое солдат? Платный профессиональный убийца[1].

Мы должны были следить за нравственными устоями молодых солдат, поддерживать в них боевой дух, уметь слушать и вникать в их проблемы — ну что в этом плохого? Тогда все это казалось таким добрым делом. Шел 1943 год. Мне было двадцать восемь. Моими прихожанами, где бы я ни служил, были молодые солдаты. Райт-Филд под Дейтоном, Форт-Джексон в Северной Каролине. Служба за океаном. Ну да, они воевали, они убивали, но это как бы не считалось. Я верил, что иначе и быть не могло.

Мой отец служил солдатом в австрийской армии, и я этим гордился. Это была славная, прекрасная профессия. На солдата смотрели с восхищением. Я мечтал стать капелланом, носить форму, гордился знаменем. Ты защищаешь страну, своих родных и любимых. Мысль о том, что при этом ты должен убивать других людей, которые в равной степени убеждены в правоте своего дела,— у кого тоже есть семьи, есть жены или возлюбленные,— такая мысль даже в голову не приходила.

Я хотел попасть в действующую армию, служил я тогда в американской авиации. И вот в один прекрасный день мы взмываем в голубые просторы. Мне предстояло служить в Германии в одном из госпиталей. Но Германия капитулировала, и нас перебросили на Тихоокеанский фронт. Если не ошибаюсь, в июне 1945 года мы высадились на Тиниане[2].

Тогда существовал план вторжения в Японию. Мы перепрыгивали с острова на остров, с Гвадалканала через Маршалловы острова и дальше — через Гуам на Сайпан и Тиниан. Строились аэродромы. Б-29 сбрасывали напалмовые бомбы и совершали массированные налеты на города. Токио выгорел на семьдесят пять процентов.

К нам на аэродром прибыла еще одна авиационная часть. 509-я комбинированная группа. Тогда я и познакомился с Полом Тиббетсом[3]. Не очень близко, правда, так как он был старшим офицером и не был католиком. Ближе я узнал Чарльза Суини[4].

Помню его и генерала Фаррелла, из командующей верхушки, они приходили слушать мессу. Прекрасные люди. Я до сих пор восхищаюсь многими военными. Так же, как и я в то время, они искренне считали, что, хотя война ужасна, без нее обойтись нельзя. И конечно, японцы уже столько натворили. Мы это знали.

Нам было известно, что у 509-й есть какая-то большая бомба. И это все. Каждый день они поднимались с макетом бомбы. Наверное, тренировались. Изучали время полета до возможных целей. Даже члены экипажа «Энолы Гей» узнали, что несут настоящую бомбу, только уже в воздухе. Шестого августа Пол Тиббетс сообщил своему экипажу по внутреннему телефону: вот оно — мы сбрасываем первую атом-

[1] В Соединенных Штатах в мирное время армия наемная.

[2] Остров в группе Марианских островов.

[3] Пилот самолета «Энола Гей», сбросивший атомную бомбу на Хиросиму. *(Прим. авт.)*

[4] Пилот самолета «Великий артист», который сбросил атомную бомбу на Нагасаки. *(Прим. авт.)*

ную бомбу. Так впервые люди узнали, что это была атомная бомба, ядерное оружие. Приказ пришел прямо из Вашингтона, минуя всю командную цепь.

Я до сих пор храню первую статью об этом в журнале «Тайм»: мы вступили в новый мир, мы не знаем, что нас ждет в будущем — или что-то страшное, или величайшее достижение человека — атомная энергия.

Обычно перед полетом я благословлял экипаж. Не самолет. И не бомбу. Много раз мне бросали в лицо это обвинение. Но члены экипажа были частью моей паствы. Они отправлялись на опасное задание. Это были наши мальчики, наши молодые мужчины, которые рисковали жизнью. Я не знал, что они сбросили эту бомбу, пока не услышал по местному, островному радио. И тогда наступил шок. Мы вдруг осознали, что одним взрывом было убито восемьдесят тысяч человек.

Мы жили на острове, откуда каждый день поднимались сотни самолетов и сбрасывали тучи напалмовых бомб, сжигая сотни тысяч людей. Один раз в налете на японские города участвовало одновременно пятьсот самолетов. Мы читали о Дрездене и о Берлине, о Ковентри и Лондоне. В походе на Вашингтон к нам где-то в Орегоне присоединился пилот Б-17 и прошел с нами несколько миль. Он летал на Б-17 над Дрезденом и описал нам, что он видел. Падают зажигательные бомбы. Весь город в развалинах. Тогда нас больше всего потрясло, что тут вдруг один самолет сделал то, что не смогли сделать сотни других вместе. Один самолет, одна бомба — и разрушен целый город.

Как христианин и священник, я бы должен был испытать ужас, но это просто прошло мимо моего сознания. Мы и до этого слышали от других пилотов, возвращавшихся из рейдов, о кровавых заревах над Токио, о сотнях тысяч, сгоревших в огне. А ведь мы «проходили» теорию «справедливой войны» св. Августина: мирное население не должно страдать. И тем не менее все это до нас не доходило.

Я думаю, причина была в том, что никто в церковной иерархии, ни один из религиозных лидеров не поднимал своего голоса. Не говорил о безнравственности ничем не ограниченных бомбежек. Как это произошло с Дрезденом. Как это происходило в Японии. На Тиниан прибыл кардинал Спеллман. Помню ту большую мессу, уже в самом конце войны. Он призывал нас продолжать борьбу. Мы сражались за свободу, за справедливость, за то, чтобы навсегда покончить с теми ужасами, которые японцы совершили в Пёрл-Харборе, и все такое прочее. Мы сражались, чтобы уничтожить Гитлера, и вот — восемьдесят тысяч в Хиросиме, сорок пять, а то и пятьдесят тысяч в Нагасаки. Второй самолет вел Чарли Суини. Не знаю, почему он назвал его «Великий артист». Когда 9 августа он вылетел, чтобы сбросить вторую бомбу, никто из нас на острове об этом не знал. Помоему, многие надеялись, что больше бомбить не будут, что Япония захочет кончить войну. Но этого не случилось.

А как другие капелланы? Возникала ли эта тема в ваших разговорах?

Мы так и не дошли до мысли о безнравственности бомбежек. Мне кажется, все чувствовали, что это ужасно, но необходимо. Вы же помните, мы требовали безоговорочной капитуляции. Это, кстати, тоже против принципов теории «справедливой войны» св. Августина: нельзя продолжать войну, если противная сторона готова сдаться. Безоговорочная капитуляция у него даже не упоминается. Если бы не употребили этот термин, не понадобилась бы и бомба. Уже начались подходы к переговорам в Женеве и в других местах. Они уже были на коленях.

И Советы вот-вот должны были появиться в этом районе земного шара?..

Это, я думаю, одна из причин, почему сбросили вторую бомбу. Чтобы закончить все поскорее. Заставить их капитулировать до того, как придут русские. Когда я узнал про Хиросиму, у меня возникло двойственное чувство: как это ужасно, но зато как здорово, что войне конец! Наши ребята теперь вернутся домой. Будут спасены миллионы жизней. Мы бы потеряли миллион солдат на вторжении в Японию. Но как священнику мне следовало бы подумать: «Мы убиваем детей, стариков и старух, сжигаем их живьем». А я не помню, чтобы меня мучило чувство вины. Правда, когда я узнал, что Нагасаки был городом католиков, во мне что-то сдвинулось. Бомбу сбросили прямо на пригород Ураками, в нескольких сотнях метров от собора. Там жили почти одни только католики. Без малого четыреста лет тому назад св. Франциск принес сюда истинную веру. И именно здесь сёгуны пытались ее искоренить и казнили тысячи христианских мучеников.

А теперь пилот Чарльз Суини, набожный ирландский католик из Бостона, сбросил бомбу на наших единоверцев — католиков. Братья и сестры, убивающие своих братьев и сестер.

На Тиниане в лагере для военнопленных я познакомился со священником-японцем. Мне рассказали о нем ирландцы, «морские пчелы»[1]. Мы построили для него на территории лагеря часовню, и я с ним вместе служил мессу — тогда еще на латыни. У нас был даже небольшой хор. И мы все причастились — и наши солдаты, и японские пленные. Кажется, это место называлось Квонсет.

Пятнадцатое августа. Война кончилась. Мы отслужили торжественную мессу. Это был праздник вознесения богородицы. В этот день мы празднуем вознесение Марии на небо. Война началась 8 декабря — у них на день раньше. А это как раз падает на праздник непорочного зачатия. Мы служили мессу. Все были счастливы, но как-то тихи, спокойны. Не было ни шумного веселья, ни радостных криков, ничего такого. Все просто гуляли по острову. Война окончена, мы скоро отправляемся домой. Никаких больше камикадзе, никаких больше опасностей.

В октябре наша санитарная часть вместе с госпиталем была направлена в Японию в составе оккупационных войск. На южную половину острова Кюсю. Вскоре госпиталь

[1] Строительные батальоны ВМС США, созданные в декабре 1941 г.

расформировали. Все имущество — джипы, санитарные грузовики, медицинское оборудование,— приказано было отправить назад. Обычно все это топили в океане.

Топили?

Конечно. Я знал, сколько у нас было ценных лекарств! Поэтому достал несколько грузовиков, погрузил в них ящики с медикаментами и прочим и отвез в детский дом и амбулаторию, которые содержали сестры-послушницы. Кругом были голодные и больные люди.

Вы нарушили военный кодекс?

Еще как, и не один раз. Я достал даже у моряков несколько ящиков сигарет и отдал их тамошнему епископу, тот их продал, чтобы накормить себя и других. Я чувствовал себя ужасно виноватым. *(Смеется.)*

Американские солдаты в Европе и в Японии были замечательный народ. Но когда мы попали в Сасебо — по дороге на север, на Фукуоку,— все деревенские мальчишки в округе при виде нас разбегались кто куда. Солдаты предлагали им конфеты, и очень скоро ребятишки стайками теснились вокруг. Вот и с этими лекарствами. Ведь солдаты мне помогали. Ирония и парадокс.

На Кюсю я познакомился с приехавшими из Хиросимы монахинями и миссионерами. К тому времени я уже побывал в Нагасаки, видел развалины, разговаривал с теми, кто уцелел. Тысячи из них страдали «болезнью атомной бомбы», как они ее называли. И тут, кажется, впервые до меня начало доходить. Вот японские дети — они не имели никакого отношения к войне. Но умирают — один за другим, очень тихо, молча. Тихо лежат и умирают. И какой-то червь стал терзать мою душу.

После расформирования нашего госпиталя я мог отправиться домой. Но нужны были капелланы в северной части острова, и я подписал договор. За время оккупации мы ближе узнали японцев. Постепенно стали видеть, что не такие они уж страшные люди.

И снова червь грызет душу. Да ведь это такие же божьи дети. И они голодают. Тут еще, наверное, сыграло свою роль одно воспоминание: японский солдат и американский солдат лежат рядом на песке, оба мертвые. Тогда мы очищали Тиниан от японцев. Прочесывали леса, горы и пещеры. И я натолкнулся на этих двух. Помню, я сказал себе: а ведь этот японский парень, может, имел небольшую лавочку или выращивал рис; как и у этого американского солдата, у него есть мать и отец. Если бы я до этого не имел приход во Флинте, если бы у меня был богатый приход, не знаю, как бы сложилась моя жизнь.

И не забывайте, когда вы победитель, с вами могут происходить самые необыкновенные вещи. Особенно если вы офицер. Я был тогда капитаном. В побежденной стране ты царь и бог. Надо куда-то ехать. Подъезжаешь на джипе к железнодорожной станции и просто говоришь: «Ну-ка, погрузи мой джип». Куда хочешь, туда и едешь. В Саппоро ходит паром. Я опоздал на очередной рейс. Они уже на полпути. Ты просто машешь с пристани рукой — и паром возвращается назад. Природу власти трудно объяснить, особенно капелланну. Она — великий соблазн. Ее воспринимаешь как должное. Они были побежденным народом. Ты был с ним добр, но боже правый, если бы они только попробовали стать у тебя поперек пути...

Вернувшись домой, я пытался рассказать об этом, но никто не хотел слушать. Война кончилась, хватит. А тут — нате вам: Корея. Там погибли и некоторые мои добрые друзья. Я был их духовником. Да, надо защищать свою страну. Это я говорил Дику Шеридану. Он отправился туда и через неделю погиб. Вот когда начались настоящие муки совести. Что-то здесь было не так. И вообще — что мы делали в Корее?

Потом пришел черед Вьетнама. Безумные бомбежки. И снова вспомнились Хиросима и Нагасаки. Потом — Мартин Лютер Кинг. Теперь я был с черными, с бедняками, с активистами борьбы за мир. И вот тогда пошли инфаркты. Я сделал ошибку, пытаясь взвалить на себя все. Трех дней в моей жизни я вообще не помню. Несколько раз говорили, что я уже не жилец на этом свете. Но, как видите, выкарабкался. И иду в поход.

Виктор Толли

Бывший почтовый служащий, сейчас на пенсии. На груди — значок Ассоциации ветеранов Второй дивизии морской пехоты. «Когда в сорок первом году началась война, я жил, наслаждаясь «американской мечтой». У меня был домик за белым штакетником, крохотная дочка, любящая жена и приличная работа. Мне было двадцать девять лет, я был горячим патриотом и компанейским парнем. Я пошел в морскую пехоту».

Никогда не забуду этот день — шестое августа сорок пятого года. Мы на Сайпане. Я стою в очереди к полевой кухне. Время около половины двенадцатого утра. Слышу — военная радиостанция передает: президент Соединенных Штатов только что объявил, что против японского города Хиросима было применено новое, разрушительное оружие. Только через сто лет люди смогут войти в этот город. А новое оружие называется «атомная бомба».

Мы вопили, прыгали от радости, обнимались, кричали. Может, на этом чертова война кончится и нам не придется высаживаться в Японии. Все мы так чувствовали. Девятого августа сбросили другую бомбу, на Нагасаки. Военная радиостанция выдает такое же сообщение. Только через сто лет и т. д.

А через несколько недель мы оказались на борту военного транспорта. Три дня мы еще проторчали в гавани. Потом молоденький лейтенант говорит: «Пойдем брать Нагасаки». Я задаю ему глупый вопрос: «Как же мы будем его брать, если сказали: только через сто лет люди смогут войти в этот город?» Он отвечает: «Рядовой Толли, не волнуйтесь, все в порядке. Там уже были ученые. Это абсолютно безопасно».

Двадцать третьего сентября в гавань Нагасаки вошли транспортные суда с американской морской пехотой.

На следующее утро я сказал пятерым своим приятелям: «Давайте смотаемся на берег, посмотрим, что делается в Нагасаки. Чего натворила эта бомба». И мы вшестером отправились туда одни, без оружия, без ничего — ну прямо как туристы, пошли прогуляться по главной улице. Только это была прогулка по кладбищу. Мертвая тишина. И отовсюду так и тянет смертью. Жуткий запах. И кажется, будто сквозь скелеты домов на вас смотрит множество глаз. Мы были меньше чем в миле от места, куда сбросили бомбу.

В Нагасаки мы прожили три месяца. Взрывали оставшиеся стены, помогали расчищать дороги и улицы от руин. Примерно двадцать тысяч морских пехотинцев Второй дивизии составляли оккупационные силы города. Нас проинструктировали: ни в коем случае не прикасаться к упавшему на улице японцу и немедленно сообщать в пункт медицинской помощи. Я не раз видел, как человек вдруг спотыкался и падал ничком. Мы не понимали, в чем дело. Однажды я дежурил в порту, вижу: в гавань входит роскошный белый корабль. На борту надпись: «Научная экспедиция Соединенных Штатов Америки». Обернулся к своему напарнику и говорю: «Мы уже целую неделю здесь, а они только присылают научную экспедицию проверить этот проклятый город. Может, мы уже давно стерильные». Еще и шутили и смеялись по этому поводу. Не понимали, насколько это серьезно. Пили здешнюю воду, дышали здешним воздухом, жили среди развалин. Выполняли свой долг.

Конечно, где-то в глубине сознания у каждого из нас возникал вопрос: а что же все-таки такое эта атомная бомба? Что она наделала, мы видели здесь собственными глазами. Детишек с гноящимися ранами и ожогами по всему телу. Целые мили выжженной пустыни. Ничего не осталось. Только груды камней.

Интересная вещь. Мы пробыли сутки в Нагасаки и уже завели друзей среди оставшихся жителей. Они нас не боялись. А мы не боялись их. Будто никогда и не было этой распроклятой войны.

Как-то раз я отстал от товарищей, иду один по чужому городу. Враг. Вижу — японские ребятишки играют на улице, совсем как наши американские дети. Окликнул я их, помахал им рукой. Они увидели меня — солдата американской морской пехоты и кинулись бежать. Все, кроме одного. Я подошел к нему. Я не знал японского, а он — английского. Но мы все-таки поняли друг друга. Я попытался объяснить, что хочу вернуться к себе на базу. А он увидел этот вот браслет, мне его жена прислала.

На его руке браслет с надписью: Виктор Толли, США.

Внутри фотография — ее и наших дочек. Мальчик показывает: открой. Я открыл браслет, он увидел фото, и лицо его так и просияло. Запрыгал от радости и показывает вверх на свою квартиру. Произнес по-английски «сестра, сестра» — и руками изобразил: беременная.

Потом он бросился по лестнице наверх и привел своего отца, очень приятного японского джентльмена, который говорил по-английски. Он поклонился и сказал: «Вы окажете нам большую честь, ' если подниметесь к нам и выпьете с нами чаю». И я пошел в незнакомый японский дом. На камине стояла фотография молодого японца в военной форме. Я спросил: «Это ваш сын?» — «Нет, это муж моей дочери. Мы не знаем, жив ли он. От него нет вестей».

Едва он это сказал, как до меня вдруг дошло, что они страдали точно так же, как мы. Теряли сыновей, дочерей, близких — им больно, как и нам.

А до этого?..

Ничего, кроме презрения, я к японцам не испытывал. Слышал про них всякие жуткие истории. Нас обучали, как их надо убивать: они — наши враги. Помните про Пёрл-Харбор! Сами напросились, и теперь мы им покажем. Вот что я чувствовал, пока не познакомился с этим мальчиком и его родными. Вышла его сестра. Поклонилась. Она была о ч е н ь беременна. Никогда не забуду эту встречу.

Когда я от них уходил, мальчик повис у меня на руке. Я не мог отдать ему браслет. Отдал Азиатско-тихоокеанскую ленту, которую мы с такой гордостью носили. Он был просто счастлив.

Я понял тогда, что эти люди не хотели с нами воевать. Дела военных и дела гражданских — две совершенно разные вещи. В декабре 1945 года я вернулся домой и хотел начисто выкинуть из головы то, что видел в Нагасаки.

Наступил 1979 год. Я уже на пенсии, живу в пригороде Сан-Франциско. Листаю как-то ноябрьский номер «Ньюсуик». И натыкаюсь на эту статью о бывшем морском пехотинце, который заболел редкой формой костного заболевания под названием «рассеянная миелома», рак. На борьбу с этой болезнью он истратил тридцать тысяч долларов, все свои сбережения. Правительство Соединенных Штатов отказало ему в каком бы то ни было медицинском пособии. Моему возмущению не было предела. Человек сражался на Бугенвиле, на Айво-Джима. Он был рядом с теми, кто поднял флаг на Сурибахи. Он был в одном из передовых отрядов, посланных в Нагасаки. Он получил страшную болезнь и считает, что это результат облучения. Его профессия — маляр. Надо покрасить чертову уйму домов, чтобы заработать тридцать тысяч. И все их он потратил на болезнь, а правительство отказало ему в помощи.

Я вступил в новую организацию — Комитет ветеранов Хиросимы — Нагасаки. Ее члены начали обмениваться информацией и обнаружили, что среди них процент заболеваемости раком, лейкемией, рассеянной миеломой и другими редкими болезнями крови выше средней цифры. Была создана более крупная группа — Национальная ассоциация атомных ветеранов. С этого момента я полностью посвятил себя их делу. Нашел свое место в жизни. Если я для чего-то появился на свет, так, наверное, для этого дела.

Не исключено, что и я был задет радиа-

цией Если схватить хоть один рем[1], он может сидеть у вас в клетках всю жизнь. Может заснуть, и тогда ничего со мной не случится. Но когда я умру и меня сожгут, а пепел развеют над каким-нибудь лесом, радиация все еще будет жива. Через двадцать семь тысяч лет кто-то может подхватить этот рем из моего пепла и заболеть.

Я верил свому правительству. Что бы ни сказал Рузвельт, мы верили ему, как богу. В морской пехоте я служил верой и правдой. Мне дали автомат, и когда приказали: «Вперед! Убей врага, или он убьет тебя!» — я пошел и убивал. И не было никаких сомнений — ведь дрались за родную страну. Сейчас мне шестьдесят восемь, и у меня было время подумать о прожитой жизни. У меня появилась возможность сесть и почитать. Я прочел массу книг и многое изучил. Теперь я задаю вопросы. И ставлю под сомнение деятельность моего правительства. По-моему, каждый американец должен задавать вопросы. Нельзя же в самом деле всю жизнь считать, что мамочка есть мамочка, яблочный пирог — это яблочный пирог, а президент Соединенных Штатов на то и президент, чтоб нам ни о чем не думать. Не всегда то, что утверждает правительство, безусловная истина.

Мы с Каспаром Уайнбергером учились в одной школе. Мы были друзьями и переписывались. Но я не могу больше верить Капу Уайнбергеру, не верю в то, на чем он стоит. И мне плевать, что скажет Кап, или президент, или кто еще. Я должен думать сам. А я видел то, что видел.

Эти две бомбы мы сбросили не на военные заводы. Мы сбросили их на женщин и детей. В ту самую минуту, когда я прыгал от радости, и обнимал приятеля, и был в таком восторге, где-то там на улице лежал обугленный младенец, жизнь которого оборвалась, не успев начаться. Семьдесят пять тысяч человек жили, дышали, ели и хотели жить дальше и были испепелены в мгновение ока. По-моему, это останется на совести нашей страны до скончания времен.

Из главы
«Эпилог: дети бума и другие новые люди»

Нора Уотсон

Она родилась в горах западной Пенсильвании, в маленьком городке. Помнит шахтеров, тяжелые времена. «В детстве мне казалось, что все люди бастуют либо уволены». Ее отец был проповедником. «Мы жили на то, что нам давали люди». Нора родилась в 1943 году.

У нас было радио, иногда оно работало. Отец заставлял нас выключать его, когда передавали «суетную» рекламу — виски, сигареты. Мне шел третий год. Взрослые говорили о военнопленных, о том, что наши ребята скоро будут дома. Мне казалось, что вокруг меня огромное множество людей.

В кино мы не ходили. Я не знала, кто такие Боб Хоуп или Оди Мэрфи. Ничего не знала про войну кинозвезд, да и про войну за принципы тоже.

Осознала я это вдруг, когда мне было двенадцать-тринадцать лет. Я сидела в школьной библиотеке и рассматривала фотографии массовых уничтожений. Это были очень большие книги. До сих пор вижу эти переплеты на зеленой скатерти в крапинку. Нет, это не было домашним заданием. Почему же я рассматривала эти фотографии? Библиотека была новая, с новой мебелью, с чистыми полами. Солнце озаряло Аппалачи. А фотографии были зернистые, нерезкие. И такие, каких родители не стали бы показывать своим детям.

На первый взгляд казалось, что на этих зернистых фотографиях — штабеля дров. А потом вглядишься и видишь, что это люди. И невозможно избавиться от этой жуткой загадки: не то штабеля дров, не то штабеля трупов. Есть что-то непонятное в притягательной силе ужаса, и эта сила от себя не отпускает. До того как я нашла эти снимки, мне, ни о чем не подозревавшему ребенку, ничего толком не говорили, ничего связного, что можно было бы выразить словами.

И вот что-то происходит. И внезапно ты понимаешь, что ведь это люди так поступают друг с другом. Ты ходишь в школу, где тебе объясняют устройство бомбы. Ты знаешь, что люди умеют придумывать всякие приспособления, которые убивают других людей. Это уже известно тебе из уроков истории, где много места уделяется войнам. Но ничто тебя не подготовило к известию об уничтожении людей «вручную» в промышленном масштабе. Это и было всесожжение[1].

Не верю, что немцы об этом ничего не знали. Ведь это требовало такого труда. Другое дело, если бы массовое уничтожение происходило теперь. Запрограммировали бы машины — и все. Но тогда-то волосы стригли люди, и люди же использовали их как сырье для каких-то изделий. И золотые коронки вырывали люди. На железной дороге работали стрелочники, которые туда пропускали переполненные составы, а назад — пустые. Вот почему перестаешь верить. Мир рушится. Особенно когда появляется на свет атомная бомба.

Мы с тетей Саррой сидим на крыльце. По-моему, в том же году. «А сколько детей ты хотела бы иметь?» Обычный вопрос тетушки, приехавшей в гости. Я отвечаю: «У меня детей не будет».— «Почему же?» — «Я не хочу, чтобы у меня были дети, раз на свете есть атомная бомба». Я была верящим в добро ребенком. Откуда-то у меня появилось изображение взрыва атомной бомбы, соответствовавшее фотографиям трупов, сложенных штабелями, рисунки траншей и солдат с винтовками в этих траншеях. На заднем плане — деревья. Зима. Бомба — в небе. Они — на земле. У меня возникло ощущение, что рух-

[1] В русской терминологии: бэр — биологический эквивалент рентгена. По международным нормам опасной для жизни считается доза в 100 бэр.

[1] Библейское слово «всесожжение» (по-английски holocaust), означающее полное истребление жертвы огнем, стало применяться в значении массового уничтожения людей.

нули основы мира. Все непредсказуемо. Мир без опоры неуправляем. И что более важно — это в нас самих. Этого нет в природе, это не потоп. Были руки, снимавшие одежду с трупов. Стены в тех помещениях, где людей ставили под душ, исцарапаны ногтями, за них хватались тоже руки.

Это делалось в промышленных масштабах, но делалось руками. Вот почему определенное поколение, не евреи и не европейцы, поколение, у которого вроде бы нет никаких причин сходить с ума по поводу всесожжения, сходит с ума. Я не знала ни одного еврея. Я не знала ни одного черного.

Если бы всего этого не было и не было бы тех фотографий, которые я увидела в тот солнечный день, я думала бы о людях иначе. И о себе тоже. Это мне напоминает Румпельштильцхена[1]. Он топает ногой, и пол разверзается. Кто-то топнул ногой, и пол разверзся. Но, в отличие от Румпельштильцхена, вам не удастся снова сколотить его. Разверзшийся пол — это знание о размерах зла, которое мы можем причинить друг другу, и причиним при определенных обстоятельствах, которые нельзя предвидеть. Я не хочу сказать, что знаю, каково приходится человеку, зажатому посередине. Я не хочу сказать, что ко мне это не относится.

Когда мне было двенадцать лет, я сделала открытие, что мир не такое уж безопасное место. Нигде в мире нет абсолютно надежного укрытия, какие бы могучие стены вокруг ни стояли. Во второй мировой войне мы сделали еще один шаг, обе стороны сделали. Мы совершали зло в таких масштабах, которые говорят: это может случиться в любом месте, в любое время, и это можете сделать вы.

Моя ранняя реакция на всесожжение, возможно, связана с несчастным случаем в детстве. Мне было тогда четыре года. Произошло маленькое, с мизинчик, всесожжение. Дело было связано с огнем. А всесожжение — это тоже огонь. Жертву сжигают полностью, без остатка. Это слово из Ветхого завета.

Даже несчастный случай может стать метафорой. Я узнала, что у всех людей есть шрамы. Чаще всего — невидимые. Когда мы говорим о всесожжении, мы говорим и о себе. Шрамы у нас внутри. Если они снаружи, вам повезло, для таких шрамов есть название. Это моя мистическая доктрина шрамов. *(Смеется.)*

Моя сестра всего на четыре года моложе меня, и все же мы принадлежим к разным поколениям. Она родилась совсем в ином, послевоенном мире. Над ней не тяготел, как надо мной, страх перед голодом. Она чувствует себя менее уязвимой. Она считает, что имеет право на еду. Мы в этом не были уверены. Когда наша семья переехала в Канонсберг, мы были первыми белыми жителями нового жилого комплекса. Это было что-то новое и удивительное. И у нас в доме была горячая вода. Для ее поколения особую важность приобрели вещи. Конечно, и нам нравилось красиво одеваться. Мы все читали журнал «Семнадцатилетние» и обменивались выкройками, но на этом все не замыкалось. Моя сестра росла как раз тогда, когда появились торговые центры. Там можно было проводить все свободное время. Моей сестре они казались чудеснейшим местом в мире. Она убеждена, что там всегда будут вещи. А я знаю, что они могут исчезнуть.

Странно другое: и она, принадлежавшая к поколению, уверенному в незыблемости материальной обеспеченности, и я, в этом совсем не уверенная, разделяем другое отсутствие уверенности. Мы знаем, что можем внезапно погибнуть. Особенно остро я это чувствую, когда вижу фотографию атомного гриба: слишком это облако похоже на облака над Аппалачами.

Моя мать никогда не курила, не употребляла спиртного, рано ложилась спать. И умерла от рака в возрасте шестидесяти двух лет. У моего племянника было врожденное раковое заболевание. У другой моей сестры родился ребенок с редко встречающейся опухолью. А ведь в нашем роду рака прежде не было.

Марта, моя подруга, показала мне статью в «Нью-Йорк таймс» о нашем городе — Канонсберг, Пенсильвания. Здесь был завод, где добывали радий из руды. Отходы производства сбрасывали в Шартр-Крик. Я часто падала в эту речушку, когда переходила ее по камням, торопясь в школу. Вот вам еще один шрам: радий в нашей реке. Смотришь на фотографию атомного гриба, потом на облака над Аппалачами — и вспоминаешь эти нечеткие, смазанные снимки жертв всесожжения. Больше нет почвы под ногами. Нет никакой опоры.

Стив Макконнелл

Сотрудник Комитета по старости, возглавляемого конгрессменом Клодом Пеппером.

«Я родился в сорок седьмом году, дитя послевоенного бума рождаемости. Мы переехали из Лос-Анджелеса в пригород, где мой отец много лет был священником». Беседа происходила в Вашингтоне в 1981 году.

Мне всегда казалось, что наше поколение значительнее и лучше всех, что были до нас. А может, и тех, что придут после нас, будущих. Стоило нам пальцем пошевелить, и происходило что-то новое, и в этом новом мы чувствовали себя хозяевами положения. Мы считали себя избранными. Уж мы-то приведем мир в порядок. Собирались изобрести более совершенную мышеловку.

Мы весело проводили время, болтаясь между молочными барами и «киношками»[1]. У всех у нас были форсированные двигатели в машинах. А как же, нам подавай самое лучшее. С этим чувством мы пришли в колледж.

Школу я окончил в шестьдесят пятом. И тут одновременно с ощущением силы мы стали чувствовать некоторую неуверенность. Многое менялось прямо на глазах. Мы столкнулись с войной, которая нико-

[1] Карлик, персонаж немецкого фольклора.

[1] Drive-in *(англ.)*. — кинотеатр под открытым небом, где фильмы смотрят, не выходя из машины.

му не была понятна. Наше поколение учили не считать войну благом. Происходило нечто для нас очень неприятное.

Молодежь стала баловаться наркотиками. У нас была масса свободного времени и ощущение прочности экономических основ жизни. Казалось, перед нами распахнуты огромные просторы, чуть ли не новый Дикий Запад. Иди куда хочешь. И наркотики были просто одной из возможностей. А вот цели за всем этим никакой не было. Кое-кто боролся против войны во Вьетнаме. У этих была цель. Но таких было мало. Некоторые — и я в том числе — пробовали наркотики понемножку, то один, то другой, просто от предвкушения чудесного будущего. А когда начали осознавать, что ждать им, собственно, нечего, наркотики стали средством ухода от действительности.

Депрессия перед второй мировой войной нас никак не коснулась. Родители про нее рассказывали, но это оставалось пустым звуком. Да и война эта нас не коснулась. Она была в далеком прошлом. Войну во Вьетнаме мы приняли так близко к сердцу, в частности, и потому, что она ударила непосредственно по нас, и сразу же. Мне тридцать четыре, но до нынешнего года я как-то внутренне не верил, что наша страна могла когда-то переживать экономические трудности. Я и представить себе не мог, как достается людям, когда экономика летит ко всем чертям.

К концу пятидесятых годов мы прошли через эру бомбоубежищ. Воспоминания от нее у меня остались довольно веселые. Ходишь по торговому центру, а в одном конце стоянки для машин — образец убежища. Вот здорово! И так уютно. «Мам, а нельзя нам устроить на заднем дворе бомбоубежище? С запасами всякой еды. Как для пикника?» Но где-то в глубине шевелилось: а вдруг все это взаправду будет. Ничего серьезного вроде бы не ждали, но... люди говорят... И бомбоубежища покупали. Это был ходкий товар. Их продавали, как косилки для газонов. В огромном выборе. Каждая компания предлагала свой образец, один другого завлекательнее. Предмет первой необходимости! *(Смеется.)*

В школе проводились учебные тревоги. По сигналу тревоги надо было бросаться на пол спиной к окну и закрывать голову. Самое главное, чтобы тебя не ранило осколком стекла. Большинство из нас даже не понимали, что это будет самой последней нашей заботой. *(Смеется.)*

В пятьдесят седьмом году запустили спутник и мое поколение потянулось к техническим наукам. Это была какая-то всеобщая одержимость технологией. Машины, ремонт машин, их усовершенствование. Технология решала все. Когда я был в колледже, то студенты — будущие бизнесмены — ходили через здание гуманитарных факультетов, чтобы никто не знал, что они специализируются в бизнесе. Все это повернулось в обратную сторону только за последние десять лет.

Я был защитником в футбольной команде Калифорнийского университета, один год мы были чемпионами страны.

Кажется, в шестьдесят восьмом году, когда я заканчивал свою футбольную карьеру, начались массовые антивоенные выступления. Если помните, во многих университетах администрация использовала спортсменов для наведения порядка — сокрушения черепов и разгона демонстраций. Именно мы избивали тех, кто сжигал свои повестки. И тут я задумался. Что-то здесь не так, несовместимо со спортом. И в шестьдесят девятом году я организовал на кафедре физического воспитания выступления в поддержку антивоенного движения.

Никогда не забуду тот день, когда я принес руководителям университетского движения обращение, под которым собрал более ста подписей.

Парень до смерти перепугался: думал я пришел его бить. *(Смеется.)* Когда вручил ему обращение, он был вне себя от радости. Они добились своего. Кафедра физического воспитания была на их стороне.

Технология и бизнес. Еще одно подтверждение их союза — целая отрасль производства, выпускающая грампластинки. Промышленность с капиталом, исчисляющимся в миллиардах долларов, работает исключительно на молодежь. Мы — поколение, которое определяет вкусы и стиль всей культуры. А за этим неизбежно следуют самоуверенность и нетерпимость. Наша музыка — хорошая, ваша — плохая. Рок-н-ролл был нашей музыкой, нашим родовым знаком. Нам, пожалуй, даже нравилось, когда родители говорили: «Как ты можешь слушать эту ерунду? Выключи». Тогда мы покупали более крупные усилители, более совершенную стереоаппаратуру и включали на всю мощь.

В моей школе учились дети из семей ниже средней зажиточности — так у детей машины были лучше, чем у родителей. Машина была символом статуса. Что только для нее не придумывали: наклеивали особые этикетки, переделывали радиаторную решетку, ставили шумные клаксоны. И здесь опять технология. Это как удостоверение вашей личности. Во многих случаях машина была важнее девушки.

В пятидесятые годы стали делать автомобили с крыльями, похожими на плавники; они становились все больше и больше. Нефункциональная технология. *(Смеется.)* Все это было частью символики экстравагантности и богатства. И приводилось в движение чувством: вот что захотим, то и сделаем.

Теперь наступают суровые времена и что обнаруживается? Японцы обходят американские компании в производстве телевизоров, радиоприемников, автомашин. И мы начинаем делать из японцев козлов отпущения. В некоторых рекламных объявлениях их изображают в унижающем достоинство виде. Особенно много таких реклам в Калифорнии. Когда я был подростком, можно было любить всех, кто тебе нравится. Ты имел свободу и роскошь не думать о гражданских правах. Их было более чем достаточно, чтобы хватило на всех. Поэтому ты мог быть очень праведным и нетерпимым к фанатизму.

Я испытываю давление со всех сторон. Чувствую, как из-за конкуренции у людей развивается ненависть к инородным группам. Теперь я взрослый человек из среднего класса. И что получается? У вас есть ресурсы. Вы стремитесь их защитить. Вас

беспокоят черные и преступность. А это уже расизм.

Помню, еще в колледже я как-то затеял спор: «Зачем вы возитесь со своими стрижеными газонами, когда вокруг столько страданий?» Четыре года назад я купил дом. Когда я выложил деньги и стал домовладельцем, много изменилось в моих мозгах. Боже мой, я влез в колоссальные долги. И все-таки этот дом не стоит больше того, что стоила та общность людей. Я не хочу, чтобы та общность распалась. Вы заперты внутри системы.

Нашему поколению не пришлось включаться в систему. Мы могли оставаться на обочине и все-таки преуспевать. Но ценностей родительского поколения мы приобрели больше, чем думали. Возможно, так и надо было. Иначе ваше поколение оторвется и поплывет неведомо куда.

Смысл второй мировой войны был для меня в нашей победе. Этому учили нас фильмы о войне, этому учил нас Джон Уэйн [1]. Мы победили, и мы были правы. Америка доказала свое могущество. Мы завоевали весь мир. Мы оседлали его и принимали таким, как есть, чего бы он ни стоил. Мы были гигантами. Могли делать то, что нам хотелось делать. И в собственной жизни тоже. Выбирай какую угодно работу. И не бойся, если дело не пошло. Если тут сорвется — там повезет. *(Смеется.)* Ожидания у нас были астрономические. Но жить становилось все трудней. А что делается теперь?

Если вообще можно так оценивать войну, вторая мировая была хорошей войной. В ней был положительный смысл — и это осталось в нашем сознании. Вот почему, в частности, так трудно было принять войну во Вьетнаме — контраст был слишком резким.

Мы утратили ощущение себя как поколения. Нас раскидало в разные стороны. Экономическое положение изменилось. Люди хватают все, что могут, пока мир еще не рухнул. Мы работаем только ради себя, чтобы выжить. Думаем в первую очередь о себе.

Нашему поколению смириться с этим очень нелегко — ведь у нас было все. У нас были такие большие ожидания! А теперь наступило время мизерных ожиданий. Наверное, нашим родителям легче: они пережили депрессию. Можно твердить о необходимости приносить жертвы, только звучит это фальшиво. Впервые нашему поколению приходится признать возможность полного поражения. А ведь мы были зачаты победителями.

[1] Голливудский актер.

Дебби Куни

Студентка профессионально-технической школы в Чикаго. Ей семнадцать лет.

Про ядерную бомбу я узнала лет в десять. Но по-настоящему до меня дошло, что это такое, около года назад. У меня есть племянница, ей полтора года. И я ее ужасно люблю. Она же моя первая племянница, и учится говорить, и бегает по всему дому. Я хочу, чтобы ее впереди ждала целая жизнь. Ведь жизнь у нее может быть очень хорошей. Она такая умница. Это и теперь уже видно.

Я хочу, чтобы она жила, и ездила в деревню, и просто дышала бы, ни о чем не тревожась. Я беспокоюсь о ней больше, чем о себе, потому что я-то хотя бы семнадцать лет прожила. У меня что-то было. А ей полтора года, и она просто прелесть. А потому я хочу, чтобы у нее было будущее.

Перевод с английского
С. ЛИТВИНОВОЙ, И. ВОСТОКОВОЙ,
И. ГУРОВОЙ

◆

Антирубрика

РАССКАЗЫ ИНДИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ХАРИШАНКАР ПАРСАИ

Ад в раю

Сетх[1] Мехумал Милвани был большой мастер подмешивать: в топленое масло свиной жир, в пряности — сухой помет, в гороховую муку — молотый камень, причем хитрил он столь искусно, что комар носу не подточит. Если бы яд стоил дешевле меда, он бы, ни на минуту не задумываясь, подмешал его в мед.

Вместе с тем сетх Мехумал был весьма набожный человек. При жизни он много молился. А когда умер, посланец бога унес его на небеса, и Чандра Гупта[2] показал всевышнему перечень грехов и добрых дел сетха.

Бог спросил:

— Сетх Мехумал! Здесь сказано, что ты молился мне почти триста тысяч часов. Это правда?

— Да, господи! Я твой верный раб!

Тогда создатель сказал:

— За это я допущу тебя в рай. Ступай и благоденствуй во веки вечные.

В раю Мехумала поместили в очень красивом доме. Подали великолепный обед. Ароматные блюда разожгли его аппетит. Но лишь только он притронулся к еде, как тут же выплюнул — в нее были добавлены листья дерева ним[3].

Хотел Мехумал запить горькое кушанье водой, да не тут-то было — рот от нее как огнем обожгло.

Так и лег спать сетх не евши, не пивши. Лежит он на мягкой пуховой постели и чувствует, что из кровати вылезают острые-преострые прутья и впиваются ему в бок.

Так сетх и не заснул всю ночь.

Утром он встретил одного из служителей и говорит:

— Что это за рай такой? Куда я попал? Веди меня к создателю!

А служитель ему:

— Все верно! Дело в том, что создатель распорядился подмешать вам в рай немного ада.

Кровь

Жену моего соседа положили в больницу. Он теперь целыми днями пропадает у нее в палате, а по вечерам, вернувшись домой, рассказывает много интересного. Лежит там, к примеру, один больной, давно уже лежит. При нем дежурит его брат. Отозвал раз он соседа моего в сторонку и шепчет:

— Станьте сюда, за колонну, приложите к ней ухо... Слышите? Здесь даже колонны взяток требуют!

В другой раз сосед рассказал мне такую историю.

Двое молодых парней привезли из деревни свою мать. Ее положили в хирургическое отделение. Стали к ней приходить врачи, сестры. И сыновья здесь же сидят, у ее постели. А женщина — из самой глуши, бедовая и сметливая.

Доктор и говорит ее сыновьям:

[1] Сетх — торговец. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Чандра Гупта — один из четырнадцати помощников бога смерти, ведущий счет грехам и добрым делам каждого человека.

[3] Ним — дерево, листья которого отличаются очень горьким вкусом.

ХАРИШАНКАР ПАРСАИ (род. в 1924 г.)

Индийский писатель. Автор двух романов и более десяти сборников рассказов, сатирических миниатюр, эссе.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Хромые идеалы» (Дели, Раджкамал пракашан, 1980).

— Надо оперировать.

— А как же? — с готовностью отвечает за них мать.— Конечно апеллировать! А то чего бы я сюда ехала — на тебя глядеть?

Подошла медицинская сестра смерить ей температуру.

— Деток-то у тебя много ли?— поинтересовалась больная.

— Нет у меня детей,— ответила незамужняя сестра.

— Как так «нету»?— удивилась старуха.— Годков-то тебе поди немало, пора бы и ребятишек завести. Ты докторша, другим бабам рожать помогаешь, а своих детей нет? Непорядок это...

Сестра улыбнулась и отошла.

Самое интересное, однако, началось, когда доктор сказал ее сыновьям:

— Потребуется кровь для переливания — придется попросить у вас.

Старуха так и вскинулась:

— Э, нет, доктор-сахиб, ничего у тебя не выйдет!

— А как же иначе? — возразил доктор.— Без этого я не могу приступить к операции.

— Ну и не надо!— отрезала старуха.— А их не тронь. Ишь чего выдумал, кровь ему понадобилась! Бери у меня сколько надо. Мне же потом и перельешь.

— Что вы такое говорите? — увещевал ее доктор.— Пусть ваши сыновья дадут кровь. Без операции вы погибнете...

— Умру — туда мне и дорога! А кровь брать у сыновей не позволю. Им не сегодня-завтра сеять, а ты у них кровь выкачать хочешь.

— Нет, просто уму непостижимо! — кипятился доктор.— Двое здоровых парней — это для них такая малость!

На что старуха отвечала:

— Ты, доктор, ученый, а не понимаешь: сыновьям моим кровь для работы нужна, а ты хочешь ее у них взять да в меня, старуху, перелить. Мне и так помирать скоро. А им в поле идти, сев начинать. Какой выискался, кровь ему подавай!

Доктор не знал, как быть. Вокруг уже стали собираться люди. Подошли и практиканты — студенты медицинского института.

— Чему тебя только учили, доктор-сахиб?— отчитывала старуха доктора.— Нет разве у вас таких людей, которым пахать-сеять не надо, а крови у них хоть отбавляй? Вот у бездельников и берите ее на здоровье!

Студенты-медики тихонько посовещались между собой, потом старший из них подошел к доктору:

— А может, она права, сэр?

— Права?! — изумился доктор.— Что станет с ее сыновьями, если они сдадут по пинте крови?

— Она говорит,— продолжал молодой человек,— что нельзя брать кровь у тех, кто занимается тяжелым крестьянским трудом. Назначьте день операции, сэр, а о крови мы позаботимся.

По инстанции

Жил-был учитель. Работал он в государственной школе. Раз у него заболела жена, и ее отвезли в больницу. А в это время пришел приказ о его переводе в другое место. Большой начальник из департамента просвещения жил в том же квартале — его вилла была видна из окон дома учителя. При встрече учитель каждый раз почтительно его приветствовал. «Пойду-ка я к нему и попрошу его повременить с моим переводом»,—подумал учитель.

Пришел учитель к начальнику. Тот сидит на веранде и спрашивает:

— В чем дело?

— У меня к вам просьба, господин...

— Какая просьба?

— Жена у меня в больнице в тяжелом состоянии...

— Ну и что?

— Пришел приказ о моем переводе...

— Ну и что?

— Прошу вас, задержите, пожалуйста, приказ — не могу я сейчас ехать.

Очень рассердился начальник.

— Вы что,— говорит,— правил не знаете? Вы,— говорит,— дисциплину нарушать? Вы почему прямо ко мне явились? Вам нужно письменное заявление подать по соответствующим каналам. Я смогу с вами разговаривать только после того, как получите согласие директора школы. Идите! Будете наказаны!

Учителю дали выговор. Его предупредили, чтобы впредь он не смел обращаться прямо к большому начальству, а действовал по инстанции.

Пришлось учителю брать двухмесячный отпуск за свой счет.

Однажды в доме большого начальника случился пожар. Сбежались соседи. А учитель со своей веранды спокойно смотрел на огонь. Пожар быстро потушили. Он не успел причинить особого вреда.

На другой день большой начальник стоял у ворот своего дома. Проходил мимо учитель. Сахиб и спрашивает:

— Господин учитель, почему вы вчера не пришли тушить пожар?

— Не успел, сэр! — смиренно ответил ему учитель.— Директор наш был в отлучке. А без письменного его разрешения нельзя! Я же должен обращаться к вам только по инстанции!

Перевод с хинди Н. СОЛНЦЕВОЙ

КАМАЛЕШВАР

Памятник

«Даже в гробу ты не даешь мне покоя. Ты мучила меня всю жизнь, а я, не щадя живота своего, метался в поисках куска хлеба для детей твоих. И ты, неблагодарная, за все мои страдания упрятала меня в тюрьму.

Наконец-то я избавился от тебя. Но я знаю, теперь ты начнешь лицемерно вздыхать и лить крокодиловы слезы...»

Рассказ закончился. Последние слова господин Салим прочитал дрогнувшим голосом и, бережно закрыв книгу, посмотрел на собравшихся. Все сидели, понурив голову, и тяжело вздыхали. Наступило тяжелое, будто вязкий дым, молчание. Даже появление слуги с подносом, на котором лежали бетель и сигареты, не оживило слушателей. Но мало-помалу люди приободрились. Продолжая скорбно вздыхать, они потянулись к подносу.

— А теперь я попрошу выступить глубокочтимого Чандрабханджи, который три года провел рядом с великим писателем,— объявил председательствующий.

— Судьба была благосклонна ко мне,— начал Чандрабханджи.

Лицо его при этом болезненно сморщилось. Он как-то неестественно вздрогнул, словно только что пообщался с душой умершего.

— Да-да, мне очень повезло,— продолжал он,— долгое время я работал рядом с ним, видел его в повседневной жизни. Он был настоящим другом. В самые трудные минуты он не терял мужества. До последнего часа он пребывал в нищете и до последнего часа с ней боролся. Я помню тот день, когда умерла его жена. У него даже не было средств, чтобы купить материю на саван, кредиторы отвернулись от нищего писателя. За бесценок он продал свою рукопись и на вырученные деньги отправил жену в последний путь... Я горжусь тем, что знал величайшего литератора нашей эпохи...

Чандрабханджи всхлипнул, вытащил платок, приложил его к глазам и сел.

Председательствующий обвел присутствующих взглядом и подобострастно произнес тихим голосом:

— Вам слово, Бихари-бабу.

Бихари-бабу важно водрузил на нос очки в золотой оправе и уставился на стену, где висела фотография — великий писатель в окружении семьи почтенного Бихари-бабу. Постояв так несколько минут, Бихари-бабу сел, не проронив ни слова.

Председательствующий предоставил слово человеку в домотканом платье.

— Уважаемый господин председатель, господа! — с подъемом начал оратор.— Я счастлив присутствовать на траурном собрании, посвященном памяти самого выдающегося писателя современности. Он останется жить в веках, имя его будет сверкать как маяк, указывающий путь заблудшим кораблям... Я вспоминаю те дни, когда мы вместе учились здесь в колледже...

— Он учился в Нагпуре! — поправил возмущенный голос.— А сюда приехал всего четыре года назад!

Председательствующий безуспешно пытался успокоить разъяренного правдолюбца. Лицо господина в домотканом платье побагровело. Он не спеша вытер платком пузырьки красной слюны, выступившей в уголках рта,— явный признак того, что оратор недавно жевал пан,— и, едва сдерживая раздражение, произнес:

— Весьма печально, что современный образованный молодой человек и к тому же литератор меня не понимает.

И, отчеканивая каждое слово, господин в домотканом платье пояснил:

— Горький написал книгу «Мои университеты». Разве он хотел в ней сказать, что учился в университетах? Школа жизни — вот его университеты!

Оратор закашлялся, схватил со стола стакан с водой, залпом его осушил и продолжал:

— Литература — это ремесло, литератор — великий труженик! Литература — зеркало общества!

С этими словами он очертил руками в воздухе круг, обозначающий, вероятно, зеркало и еще какую-то расплывчатую фигуру, символизирующую, по всей видимости, общество.

— Литература — это правда, божество, красота. Наши мудрецы говорили: правда — все то, что божественно и красиво. Правда есть стержень литературы. Я смиренно призываю сегодняшних писателей и поэтов стремиться к правдивому изображению действительности и вносить свой вклад в дело созидания нового общества.

С этими словами оратор с облегчением плюхнулся на свое место.

Лица слушателей заметно побледнели. Председательствующий, видимо, почувствовал легкое недомогание. Облизнув пересохшие губы и посмотрев на часы, он вяло произнес:

— Я все-таки снова обращаюсь к почтенному Бихари-бабу и прошу его сказать несколько слов.

Бихари-бабу решительно поднялся и начал скорбным голосом:

— Мне трудно выступать перед столь светлыми литературными умами. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память великого человека, который был для меня

КАМАЛЕШВАР (род. в 1932 г.)

Индийский прозаик. Автор ряда повестей и многочисленных рассказов. На русский язык переведены его повесть «Потерянный человек» (в сборнике «Зов земли». М., 1984) и несколько рассказов.

Предлагаемый рассказ взят из сборника «Живые мертвецы» (Варанаси, Гьянпитх, 1969).

больше чем брат. Его смерть — не только утрата для литературы, это мое личное горе.

Я встретил его четыре года назад на одном литературном собрании. Он тогда сильно бедствовал, и я захотел помочь ему. Я долго уговаривал его оказать своим посещением честь моим близким, но он жаждал одиночества. Тогда я предложил ему поселиться в одном из моих домов и даже освободил его от платы за жилье. Поэтому он до самой своей смерти нежно любил меня, и мы тоже любили его как родного.

Оратор всхлипнул.

— Мы обязаны знакомить народ с золотым фондом нашей литературы. Я низко склоняю голову свою перед памятью друга и сподвижника своего, перед сыном Сарасвати [1].

Не успел Бихари-бабу сесть, как со своего места вскочил писатель Бхуванешджи.

— Друзья! Я тоже хочу кое-что сказать! Я не займу у вас много времени и буду краток.

Уже тридцать лет, как я взял в руки перо и с тех пор без устали служу литературе. За это время я создал семьдесят пять книг. Но не будем об этом...

Сегодня мы собрались здесь в связи с кончиной величайшего писателя нашей страны... Он был моим товарищем. Мы вошли в литературу почти одновременно. Правда, я начал свою творческую деятельность немного раньше. Я хорошо помню тот день, когда он явился ко мне со своим первым рассказом. К тому времени я уже нашел себя в литературе, а мои творения занимали видное место на страницах почтенных журналов и газет. Я тогда жестоко раскритиковал его первый рассказ. Но тем не менее мы продолжали встречаться и остались добрыми друзьями.

Да. Итак, что я хотел сказать... Ах, вот что. Не подумайте, будто почет и слава свалились на меня с неба. Мой дорогой папа любил поэзию, и когда я, будучи отроком, написал свое первое стихотворение, он обнаружил во мне талант и стал брать меня на литературные вечера. Мои читатели спорят: кто я? Романист? Поэт? Новеллист? Критик? Друзья, я начал свою карьеру со стихов, поэтому считаю себя главным образом поэтом и именно поэзией живо мое писательское сердце.

Любопытно, что мы часто спорили с покойным на литературные темы и при этом я, как правило, выходил победителем.

В те годы я написал свой первый роман «Пусто трепещет мокрое покрывало».

Бхуванещджи улыбнулся.

— Правда, замечательное название? — продолжал он.— Видите, какое влияние оказывала на меня тогда поэзия? Но вскоре я оставил мир фантазий и грез и ступил на тропу реализма. В тот период я написал два новых романа: «Каменная стена» и «Пузыри». Критика высоко оценила их. После этого я создал тринадцать сборников рассказов, десять книг стихов и три капитальных основополагающих труда по теории поэзии... Сейчас я собираюсь написать книгу о вас, мои братья по перу. Будьте спокойны, я вам воздам по заслугам. Спасибо за внимание.

Председательствующий взглянул на часы.

— У меня есть предложение,— сказал он,— надо позаботиться о памятнике покойному, дабы грядущие поколения знали, что именно здесь он провел свои последние дни.

— Я согласен,— встрепенулся Чандрабханджи.— Хочу добавить, что эту идею поддерживал в свое время Бихари-бабу. Он так и сказал тогда: «Пусть дом, в котором жил мой друг, и станет ему памятником». Я хорошо помню эти слова. И вот время настало. Я прошу Бихари-бабу выполнить обещание. Со своей стороны мы тоже внесем пожертвования, кто сколько может.

Наступила гробовая тишина. Бихари-бабу, уставившись в пол, вытирал пот, обильно выступивший на лысине. После непродолжительных дебатов был создан «фонд памяти великого писателя». Все единодушно проставили суммы пожертвований. На этом траурное заседание было закрыто.

...Через несколько дней на двери исторического дома появилось объявление, проткнутое, словно кинжалами, четырьмя огромными гвоздями:

ДОМ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ.

Перевод с хинди Б. И. ШУРШАЛИНА

[1] Сарасвати — богиня мудрости и красноречия.

БХИШАМ САХНИ

Ритуальная процессия

Много лет твердой рукой правил своей державой раджа Удаягири Блистательный. Много сражений выиграл он и над многими землями водрузил свое победоносное знамя. На закате дней, однако, земная слава наскучила повелителю. Взалкала душа его покоя, и помыслы свои обратил он на служение всевышнему. Шли дни, и все больше укреплялся он в мысли, что единственной целью

БХИШАМ САХНИ (род. в 1915 г.)

Индийский писатель. За роман «Тьма» удостоен премии Литературной академии Индии. На русский язык переведены его сборник рассказов «Гнев всевышнего» (М., 1960), книга повестей и рассказов «Окна отчего дома» (М., 1979), роман «Девушка с делийской окраины» (М., 1981).

Рассказ «Ритуальная процессия» взят из его одноименного сборника (Дели, Раджкамал пракашан, 1981).

его отныне должно стать распространение слова божия. Свет веры, озаривший раджу на исходе жизни, обязан он донести до каждого из своих подданных, вывести их на путь истины и добродетели, вырвать из мрака невежества и мирских соблазнов. День проходил за днем, и истина, открывшаяся ему, стала его путеводной звездой, и ей служил он с таким же рвением, с каким прежде отправлялся в поход.

Правда, поначалу душа его пребывала в смятении, ибо не знал он, следует ли ему отречься от престола во имя великой цели своей или он должен посвятить себя всевышнему, продолжая нести бремя власти. Пока же он облачился в оранжевую тогу бродячего проповедника, и весть об этом облетела все его царство. Когда он, твердя священные мантры [1], появлялся на улицах и площадях столицы, босой и бритоголовый, держа в руках камандаль[2], как простой монах, живущий подаянием, люди смотрели на него с изумлением: неужели тот нищий, что униженно просит милостыню на перекрестке,— их правитель, под стопами которого прежде дрожала земля, а грозного взгляда боялись даже могучие соседи? Тот ли это человек, колесницу которого совсем еще недавно под триумфальными арками, среди восторженных криков толпы, влекли юные принцы из поверженных им царств?.. Непобедимый полководец, грозный повелитель, теперь он стоит на перекрестке со склоненной головою, протягивая камандаль за подаянием!.. Какая разительная перемена!

Скоро, однако, раджа обнаружил, что народ по-прежнему видит в нем монарха, а не поборника веры. Стоило ему появиться на улице, люди высыпали на балконы и крыши домов, выстраивались на проспектах — но все это лишь потому, что он был их повелителем: самый красноречивый проповедник не сумел бы собрать вокруг себя такой огромной толпы.

«Если я отрекусь от престола,— думал раджа,— меня попросту перестанут замечать». И принял тогда он решение, что не станет отрекаться от престола, а будет попрежнему править державой, не прекращая служить всевышнему, ибо, оставаясь на троне, для дела веры можно сделать гораздо больше, чем ведя жизнь подвижника.

Все переменилось с той поры в жизни Удаягири Блистательного. Теперь до полудня носил он оранжевую тогу странствующего аскета и день свой начинал с обхода городских улиц в сопровождении свиты монахов. Обход заканчивался в тенистом дворцовом парке, где совершали они утреннюю молитву, нарушая тишину возгласами во славу всевышнего и дарованной им ахимсы[3].

К полудню возвращался он во дворец, и, облачившись в пышные одеяния монарха, принимался вершить мирские дела. После полудня из ворот дворца раджа появлялся не иначе как в колеснице, сопровождаемой отрядом вооруженных воинов. В такие часы ни один осужденный не мог рассчитывать на помилование, ибо Удаягири Блистательный как правитель был твердо убежден, что власть без насилия немыслима: власть лишь тогда обретает смысл, когда она служит распространению света подлинной веры. Зачем власть, если она не способна пробудить людей к постижению истины?

К вечеру, покончив с государственными делами, вновь обращался раджа к ценностям духовным. Он слушал проповеди, вел беседы с единоверцами, принимал сообщения о распространении ахимсы в своих владениях. И, внимая добрым вестям, тихой радостью наполнялось сердце повелителя: во всех концах его страны возникали новые очаги веры! И возникало в душе желание трудиться с новой силой.

По проспектам столицы, где прежде до глубокой ночи бродили погрязшие в ереси безбожники, теперь торжественно шествовали колонны поборников новой веры. Да, он мог быть доволен, что не поддался слабости и не отрекся от престола. Как просвещенный монарх, для спасения заблудших он сумеет сделать гораздо больше, чем простой проповедник, ибо цель его — превратить державу свою в маяк истинной веры.

Так, в служении вере и отечеству, проходили дни его, пока ровное их течение не было прервано неожиданным событием.

После полудня, когда Удаягири Блистательный уже облачился в платье монарха, собираясь проследовать в тронный зал, перед ним с почтительно сложенными руками предстал главный его министр.

— О повелитель,— с тревогой в голосе доложил он,— я принес тебе скорбную весть.

— Говори, я слушаю тебя, верный слуга.

— Сегодня у идолопоклонников праздник, государь! — Голос министра дрожал от возмущения.— И в честь праздника, государь, они собираются принести жертву.

Раджа застыл от изумления: как могли они решиться на такое, когда вот уже несколько лет назад запретил он всякие жертвоприношения?!

— Откуда узнал ты, что они собираются пойти против нашей воли?

— О, повелитель,— отвечал министр,— на улицах я видел праздничные толпы народа. Там играет музыка, грохочут барабаны, звучат флейты и священные шанкхи [1]. Люди идут к храму, где еще сохранился жертвенный алтарь.

Раджа Удаягири побледнел. Брови его мрачно сдвинулись. Очи грозно блеснули.

— Что ты видел еще?

— Я видел все то, что не раз бывало прежде, государь. По улицам в сторону храма движется ритуальная процессия. Все поют и танцуют — мужчины и женщины, старики и дети. А впереди двое невинных юношей ведут несчастную жертву, увешанную гирляндами из живых цветов.

В горести уронил Удаягири Блистательный голову на грудь. Понял он, что рушится все, о чем была мечта его. Столько трудов, столько усилий и терпенья — и такой результат! Вот она, людская неблагодарность! Те, кого он собирался вывести на

---

[1] Мантра — песнопение, молитва.

[2] Камандаль — сосуд из тыквы, непременный атрибут странствующего аскета.

[3] Ахимса — ненасилие, один из основных догматов индуизма.

[1] Шанкха — полая раковина крупного морского моллюска; используется как духовой музыкальный инструмент, звучащий в храмах на торжественных церемониях.

путь добродетели, открыто потешаются над ним. Это назло ему стараются они как можно громче играть на флейтах и бить в барабаны!

До слуха донеслись отдаленные звуки шанкхи и рокот барабанов. Он не двигался, погруженный в горькое раздумье. Что предпринять? Может ли он, человек, доказавший свое бесстрашие на поле брани, могучей рукой потрясавший престолы и троны, может ли он спокойно взирать на то, как кучка строптивцев нагло попирает догматы его веры? Может ли он сидеть сложа руки и бесстрастно внимать звукам праздничной музыки? Он должен действовать — иначе пройдет совсем немного времени, и тот же министр сообщит ему, что жертвоприношение состоялось и кровь невинной жертвы обагрила алтарь. Если безбожники идут на такое сегодня, чего можно ожидать от них завтра? И не случится ли так, что жертвы станут приноситься ежедневно? Сегодня собираются совершить жертвоприношение в столице, а завтра этот обряд возродится повсюду и по всему царству вновь заструятся потоки крови!

Вздрогнув от одной этой мысли, раджа торопливо зашагал по тронному залу, тщетно стараясь избавиться от охватившего его ужаса. Что же делать? Ведь он не только монарх, но и покровитель веры, покорный раб всевышнего, а люди, отринувшие веру,— это не только заблудшие, они его подданные. И разве не его долг как повелителя вывести на путь добродетели тех, кто блуждает во мраке невежества, предаваясь жестоким забавам и пороку? Заботливым отцом — вот кем должен быть повелитель для своего народа! В душе его поднялась волна возмущения против тех, кто сбивает его народ с избранного пути.

— Как прикажете поступить, государь? — подал наконец голос министр, стоявший все в той же позе.

— Я обязан спасти жертву,— твердо сказал раджа.— Я не могу допустить, чтобы пролилась невинная кровь.— И, не повышая голоса, приказал:— Отправляйтесь в монастырь. Скажите настоятелю, чтобы собрал всех послушников и вместе с ними шел к тем, кто замыслил пролить кровь. Зло не должно свершиться.

Министр удалился, а раджа снова погрузился в раздумье.

Получив повеление Удаягири Блистательного, настоятель в сопровождении монахов и послушников вышел навстречу процессии. Умоляюще простерев руки, со слезами на глазах они обратились к толпе, заклиная ее даровать невинной жертве жизнь. Однако никто не обращал на них никакого внимания: с музыкой и песнями ликующая процессия двигалась мимо. Просителей не удостоили взглядом даже те, кто шел впереди.

Когда радже доложили об этом, он застыл на месте от изумления и гнева. Это уже не просто заблуждение, это открытый вызов ему, порожденный безнаказанностью!

Раджа вызвал своего главного советника.

— Внушите им,— заговорил он,— внушите им, что ахимса простирается на всякое живое существо. Я не хочу, чтобы в моем царстве пролилась кровь ни в чем не повинного животного. Пусть они проявят добрую волю и пощадят его. Надо сделать все возможное, чтобы зло не свершилось.

Советник бросился выполнять повеление, а сам раджа оставил стены дворца и поспешил в ту сторону, где мрачно возвышался храм, куда направлялась толпа.

Ритуальная процессия медленно приближалась к храму. Во главе колонны двигались жрецы, за ними — музыканты, могучим ревом десятка шанкх они возвещали о приближении торжественной минуты, а за музыкантами, упрямо наклонив голову, шествовал сам виновник торжества — жертвенный козел, увешанный гирляндами из живых цветов, в бледно-розовой накидке и с выкрашенными в густо-красный цвет рогами. Следом, оглашая улицы громом барабанов, звоном колокольцев и пением флейт, двигались колонны горожан. Раджа смотрел и глазам своим не верил. К горлу его подкатил твердый колючий ком.

Наконец кто-то из толпы с изумлением заметил, что на обочине улицы со смиренным видом стоят высшие чины государства. Наступило короткое замешательство: ничего подобного прежде не бывало. Однако замешательство быстро прошло: люди решили, что этого требует вера, которую исповедует их возлюбленный монарх. Не задерживая шаг, процессия прошла дальше. Поклонился высоким мужам только тот, кому было поручено совершить жертвоприношение. Он выразительно посмотрел на них и беспомощно развел руками. Но и он не стал долго задерживаться, а, торжественно вогласив зачин молитвы, проследовал мимо.

В храме, который по случаю торжества был вымыт и окурен благовониями, служки, обливаясь потом, заканчивали последние приготовления. У жертвенного алтаря поблескивал острый как бритва секач, который через несколько минут должен был отсечь голову козлу. Храм оглашался мелодичным перезвоном священных колокольцев и уханьем гонгов.

Горько стало на душе у повелителя. Никогда и никем не побежденный, сейчас на глазах у всего города он терпел поражение от горстки тех, кто отринул его веру и обратился к диким обычаям старины. Они пренебрегли его мольбою, а это значит, что они пренебрегли интересами своего повелителя, интересами государства! И кто же, если не он, призван предотвратить бессмысленное кровопролитие?

Голова процессии уже вливалась под своды храма. У входа толпился почти весь город. Сгорая от любопытства, горожане поднимались на цыпочки, стараясь рассмотреть, что делается в темной глубине храма.

— Неужели нельзя предотвратить насилие?— почти простонал раджа.— Доколе же это будет продолжаться?

Из храма выплескивались звуки барабанов, звон колокольцев и нестройный хор голосов, творивших молитву. Шум, доносившийся из-под сводов, нарастал. Но что это? Послышались отчаянные крики, стоны, вопли, и вдруг все стихло. Воцарилось безмолвие. Люди застыли в ожидании.

Толпа качнулась и замерла. Из-под плотно прикрытых створок храма просочилась темная струйка крови. Растекаясь по каменным плитам у входа, она медленно поползла в ту сторону, где толпился народ.

Раджа стоял окаменевший. Неужели поражение?! Он чувствовал, как стынут пальцы рук и ног. Это конец! Будто темная пелена застлала ему глаза. И в эту самую минуту врата храма медленно распахнулись, и из темной глубины его торжественно вышел главный полководец империи, ведя на веревке живого и невредимого козла. Это был тот самый козел, которого обрекли на погибель. Нагнув голову, козел упирался и удивленно таращил глаза.

При виде спасенной жертвы раджа просиял, на лице его заиграла улыбка.

— Повелителю нашему — слава! — прокричал кто-то в толпе, и стоявшие вокруг дружно подхватили:— Слава! Слава! Слава! — в такт словам выбрасывая руки вверх.— Ахимса превыше всего!

И глаза повелителя вновь засветились надеждой. Значит, не зря нес он народу слово истинной веры: это всевышний вразумил людей, не дал свершиться злому делу.

Следом за спасенным козлом из храма вышел отряд воинов с мечами и копьями в руках. Остались в храме лишь те, кто, погрязнув в безверии и разврате, замыслил пролить кровь невинного животного... Рука всевышнего предотвратила зло! Сердца подданнных с новой силой потянулись к истинной вере. Число паломников на дорогах империи стремительно возрастало. Те, кто прежде проявлял несогласие и строптивость, отреклись от своих заблуждений и признали правоту монарха. Скоро к ним примкнули почти все подданные, а многие из них жизнь свою посвятили прославлению деяний мудрого повелителя Удаягири Блистательного, кротостью своей открывшего людям свет истинной веры.

Перевод с хинди *В. А. ЧЕРНЫШЕВА*

◆

Советская литература за рубежом

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман МИХАИЛА АНЧАРОВА «Самшитовый лес». Издательство «Лидове накладателстви».
Книга СОЛОМОНА АПТА «Томас Манн». Издательство «Обзор».
Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Пядь земли». Издательство «Одеон».
Стихотворения МАЙИ БОРИСОВОЙ. Издательство «Лидове накладателстви».
Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Волчья стая». Издательство «Наше войско».
Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Картина». Издательство «Словенски списователь».
Повесть АНАТОЛИЯ КИМА «Нефритовый пояс». Издательство «Правда».
Роман ВЛАДИМИРА ОРЛОВА «Альтист Данилов». Издательство «Лидове накладателстви».
Повесть МИХАИЛА ЧУЛАКИ «Тенор». Издательство «Млада фронта».
Роман ИЛЬИ ШТЕМЛЕРА «Таксопарк». Издательство «Лидове накладателстви».

ШВЕЙЦАРИЯ

«Записки юного врача» МИХАИЛА БУЛГАКОВА. Издательство «Л'аж д'ом».
Стихотворения ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. То же издательство.

ШВЕЦИЯ

Новеллы МИХАИЛА БУЛГАКОВА. Издательство «АВЕ/Геберс».
Роман ЯНА КРОССА «Императорский безумец». Издательство «Фрипресс».
Роман МАТИ УНТА «Осенний бал». То же издательство.

ЮГОСЛАВИЯ

Повести ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Пегий пес, бегущий краем моря». «Ранние журавли». Издательство «Светлост».
Роман ГЕОРГИЯ ГУЛИА «Фараон Эхнатон». Издательство «Вук Караджич».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Последний срок». Издательство «Обелиск».

Говорят советские издатели

«РАДУГА»: ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА МИРА

Из всех советских издательств «Радуга», пожалуй, журналу «Иностранная литература» ближе других. У публикаций в «Иностранной литературе» и у русской программы издательства «Радуга» (ибо «Радуга» еще в большом количестве издает на языках народов мира произведения русских и советских писателей) одни задачи: знакомить советского читателя с лучшими произведениями современной зарубежной литературы, с произведениями, правдиво, реалистически повествующими о жизни наших современников за рубежом, о встающих перед ними проблемах. У нас давно в ходу выражение «литературная карта мира». То, что предлагает советскому читателю сегодня «Радуга»,— это действительно современная литературная карта мира. Вот передо мной каталоги издательства на 1985 и 1986 годы. Болгария, Германская Демократическая Республика, Польша, Индия, Куба, Перу, США, Италия, Греция, ФРГ, Нигерия, Кения...

Впечатляющая география. Пожалуй, подобной географией переводов могут похвастаться немногие издательства в мире. А многим зарубежным писателям и поэтам трудно бывает поверить в тиражи, какими расходятся у нас их книги. И все-таки не только, да и не столько географический принцип лежит в основе формирования наших планов. На современной карте мира немало «горячих точек», и именно к ним приковано внимание всех людей планеты.

Расскажу об одной книге, которая представляется мне особенно важной. «Судьбы наших детей» — сборник произведений английских и американских фантастов, посвященный проблемам войны и мира, проблемам мирного сосуществования в космосе. Писатели поднимают голос против «звездных войн», утверждая мирный, разумный, устроенный для блага всего живого космос. Актуальность этой книги сегодня, когда американская администрация так рьяно стремится распространить гонку вооружений и на космос, трудно переоценить. Предисловие к книге написал летчик-космонавт СССР Юрий Глазков, иллюстрации выполнены летчиком-космонавтом СССР Владимиром Джанибековым.

Еще одно издание, посвященное теме, не утратившей за прошедшие пятьдесят лет своей актуальности. В 1986 году исполнится пятьдесят лет с тех пор, как мужественный испанский народ, поддерживаемый добровольцами - интернационалистами из многих стран мира, принял первый бой с фашизмом. Этот первый бой был проигран. Но он показал всему миру, как велики угрозы фашизма, и призвал народы к борьбе с ним. «Война начиналась в Испании» — так назвали мы эту книгу, объединяющую стихи, прозу и драматургию испанских писателей разных поколений на тему национально-революционной войны. Книга выйдет в июле 1986 года.

И еще об одном издании хотелось бы сказать особо: солидный сборник «С верой в человека» не приурочен ни к какой дате. Но такая книга необходима нашему читателю именно сейчас, сегодня. Сборник произведений прогрессивных писателей Америки показывает нам «другую Америку», Америку униженных, обездоленных людей, поднимающихся на борьбу за свои права. Книга получилась яркая, социальная, острая.

Хотелось бы обратить также внимание читателей на некоторые произведения писателей из братских социалистических стран. Юбилейная дата — 40-летие Победы над фашизмом — нашла свое место и в планах издательства «Радуга». В конце 1984 года вышла книга словацких писателей о Словацком национальном восстании: прозаики разных поколений стремятся осмыслить тему подвига словацкого народа во время второй мировой войны в разных художественных жанрах.

К 40-летию мы приурочили и произведения болгарских писателей Н. Хайтова, Р. Михайлова и К. Кюлюмова (1985). Собранные в одной книге, эти романы повествуют о незабываемых героических годах истории Болгарии. Лауреат Димитровской премии Николай Хайтов, придерживаясь

строгой документальности, создает образ легендарного народного героя, гайдуцкого воеводы капитана Петко («Капитан Петко-воевода»). Радослав Михайлов воссоздает героические и вместе с тем трагические дни Сентябрьского восстания 1923 года в Болгарии («Отрава»). Ветеран антифашистской борьбы Костадин Кюлюмов создает обаятельный образ молодого болгарского партизана в романе «Парень и горы».

Самого пристального внимания, на наш взгляд, заслуживает и книга «Верность. Эстафета поколений» (1985). Она о преемственности традиций, о политической активности, о творческом горении ярких представителей антифашистского движения, зачинателей современной социалистической немецкой прозы (Ф. Вольф, Иоганнес Р. Бехер, Б. Брехт, А. Зегерс) и современных поэтов, драматургов, прозаиков ГДР. Эта книга также посвящается 40-летию Победы.

Из серийных изданий хотелось бы предложить вниманию читателей очередные книги Библиотеки польской литературы («Избранное» Юлиана Кавальца и «Избранное» Богдана Чешко — выйдут в 1986 году) и, конечно же, новинки. Читателям наверняка будет интересна встреча с новыми произведениями таких писателей, как Эрвин Штриттматтер (роман «Лавка», ГДР, 1986), Ян Козак (роман «Адам и Ева», ЧССР, 1986), Зденек Плугарж (роман «В шесть вечера в «Астории», ЧССР, 1986) и многие другие.

Еще несколько слов о популярных издательских сериях. Давно зарекомендовала себя марка «Мастера современной прозы». Любит наш читатель эту серию, спрашивает, что в дальнейших планах. В 1985 году серия пополнится книгами «Стены Иерихона» классика современной польской литературы Тадеуша Брезы, «Избранное» известного западногерманского писателя Гюнтера Грасса, «Избранное» выдающегося французского писателя Луи Арагона. В 1986-м в этой серии выйдут произведения крупнейших писателей разных континентов — Марио Бенедетти (Уругвай), Франсиско Айялы (Испания), Вержилиу Феррейры (Португалия).

В серии «Современный роман о рабочем классе» только что вышла книга норвежского писателя Трульса Эры «Роман о Хельге Хауге» — честное, искреннее и горькое повествование о тяжелой доле рабочего человека в мире капитала, о реальном бесправии человека труда, скрывающимся за рекламным фасадом показного благополучия. Серии «Современный роман о рабочем классе» издательство уделяет большое внимание, разрабатывается новое ее оформление.

Любителей поэзии тоже ждет немало приятных сюрпризов. В ближайшие месяцы выходит солидный том поэзии Янниса Ритсоса, объединяющий стихи поэта разных лет и дающий довольно полное представление о творческом пути писателя.

Сборник стихов современных поэтов Италии «Вернисаж» продолжает традицию, начатую в свое время сборником «Новые голоса» (переводы с французского). «Вернисаж» знакомит с поэтами молодого и среднего поколения Италии, сумевшими уже сказать свое слово в поэзии.

«Избранное» Фаиз Ахмад Фаиза — это наиболее полное издание на русском языке стихов недавно ушедшего от нас выдающегося пакистанского поэта, лауреата международной Ленинской премии мира, одного из лидеров Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Широк круг политических, эстетических и философских интересов поэта, сделавшего свою песню оружием в борьбе.

А в сборник «Однажды непременно» вошли стихи современных турецких поэтов и крупнейших мастеров XX века — Назыма Хикмета, Орхана Вели, Мелиха Джевдета и совсем молодых, еще неизвестных нашему читателю. Эта книга — итог многолетней работы переводчика, знатока турецкой литературы Радия Фиша.

Хочется напомнить еще об одном типе издания, ставшем в последнее время популярным,— о билингах. Любители сравнивать поэтический перевод с оригиналом получили в этом году прекрасный, красиво оформленный том английской поэзии XX века (на русском и английском языках), двуязычный том сонетов Шекспира. И совсем недавно на русском и болгарском языках появился прекрасно оформленный том лирики Любомира Левчева.

Читатель любит детективы и часто спрашивает, какие же следующие книги, каких авторов, из каких стран будут выпущены «Радугой». Пользуюсь случаем, чтобы ответить сразу многим. Только что вышел из печати сборник «Современный испанский детектив», в 1986 году планируются к изданию «Современный норвежский детектив», «Современный югославский детектив».

О романах, вошедших в том «Английский политический детектив» (1985), скажу здесь только, что это первый опыт издания именно политического, откровенно ангажированного и идейно четко ориентированного детектива.

С журналом издательство «Радуга» связывает давняя творческая дружба. И одно из проявлений этой дружбы — вышедший летом 1985 года к 30-летнему юбилею журнала сборник «Зарубежная повесть», объединяющий лучшие из произведений этого жанра, опубликованные на страницах «Иностранной литературы» за последнее пятилетие.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ
главный редактор издательства «Радуга»

◆

Среди книг

Издано в СССР

ЯПОНСКИЕ «ЦЕЛИННИКИ» И «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛУБ»

Такэси Кайко. С высоты Токийской башни. Художественная публицистика и документальная проза. Перевод с японского. Составитель Б. В. Раскин. Предисловие В. Я. Цветова. Москва, «Прогресс», 1984.

Не многим, наверное, известно, что в Японии была своя «целинная эпопея». Даже не одна. Та, о которой пойдет речь, происходила за девять-десять лет до нашей: в 1945 году. Один за другим заполнялись «добровольцами» поезда на токийском вокзале Уэно. Вслед отъезжающим летели напутственные речи высокопоставленных чиновников. «Поздравляю вас с решением отправиться на новые земли и желаю счастливого пути,— вещал на одном из таких «митингов» столичный губернатор.— Со времен Мэйдзи Хоккайдо всегда радушно принимал поселенцев. И все же до сих пор там много неосвоенных земель — по площади не меньше, чем весь остров Сикоку. Что касается почвы, то недаром Хоккайдо называют «Украиной Востока». Конечно, осваивать целину — дело трудное, но, я уверен, вам воздастся за ваши труды сторицей...»

Документальная повесть хорошо известного у нас японского писателя Такэси Кайко[1] «Потомки Робинзона» написана от первого лица. Читая ее, можно подумать, что и впрямь это он, вместе с покорной, молчаливой женой и малолетним сыном, совершил путешествие из Токио на самый северный из японских островов в составе одного из целинных «эшелонов», сам построил для своей семьи нехитрое жилище, сам пытался вырастить на трудной, бросовой земле первый урожай,— настолько подробно и достоверно рассказана вся эта история. Но нет, будущему писателю в ту пору едва исполнилось пятнадцать лет. А «Потомки Робинзона» увидели свет в 1960 году. Очевидно, в основу повести легли беседы с непосредственными участниками событий, сохранившиеся документы. Всякий, кому доводилось работать в жанре документальной прозы, хорошо знает, как нелегко из этого разнородного, фрагментарного материала выстроить связное, цельное повествование. И нельзя не отдать должное мастерству японского писателя: его повесть воспроизводит не только зримые картины прошлого (пусть и недавнего), но и самый дух времени, не только отдельные человеческие характеры и типы, но и многие черты национального характера японцев.

Нет, не романтика дальних дорог сорвала с насиженных мест этот разношерстный люд — врача и владельца велосипедной мастерской, полицейского и мелкого чиновника, от лица которого ведется повествование. И не желание помочь своей стране в трудный час, хотя и говорили об этом высокопарные слова провожавшие их особы. Их гнали причины куда более прозаичные: нужда, голод, безработица. «В Токио жить стало невмоготу,— заявила однажды жена рассказчика.— Единственная возможность добыть пропитание — обмен на вещи», да и то нужно стараться не попасться на глаза специально созданной экономической полиции. А тут еще ежедневные воздушные тревоги, бомбардировки, грозящие превратить Токио в груду развалин,— еще идет война. Между тем на Хоккайдо сулят золотые горы — дома, участки земли, скот в рассрочку, продукты, чтобы протянуть до первого урожая. И поселенцы пускаются в путь. На борту парохода, перевозившего их с главного японского острова Хонсю на желанный Хоккайдо, их застигла новость: по радио выступил император, сообщивший о том, что война

[1] См. Т. Кайко «Токио с близкого расстояния». «ИЛ», 1983, № 4.

проиграна. Однако насчет того, как быть дальше, никаких распоряжений не поступило. И заведенная машина продолжала крутиться в заданном направлении: прибытие на Хоккайдо, бивуачный ночлег, распределение участков по жребию... Только вот посулы — все до единого! — оказались ложными: ни домов, ни скота, ни продуктов. Только земля, но и та непригодна для земледелия. И тут мы получаем возможность в полной мере оценить выдержку, трудолюбие и стоицизм японцев: в подавляющем большинстве своем коренные горожане, не имеющие никакого представления о сельском труде, брошенные на произвол судьбы центральными и местными властями, они как могут борются за жизнь. Бьются — каждый в одиночку, каждый за себя. Правда, свет не без добрых людей: казавшийся вначале суровым и хмурым инструктор Кумэда на самом деле внимателен и заботлив, всегда готов прийти на помощь Но это — вопрос лишь его личных качеств: он мог бы ничего не делать для поселенцев, как не делают ничего другие, вышестоящие. Да и что он, Кумэда, может? Разве что помочь установить жестяную печку в лачуге и пожелать «не падать духом». Чем могут поселенцы выразить ему благодарность хотя бы за эти знаки внимания и заботы? Только предложить: «Не желаете ли испить воды?» «Спасибо,— ответит Кумэда,— по дороге сюда попил из речки». «У меня тоже из речки, так что вкус одинаковый»,— грустно согласится поселенец. И в этих тяжелейших условиях у поселенцев как-то сама собой, еще робко, начинает формироваться мысль: надо объединяться! Создавать кооператив. Хотя бы для того, чтобы сообща построить дорогу к поселку (который, кстати, в буквальном переводе с японского называется «Верхнецелинный» — словно какой-нибудь совхоз на Алтае или в Северном Казахстане). Но для того чтобы строить дорогу, даже своими руками, нужны средства. Где их взять? Надо «нажать» на власти! Как? Сообща! Они еще не знают, как это сделать реально,— объединиться. Они потерпят неудачу в своих начинаниях. Мелькнувший было просвет в общем сумрачном колорите повести вновь затянется тучами. «Я не намерен умирать, но и не могу сказать, что живу»,— констатирует в конце рассказчик. Но мы, читатели, не сможем снова не отметить мастерство, с которым демократически настроенный писатель передает рождение коллективной мысли, первого, подсказанного жизнью порыва к объединению... И в этом — один из ответов на возможный вопрос: а стоило ли переводить и издавать документальную повесть Такэси Кайко сейчас, спустя четверть века после ее создания и через сорок лет после описываемых событий?

Да, стоило, безусловно, стоило! Еще и потому, что очерки разных лет, вошедшие наряду с «Потомками Робинзона» в книгу Такэси Кайко «С высоты Токийской башни», убеждают: законы того мира, о котором рассказывает писатель, не меняются с годами.

Меняются внешние реалии: ушел в прошлое ярмарочный балаганчик «Отведи душу» — пустое помещение, в котором посетитель имел право ради собственного удовольствия хватить о стену стопку специально приготовленных фарфоровых тарелок. Современный мир придумал куда более утонченные способы для «отведения души» обывателя. Старого уличного скрипача — «исполнителя дорогих сердцу мелодий, известного в искусстве под именем Комацу», как гласит его визитная карточка,— вытесняют музыканты совсем иного толка. Американские самолеты, некогда бросавшие бомбы на Токио, теперь базируются на японской земле. Многое изменилось! Но по-прежнему выстлана банкнотами дорожка к председательскому креслу в правящей либерально-демократической партии («Действо, стоящее три миллиарда иен»,— подытоживает писатель свои впечатления от церемонии выборов). По-прежнему царит в обществе сословная и чиновничья иерархия — она сказывается даже в том, из каких чашечек попивают чай служащие в конторе («Если Кудзэ назначат начальником отдела, он, пожалуй, купит чашку с крышечкой и к ней деревянное блюдце»). По-прежнему реальными хозяевами страны остаются объединения финансовых воротил, такие как «Промышленный клуб», неукоснительно пекущийся о чистоте своих рядов. По этому поводу у писателя происходит знаменательный диалог с секретарем клуба — господином Яманэ:

«— Кому отказывают?

— Ну, например, если претендент был уличен в обмане, или не вернул долг, или имел судимость.

— Мне известна одна личность по прозвищу Грабитель. Он, кажется, тоже принят в члены клуба?

— Он получил эту кличку, уже будучи его членом.

— Бывают ли случаи, когда исключают из клуба?

— До сих пор таких прецедентов не было. — Господин Яманэ рассмеялся».

Такэси Кайко почти не комментирует свои наблюдения. В этом смысле его публицистика в чем-то продолжает традицию «физиологических очерков» русской демократической литературы прошлого столетия. Он поднимается на Токийскую телевизионную башню, обозревает огромный город с вертолета, идет в парламент и муниципалитет, на вокзал и в молодежное общежитие, записывает рассказы таксистов, ложится (будучи совершенно здоровым) в первоклассную столичную больницу, где один день пребывания стоит половину месячной зарплаты муниципального чиновника — и обнаруживает в ней наряду с комфортом и чистотой бесстрастную холодность и даже жестокость обслуживающего персонала.

Однако писатель рассказывает и о таких людях, в которых многое вызывает уважение. Нам приятно встретить на страницах его книги и свидетельства интереса к нашей стране. «Какие записи слушаете?» — спрашивает писатель у юношей из общежития, купивших магнитофон. «Разные,— звучит в ответ — Одни любят песни про альпинистов, другие — музыку Хачатуряна...» И этот пример не единственный.

И по возрасту, и по убеждениям Такэси Кайко принадлежит к той же плеяде писателей, что и многократно издававшие-

ся у нас Кэндзабуро Оэ, Кобо Абэ, Сюсаку Эндо, Макото Ода. Все эти мастера слова, пишет в предисловии Владимир Цветов, «одновременно взялись, если следовать горьковскому определению литературы, помогать человеку понимать самого себя, поднимать его веру в себя и развивать в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях». В писательском активе Такэси Кайко — повести и романы (один из них был удостоен самой авторитетной в Японии литературной премии имени Рюноскэ Акутагава). Но публицистика занимает в его творчестве особое место. Она пользуется большой популярностью у читателей: недаром в 1977 году в Токио вышел пятитомник публицистических произведений писателя. Ныне благодаря стараниям переводчиков Б. Раскина, Я. Троицкого, Е. Рединой и издательства «Прогресс» книга избранной публицистики Такэси Кайко стала достоянием советского читателя. И книга эта будет интересна и полезна всем, кто хочет знать, что такое современная Япония.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ
Ленинград

ТОСКА ПО ЦЕЛЬНОСТИ

Томмазо Ди Чаула. Голубая спецовка. Перевод с итальянского Г. Смирнова и Н. Живаго. Предисловие Г. Смирнова. Москва, «Радуга», 1984.

Из письма в редакцию

«Я получил свою «Голубую спецовку»[1], изданную в СССР на русском языке,— какая высокая честь мне оказана! Я глубоко взволнован тем, что мою книгу перевели в стране Тургенева (моего любимого писателя), Достоевского, Чехова, Гоголя...

Когда я был мальчишкой, один мой друг купил пишущую машинку «Оливетти». В придачу к машинке фирма в целях рекламы предлагала на выбор ряд книг серии УБР (Универсальная библиотека Риццоли). В серию входили книги лучших русских авторов. Я одолжил у друга эти книги, и они стали лучшими друзьями моего детства и отрочества.

Я раз двадцать перечитал «Записки охотника», рассказы Чехова, Гоголя и т. д. Можно сказать, что меня воспитали именно великие русские писатели. Нет авторов, которых было бы приятнее читать. Многие друзья очень удивились, узнав, что мою книгу перевели на русский язык. Они сказали: «Ну, Томмазо, теперь ты действительно великий человек!»

Что еще добавить? Я глубоко удовлетворен. Издание книги в вашей стране — очень большая честь для обыкновенного рабочего, тридцать лет простоявшего за токарным станком и все это время не переставшего мечтать. Достаточно во время работы на мгновение закрыть глаза, и, как по волшебству, исчезает все: станки, заводской шум, здание цеха....

Мечтаю познакомиться и с Советским Союзом, его городами и легендарной историей...

С самым сердечным приветом

Томмазо Ди Чаула
Италия, г. Модуньо»

«Голубая спецовка» Томмазо Ди Чаулы продолжает довольно уже длинный ряд книг, написанных самими рабочими. Многие из них знакомы советским читателям. Среди них — «Элиза, или Настоящая жизнь» француженки К. Эчерелли, «Пролетарии» Л. Ури, тоже француза, рабочего-котельщика, «Желтый комбинезон» итальянского рабочего-судостроителя Н. Дзордзенона, «Окаянный финн» Х. Юлитало, работавшего сварщиком на конвейере концерна «Вольво», документальные записи рассказов американских рабочих (С. Теркел, «Работа»), немало других.

Общественная значимость таких книг — в прочной документальной основе, во взгляде снизу, «изнутри», на насущнейшие проблемы нынешней западной действительности, прежде всего на проблемы современного производства и взаимоотношения с ним человека, на место, роль человека в этом производстве.

Ди Чаула не лишен литературного дара, к тому же он достаточно начитан, образован, его зоркость, наблюдательность, природная сметка, ум помогают нам лучше понять его характер, мучительную неудовлетворенность своим местом, ролью на производстве и в обществе.

В его записках есть сцена, эпизод, которые, пожалуй, являются ключевыми и для самих записок, и для характера их героя и автора.

Старый рабочий, которого многие товарищи считают неотесанной деревенщиной — он и в самом деле бывший крестьянин, пас овец,— в обеденный перерыв плетет корзину из ольховых и оливовых прутьев. Казалось бы, что тут особенного? Но, признается автор записок, «я остановился потрясенный, потом подошел к нему и с восторгом стал смотреть на искусные руки, под которыми на наших глазах вырастала корзина. Я вернулся в цех только после того, как вырвал у него обещание обучить меня этому ремеслу».

Что случилось? Почему потряс молодого еще человека, выходца из крестьянской семьи, но давно уже переехавшего в город, этот незначительный, не замеченный никем вокруг эпизод? Почему ему, и без того издерганному повседневным трудом, захотелось овладеть древним, непритязательным ремеслом?

За ответом далеко ходить не надо. Современное производство (а наш герой работает на одном из предприятий фирмы «Фиат», токарь), вся система производственных отношений безжалостно отчуждают человека от того, что и сделало его человеком,— от труда и от продукта этого труда, превращают его в «винтик», в «частичного» рабочего, и эта частичность, о которой молодому рабочему напоминает все и вся, принимает на фоне развивающейся научно-технической революции (и по контрасту с ней) настолько унизительный, угнетающий характер, что герой, ма-

[1] Впервые эта книга была опубликована в «ИЛ», 1984, № 5.

териально в общем-то и не очень нуждающийся, все время, по существу, занят поисками способов, как проявить, укрупнить, утвердить себя как личность, заставить себя замечать, с собой считаться. И не вина, а беда его, что эти поиски носят стихийный, необузданный характер и не столько утверждают, сколько разрушают, озлобляют личность.

Среди этих «способов» — бесконечные скандалы с начальством ближним и дальним, скандалы, которые он нередко сам и провоцирует, прогулы, работа спустя рукава, желание сломать станок, а то и взорвать весь завод. Или вот он демонстративно пишет на ящике для инструмента: «Да здравствует революция, перестроим общество и выгоним всех сволочей и воров!» и с замиранием сердца ждет, когда начальство заметит надпись и подойдет, чтобы бросить ему в лицо: «Эй ты, потише, что я — убил кого или изувечил?... Когда мы своим потом и кровью... поливаем вот эти ящики и этот пол — то все прекрасно... но стоит написать невинную фразу, высказать свои мысли, как вас тут же начинает корчить... Мне эта надпись доказывает, что я все же мыслящее существо и не стану жевать чужую жвачку...»

Способ отстоять себя? Свою честь, человеческое достоинство? Да. За неимением пока других. Ибо, хотя наш герой обо всем здраво и живо рассуждает, частицей организованного пролетариата он не является. Фигура, к сожалению, достаточно типичная для современной западной действительности. Неглупый, полный сил, энергии, здорового скепсиса парень, но во всем разуверившийся, и он прямо об этом пишет: «Все идет наперекосяк, ничего нельзя понять: хозяева нас не выносят, мы не в силах больше выносить хозяев, сами рабочие не могут выносить своих же товарищей,— слишком много накопилось ненависти и мало человечности, во всем страшная путаница, чересчур много партий, все пропитано эгоизмом».

Отчаяние, подталкивающее таких, как Чаула, в объятия современного экстремизма, делает понятными его крайности, но отнюдь их не оправдывает, ибо страдают от этих крайностей не государство, а чаще всего невинные люди.

Согласимся, что на этом фоне маленький эпизод с корзиной обретает символическое и поэтическое звучание. Корзинка — это не только память о деревенском детстве, это нечто цельное, от начала и до конца выполненное твоими руками, чему можно придать любую форму, в чем можно выразить себя, получив от работы радость и удовлетворение. Недаром же героя так потянуло к старому рабочему. В этом «недотепе» ему неожиданно открылись и ум и талант художника. И тут же мелькнула мысль: а сколько еще вокруг меня таких вот поэтов, талантов, вынужденных прятать от себя и других свою талантливость, постепенно ее утрачивающих?

Записки Ди Чаулы относятся к середине 70-х годов, когда все острее давали о себе знать экономический спад, энергетический кризис, рост безработицы. Подчеркиваю эти моменты потому, что хоть и идет в книге речь о наисовременнейших предприятиях, в них нет и намека на «человеческие отношения», на «гуманизацию труда», «промышленную демократию», «автономные рабочие бригады» и прочие социопсихологические нововведения, о которых так много говорилось и писалось в период экономического чуда. Правда, и документалистика и художественная литература, отдавая дань «человеческим отношениям», заметив их, тем не менее не дали провести себя. Достаточно вспомнить высокооплачиваемого специалиста по «человеческим отношениям» господина Ребо, которого выводит на страницах своего романа-гротеска «Хозяин» итальянский писатель Г. Паризе, чтобы понять: «специалист» только для того и появился, чтобы недостаточную человечность прикрыть еще большей бесчеловечностью, которая заставляет героя мечтать о том, чтобы стать... вещью и тем самым избавиться от вечного, терзающего его страха не угодить фирме, хозяину и оказаться за воротами предприятия.

Ди Чаула, рассуждая о множестве различных проблем, не затрагивает «человеческих отношений» на производстве, являясь, видимо, представителем так называемой «молчаливой революции», о которой так много говорили и писали на Западе в конце 60-х — начале 70-х годов. Вынуждены были писать и говорить, поскольку суть ее как раз в том и состоит, что новые поколения людей труда уже не хотят довольствоваться удовлетворением элементарных житейских потребностей, в которых их отцам, дедам виделся смысл жизни, борьбы: крыши над головой и заработков, которые позволяли бы рабочей семье сводить концы с концами. В 50—60-е годы развитые капиталистические страны смогли предложить широким слоям населения куда более разнообразный набор потребительских благ, как бы уравнявших в своем «изобилии», доступности, демократизме «верхи» и «низы».

Считалось, что общество «всеобщего изобилия» настолько захвачено лихорадкой потребления, что трудящемуся уже не до раздумий о социальном устройстве мира, о политической борьбе, о необходимости организационного сплочения и прочих атрибутов эры классов и классовых битв.

Но уже вторая половина 60-х годов ознаменовалась такими социальными потрясениями, столь неожиданными на фоне «всеобщего» процветания, что концепции общества «всеобщего изобилия», «всеобщего потребления» отпали сами собой, на смену им пришли концепции «качества жизни» как якобы более полно учитывающие природу человеческой личности, которая лишь на первых порах способна довольствоваться примитивным потреблением, навязываемыми ей стереотипами мышления, моделями поведения. Рано или поздно человек захочет осознать, почувствовать значимость, неповторимость своей личности, найти подтверждение тому и на производстве, и в сфере общественных отношений.

Именно на этой стадии мы и застаем героя «Голубой спецовки». Мало того, его мятущейся натуре ненавистна сама мысль о беспечном потребительском существовании, он презирает, сторонится своих то-

варищей, поддавшихся потребительской лихорадке, вообразивших себя синьорами, а по существу оставшихся все теми же десятыми спицами в колеснице социальной иерархии.

Примечательно, что к этому порогу, к новому пониманию жизни Ди Чаула, как он сам не без изумления обнаруживает, пришел не благодаря школе, официальному образованию, а скорее вопреки ему. Приобщался к культуре, истории, политике он сам по себе. Отец одно время работал мойщиком вагонов, не разбогател, зато приносил домой кипы газет и журналов, и любознательный паренек не только их прочитывал, но и собирал, что ему близко, дорого. В результате Ди Чаула не только самообразовался, но и мыслит остро, свежо, самостоятельно, разоблачая привычные уловки буржуазной прессы, ее попытки отвлечь внимание читателей от острейших проблем дня, подменив их мнимыми трагедиями.

«РИВЕРА УСТАЛ!», «РИВЕРА УХОДИТ!» «РИВЕРА ПОКИДАЕТ СПОРТ!» Вот она, самая настоящая национальная трагедия,— горько иронизирует автор.— Падение лиры, чудовищные скандалы, закрытие фабрик — все ничто перед Риверой, который собрался покинуть спорт».

Ди Чаула и его герой не потеряли себя и свое лицо, не заблудились в лабиринтах необычайно сложной и противоречивой современной действительности, но и не нашли пока своего места в борьбе, которую стихийно ведут с обществом, не желающим, не способным принять и признать их на равных. Они, как и рабочий, герой из раннего романа англичанина А. Силлитоу — одинокие бегуны на длинной дистанции. Не нашли, но и на месте не стоят. Ищут, находят. Записки Ди Чаулы — наглядное и убедительное тому подтверждение.

Б. АНАШЕНКОВ

Издано за рубежом

МЕШТЕРХАЗИ — О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Mesterházi Lajos. Visszaemlékezések. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984.

(Лайош Мештерхази. Воспоминания. 1984).

Минуло более пяти лет с тех пор, как ушел из жизни замечательный венгерский писатель Лайош Мештерхази, подаривший людям, среди прочих произведений, незабываемую «Загадку Прометея»[1]. И вот навеки смолкнувший писатель снова заговорил с нами — заговорил благодаря его сыновьям, Мартону и Миклошу, подготовившим к печати книгу воспоминаний, над которыми Мештерхази работал в последние годы жизни.

Напомним, что в «Загадке Прометея», главная мысль, фокус внимания не в том — это легко заметит вдумчивый читатель,— что Прометей пошел против воли богов, отдав человеку частицу огня с Олимпа. И даже не в том, что он понес за это невероятной тяжести наказание, на миллион лет (как с иронической скрупулезностью подсчитал Мештерхази) прикованный к скале и ежедневно терзаемый зевсовым орлом. Величие Прометея, по художественной версии Мештерхази, не только или не столько в его «разовом», пусть титаническом, подвиге и пассивном, хотя и не менее титаническом терпении. В Прометее, освобожденном Гераклом и живущем среди людей, человеческий мир, действительность античной Греции, с тиранией, войнами, дворцовыми интригами, подобострастием перед богами и перед владыками, с материальной и еще более вопиющей духовной нищетой большинства,— могла породить скорее пессимизм, чем оптимизм в вопросе о будущем человечества, вызвать сомнение, а нужен ли был вообще его подвиг. Так вот, подлинное (с точки зрения читателя наших дней) величие Прометея в том, что, несмотря ни на что, он сохранил верность идее, сохранил веру в человека, в то, что когда-нибудь человек все-таки станет равным богам. Здесь, в этом аспекте понимания революционного действия, можно увидеть родство Прометея и Мештерхази. Точнее, здесь становится очевидным, что Прометей, герой Мештерхази, был во многом художественной проекцией мироощущения самого писателя, его раздумий о судьбах революции в современном мире. Только художник, способный глубоко и всесторонне осмыслить опыт строительства социализма и в Венгрии, и в других странах, мог так убежденно, страстно, остроумно и в то же время серьезно доказывать необходимость видеть под часто разочаровывающей поверхностью жизни, под противоречиями и ошибками, под явлениями мещанства, бюрократизма и равнодушия трудное, но неуклонное развитие революционного начала, которое в конце концов приведет к рождению нового, прекрасного человека, достойного своего назначения на земле.

Умение обнаруживать под видимостью вещей их скрытую суть, под случайным — закономерное ярче всего проявляется в такой специфической черте стиля и образного мышления Мештерхази, как публицистичность. О чем бы он ни писал, какой бы сюжет ни разрабатывал, он имеет в виду конкретное общество, конкретное историческое время, конкретные события — и не боится постоянно напоминать об этом читателю (те, кто знаком хотя бы только с «Загадкой Прометея», легко с этим согласятся). Все его произведения являются художественным доказательством каких-либо актуальных, важных для современного читателя, для современного исторического этапа положений. Впрочем, это в

[1] Этот роман был опубликован в «ИЛ». 1976, № 4, 5.

той или иной мере относится едва ли не ко всей художественной литературе; особенность творческого метода Мештерхази заключается «всего лишь» в том, что в его художественной манере огромную роль играет живая мысль, которая, насыщая образы, то и дело выбивается на поверхность, так сказать, в чистом виде, покоряя оригинальностью, свежестью доводов и неожиданной связью далеких явлений, заставляя нас размышлять вместе с писателями. В «Воспоминаниях», в одной из последних глав, то есть практически незадолго до смерти, уже, видимо, предчувствуя ее (это придает особую весомость словам), писатель сам лаконично и четко характеризует свой подход к жизни, выделяя в нем «трезвый, ничуть не склонный к доктринерству рационализм». Проза Мештерхази является — в лучшем смысле этого слова — интеллектуальной прозой, то есть насыщенной мыслью, насыщенной философией, которая не схоластична, не абстрактна, а всегда тесно связана с реальной действительностью.

Публицистичны, философичны и «Воспоминания» Мештерхази. Писатель не только воспроизводит события своей жизни, не только описывает. Он анализирует свой жизненный путь с определенной, ясно просматриваемой целью: выявить тот процесс, в котором он из «просто» честного, искреннего, открытого добру молодого человека становится революционером, коммунистом. Более того, этот анализ не замкнут на личности автора: Мештерхази, как всегда, мыслит свободно и широко и, прослеживая становление собственного мировоззрения, в сущности, говорит о том, что, при наличии некоторых условий (честность, последовательность, способность смотреть правде в глаза и т. п.), действительность старой Венгрии почти неизбежно толкала человека к ее отрицанию, во всяком случае, к необходимости сделать выбор, занять место по ту или иную сторону баррикад.

Воспоминания, даже писательские, не всегда могут быть отнесены к жанру художественной литературы. В данном случае, в отношении «Воспоминаний» Мештерхази, двух мнений быть не может: это — художественное произведение. И прежде всего потому, что здесь соблюден главный критерий художественности — общее выражается здесь через конкретное, индивидуальное. Конкретное в этой книге — перипетии личной судьбы писателя, особенности его духовного взросления. Общее же можно без натяжки сформулировать так: закономерность обращения мыслящего человека XX столетия к идеям социализма, закономерность начавшегося в XX столетии и продолжающегося по сей день революционного перелома в истории человечества.

Мештерхази не стремится сгладить, нивелировать, схематизировать этот процесс: его ненависть к «доктринерству» тут как нельзя кстати. Живописуя тот моральный и материальный пресс, под которым оказывался человек прогрессивного образа мысли в хортистской Венгрии, последовательно втягиваемой в идеологический, экономический, затем и военный союз с Гитлером, писатель не скрывает ни почти непреодолимых трудностей, в которые ввергало человека подозрение в политической неблагонадежности, ни тех соблазнов, которые открывались перед любым, кто готов был сдаться, примириться с существующей системой. Наблюдения эти получают особую убедительность благодаря тому, что «отечественный опыт» дополняется опытом, накопленным во время поездок молодого Мештерхази в Германию, затем во Францию. («Французская» глава «Воспоминаний» чрезвычайно интересна и с познавательной точки зрения: здесь убедительно показано, как широко распространена была фашистская идеология в предвоенной Франции, с чем Мештерхази прямо связывает и невероятно быстрый захват Гитлером этой страны.)

Семья Мештерхази — здесь уже вступают в действие субъективные факторы — сама пострадала вследствие империалистических манипуляций, проникновения в Венгрию германского капитала; родители будущего писателя долгие годы были безработными. И тем не менее — Мештерхази рассказывает об этом с полной откровенностью — путь его духовного созревания был сложен, извилист. Закономерность прихода его на позиции революционера «пробивается» через множество зигзагов, случайностей. Даже в тот момент, когда молодой Мештерхази осознал, что между ним и миром «сытых» существует непроходимая пропасть, влияние католического воспитания побудило его сначала сформулировать для себя некоторую странную программу «теократического анархизма» и образовать, как он сам с иронией пишет, единственную в своем роде партию, состоящую из одного члена — его самого. Однако события вокруг — в разгаре была вторая мировая война — развивались так, что Мештерхази очень скоро должен был отбросить свою анархиствующую позицию и искать союзников для активного действия, то есть — сначала во многом лишь под давлением обстоятельств, а затем все более осознанно — искать контактов с коммунистами.

О том, как обстояло в Венгрии дело с Сопротивлением, а точнее, почему Сопротивление здесь не приобрело широких масштабов, осталось пассивным, было немало написано. Но едва ли не самый убедительный анализ этого вопроса — убедительный, как бы увиденный «изнутри», субъективно, и подкрепленный объективными историческими данными — дает в своих «Воспоминаниях» Мештерхази. Личная ненависть к фашизму привела его к выводу о необходимости вооруженной борьбы, для ведения которой нужна подпольная организация. Такая организация, при его непосредственном участии, была создана и ожидала только сигнала к действию; сам Мештерхази — снова яркий субъективный штрих — ночами мысленно готовил себя к тому, как он будет вести себя, попав в гестапо или к нилашистам... Конечно, ни Мештерхази, ни его единомышленники не виноваты в том, что те, от кого должен был поступить сигнал, были схвачены и уничтожены. Писатель долго и не без печальной иронии рассуждает на тему, имеет ли он право считать себя участником Соп-

ротивления, если это его участие выражалось лишь в субъективной готовности к борьбе и в том, что он (реально рискуя жизнью) укрывал у себя, в период нилашистского террора, евреев и дезертиров...

По свидетельству сыновей писателя, Мештерхази намерен был довести свои воспоминания до настоящего времени. Остается лишь сожалеть, что он не успел это сделать; несомненно, в дальнейшем вышла бы на первый план как раз «прометеевская» проблема: как быть революционером, так сказать, в «постреволюционную» эпоху, когда борьба за идею идет не на баррикадах, а за станками или за письменным столом, выражаясь в преодолении мелочей, в расчистке всякого рода мусора, в тактичном и терпеливом выращивании ростков новой жизни.

Правда, как и в других произведениях Мештерхази, в тексте его «Воспоминаний» имеется множество «мостиков», публицистических отступлений, которые прямо ведут в настоящее. Одним из жизненных, писательских принципов Мештерхази было: не просить, а брать слово (так и называется один из сборников его публицистики: «Беру слово»; по-венгерски это выражение еще острее: «Szólui szólitatlan», то есть говорить, не дожидаясь приглашения) по любым вопросам, по которым у него сложилось свое, выстраданное, аргументированное мнение. Так и в этой книге: писатель со свойственной ему ясностью и остротой мысли («трезвый рационализм».) высказывает меткие, умные, часто искрящиеся великолепным юмором суждения по тем или иным вопросам культуры, общественной жизни, международной политики. Мештерхази ни на минуту не колеблется и в тех случаях, когда его мнение расходится с общепринятым; одна из особенностей его публицистичности — постоянная готовность к полемике, но не ради полемики, а ради выяснения истины. «Давайте покончим с одним часто встречающимся недоразумением! — поясняет он свою позицию.— Хозяйка выбивает ковер не для того, чтобы расколошматить его в клочья, но чтобы он был чистым».

К сожалению, книга воспоминаний не во всем получилась ровной. Первые несколько глав писатель успел отредактировать, обработать; сыновья в послесловии сообщают, как беспощадно он правил и сокращал текст. Последние главы, освещающие конец войны, штурм Будапешта и первые месяцы после Освобождения (это почти половина книги), остались довольно сырыми, в них много незавершенности, повторений и таких мест, которые, несомненно, писатель сам бы выбросил при редактировании. Тем не менее мы должны быть благодарны Мартону и Миклошу Мештерхази, опубликовавшим целиком эти записи — последнее выражение живой, горячей, мудрой, человечной мысли писателя-коммуниста.

«Я уже стар. Тавтологией было бы добавлять: и неизлечимо болен.

Жизненная моя программа не была нереальной утопией. Правда ее столь очевидна, что нынче уже и те, кто борется против нее, не способны ее оспаривать; разве что только форму, но никак не содержание».

Эти слова написаны Мештерхази в предисловии к книге. Воспоминания он задумал и писал до последних дней как обобщение своего богатого жизненного опыта и революционной программы, совпадавшей с самыми благородными устремлениями прогрессивных сил современного мира. Программы, осуществлению которой он отдал всю свою яркую жизнь.

Ю. ГУСЕВ

СОВРАЩЕНИЕ С ОТТОЧИЕМ

Gian Piero Bona. Passeggiata con il diavolo. Milano, Garzanti, 1983.

(Джан Пьеро Бона. Прогулка с дьяволом. 1983.)

Сравнительно малоизвестный до сих пор писатель среднего поколения Джан Пьеро Бона написал роман, который миланский журнал «Панорама» называл одной из «книг сезона». Издательская аннотация рекомендует его как «весьма своеобразное» произведение и отмечает содержащиеся в нем аллюзии сразу на два романа Томаса Манна: «Волшебная гора» и «Доктор Фаустус».

Кое-что общее с этими романами у Боны есть. Обстановка горного курорта в швейцарских Альпах, где развертывается действие, несколько напоминает обстановку «Волшебной горы». А история совращения героя романа дьяволом вызывает в памяти соответствующие сцены из «Доктора Фаустуса». Но эти аналогии не должны смущать читателя. В «Прогулке с дьяволом» нет и подобия некой интеллектуальной авантюры, предполагающей — к добру ли, к худу ли — высокий полет мысли. Все здесь гораздо проще.

В романе нет Фауста. Его герой, «поэт, культивирующий эзотерические науки», мыслит скорее общими местами определенного толка. Единственное, что его выделяет,— это то, что он визионер и способен восстанавливать картины прошлого, а иногда и провидеть будущее. Но истолковывать свои видения он предоставляет другому — Искусителю.

Почему-то классикам нравилось изображать дьявола каким-то невзрачным и вертлявым. Здесь у него совсем другой облик: это первосортных статей самец, настоящая «белокурая бестия», «юберменш» (сверхчеловек, близкий родственник супермена) с холодными голубыми глазами и крепкими зубами. У облика есть имя: оберштурмфюрер СС Науджокс. Это исторический персонаж — «человек, первым вступивший во вторую мировую войну» (он возглавил отряд переодетых в польскую военную форму эсэсовцев, осуществивших провокационное нападение на немецкий пограничный пост).

Не будем допытываться, отчего Искушаемому (назовем его так, коль скоро он сам не дорожит итальянским именем) не явился свой, цизальпинский соб-

лазнитель того же пошиба — черноглазый и чернорубашечный. Очевидно, тот все-таки слабоват в коленках рядом с «гиперборейцем». Не то чтобы зубастый «юберменш» был особенно изощрен по части аргументации. Конечно, он, как и подобает дьяволу, достаточно искусный софист и умеет кстати ввернуть что-нибудь про Канта или Шопенгауэра. Но сила его не в этом, а в том, что от него исходит, как нам говорят, «ужасный магнетизм». Здесь, собственно, нет диалога, который, согласно традиции, должен привести или не привести к соответствующему контракту. Здесь скорее роман. Если угодно, курортный роман, развивающийся на фоне заснеженных альпийских вершин.

Заснеженные вершины — декорация, которая тоже «работает». Они призваны явить собою зримое воплощение космического холода, игравшего свою роль в системе нацистской идеологии. Наш визионер заставляет читателя выслушивать лекции присяжных гитлеровских «философов» о «космическом» происхождении арийской расы, о том, что ее далекие предки будто бы когда-то спустились с Гималайских гор или приплыли из Гренландии, неся в себе «холодную кровь» космических просторов. За этим бредом (по сути представляющим собой историческое «обоснование» идеи Ницше о том, что «холодны, как лед, самые глубокие источники духа») вырисовывается вполне определенный и весьма зловещий смысл, а именно: он заключает в себе призыв к «оледенению души», без которого не может быть «юберменшей».

Примета сегодняшнего дня: нацистскую идеологию протаскивают через «романтику» ее мифологических украшений. Нацисты пытались заставить служить своим целям и образы германской мифологии, и «эзотерическую науку» тибетских мистиков, и кое-что еще в подобном роде. Вся эта разноперая предыстория истолковывалась ими в таком духе, чтобы извлечь из нее мнимовечные истины о «витальных основах» бытия и о «животном динамизме» человеческой истории, о «праве» сильного попирать ногами слабых и т. д. и т. п. Отсюда делался и вывод о том, что «демония войны» не только неизбежна, но и представляет собой, так сказать, богоугодное дело. Как утверждает Искуситель, для Гитлера (кстати говоря, ему самому на протяжении романа неоднократно предоставляется слово) «мир был не чем иным, как магическим явлением... он принес в жертву богам целое море свежей крови. Все это сочетание «кровавого варварства» и «бескровной интеллектуальности» (если употребить выражение Томаса Манна) оккультизма с некоторых пор дразнит воображение определенной части западной публики.

Картины «оккультной истории» «третьего рейха» завораживают Искушаемого, его тянет освободиться от своей «наследственной добропорядочности», приобщиться к проходящему у него перед глазами (благодаря его визионерским способностям) шабашу. Гитлеризм представляется ему выражением некоей жестокой правды бытия, от века существующей и лишь на время закамуфлированной цивилизацией. Неотлучный Искуситель подсказывает ему: злу в мире противостоит только другое зло, добро — пустая абстракция, выдумка слабых.

Нельзя сказать, что Искушаемый нисколько не противится искушению. Страшновато все-таки. Раз-другой издалека доносится до него едва различимый «хор жертв» — Освенцима, Маутхаузена и т. д. (стало быть, не забыл, помнит!), но его сразу заглушает постоянно звучащий лай Гитлера, или Гиммлера, или Гейдриха. Черная магия нацизма, персонифицированная фигурой Искусителя, этого как бы Лоэнгрина наоборот, втягивает бедного Искушаемого, по его собственным словам, «как в воронку». Уже на странице 71 он заявляет: «Я готов следовать за Вами, господин Науджокс, куда угодно. Надеюсь только, что Вы м н е (разрядка моя.— *Ю. К.*) не причините зла». Дальше — больше. Теперь не Искуситель донимает Искушаемого, как того требуют приличия, а скорее наоборот. И на странице 210 следует окончательное и уже безоговорочное признание: «Я люблю Вас, оберштурмфюрер». В ответ «поэт, культивирующий эзотерические науки», получает цветок — маргаритку (вместо Маргариты?).

Казалось бы, все, как говорится, на мази, и традиционный, скрепленный кровью контракт превращается, по сути, в пустую формальность. А может быть, и не нужно здесь контракта, а достаточно, скажем, символического поцелуя? Но ни контракта, ни поцелуя читатель не дождется. Ибо на последних страницах романа происходит нечто непредвиденное.

Опомнился Искушаемый? Как бы не так. Исчез Искуситель. Вдруг ни с того ни с сего исчез, чтобы объявиться в другом месте в совершенно ином обличье. Теперь он «Ярослав Куров», сотрудник советского посольства в Швейцарии и, конечно же, «агент КГБ». Те же впечатляющие стати вырисовываются из-под его новой «гоголевской шинели» (?), только нос стал курносым.

Оторопь, овладевшая бедным влюбленным, понятна: при всей склонности к неожиданным превращениям не в обычае посланцев преисподней оставлять своим вниманием смертных, попавших в их когти. Но последующее отчаяние брошенного как будто в самом конце пути Искушаемого описать трудно, поэтому предоставляю слово ему самому: «Непоправимо! — кричал я изо всех моих сил под стягами дерев, стрелами летящих птиц, пламенем небес, розами добра и зла» (пусть не удивляет строй образов — его подсказали автору «эзотерические науки»).

Не будучи сведущ в демонологии, рискну все же объяснить странное поведение нечистого. Ему, как и нам, хорошо известно, что любовь несостоявшаяся задевает какие-то очень глубокие струнки. А в данном случае был особый резон не доводить дело до конца, поставив вместо точки отточие. Далеко не всякий читатель готов, пусть даже только мысленно, лезть в объятия к коричневому зверю, хотя бы и принаряженному на мифологический или оккультный манер. Подобные книги пишутся ведь не для законченных неофашистов, которых не нужно убеждать в «преимуществах» фашизма. Они пишутся для того — го-

раздо более многочисленного — читателя, кто, подобно бюргеру времен Веймарской республики, мечтает о «сильной власти», но вместе с тем ее пока (что будет завтра, неизвестно) еще и побаивается. Так что дьявол исчез, можно сказать, в интересах дела.

К тому же его неожиданное превращение бросает тень на СССР: дескать, русские заодно с теми, кто в свое время развязал одну мировую войну и готовится развязать другую.

Впрочем, исчезновение дьявола, как и его преображение, не более чем сценический трюк; и отчаяние Искушаемого — не более чем мелодраматический эффект. Мы знаем хотя бы из «Доктора Фаустуса», что представляет собою на самом деле «враг рода человеческого»: это просто «место в мозгу», очажок, «начало хмельного экстаза». И так просто исчезнуть оно не может, ибо внешних, так сказать, возбудителей — всякого рода коричневых бесов и бесенят, посланцев известного анти-Грааля,— кругом сколько угодно. Для читателя несведущего, но заразившегося той смесью священного трепета и любовного томления, какую стремится внушить автор романа, он дает в самом конце коротенькое примечание, набранное петитом: «Отсылаю читателя к теперь уже обильной (это точно.— *Ю. К.*) литературной продукции, проходящей под маркой «культура правых», а также к более утонченным (?!) историческим работам о «третьем рейхе», равно как и к специфически эзотерической литературе».

Вот такая книга вышла в Италии в год сорокалетия свержения Муссолини и почти в канун сорокалетия победы над фашизмом в Европе.

Ю. КАГРАМАНОВ

СМЫСЛ СЛОВА «СВОБОДА»

François Maspero. Le Sourire du Chat. Paris, Editions du Seuil, 1984.

(Франсуа Масперо. Улыбка Котенка. 1984.)

Франсуа Масперо — журналист, редактор, издатель — давно известен во Франции. Но его обращение к художественной прозе — в пятьдесят с лишним лет — для многих явилось неожиданностью. Однако, читая его книгу, понимаешь, что Масперо не мог не написать ее: неизжитая боль войны заставила его вернуться к прошлому.

Роман рассказывает о том, что довелось перенести герою — тринадцатилетнему Люку, по прозвищу Котенок,— и его родным во время войны и фашистской оккупации. За этой семейной историей, написанной просто и искренне, встает история страны. Судьба Франции, со всеми ее заботами, тревогами и горестями, позором «странной войны» и мужеством Сопротивления, отчаянием и надеждами, отразилась, словно в миниатюрном зеркале, в судьбе семьи Понт-Серра.

А жизнь во время оккупации — это постоянная нехватка продуктов и изнурительные заботы матери о хлебе насущном; это немцы, распоряжающиеся в доме как в своем собственном, и напряженное ожидание высадки союзников, и ночные бдения у радиоприемника; это Гейне, изъятый из учебников немецкого языка, и желтая звезда на рукаве друга-одноклассника... Но это и Сопротивление, это листовки, что собирает мальчик, и взрывчатка, которую прячет в доме старший брат, девятнадцатилетний Антуан; это ночной налет на мэрию — первое «боевое крещение» Люка, стоящего на карауле, пока Антуан похищает хлебные карточки для подпольщиков; это обыск, арест родителей, допрос в гестапо... К тому же, почти не выходя за пределы семейного круга, Масперо показал и другие возможные в условиях войны и оккупации варианты поведения. Отец Люка, профессор Понт-Серра,— в антифашистском подполье, старший брат — в Сопротивлении. Один из кузенов, лейтенант Габриэль Деляж,— в лагере для военнопленных, и про него известно, что, прежде чем попасть в плен, он дрался с врагом так, как должен драться настоящий воин... А дядя, капитан крейсера, покорно принял поражение; позор Тулона, где французы, даже не попытавшись дать бой, сами потопили свой флот,— это и его личный позор, однако он считает, что честно выполнил свой долг. Еще один из кузенов Люка сотрудничает с оккупантами, другие родственники демонстрируют большую или меньшую степень конформизма.

В этом построении нет схематизма или нарочитости — сама ситуация вполне типична для времени, когда большая История властно вторгается в частную жизнь людей, так что личное оказывается неразрывно связано с общественным. В романе Масперо с впечатляющей яркостью воссоздана атмосфера времени, причем картина событий показана в точной исторической перспективе. В отличие от многих западных писателей, Масперо не забывает, что именно славной Красной Армии Европа обязана освобождением от коричневой чумы, и даже отправляет одного из самых привлекательных персонажей, лейтенанта Деляжа, служить под началом маршала Жукова. Симпатии автора безусловно и однозначно принадлежат тем, кто сражался с фашизмом, неучастие в борьбе для него равнозначно сотрудничеству с оккупантами.

Самому Масперо воевать не пришлось. В то время он был еще слишком маленьким, чтобы сражаться, но достаточно взрослым, чтобы все запомнить. Личный опыт играет большую роль в романе. В предисловии Масперо отмечает: «Эта книга была написана потому, что давным-давно ребенок поставил перед собой несколько вопросов. Спустя сорок лет, взрослым, он попытался их сформулировать». Хотя почти все происходящее показано глазами Люка, голос автора, негромкий, но отчетливый, постоянно звучит в романе — это голос человека, с горечью убедившегося, что на вопросы, поставленные мальчиком, ответить, увы, непросто. Почему первая мировая не стала последней — хотя «должна была бы стать»? И почему многие так покорно приняли поражение и смирились с владычеством фашизма? Как можно было допустить, чтобы евреев преследовали и убивали только за то, что они евреи?

Старший брат объясняет Люку: во

Франции царит «золотая середина» — обыватели, которых волнует лишь собственная безопасность и благополучие. Масперо превосходно знает эту среду, описывает ее точно и жестко, но именно наивное недоумение Люка задает тон повествованию, заставляя увидеть обывательский эгоизм и равнодушие словно бы впервые, глазами ребенка. Мальчик, воспитанный отцом — ученым и гуманистом и братом — интеллектуалом и бунтарем, предъявляет к людям высокие нравственные требования, внушенные ему с детства и потому воспринимающиеся как нормальные и естественные.

Той же меркой меряет людей и Франсуа Масперо. Он верит в человеческую доброту, мужество и благородство и наделяет этими качествами любимых персонажей. Но, в отличие от простодушного Котенка, писатель хорошо знает, как велико расстояние между нормальным и общепринятым. И пока лучшие сражаются и погибают, обыватели приспосабливаются.

Именно к обывательской «золотой середине» и принадлежит большинство родственников Люка и друзей семьи. Некоторых из них Масперо показывает крупным планом. После ареста родителей Котенок оказывается на попечении людей, чей образ жизни, правила, ценности настолько чужды ему, что он совершенно теряется. Глава семьи неустанно охотится за дефицитными продуктами: для него это «настоящая война, единственная, которую стоило вести». «Еще один, который не достанется бошам»,— удовлетворенно приговаривает он, съев цыпленка. А хозяйка заявляет Люку: «Если бы мой сын поступил так, как Антуан, я бы его никогда не простила». В доме устраиваются вечера, на которых «золотая» молодежь (в том числе и «коллабо») танцует под веселую песенку «Я продал душу дьяволу». И в мучительном недоумении смотрит на все это Люк. Как не хватает ему старшего брата, который всегда отвечал на любые вопросы! «Антуан! Вернись...» — в отчаянии призывает мальчик. Но Антуан не вернется — он погиб, сражаясь за свободу. Не вернется и отец.

Мы знаем правду о концентрационных лагерях. И едва на страницах романа появляются слова «Бухенвальд», «Равенсбрюк», мы сразу же предчувствуем трагедию. А в это время еще ничего не подозревающий Котенок нетерпеливо, но без особого беспокойства ждет возвращения родителей. Но Масперо, как и читатель, знает: «Не было хороших лагерей. Были только лагеря смерти». Это трагическое знание составляет щемящий душу контраст с неведением мальчика, который в радостном ожидании передвигает флажки на карте, отмечая движение фронта, пока, наконец, на него не обрушивается чудовищная правда... Страдания и гибель сотен тысяч выражены через боль одного ребенка, для которого узники лагерей становятся родными и близкими: «Каждой жертве он дает имя — имя своего отца, имя своей матери. Глядя на фотографии, за каждой безликой маской, за каждым бритым черепом, за каждым потухшим взглядом... он видит их лица».

Однако Люку пришлось не только пережить гибель отца и брата, боровшихся за Освобождение и не дождавшихся его, но и разочароваться в самом Освобождении. Обыватели, всю войну просидевшие, затаившись, в своих норах, выползли и запели о «вечной славе Франции, славе тех, кто пал за нее»; родственники Люка, солидные и добропорядочные буржуа, занялись финансовыми делами; кузен, сотрудничавший с оккупантами, непринужденно сменил немецкую форму на французскую — и попрежнему процветает. Жизнь снова покатилась по привычной, наезженной колее — так, словно войны и не было.

А те, кто воевал? Они появляются уже почти в самом конце романа: Габриэль, который несколько лет провел в лагере для военнопленных, а после побега вместе с товарищами перешел линию фронта и вступил в Красную Армию; случайный знакомый Люка Макс, сражавшийся в армии Сопротивления. Эти люди тоже ощущают себя чужими в мире благополучных буржуа. В них еще живо чувство фронтового братства; им свойственно мерить человеческое бытие высокими мерками. И замкнувшийся в себе мальчик перед ними раскрывается. Не потому, что ждет ответа на свои вопросы — что могут они ответить Люку, если сами растеряны не меньше его? Просто они говорят на одном языке, одно ненавидят — фашизм, одно любят — свободу. «Странная вещь,— говорит Макс.— Мне кажется, я никогда не знал так твердо, что такое свобода, как тогда, когда мы были ее лишены и надо было драться. А сегодня она уже проскользнула между пальцами».

В предисловии к роману Масперо пишет: «Я пытался вновь найти смысл слова «свобода». Свободу оставаться в стороне он отвергает: в мире нет и не может быть посторонних, люди, считающие себя независимыми от общества, на самом деле — рабы своего эгоизма, именно их равнодушие ко всему, кроме собственного беспечального существования, сделало возможной победу фашизма. Отвергает писатель и эскепизм — «мечту маленьких буржуа». Его идеал — Антуан, для которого свобода неразрывно связана с революционной борьбой. Правда, он мало что успел, этот юноша, который в сороковом доказывал своему кузену Габриэлю, что Франции необходима революция, а в сорок четвертом погиб, девятнадцати лет от роду. Но в сорок пятом вернувшийся с войны Габриэль скажет Люку: «Теперь я понимаю Антуана». О революции мечтает и Макс.

Оба довольно смутно представляют себе, что делать дальше. Однако они теперь на собственном опыте знают, что за свободу надо драться. И если потребуется, отдать за нее жизнь — как отдал свою Антуан, навсегда оставшийся для Люка примером, образцом для подражания и спутником в борьбе. Недаром же много лет спустя, участвуя в революции где-то «в центре Кариб» и стреляя из испанского пистолета — точно такого, с каким ушел в Сопротивление Антуан,— повзрослевший Котенок будет, словно наяву, слышать голос брата, преподавшего ему первые уроки стрельбы.

Я не знаю, был ли у самого Масперо старший брат, погибший на войне, но книга написана так, словно все погибшие в борьбе против фашизма — его братья.

Е. ЗЛОБИНА

Зарубежная литература в СССР

Новые книги

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ГАРРЕТ Ж. А. **Арка святой Анны.** Хроника града Порто. Перевод с португальского. 239 стр. Цена 1 р. 30 к.

Рассказы канадских писателей. Перевод с с английского. Составитель и автор предисловия. А Савуренок. 359 стр. Цена 2 р. 30 к.

САЛЕС Э. **Искатели алмазов.** Роман. Перевод с португальского. 296 стр. Цена 1 р. 90 к.

ФОЛКНЕР У. **Собрание сочинений.** В 6-ти т. Перевод с английского. Вступительная статья П. Палиевского. Т. 1. 591 стр. Цена 3 р. 70 к.

«РАДУГА»

Современный испанский детектив. М. де ПЕДРОЛУ. Ответ. Ф. ГАРСИА ПАВОН. Рыжие сестры. Ж. ФУСТЕР. Карьера. М. ВАСКЕС МОНТАЛЬБАН. Одиночество менеджера. Перевод с испанского и каталонского. Составитель Х. Кобо. 683 стр. Цена 4 р. 70 к.

СУПЕК И. **Еретик.** Роман. Перевод с сербскохорватского. 317 стр. Цена 2 р. 10 к.

С четырех сторон. Повести. Перевод с английского и хинди. Составитель М. САЛГАНИК. 277 стр. Цена 1 р. 80 к.

ХННА МИНА. **Парус и буря. Судьба моряка.** Романы. Перевод с арабского. 446 стр. Цена 3 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ветер и птицы. Творчество молодых поэтов и прозаиков Кубы. Перевод с испанского. Составители П Грушко, Ю. Погосов. 271 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ПРАВДА»

АНДРИЧ И. **Мост на Дрине.** Повести, рассказы. Перевод с сербскохорватского. Составление А. Д. Романенко. 477 стр. Цена 2 р. 70 к.

КЕСТНЕР Э. **Повести.** Перевод с немецкого. Составление Н. Бунина. 479 стр. Цена 2 р. 80 к.

«НАУКА»

Песни о Гильоме Оранжском. Отрочество Гильома. Коронование Людовика. Нимская телега. Взятие Оранжа. Песнь о Гильоме. Монашество Гильома. Перевод со старофранцузского Издание подготовили Ю. Б. Корнеев, А. Д. Михайлов. 575 стр. Цена 5 р. 30 к.

◆

Из месяца в месяц

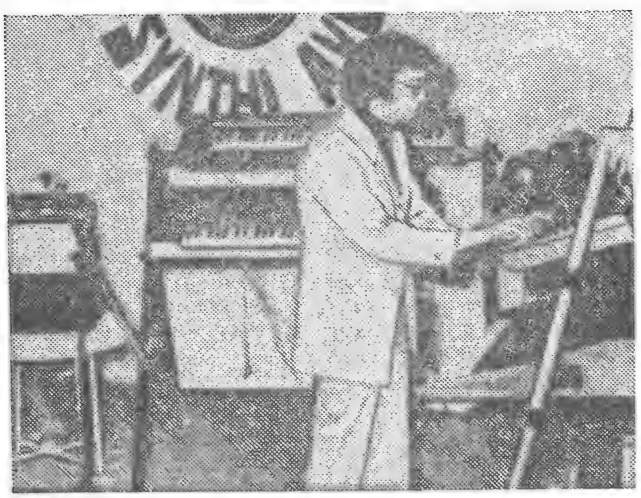
БОЛГАРИЯ

КОМПЬЮТЕРЫ И МУЗЫКА

Синтезаторы с компьютерным управлением широко используются в современной электронной музыке. Родившаяся на стыке науки и искусства, электронная музыка приобрела уже немало почитателей во всех уголках земного шара. Один из ее активных популяризаторов, молодой болгарский композитор и исполнитель Симо Лазаров, известен не только у себя на родине, но и за рубежом. Он успешно участвовал в фестивалях и конкурсах электронной музыки, проводившихся в Великобритании, Италии, Японии. Композитор вместе со своей группой «Синти АВБ» (АВБ — это аудио-видеобэнд) дал в Болгарии более ста концертов, принял участие в 150 дискуссиях об электронной музыке, а в городах Пловдиве, Русе и Бургасе основал клубы любителей электронной музыки. В болгарском издательстве «Техника» скоро выйдет и первая книга Симо Лазарова «Электронные музыкальные эффекты» и предполагается выпуск еще двух других: «Электронная музыка и синтезаторы» и «Компьютеры и музыка». Болгарская фирма грамзаписи «Балкантон» выпустила первую долгоиграющую пластинку молодого композитора «Город». В настоящее время Симо Лазаров работает на студии электронной музыки Болгарского радио, создавая новые электронные композиции по мотивам болгарской народной музыки.

На снимке: композитор и исполнитель электронной музыки Симо Лазаров.

(Еженедельник «Пулс»)



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПОЧЕМУ МЫ ЧИТАЕМ ДЖЕЙН ОСТИН?

В новом произведении известной английской писательницы Фэй Уэлдон неожиданно все, начиная с заглавия. В самом деле, кто в наш спешащий век называет книгу так неспешно и пространно — «Письма к Алисе после прочтения Джейн Остин»? Да и сама привычка писать письма, длинные, обстоятельные, а не только сугубо информативные, разве она не ушла в прошлое вместе с XIX веком? Необычен и избранный писательницей жанр, который и определить трудно — то ли это роман в письмах, то ли литературоведческое исследование.

Книга состоит из писем Фэй Уэлдон к своей молоденькой племяннице Алисе. Восемнадцатилетняя Алиса — настоящее дитя своего времени. Она не признает никаких авторитетов, шокирует родителей своим сверх меры раскрепощенным поведением. Правда, при этом она собирается стать писательницей. И Алису нисколько не смущает, что опыта у нее нет ровным счетом никакого, как, впрочем, и знаний о литературе. Алиса где-то краем уха слышала, что «все без ума от Джейн Остин» и потому решает прочитать один из ее самых известных романов — «Эмму». Эта книга, однако, оставляет Алису совершенно равнодушной, более того, девушка искренне недоумевает, почему не одно поколение критиков, да и просто читателей зачитывалось книгами этой писательницы.

Книга Фэй Уэлдон не только повествование о жизни и творчестве одной из самых необычных и талантливых английских писательниц. Это и наставление

молодым писателям, и публицистически взволнованный рассказ о понимании искусства, о современном поколении, об отношении к традициям и приобщении к ним. В структуру книги введены письма и самой Джейн Остин к ее сестре Кассандре.

ВЕНГРИЯ

«КАЛЕВИПОЭГ» НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

Между Эстонской ССР и Венгерской Народной Республикой издавна существуют тесные связи в области культуры и литературы. Новым проявлением таких связей явилось завершение работы над переводом на венгерский язык эстонского национального эпоса «Калевипоэг». Перевод осуществила известная венгерская поэтесса и переводчица, лауреат премии имени Аттилы Йожефа Жужа Раб. Большая часть текста этого произведения появилась на венгерском языке еще в 1929 году в переводе Аладара Бана, фрагменты его были переизданы в 1960 году. И все же по предложению специалиста по угро-финской филологии профессора Габора Берецки Жуже Раб было поручено сделать новый, полный перевод «Калевипоэга». Габор Берецки сделал подстрочный перевод эпоса.

Переводчица рассказывает, что после завершения работы над рукописью объемом более 700 страниц она почувствовала себя как будто осиротевшей. «Моя трудовая жизнь, — говорит она, — на протяжении двух с половиной лет была наполнена трудностями перевода, но большой труд приносит и большие радости. Вечерами я почти не верила в то, что утром снова смогу окунуться в холодные волны наичистейшей народной поэзии «Калевипоэга». И хотя на протяжении этого времени я не написала ничего своего, я не жалею об этом. Во время перевода большую помощь мне оказал так называемый «сырой» перевод Габора Берецки. Его яркий, богатый язык местности Бекеш помог выявить самые глубокие слои моего задунайского наречия, активизировать мой запас слов».

Выход в свет перевода «Калевипоэга» в Венгрии был приурочен к открывшемуся в июне 1985 года в Сыктывкаре VI Международному конгрессу по угро-финской филологии.

ГРЕЦИЯ

ФИЛЬМ ВЫПУСКНИКА ВГИКА

С большим успехом в Греции и на Кипре демонстрируется фильм «Конец девяти», которым дебютировал в греческом кино молодой кипрский режиссер Христос Шопахас, выпускник режиссерского факультета ВГИКа. Дипломной работой Х. Шопахаса был фильм «Красное на черном», получивший на XII Всесоюзном фестивале студенческих фильмов в Москве (1978) приз за лучшую режиссерскую работу. Возвратившись на Кипр, Х. Шопахас работал на телевидении, где снял получивший широкую известность фильм «Харита Мандолес рядом со мной» — о трагических событиях на Кипре летом 1974 года. С 1981 года режиссер работает в Греции.

В основу фильма «Конец девяти» положена одноименная повесть молодого греческого прозаика Танасиса Валтиноса, в которой мастерски воссозданы драматические эпизоды гражданской войны в Греции 1946—1949 гг. Отказавшись сложить оружие и сдаться фашистам, герои повести, бойцы Народно-освободительной армии ЭЛАС, продолжают борьбу в горах, в сущности обреченную на трагический исход, но тем не менее преисполненную героического, жизнеутверждающего пафоса. Реалистически воспроизводя в фильме физические и моральные испытания, через которые проходят девять партизан, режиссер убедительно показывает при помощи кинематографической символики и более общий исторический план, показывает многотрудное, мучительное, но неуклонное развитие демократического движения в Греции.

«Как это ни парадоксально, — говорит в одном из интервью Христос Шопахас,— мой фильм — это первый фильм о гражданской войне в Греции. Повесть Т. Валтиноса я выбрал не случайно: «В этой картине я стремлюсь проникнуть в психологию людей, живущих на пределе человеческих возможностей, я стремлюсь показать, что и в этой ситуации человек находит в себе силы не отступить, не сдаться, сохранить свое человеческое достоинство и продолжать борьбу».

«Конец девяти» получил высокую оценку кинокритики. В рецензии, опубликованной в газете греческих коммунистов «Ризоспастис», особо отмечается режиссерское мастерство и отличная операторская работа Никоса Кавукидиса. Известный греческий кинокритик Василис Рафаилидис назвал фильм «талантливой оптимистической трагедией».

На кинофестивале в Салониках 1984 года Х. Шопахас был удостоен приза «Лучшему молодому режиссеру». Музыка к фильму, написанная М. Христодулидисом, также отмечена премией фестиваля. Фильму «Конец девяти» присуждена Государственная премия Греции за 1984 год, а на XIV Московском международном кинофестивале (1985) он завоевал золотой приз.

ГДР

Берлинский театр имени Максима Горького показал премьеру спектакля «Актовый зал» по одноименному роману Германа Канта (режиссер Вольфрам Кремпель). Как отмечает газета «Берлинер цайтунг», «новая инсценировка популярной книги воспроизводит перед зрителями главу недавней истории нашей страны». Этот спектакль приурочен к сорокалетию освобождения Германии от гитлеризма. На снимке: Уве Коккиш, Вольфганг Хосфельд, Михаэль Пан и Удо Шенк в сцене из спектакля «Актовый зал».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ЕГИПЕТ

«ПОДХОДЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

Журнал «Аль-Араби» опубликовал рецензию на сборник рассказов известного египетского писателя Фатхи Ганема «Подходящий человек».

Фатхи Ганем впервые выступил как рассказчик в начале 50-х годов. Расцвет творчества писателя приходится на конец 50-х—начало 60-х годов, когда было опубликовано несколько его романов и сборников рассказов. Наиболее известный роман Ф. Ганема — «Человек, потерявший тень» (1961) — был переведен на английский язык. По его мотивам египетские кинематографисты сняли фильм.

Как пишет автор рецензии, египетский писатель и критик Фарук Хуршид, в своем новом сборнике «Подходящий человек» Ф. Ганем в критическом духе и с большим художественным мастерством живописует нравы Египта 70-х годов, показывая социальные типы, характерные для периода, получившего название «инфитах», когда проводилась политика «открытых дверей» и в страну широко хлынул иностранный капитал.

В сборнике — шесть рассказов. В пяти из них изображены представители обуржуазившихся «верхов» общества со всеми присущими им пороками. Так, герой одного из рассказов — выбившийся из «низов» профессор философии, который произносит с кафедры красивые слова о долге и нравственности, сам же нечестными путями домогается поста министра. Герой рассказа «Подходящий человек», давшего название всему сборнику, ловкий и беспринципный директор фирмы, устраивающий свои дела, прибегая к взяткам и лести перед вышестоящими,— типичная фигура для Египта 70-х годов.

Лучшим рассказом сборника Ф. Хуршид считает «Смерть на манер Фильфиля». Герой, напоминающий рецензенту персонажей чеховских рассказов, — простой человек, пожилой служитель гаража в Александрии. Он страдает от болезней и одиночества, но в своих мечтах воображает себя то знаменитым певцом, то непревзойденным автогонщиком.

Сборник «Подходящий человек», замечает критик, еще раз демонстрирует мастерское умение Ганема выстроить сюжет, глубоко проникнуть в психологию героев, а также совершенное владение изобразительными средствами языка и диалогом.

КАНАДА

«ПЛАМЯ И НАКОВАЛЬНЯ»

Литературная премия провинции Квебек «Эссо», ежегодно присуждаемая канадскому автору лучшего произведения, написанного на французском языке, вручена в этом году известному прозаику Жильберу Шокетту за роман «Пламя и наковальня». Монреальская газета «Пресс» опубликовала статью с подробным критическим разбором новой книги пятидесятилетнего писателя. Произведение Шокетта посвящено проблемам творчества, вернее, как подчеркивает обозреватель «Пресс», всего одной, но чрезвычайно важной проблеме: несовместимость, разлад и одновременно стремление к гармонии двух начал в личности писателя — человеческого и художнического. Из их противопоставления, из коллизии «обыденного и возвышенного» и рождается внутренняя динамика четырехсотстраничного романа, сюжет которого внешне довольно прост: всемирно известный писатель Андерс Шталберг приезжает на неделю в Монреаль в качестве председателя международного писательского форума. Встретив и полюбив скромную милую девушку, он остается в городе на целый год. Но его чувство безответно, и оно наполняет жизнь писателя такими страданиями, такими мучительными сомнениями, которые, как пишет рецензент, могут возникнуть только в душе истинного творца, в душе «исполина».

Несчастная любовь героя, пишет обозреватель газеты «Пресс», становится для автора счастливым поводом для пространных рассуждений о самом важном—о писательском мастерстве, о стремлении к счастью, о жертвенности творчества.

КИТАЙ

ЖУРНАЛ «СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Журнал «Сулянь вэньсюэ» («Советская литература») издается каждые два месяца Институтом советской литературы при Пекинском педагогическом университете с 1980 года. Журнал помещает советскую прозу и поэзию, статьи советских и китайских критиков о советской литературе, сообщения о выходящих книгах и литературных событиях в Советском Союзе, читательские отклики на журнальные публикации. Объем журнала — 144 страницы большого формата.

К июлю нынешнего года вышли три книжки журнала, каждая из которых посвящена определенной теме, о чем редакция на обороте титула предуведомляет читателей. В первом номере, посвященном 40-летию Победы, помещены роман Б. Васильева «Завтра была война», глава из книги С. Алексиевич «У войны — не женское лицо», рассказы В. Кондратьева «Асин капитан» и «Знаменательная дата», «О жизни и смерти» Б. Горбатова.

Во втором номере редакция журнала обращает внимание своих читателей на прошедший Международный женский день, отмечает участие женщин и значение женской темы в советской литературе, публикует двадцать три стихотворения десяти советских поэтесс, «представляющих четыре поколения», — А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Берггольц, М. Алигер, Л. Татьяничевой, Ю. Друниной, Р. Казаковой, С. Евсеевой, Б. Ахмадулиной, Ю. Мориц. В разделе прозы даны повести В. Закруткина «Матерь человеческая» с послесловием китайского критика Ли Фувэя, Е. Марковой «Голубые тюльпаны».

В третьем номере преобладает детская и юношеская тема. «Детская литература в истории русской литературы имеет замечательные традиции», — пишет редакция в обращении к читателям. Открывается номер романом Н. Думбадзе «Я вижу солнце». Журнал публикует также повесть С. Михалкова «Сон с продолжением», рассказ Ю. Нагибина «Эхо», читательские письма по поводу произведений Б. Васильева и С. Алексиевич, а также рассказ Д. Мамина-Сибиряка «Вертел», в котором, по мнению редакции, в традициях критического реализма отражены трагические судьбы детей в дореволюционной России. В этом же номере журнала опубликовано восемь стихотворений А. К. Толстого, роман которого «Князь Серебряный» известен в Китае.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕХОВА В КИТАЕ

Произведения А. П. Чехова, 125-летие со дня рождения которого отмечалось в этом году, хорошо известны китайским читателям. Знакомство с великим писателем началось еще в 1905 году, когда в журнале «Синьсинь сяошо» был напечатан рассказ «Дуэль», переведенный на китайский язык с японского. Непосредственно с русского языка впервые Чехова перевел писатель-коммунист Цюй Цюбо: рассказ «Хорошие люди» был опубликован в 1924 году.

Рассказы Чехова переводили крупнейшие писатели Китая Мао Дунь и Ба Цзинь. «Чехов — мой самый любимый писатель», — говорил классик китайской литературы XX века Лу Синь. В 1936 году он выпустил в свет книгу своих переводов чеховских рассказов под названием «Злой мальчик и другие удивительные истории».

Благодаря труду переводчика Жу Луна в 1951—1957 годах в Шанхае было издано собрание сочинений А. П. Чехова, в которое не вошли только драматические произведения писателя. Сейчас оно вновь переиздается.

Произведения Чехова печатаются ежегодно в разных городах Китая. В Ханчжоу в 1982 году вышли «Записные книжки», переизданные там же в следующем году. В Гуанчжоу в 1983 году был выпущен сборник рассказов «Анна на шее», в который вошло 30 рассказов.

КОЛУМБИЯ

СМОТР ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО КИНОИСКУССТВА

В городе Картахена завершился XXV кинофестиваль, на котором было показано около девяноста кинолент, представленных странами латиноамериканского континента. Главный приз, присуждаемый лучшему иберо-американскому фильму, получила венесуэльская картина «Ориана». Особый диплом жюри присудило аргентинскому фильму «Официальная история», рассказывающему о людях, пропавших без вести в период правления военной диктатуры. Актрисе Норме Леандро, играющей в этой картине, был вручен приз за лучшее исполнение женской роли.

На фестивале отмечался возросший уровень киноискусства латиноамериканских стран. По сообщению кубинской «Гранмы», руководители кинофестивалей, проходящих в Бразилии, Колумбии, на Кубе, — приняли решение о создании единой дирекции кинофестивалей и о созыве форума кинематографистов для учреждения Латиноамериканской федерации, которая будет заниматься проведением фестивалей и показом кино-, теле- и видеофильмов.

КОСТА-РИКА

Персональная выставка костариканской художницы Ракель Вильяреаль открылась на Кубе. Критик «Гранмы» отмечает в ее работах удивительную пластичность, близость к природе, к корням латиноамериканского искусства, композиционную отточенность. Художница работает в разной технике, однако предпочтение отдает графике, так как считает, что «возможности черного и белого безграничны».

В последних произведениях Ракели Вильяреаль отражена жизнь борющейся Никарагуа, где художница провела два года. Ее выставка называется «За мир и жизнь», потому что она убеждена: «Главное — не допустить войны».

На снимке: Ракель Вильяреаль.

(Газета «Гранма»)

РУМЫНИЯ

К 100-ЛЕТИЮ ЛИВИУ РЕБРЯНУ

В ноябре этого года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося румынского прозаика-реалиста Ливиу Ребряну, имя которого хорошо известно и в Советском Союзе: на русский язык переведены его романы «Ион», «Лес повешенных», «Восстание» и некоторые рассказы.

Среди различных публикаций, которыми отмечен в СРР юбилей писателя, особое место занимает, как подчеркивается в румынской прессе, издание «Дневника» Ребряну, осуществленное дочерью писателя Пуей Флорикой Ребряну и одним из знатоков его творчества Николае Гераном.

В «Дневнике», который писатель вел регулярно с 1927 года до конца жизни (1944), нашли отражение, как отмечает рецензент «Ромыния литерарэ» Н. Манолеску, его каждодневные наблюдения и размышления. Со страниц «Дневника» встает Ребряну-художник со своим тонким индивидуальным видением мира и Ребряну-гражданин, тревожащийся за судьбы родной страны в сложной атмосфере надвигающейся второй мировой войны.

Интересно отметить, пишет другой рецензент З. Орня, что «Дневник» не имеет жанровых аналогий в румынской литературе: «Ребряну не придерживался никаких образцов и моделей». Сам Ребряну писал так: «Начинаю этот дневник с мыслью запечатлеть в нем все, что есть в душе и в сердце, —исповедь для себя самого, возможную лишь в такой форме». Как подчеркивает З. Орня, издание «Дневника» Ребряну — значительное событие в литературной жизни страны.

СИРИЯ

«РЕАЛИЗМ В СОВЕТСКОЙ И АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ»

Издающийся в Кувейте журнал «Аль-Араби» опубликовал рецензию на новую книгу сирийского литературоведа Маджида Ала ад-Дина «Реализм в советской и арабской литературах».

Автор исследования рассматривает в сравнительном плане творчество советских писателей и писателей Арабского Востока, главным образом в период с 30-х по 60-е годы, отмечая некоторые сходные черты обеих литератур. Особое место в книге уделяется творчеству А. М. Горького как основоположника социалистического реализма. В ней рассматриваются также произведения М. А. Шолохова и других советских писателей, отмечается растущее воздействие литературы социалистического реализма на творчество арабских писателей.

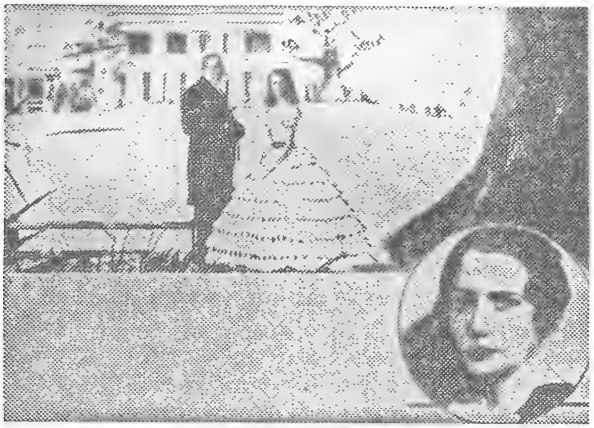
Исследуя реалистическое направление в современной арабской литературе, автор останавливается на творчестве таких его представителей, как ливанец Омар Фахури (1896—1946) — арабы называют его «арабским Горьким», — как сирийские писатели Мавахиб аль-Каяли, Ханна Мина, Саид Хаурания. В книге также рассказывается о деятельности прогрессивных литературных организаций на Арабском Востоке.

США

ВОЗМОЖНО, «ТАРА» НЕ БУДЕТ УНЕСЕНА ВЕТРОМ

Под таким заголовком американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» сообщает о планах создания в городе Атланте — на родине американской писательницы Маргарет Митчелл— мемориального комплекса, посвященного писательнице, ее знаменитому роману «Унесенные ветром» и событиям Гражданской войны 1861—1865 гг., нашедшим отражение в книге. Накануне 50-летия публикации романа эти планы, неоднократно возникавшие и раньше, обрели наконец реальную почву. Прежде держатели авторских прав Митчелл противились всем попыткам «эксплуатации героев романа». Однако сейчас, очевидно под давлением общественного мнения — популярность города в значительной степени определяется и популярностью романа, — они в принципе согласились на строительство комплекса, оставив за собой право участвовать в его создании.

Авторы проекта надеются убедить наследников писательницы в том, что этот комплекс не будет «деше-



На снимке: Вивьен Ли в роли Скарлетт О' Хара и Томас Митчелл в роли ее отца перед усадьбой «Тара». Внизу — автор романа Маргарет Митчелл.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

вой туристской затеей по продаже японских кукол, а даст возможность почитателям книги оказаться в атмосфере романа». Одним из наиболее притягательных для посетителей сооружений мемориала станет «Тара» — усадьба героини романа, Скарлетт О'Хара. Эта усадьба была использована в созданном в 1939 году фильме «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях.

В Атланте многое напоминает о Маргарет Митчелл. Ее именем названы площадь, школа и больница. Однако целый ряд зданий и мест, связанных с жизнью писательницы, остаются пока неизвестными широкой публике.

Мемориальный ансамбль «Унесенные ветром» планируется построить в живописных окрестностях города.

ТУРЦИЯ

На снимке: Эсин Афшар.

(Газета «Юманите»)

ПЕСНИ АНАТОЛИИ

Турецкая певица Эсин Афшар пятнадцать лет выступает с концертами и побывала уже в большинстве социалистических стран, а также в Австралии, Японии, странах Африки. Знакома она и советскому зрителю.

Все началось в 1969 году, когда на фестивале в Монте-Карло молодая певица стала лауреатом премии Ларио Морено. С тех пор она посвятила себя популяризации национальной культуры. Ее репертуар составлен из песен на стихи классических и современных турецких поэтов, в том числе и на стихи Назыма Хикмета, из песен, написанных для нее ее друзьями, из народных песен. В свою программу «Песни Анатолии вчера и сегодня», с которой Афшар успешно выступала во Франции — о ней писали как о турецкой Жюльет Греко, — она включила и стихи Жака Превера, положенные на музыку.

Эсин Афшар — активный борец за демократизацию в Турции. Певица поставила свою подпись под петицией пяти тысяч турецких деятелей культуры, требующих уважения демократических свобод в этой стране.

ФИНЛЯНДИЯ

ФОНД КАЛЛЕ ПЯЯТАЛО

В Финляндии многие считают прозаика Калле Пяятало (род. в 1919 г.) счастливым человеком: все созданные им четырнадцать романов разошлись большими тиражами, он пользуется любовью читателей и признан взыскательной критикой. Но вряд ли многие помнят, как нелегко пришлось Пяятало вначале, какие трудности преодолел бывший сплавщик бревен и каменщик.

Сейчас писатель, оглядываясь на свой жизненный и творческий путь, с удовольствием вспоминает эти годы. Он считает, что именно на стройке он встретил самых интересных людей, людей труда, которым посвящены все его книги.

Недавно в рамках Народного фонда культуры для оказания помощи молодым писателям был учрежден фонд Калле Пяятало. В связи с этим финская газета «Арбетарбладет» опубликовала беседу с писателем.

«Я знаю на собственном опыте, как начинающие писатели нуждаются в моральной и материальной поддержке, мой долг — помогать литераторам, вышедшим из той же среды, что и я сам, из пролетарской среды», — сказал, в частности, Пяятало.

ФРАНЦИЯ

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ ВСПОМИНАЕТ...

«Смешанный лес» — так называется книга воспоминаний крупнейшего испанского поэта XX века Рафаэля Альберти, которая вышла в свет в этом году в Париже. Поэт многие годы провел в изгнании на земле Аргентины, спасаясь от франкистского режима. Лишь в 1977 году он вернулся в Испанию.

Вдали от родины он часто вспоминал светлые дни детства в Андалусии, свои юношеские приключения в Мадриде. «Его книга — смешанный лес воспоминаний и чувств», — пишет рецензент журнала «Ор клэр де фам».

Юный Рафаэль рано покинул отчий дом и тайно уехал в Мадрид, намереваясь стать художником. Но судьба распорядилась по-другому. Он полюбил театр и поэзию, приобрел там друзей, которые прошли рядом с ним всю жизнь, — Федерико Гарсиа Лорка, Сальвадор Дали, Луис Бюнюэль...

Веселые истории соседствуют в книге с серьезными размышлениями, меткие наблюдения — с поэтическими фантазиями. Мемуары известного поэта переносят читателя в 20-е годы, когда происходило становление этого замечательного представителя испанской поэзии двадцатого столетия.

МЕМОРИАЛ ЛУИ АРАГОНА

В городе Шуази-ле-Руа состоялось открытие библиотеки-дискотеки Луи Арагона. Символично, что 100 лет назад именно в Шуази-ле-Руа состоялось открытие Свободной библиотеки — первой публичной библиотеки во Франции, одним из членов

учредителей которой был Виктор Гюго.

Семь лет депутаты-коммунисты Шуази вели настоящую борьбу за открытие нового культурного центра, носящего имя выдающегося французского поэта-коммуниста.

Мемориал Арагона — здание современной архитектуры из алюминия и золотистого плексигласа — стал украшением города. В фондах библиотеки-дискотеки собрано 48 тысяч томов и 35 тысяч дисков.

СНОВА ПРЕМЬЕРЫ...

По третьей программе французского телевидения состоялись премьеры: опера «Груди Тиресия» по пьесе Г. Аполлинера (музыка Ф. Пуленка) и балет «Парад» по произведению Ж. Кокто (музыка Э. Сати).

Сегодня в Париже найдется немного любителей искусства, которые помнят историю первых постановок этих спектаклей в 1917 году.

Премьера «Парада» потерпела тогда сокрушительный провал, а через три года имела триумфальный успех. После показа пьесы «Груди Тиресия» было назначено... судебное разбирательство — из-за оформления спектакля. Об этих постановках интересно сегодня вспомнить и потому, что художественное оформление балета «Парад» было выполнено молодым Пабло Пикассо. А буффонадную пьесу «Груди Тиресия», положенную в основу либретто одноименной оперы, Аполлинер сам в 1918 году определил как «сюрреалистическую», введя этот термин в литературу.

Новые постановки балета «Парад» и оперы «Груди Тиресия», осуществленные недавно оперной труппой г. Лилля, были приняты и публикой и критикой с энтузиазмом. Их успеху несомненно способствовало новое оформление спектаклей, которое предложил художник Ролан Топора, известный также как писатель и сценарист. В нашей стране знают снятый по его сценарию мультипликационный фильм «Дикая планета», удостоенный в 1975 году приза Канского фестиваля.

ФРГ

«МЫСЛИ МЕСМЕРА»

Так назвал свою новую книгу, вышедшую в издательстве «Зуркамп», известный западногерманский писатель Мартин Вальзер.

Это дневник стареющего страдающего человека. Постоянно вглядываясь в себя, он записывает свои мысли. «Годы прошли по моему лицу, как завоеватели», — пишет Месмер. Писать для Месмера — не просто запечатлеть мысль. Эта работа позволяет ему в какой-то мере справиться с неуправляемым, хаотическим потоком мысли. Сам Месмер говорит: «Когда пишешь, мысль замедляется. Если б я не писал, мысли занесли бы меня туда, куда мне вовсе не хочется».

Кто же такой Месмер? Хотя он постоянно говорит о себе, о его жизни, о том, что он за человек, читатель, как ни странно, почти ничего не узнает. «Персонаж ненаписанного романа», «герой без повести», — называет его рецензент журнала «Шпигель» критик Хельмут Каразек. Месмер чем-то напоминает ему знаменитого брехтовского господина Койнера: он как бы литературный двойник автора и в то же время лишен каких-либо индивидуальных черт.

«Несомненно, Месмер — тоже «второе я», литературный двойник Мартина Вальзера... — пишет Хельмут Каразек. — Однако ошибается тот, кто будет надеяться вычитать из его дневника какие-либо подробности о личной жизни писателя... Месмер для Вальзера — возможность сказать о себе и одновременно... Мысли, которые он записывает, — это попытка самопознания и самообмана, это откровенность и скрытность одновременно ничего не сказать... Вся книга строится на противоречиях. Автор часто противоречит сам себе».

Рецензент в целом высоко оценивает новую работу М. Вальзера. Сразу же после выхода книга заняла одно из первых мест в списке бестселлеров.

ПРЕМИЯ ШАМИССО ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ-ИНОСТРАНЦЕВ

Баварская академия изящных искусств объявила о присуждении премии имени Адельберта фон Шамиссо за произведения на немецком языке, созданные писателями иностранного происхождения.

С именем Шамиссо премия связана не случайно. Как известно, этот классик немецкой литературы был выходцем из Франции. Он приехал в Германию с родителями-эмигрантами после французской революции пятнадцатилетним юношей и поздно овладел немецким языком. «Я француз в Германии и немец во Франции, нигде не свой и всюду чужой»,— писал он мадам де Сталь.

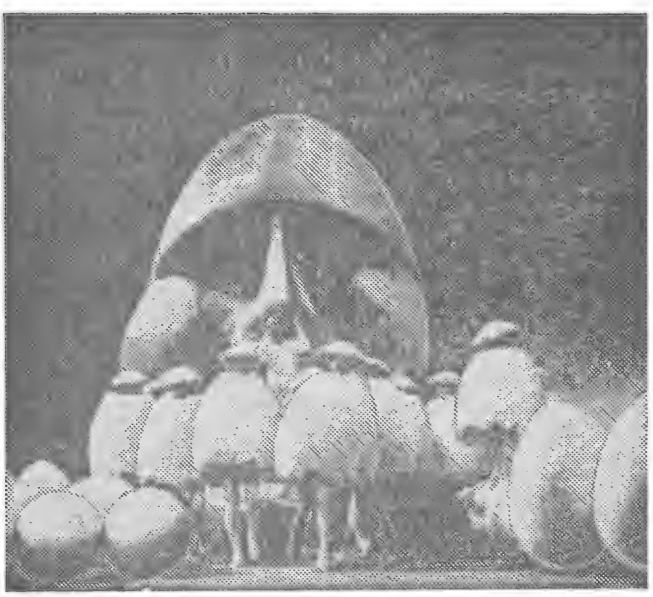
Ситуация эта и сейчас знакома многим людям, приехавшим в ФРГ искать работу или оказавшимся в стране по другим причинам. «Я владею двумя языками, но родины у меня нет ни одной», — говорит гватемалец Серджио Амадо в стихотворении, которое вошло в антологию «На двух языках». Такие антологии уже в течение нескольких лет выпускает издательство «Ташенбух». В них публикуются материалы литературных конкурсов, которые проводятся раз в два года для иностранцев, пишущих по-немецки.

«Существует обширная литература, которую многие из нас не знают,— пишет в связи с выпуском антологии мюнхенский еженедельник «Байернкурир». — Она создается людьми, представляющими не только разные нации, но и разные общественные слои. Среди авторов эмигранты, студенты, «гастарбайтеры».

Эту литературу, продолжает автор рецензии, опуб-

На снимке: сцена из балета «Парад».

(Газета «Юманите диманш»)



ликованной в «Байернкурир», отличает ярко выраженная социально-критическая направленность, которая особенно присуща произведениям «гастарбайтеров».

И причины понять нетрудно. Иностранцы-«гастарбайтеры» сплошь и рядом наталкиваются на враждебность немецкого населения. Очень часто авторы, будучи выходцами из стран Ближнего Востока, Азии, заявляют о своей приверженности критическим традициям европейской литературы XX века, которую они называют «литературой уязвленности».

Первым лауреатом премии Шамиссо стал сорокашестилетний турецкий писатель и журналист Арас Орен, живущий в ФРГ с 1969 года. В решении жюри сказано, что он «один из первых иностранных писателей отразил в литературе новую реальность, связанную с появлением рабочих-иммигрантов, совместную жизнь иностранцев и немцев».

«Время показало, — заявил Арас Орен, — что мы в каком-то смысле способствуем выработке нового европейского самосознания. Уже нельзя говорить о новой Европе, не учитывая нашего участия».

ЧИЛИ
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

«ОТ ФАКТОВ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ»

Под таким названием вышел сборник критических статей, посвященных творчеству видного чилийского писателя Антонио Скарметы, выпущенный в свет мадридским издательством «Литература американа реунида».

До фашистского переворота в Чили Антонио Скармета преподавал в столичном университете, пользовался известностью как писатель-рассказчик. Его книга «Обнаженный на крыше» была удостоена премии на латиноамериканском конкурсе «Каса де лас Америкас» в 1969 году.

После прихода к власти фашизма А. Скармета, принимавший участие в революционном движении, вынужден был покинуть свою родину. Трагические события в сентябре 1973 года, очевидцем которых он был, легли в основу его первого романа «Мне снился пылающий снег», изданного в Барселоне в 1975 году и явившегося одним из первых художественных произведений на эту тему.

Находясь в эмиграции, А. Скармета продолжает литературную деятельность, по его сценарию был поставлен фильм о революции в Португалии.

Ныне известность А. Скарметы перешагнула не только границы его родины, но и латиноамериканского континента — его книги переведены на ряд иностранных языков. Советскому читателю имя Антонио Скарметы известно по роману «Мне снился пылающий снег» (М., «Прогресс», 1978) и роману «Восстание» («ИЛ», 1982, № 11). Составитель книги «От фактов к художественному слову», чилийский литературовед Рауль Сильва Касерес, впервые объединил под одной обложкой наиболее значительные работы критиков о творчестве А. Скарметы — Соледад Бианчи, Оскара Кольясоса, Констансы Лиры, Ариэля Дорфмана, Хуана Армандо Эппле и др. В сборник включены также интервью А. Скарметы и его очерк.

ШВЕЙЦАРИЯ

«НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ»

Так называется новый фильм Алена Таннера, которого рецензент еженедельника «Вельтвохе» Вольфрам Кнорр называет «самым значительным режиссером швейцарского кино». В своих работах последних лет Таннер отдал дань «философскому иносказанию», сейчас, пишет рецензент, «он, слава богу, вернулся на реальную почву и рассказывает простую историю о людях, к которым относится одновременно с любовью и мягкой иронией».

Живут его герои в небольшой деревушке, в отдаленном кантоне Юра, у французской границы. Пауль работает в авторемонтной мастерской отца, его подружка Мадлен в деревенской дискотеке, Джин — крестьянский парень — помогает отцу по хозяйству.

Тишина, нетронутая природа — и скука, от которой томятся молодые люди.

Они начинают заниматься контрабандой — перегонять через границу автомобили. Дела идут хорошо, и Пауль, самый предприимчивый из всех, берется нелегально переправлять в Швейцарию людей, ищущих работу. Для него эти опасные хождения по лесам — нечто вроде игры в «казаки-разбойники». Но однажды полиция устраивает на молодых людей, переходящих границу, настоящую охоту. Пауль оказывается в больнице, Джину удается вернуться домой, но это уже не прежний благодушный, беспечный парень, все случившееся глубоко потрясает его.

За последние годы, пишет рецензент, благополучную, казалось бы, Швейцарию, не раз сотрясали вспышки молодежных волнений. Причины их не просто было объяснить. Фильм Алена Таннера ставит свой диагноз, указывая на связь этих бунтов с «кладбищенской тишиной» провинциальной Швейцарии. Он показывает молодых людей, лишенных ориентиров; былые принципы и идеи утратили для них свою ценность. «Это потерянные дети, чувствующие себя в мире беспомощными, чужими, оставленные наедине со своими смутными чувствами, мечтами, надеждами». «Захватывающий, серьезный фильм», — заключает рецензент.

В ПОИСКАХ СОБСТВЕННОГО ПРОШЛОГО

Данте Андреа Франчетти было пять лет, когда умер его дедушка, один из тех итальянцев, что прибыли когда-то в Цюрих для участия в работах по расширению здешнего вокзала. Тогда их еще не называли «гастарбайтерами». Сам Франчетти родился в Швейцарии, его мать — швейцарка. Он изучал германистику и итальянскую литературу, сейчас работает учителем в одной из цюрихских школ и прекрасно владеет местным диалектом немецкого языка. Но итальянский язык остался для него все же родным. И свою первую книгу, которую выпустило недавно цюрихское издательство «Нагель унд Кимче», молодой писатель посвятил памяти дедушки-итальянца, уроженца горной деревушки, которого нужда и лишения погнали из родных мест на поиски заработка.

Повесть так и называется: «Дедушка». Франчетти сам по-настоящему его почти не знал, и, отправляясь по следам своего героя, использует все, что может: обрывки собственных воспоминаний, «картины на грани сна и реальности», старые вещи и фотографии, воспоминания родственников, рассказы дедушки, подлинные и вымышленные. «Я хочу представить, что ты мог переживать тогда и думать», — заявляет автор в воображаемом разговоре со своим героем.

Критик Клара Обермюллер, рецензирующая книгу в швейцарском еженедельнике «Вельтвохе», называет ее «повестью-предположением»: «Это предположения о человеке, о деревне, о временах, которых уже нет, о своем собственном происхождении, о прошлом, которое определяет наше настоящее... Из этой смеси подлинного и вымышленного возникает картина более достоверная, чем если бы автор рабски копировал реальность».

В изображении деревенской жизни, считает критик, писатель следует традициям не столько швейцарской, сколько современной итальянской литературы, таких ее представителей, как Итало Кальвино и Леонардо Шаша. «Его интересует социально-общественная и историческая обусловленность того, что многие любят называть судьбой».

Данте Андреа Франчетти принадлежит к поколению, которое вдруг остро ощути-

ло, что ему не хватает истории. Родители, занятые заработком и карьерой, не позаботились о том, чтобы привить детям историческое сознание, выработать представление о собственном прошлом, собственном происхождении. Франчетти сам решил восполнить этот недостаток. Погружаясь в историю недавнего времени, он ищет ответа на вопрос: откуда я, кто я?

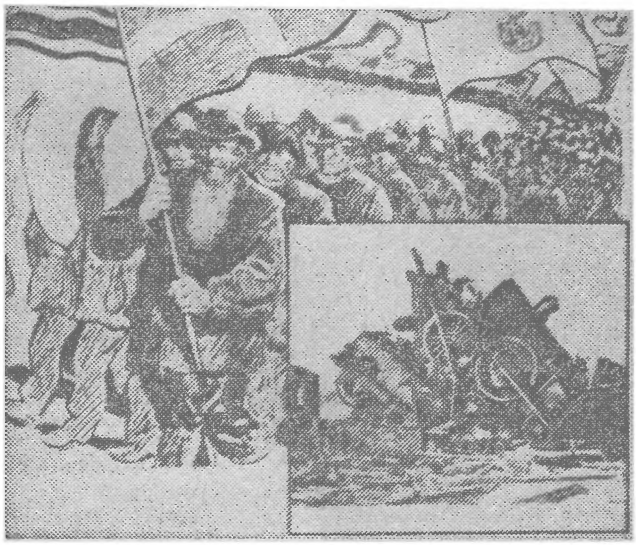
ШВЕЦИЯ

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Давно прошли те времена, когда песня была одним из основных источников информации. Но об этих временах, об истории нельзя забывать, считают сотрудники Шведского песенного архива, выпустившие совместно с фирмой «Каприче» уникальную пластинку так называемых песен-сообщений конца XVII — начала XX веков.

Тематика песен, созданных, как правило, неизвестными авторами, самая разнообразная — от известий о несчастных случаях до крупнейших исторических событий (гибель вождя народного восстания XV века Энгельбректа Энгельбректсона, крестьянские волнения 1914 года и т. п.).

К записи песен, отразивших по сути дела многовековую историю шведского народа, были привлечены как молодые исполнители, так и живые хранители песенной традиции, например 95-летний крестьянин Улоф Йонссон.



На снимке: лубочные иллюстрации к шведским народным песням. Слева—крестьянские волнения 1914 года, справа — железнодорожная авария 1875 года.

(Газета «Дагенс нюхетер»)

«Приятно сознавать, — пишет газета «Дагенс нюхетер», — что народная песня не умирает, что молодые певцы поддерживают и развивают этот жанр».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ /зам. главного редактора/, **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** /отв. секретарь/, **К. А. ЧУГУНОВ** /зам. главного редактора/, **Л. З. ЭЙДЛИН**.

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 02.08.85. Подписано в печать 16.09.85. А 07290. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 26,57.

Тираж 405 000 экз. Зак. 2988.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

МАЙКЛ ДЕМПСЕЙ (Англия) «Супруги в машине».

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394